

BAND 3

1979

**WIENER
SLAWISTISCHER
ALMANACH**

EIGENTÜMER HERAUSGEBER VERLEGER

Aage A. Hansen-Löve
Horst Lampl
Tilman Reuther
Josef Vintr

REDAKTION

Literaturwissenschaft: Aage A. Hansen-Löve
Sprachwissenschaft: Tilman Reuther, Josef Vintr

REDAKTIONSADRESSE

Institut für Slawistik / Universität Wien
A-1010 Wien, Liebiggasse 5, Telefon: (0222) 42 22 95

ERSCHEINUNGSWEISE

zweimal jährlich im Umfang von je 300-350 Seiten

REDAKTIONSTERMINE

Ende Januar und Ende August

BANKVERBINDUNG

Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, Zweigstelle Schottenring
BLZ 20151, Konto-Nr. 701 323 115

PREIS DES EINZELBANDES

150,- öS / 20,- DM / 10,- US-Doll. (inkl. Porto)
Benützen Sie bitte die beiliegende Bestellkarte

DRUCK

Offsetschnelldruck Anton Riegelnik
1080 Wien, Piaristengasse 19

© WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
Aage A. Hansen-Löve
Alle Rechte vorbehalten

I N H A L T

A U F S Ä T Z E

I. P. SMIRNOV (Leningrad), Generativnyj podchod k kategorii tragičeskogo (na materiale ruskoj literatury XVII v.)	5
Ju. K. ŠČEGLOV (Moskva), Čerty poétičeskogo mira Achmatovoj	27
S. I. EL'NICKAJA (Montréal), O nekotorych čertach poétičeskogo mira M. Cvetaevoj	57
Hans WEFERS (Salzburg), Der literarische Erzähler als Faktor textueller Kommunikation und Konstruktion. Zum Verfahren des Textaufbaus und der Textgestaltung durch explizite Äußerungen des Erzählers in H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und F. M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov"	75
Felix Philipp INGOLD (St. Gallen/Zürich), "Škola dlja durakov". Versuch über Saša Sokolov	93
E. A. TUDOROVSKAJA (Jersey City), Archaičeskie byval'ščiny v sostave volšebnoj skazki	125
Christian SAPPOK (Bochum), Zur linguistischen Struktur der Bylinenzeile	141
Thomas LAHUSEN (Lausanne), Allocution et société dans un roman polonais du XIXe siècle. Essai de sémiologie historique	167
Ju. D. APRESJAN (Moskva), K ponjatiju glagol'nogo upravlenija	197
L. IORDANSKAJA (Montréal), O semantike russkich glagolov <i>vosprinimat'</i> , <i>oščuščat'</i> i <i>čuvstvovat'</i>	207
Nils B. THELIN (Oldenburg), Russian Conjugation: Alternative Hypotheses and their Empirical Value in the Light of a Psycholinguistic Experiment	217
Alfred NOZSICSKA (Wien), Bemerkungen zur Quantifikation, Konjunktion und Negation im Russischen (2. Teil)	239
Georg HOLZER (Wien), Das stimmlose <i>j</i> und das mouillierte <i>x</i> im Russischen	277
Pavel TROST (Prag), Zur ältesten tschechischen geistlichen Lyrik	283
Gerhard BIRKFELLNER (Wien), Anmerkungen zu slavistischen Editionsproblemen	289

R E Z E N S I O N E N

Das Leidener russisch-deutsche Gesprächswörterbuch von ca. 1730 ("Christian Gottlieb Wolf - Lexikon"), hrg. von Harm Klüeting (Gerhard BIRKFELLNER)	295
A. Lamprecht, D. Šlosar, J. Bauer, Historický vývoj češtiny (Josef VINTR)	299
M. Moгуš, Čakavsko narječje. Fonologija (Gerhard NEWEKLOWSKY)	304
G. Neweklowsky, Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete (Mijo LONCARIĆ)	310

D I S K U S S I O N

Aage A. HANSEN-LÖVE, Nachgetragene Thesen zu Wolf Schmid, Der
ästhetische Inhalt 315

T E X T E / B I L D E N D E K U N S T

E. A. MNACAKANOVA, Iz "Knigi Sinego" 323
Iz knigi "Beimto dezu gast" 338

Karl EIMERMACHER, Zwei Interviews mit Vadim Sidur 345

И. П. СМЕРНОВ (Ленинград)

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИИ ТРАГИЧЕСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII в.)

Предлагаемая вниманию читателей работа о трагическом развивает ряд положений, составивших теоретическую подоплеку другой статьи автора, где обсуждалось смежное с этой категорией понятие комического.¹ Для удобства изложения целесообразно вернуться к некоторым из сформулированных там установок и вновь раскрыть их, не повторяя, однако, по мере возможности, сказанного ранее.

1.

Как известно, многие канонически интересующие поэтику и эстетику сущности, в том числе комическое и трагическое, не сводятся к способу их лингвистического выражения, будучи межъязыковыми, и не объясняются полностью сопричастными их реализации историческими условиями, равно встречаясь (пусть даже с заметными преобразованиями) на различных этапах культурных изменений.² Комическое и трагическое не узурпированы каким-то одним из видов искусств и, более того, не принадлежат лишь искусству, так как переживаются и вне эстетического восприятия. Тем самым комическое и трагическое являют собой смысловые структуры, относительно независимые от чувственного опыта, который запечатлен в тексте, и потому подчиняющиеся неким универсальным логическим закономерностям.³

Эти закономерности и предстоит найти ниже, обратившись за подтверждением к художественной практике XVII в., в которой явно прослеживается сосуществование стадиально не совпадающих стилей культуры.⁴ Такое обстоятельство делает оправданным универсалистский подход к трагическому искусству XVII в., но вместе с тем нужно признать, что он представляет собой не альтернативу, а скорее преддверие (впрочем, необходимое) историко-культурного изучения этого искусства.

То, что принято называть "смыслом", вряд ли тождественно нечленимому и однородному образованию. Смыслы всякого высказывания

обладают тройным составом, поскольку они (1) дробят действительность на классы объектов, характеризующиеся тем или иным объемом (мощностью); (2) приписывают членам этих классов различительные черты, определяющие содержание значений; (3) способны к сочетанию с предыдущими и последующими смыслами, упорядоченно развертываясь в линейной прогрессии текста.

Надо думать, что за порождение каждого из слагаемых смысла отвечает особая логическая операция. Так, объемы значений конструируются сознанием благодаря тому, что между множествами объектов устанавливается отношение взаимоисключения (дизъюнкции), которое свидетельствует об отсутствии у данных множеств общих элементов. Чтобы прояснить содержание значений, необходимо прибегнуть к прямо противоположной логической процедуре, именно - к конъюнкции, совмещающей элементы множества по какому-либо свойству. Наконец, связанное развитие текста предусматривает, что соседние семантические величины находятся в асимметричном отношении следования.⁵

Если обратиться к такому универсальному множеству, которое охватило бы все факты действительности, то дизъюнкция на нем расчленит два класса объектов - культурное и природное. По-видимому, явления, согласующиеся с понятием культуры, объединяются между собой на том основании, что предстают для субъекта в качестве ценностей, то есть имеют либо положительное, либо отрицательное содержание. Далее, смыслы "культурное" и "природное" асимметричны в сравнении друг с другом, потому что первый из них отличается присутствием отмеченного признака, которого нет у второго: представление о природе выводимо из представления о культуре в результате вычитания свойства "быть культурой", но не наоборот.

Смысл поддается не только формально-логической и содержательной трактовкам, но и функциональному толкованию, которое призвано раскрыть роли трех названных операций в процессе общения. Внутренняя неоднородность смысла обеспечивает многоцелевой характер общения: отправитель и получатель высказываний могут либо суммироваться в одном лице в случае автокоммуникации; либо выступать как равноправные участники внутри- и межгрупповых контактов; либо быть разъятыми во времени, когда информацию передают отсутствующим (здесь или сейчас) адресатам. Другими словами, акт общения способен объединять в себе индивидуальный, социостатический и социодинамический (в частности, исторический) планы, причем их сочетание происходит таким образом, что переход от одного плана к другому нара-

щивает число логических условий, достаточных для протекания коммуникации.

Естественно предположить, что потребности автокоммуникации могут удовлетворяться процедурой, влекущей за собой рассредоточение объектов по взаимоисключающим семантическим классам. Слитность "слушающего" и "говорящего" в границах единого мировосприятия (памяти) допускает, что как содержание, так и последовательность значений будут не конструироваться сознанием, а даваться извне, то есть совпадают с чувственно-постигаемыми признаками и чередованием реальных событий (предметов). Неверно, конечно, утверждать, будто автокоммуникация никогда не строится по подобию высказываний, рассчитанных на актуального или потенциального партнера. Речь идет о другом. На этой ступени общения в его простейшем варианте ограничить объемы значений достаточно для того, чтобы отождествить смыслы с соответствующими им реалиями,⁶ тогда как при (прямом) социальном контакте указанная операция принудительно усложнится за счет конъюнкции признаков, которые вменены элементам семантических классов. В самом деле, расхождение партнеров в опыте грозит вызвать такую обстановку, когда они будут приносить в один и тот же семантический класс неодинаковое содержание, подчеркивая разные свойства входящих сюда объектов, что неизбежно нарушит взаимнооднозначную связь между передаваемыми смыслами и внешним миром. Что касается обращения к косвенному адресату, то оно заставляет отправителя высказываний развертывать смысл в текстовой последовательности, которая читалась бы сама по себе, помимо контекста коммуникации, недоступного для получателя. В этих обстоятельствах в текст закладывается программа его понимания - смысл саморегулируется в форме логического вывода данного значения из предыдущего. Поскольку путь от одного плана коммуникации к другому выглядит как равномерное увеличение числа логических процедур, участвующих в смыслопорождении, постольку правомерно говорить о существовании иерархии коммуникативных уровней.

Приведенные соображения о различении коммуникативных уровней и соположенных им логических операций дают возможность проникнуть в глубь основных категорий, используемых в обиходе литературной науки, проясняя, в частности, причины, по которым художественная речь распадается на три рода - лирику, драму, эпос.

Ввиду того, что художественной речи предназначено циркулировать во времени, все ее разновидности имеют полноценное (трехъярусное) логико-функциональное строение. Однако литература воспроизводит

способы повседневного общения, а не дублирует их, обращает речь на самое себя, вследствие чего правила, контролирующие формирование разных уровней, подвергаются здесь вторичной актуализации (инактуализации), что и обуславливает разграниченность родовых версий словесного искусства.

Если лирика тяготеет к отображению автокоммуникации,⁷ то драма имитирует непосредственное общение внутри коллектива,⁸ делая получателями высказываний сценических персонажей или вовлекаемых в действие зрителей. С другой стороны, если в драме последовательность событий, мотивирующих речевую тактику героев, не описывается, а разыгрывается,⁹ то в эпосе событийный и предметный контекст, в котором совершается словесный обмен, втягивается в рамки повествования. Именно к повествованию в наибольшей мере подходит утверждение М. М. Бахтина относительно литературного произведения как такового, которое "... не может опираться на вещи и события ближайшего окружения как на нечто само собой разумеющееся, не вводя даже ни единого намека на них в словесную часть высказывания".¹⁰ Эпический текст, стало быть, предсказывает свое развитие,¹¹ таит в себе те нормы, по которым одна изображаемая ситуация вытекает из другой,¹² вторично актуализует структуры и функции всех трех уровней практической коммуникации.

Сказанное открывает цепь умозаключений о стилистических показателях, сопутствующих родовому размежеванию литературных произведений. Обратимся за примером к лирике.

Вслед за автокоммуникацией лирика не столько задает отношение следования воспроизводимым акциям и состояниям, сколько полагает его заданным, заранее известным. Иначе говоря, из лирических текстов устранена экспозиция,¹³ которую часто приходится реконструировать за счет обращения к биографиям их создателей. Ослабление асимметрии между чередующимися смыслами¹⁴ согласуется с тем, что лирика упорно реализует себя в стихотворной речи,¹⁵ которую отличает от прозы, как это неоднократно подчеркивалось в трудах Р. О. Якобсона¹⁶ и его преемников,¹⁷ обязательность параллелизмов на фонологическом и грамматическом уровнях (а также, не исключено, обязательность параллелизма в организации планов выражения и содержания¹⁸).

Вторая определяющая черта лирического слова сближает его с собственным именем. И там и здесь приглушено содержание значений, на первое место выдвинут их объем. Вот почему собственное имя становится ценностью, лишь обретая носителя. Подобно этому содержание значений

в лирике обусловлено остающейся за пределами произведения жизненной ситуацией - само собой разумеется для автора, но только подразумевается текстом.¹⁹ Смысл в лирике окрашен окказионально,²⁰ пронизан частично, произведен от индивидуального знания о мире,²¹ раз внимание автора не заострено на совмещении признаков, роднящих данный объект с другими объектами того же класса. Как писал Б. А. Ларин, "можно считать всеобщим и постоянным свойством лирики в мировой литературе семантическую осложненность".²²

Выбор для текста лирической, драматической или эпической целеустановки служит первым шагом на пути от смысла к художественной речи. Каждый литературный род способен к дальнейшему дроблению, выступая, скажем, под знаком комической либо трагической речи. Это свидетельствует о том, что средства формирования значений на втором этапе смыслопорождения подвергаются какому-либо виду трансформации.²³ Допустимые способы таких трансформаций не сводятся, однако, исключительно к тем преобразованиям, которые регламентируют возникновение комического и трагического модусов речи:

(1-2) Нулевая трансформация - это простейший и не требующий специальных комментариев случай, когда все три логические процедуры, благодаря которым зарождается смысл, сохраняют свою силу, а литературное произведение усваивает себе нейтральный семантический модус.

Инверсионная трансформация заключается в том, что контрастирующие между собой объемы значений выхолащиваются, превращаются в пустые классы; совместные признаки, составляющие содержание значений, аннулируются; выводимость одного смысла из другого оказывается инверсированной (элементам, связанным отношением следования, приписывается отрицание). Такое преобразование разрушает смысл. Оно возможно лишь на словах истории, представляет собой не что иное как модус перехода от одного культурного состояния к другому, преследует цель дискредитации окаменевшей нормы, не создавая длительной традиции (и потому не находя себе терминологического отражения в научном языке). В то же время эти преобразовательные правила вызывают к жизни не только литературные тексты, но и тексты поведения, что подтверждается логикой еретических движений, к примеру, стригольничеством.²⁴

Стригольники осуждали официальное духовенство за практику получения сана "по мзде", исходя из "представления о непосредственной связи человека с богом, осуществляемой через живую веру и молитву".²⁵ В этих требованиях нетрудно угадать тенденцию к отказу от фундаментального членения культурной среды на сакральную и мирскую области.²⁶

Опустошение смысловых объемов обеих областей сопровождалось снятием признаков, идентифицирующих сакральное в противовес мирскому: стригольники отвергали монашество (в качестве института, объединяющего тех, кто удалился от мира), не признавали исповеди и причастия (в качестве акций, которые совмещают верующего со служителями церкви и с телом господним) и т. п. В асимметричном отношении сакрального и мирского знаки менялись на противоположные - из осквернения священных действий, святых и почитаемых обычаев следовала сакрализация бытового поведения. Если принятие монашества отмечалось церемонией пострижения, то стригольники, напротив, проводили ее, оставаясь в миру. Место церковной исповеди заняла исповедь земле - отрицание ритуала повлекло за собой перевод природного объекта в ранг культурного, включение культуры в природу. Профанированию таинства евхаристии, что было оценено Стефаном Пермским как забвение заповедей Христовых, сопутствовал повышенный интерес новгородских еретиков к слову божьему в повседневной жизни (ср. еще высокую нравственность стригольников).

(3-4) *Контрапозитивная трансформация* придает смыслу внутреннюю противоречивость, отвечая за производство комических высказываний. В упоминавшейся статье автора о комическом было показано, что смех обуславливается проведением таких операций, как смещение (нейтрализация) взаимоисключающих объемов значений в одном объеме, разъединение совместных семантических признаков, переориентация направления в логическом выводе при одновременной переоценке участвующих в выводе величин (контрапозитивность комического высказывания по отношению к нейтральному смыслу).

Последней из всех возможных трансформаций будет та, которую уместно определить как *коверсионную* и которая, по предположению, ведет к образованию трагического модуса речи. В трагических текстах противопоставленные смысловые объемы разбиваются на пару новых подмножеств, причем подмножества каждой пары вступают в оппозицию друг с другом (*удвоение дизъюнкции*).²⁷ Внутри той и другой оппозиций вместе с установлением новых объемов значений происходит обмен содержанием значений (*перевешивание признака*). Соответственно вывод значений в смысловой цепи получает обратное направление (*коверсия*²⁸ *следования*).

Один из самых наглядных результатов такого смыслового процесса - библейский рассказ о грехопадении. Отправная для этого повествования антитеза сверхъестественное/человеческое удваивается по ходу действия за счет контрастных понятий бог/дьявол и мужское/женское.

Одновременно совершается перераспределение свойств между мужским и женским началами (не женщина, а мужчина несет в себе отторгаемую живую плоть) и изменяется направление в естественном течении событий (Ева происходит из ребра Адама²⁹); обе особенности ветхозаветного мифа не могут быть удовлетворительно объяснены ни с каких иных логических позиций, кроме принятых здесь. Таким же способом преобразуются (при сличении с семантической нормой) содержание и взаимоупорядоченность смыслов в первом противопоставлении. Не Творец, а библейский Змей, сопричастный природному царству, приобмает человека знанию (культуре). Бог изгоняет праотца человеческого рода из потустороннего мира, тогда как прямой порядок следования требовал бы, чтобы запределный мир служил местом пребывания человека после окончания его земной жизни.

Чтобы оттенить формальное своеобразие трагического, сравним теперь с рассказом о грехопадении смеховую перелицовку сцены у древа добра и зла в "Снискании и собрании о божестве и о твари и како созда бог человека" протопопы Аввакума.

Здесь Адам и Ева, вкусив запретных плодов, напиваются пьяными в полном несогласии с первоисточником: "... Адам же и Ева сшиста себе листвие смоковничное от древа, от него же вкусиста, и прикрывста срамоту свою и скрыстася под древо возлегоста. Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, голова кругом идет со здоровенных чаш".³⁰ Как видно, Аввакум стирает грань между представлениями о культуре и природе - акт познания становится амбивалентным, превращая человека в сугубо биологическое существо и вместе с тем открывая возможность для разрыва с "естественным" поведением. Общие свойства персонажей, одинаково ввергнутых дьяволом в грех, расщепляются - каждый спешит оправдать себя за счет другого (к тому же комический эффект усиливается расхождением между показаниями героев и автора): "Что Адам на Евву переводит? А сам где был? Чем было речи: 'Согреших, господи, прости мя', - ино стыдно молить так, - правится бедной: 'Жена, еже ми даде'. И господь рече ко Евве: 'Ева, что се творила еси?' Она же рече: 'Змия прельсти мя'. Кругом дело пошло: друг на друга переводят, а все заодно своровали. А змия говорит: 'Дьявол научил мя'. Бедные! Все правы, и виноватова нет".³¹ Из попытки человека приблизиться к божественной мудрости ("и вы будете яко божи"³²) вытекает прямо противоположный результат, который не только обращает предполагаемое развитие событий (низведение из рая - вместо восхождения к богу), но

и переоценивает содержание логического вывода (вместо открытия истины - опьянение).

2.

Итак, любое произведение словесного искусства имеет не только эмпирическую предысторию, зависящую от национальной специфики культурной эпохи и особенностей авторской биографии, но также логическую предысторию, которая определяет типовые черты художественной речи. Изучение логической предыстории литературных текстов начинается с обзора правил, формирующих и трансформирующих смыслопорождение, но не исчерпывается этим, поскольку разные совокупности преобразовательных операций вызывают к жизни разные комплексы мотивов, которые, в свою очередь, наделяются не совпадающими между собой коммуникативными функциями.³³ Попробуем очертить тематический и целевой диапазон трагических текстов.

Если признать, что отсчет смыслопорождения ведется от антитезы культура/природа (выступающей в качестве наиболее отвлеченной), то тогда удвоение этой дизъюнкции даст такие пары семантических классов, как своя культура / чужая культура и живая природа / неживая природа.³⁴ Следует учесть, что эти рассечения смыслов совершаются на уровне автокоммуникации, которая может быть обращена и на самого субъекта, и на другое "я".³⁵

В том случае, когда не происходит переноса речи на объект, противопоставление своей и чужой культур должно отразиться в теме *раздвоения личности между соперничающими ценностями* (вплоть до физического раздвоения в литературе романтизма и в постромантическом искусстве).³⁶ Ответвлениями этой темы будут, допустим, мотивы высокого происхождения низкого персонажа и масок,³⁷ которые мешают окружающим опознать подлинное лицо героя (в "Малой прокладной комедии об Иосифе" египетские купцы покупают Иосифа у вероломных братьев, выдавших его за раба); колебаний при выборе решения (ср. непоследовательное поведение Молодца из "Повести о Горе Злочастии"); прений между душой и бранным телом (как в анонимной поэме "Лествица к небеси"); тщетных притязаний и раздутой гордости (Байцет в "Темир-Аксаковом действе" и т.п.).

И наоборот: контраст между своим и чужим (истинным и ложным, праведным и неправедным), перемещенный в сферу другого "я", имеет результатом тему *трагического заблуждения героя*³⁸ (ср. в библейском примере воплощение дьявола в низшее животное). В памятниках XVII в.

такое прочтение темы было запечатлено прежде всего повестями об обманутых самозванством (показательно, что о похищении Борисом Годуновым царского престола в так называемом "Ином сказании" говорится: "И уподобися той Борис древней змии, иже прежде в раи прелести Евву и прадеда нашего Адама и лиши их пищи райския наслажати");³⁹ историческими о притворстве дьявола (Савва Грудцын соглашается поставить свое имя под "богоотметным рукописанием", предполагая, что встретил названного брата; героиня "Повести о бесноватой жене Соломонии" принимает пришедшего к ней на ложе сластолюбивого демона за вернувшегося из отлучки мужа); рассказами о ложном подозрении (в "Повести про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина" великий князь собирается казнить треста человек после смерти сына, хотя "люде же зряще, наипаче в недоумении быша, понеже никакия вины не ведуще");⁴⁰ изобличениями разного рода маскировок вплоть до мимического грима (ср. осуждение маски у Симеона Полоцкого: "Художничео дело во чести хранится, // а лице естественно не честно творится"⁴¹ и в "Пентатеугуме" Яна (Андрея) Белобоцкого: "Морщишь чело, дуешь губы, уши персты затыкаешь, // Косо смотришь, скрежешь зубы, лице назад отвращаешь. // Вскуе хари не збрасаешь, лице красишь, самолюбче, // Или удоб ты не знаешь, иже сице адской муце").⁴² Каждый из двух списков (как и все нижеследующие) было бы легко продолжить.

Ясно, что темы двойственности и заблуждений героев обладают с точки зрения прагматики предостерегающим характером (*превентивная функция* трагической речи) и как таковые способствуют утверждению ценности культурной нормы. Не случайно, разумеется, в "Повести о бесноватой .." одержимость героини мотивируется несоблюдением правил церковной обрядности (Соломонию крестил пьяный поп).⁴³

Разложение понятия о природе на взаимоисключающие составные части (живая природа / неживая природа) также дает два набора мотивов применительно к участникам трагически освещаемых событий. Если сформированное таким образом противопоставление будет замкнуто на субъекте трагического сюжета, то оно отпечатается в теме *самоумерщвления плоти*, коль скоро здесь сводятся вместе обе биологические стороны человека. В эту смысловую область входят подвижнические самоограничения (вроде добровольного пострижения, о котором рассказывает "Житие боярыни Морозовой") и страдания, в том числе воинские ("Повесть об Азовском осадном сидении"); самоубийства,⁴⁴ смиренные отказы от противления злу ("лучше биену быти, а не бити", - сочувственно цитирует Иван Хворостинин слова прелодобного Ануфрия Великого);⁴⁵ муче-

ничества, повторяющие крестный путь (ср. о жертвенной стойкости старообрядцев в "Беседе о кресте к неподобным" Аввакума: "Как поимают раба тово Христова, так так же возятя над ним, якоже и над Христом: от Анны к Каифе, от Каифы в претор .. Меня ведь и самово так волочили ..").⁴⁶ Сюда же надлежит отнести изображения таких человеческих страстей (накопительство⁴⁷ и пр.), которые требуют отказа от жизненных благ и от удовлетворения желаний плоти (см. хотя бы стихотворную притчу Симеона Полоцкого "Калифа вавилонск царь .." из цикла "Скупость"). В текстах поведения разбираемые сейчас мотивы реализовались и как отступления от нормы (изуверский аскетизм "лесных братьев" середины XVII в., исповедовавших во главе с Капитоном духовное спасение самоубийством)⁴⁸ и внутри самой нормы. Под этим углом зрения о христианском календарном цикле целесообразно думать как о строго регламентированной комбинации текстов поведения, окрашенных либо нейтрально (практическая жизнь), либо комически (масленичный, пасхальный, святочный смех), либо трагически (пост).

Альтернативой описанного смыслового комплекса служит тема *насильственного умерщвления плоти*⁴⁹ (преждевременная гибель героя, отторжение неотчуждаемой собственности, бедствия нации, если действие переживается не отдельным лицом, а всей этнической группой, и т.п.) Подобно мотивам самопожертвования и аскетизма, различные версии этой темы подавались литературой XVII в., вслед за средневековой словесностью, с архетипической позиции. В "Повести о начале царствующего града Москвы" сыновья боярина Кучки лишают жизни князя Данилу Суздальского, повторяя, по мысли автора, преступление окаянного Святополка; в другом рассказе о насильственной смерти погребение воеводы Скопина-Шуйского изображается по аналогии с похоронами Алексея Человека Божия. Отсылка к архетипу бывала не только явной, но и зашифрованной: не исключено, что имя мучимой водяной нечистью Соломонии в "Повести о бесноватой .." должно было исподволь напоминать о связи "царя Соломана" с водяными демонами, известной по апокрифическому "Сказанию о Царевне".

Если семейства смыслов, сопряженные антитезе своя культура / чужая культура, предостерегают читателя от ложного шага, знакомя с гранью между положительными и отрицательными решениями, то мотивы, раскрывающие противопоставление живого и неживого (ср. понятие пафоса у Аристотеля и Н. Фрай),⁵⁰ преследуют цель указать на такие поступки, которые считаются запретными (*табуирующая функция* трагической речи). В зависимости от того, какие ценности - земные или поту-

сторонние, сегодняшние или завтрашние - признаются более весомыми, запрету могут подвергаться и потачки плотским желаниям и насилия над плотью. Но как бы ни трактовалось предписание, которое несет в себе трагический текст, оно неминуемо основывается на конфликте между действиями, поддерживающими и укорачивающими человеческую жизнь (пусть даже в их непрямом выражении: ср. в Ветхом Завете запрет бога *вкушать*⁵¹ от древа познания). Предостерегая и запрещая, памятники трагического искусства упорядочивают правила поведения и потому обычно ставятся нормативными поэтиками, отзывавшимися на стремление культуры к стабильности, на заведомо более высокую ступень, нежели остальные формы художественной речи.⁵²

Перейдем теперь к истолкованию той логической процедуры, которая была названа перевешиванием признака. На этом структурном уровне трагической речи контраст между семантикой своего и чужого усложняется и будут образованы новые взаимодополняющие темы. Первая из них - *устранение трагического персонажа из круга положительных культурных ценностей* (свое как чужое), причем такое устранение может случиться и по вине самого героя и ввиду козней антагониста. Вторая - *ошибочное включение или злонамеренное вторжение отрицательного персонажа в мир культуры* (чужое как свое).⁵³

Трагедия отчуждения особенно хорошо прослеживается в памятниках старообрядческой литературы, в первую очередь, конечно, в "Житии" Аввакума и, вообще говоря, способна обнаруживать себя, если даже ограничиваться XVII в., в пределах обширного смыслового репертуара (изгнание, ссылка, пленение, отлучение от церкви, предание бойкоту, продажа в рабство, как в пьесе об Иосифе Прекрасном, отрыв от семьи, как в "Комедии притчи о блудном сыне" Симеона Полоцкого или в "Повести о Горе Злочастия"). Перечисленные смыслы часто переплетаются друг с другом. Так, метафорическое сопоставление изгнания из церкви с отрывом от семьи находим у Авраама Палицына: "... Сего убо митрополита Филарета, исторгше силою, яко от пазуху матернюю, от церкви Божия, и ведуще путем нага и боса ..".⁵⁴ Наличие подобных текстовых эквивалентностей дает объективный критерий для подтверждения родственных связей между мотивами, которые, по предположению, должны размещаться под одной тематической шапкой.

Становится понятным, почему трагедия, коль скоро она бывает сосредоточена на изображении персонажей, выпадающих из сети социальных отношений, так охотно повествует о лицах, которые занимают уникальное место в общественной иерархии и истории (правители, вожди,

культурные герои). Столь же часто, впрочем, трагедия рассказывает о коллизиях, обусловленных промежуточным положением человека по отношению к социальным классам и сословиям.

Другую совокупность смыслов составляют мотивы, которые рисуют, к примеру, пакт с дьяволом, следующий из притворства нечистой силы; чужеземное иго; захват власти после присвоения царского имени (царских регалий, имущества). Стоит напомнить, что еще В. Вальденберг различал два способа осмысления тиранства в русской литературе XVII в. Тиран рассматривался здесь как такой правитель, который либо не опирался на общественный договор (то есть отступал от культурной традиции), либо приобретал свой социальный статус незаконным путем (то есть проникал извне на вершину государственного устройства).⁵⁵

Таким образом, трагическое направляет внимание читателя на некое противоречие внутри общественной структуры,⁵⁶ которое возникает благодаря тому, что из нее удалены неисключаемые элементы или же, напротив, в результате привнесения туда чужеродного начала. И то и другое совершается лишь при таких обстоятельствах, когда культура приводит в действие механизм социального забывания, теряет память о своем прошлом.⁵⁷ Вот почему трагически окрашенное искусство не просто предостерегает отдельного члена общества от неверного выбора, но и настаивает на том, что ложное решение объясняется зачеркиванием социального опыта. Отсюда же одна функция трагической речи состоит в том, чтобы прервать процесс социального забывания.

Обмен содержанием значений, происходящий между представлениями о живом и неживом, определяет те смысловые особенности трагической речи, которые кажутся загадочными. Только учитывая эту операцию, можно понять, почему трагедия с таким постоянством возвращается к мотивам, описывающим посещение мертвыми людского мира (будь то статуя Командора, тень отца Гамлета или предки-помощники в посвятительной церемонии и в соответствующих таковой текстах).⁵⁸ Подобные мотивы появляются как раз по той причине, что неживому атрибутируются противоположные свойства, и входят в качестве слагаемого в трагическую тему *ожившего (оживляемого) прошлого*, вторжения из небытия в бытие.⁵⁹ - одну из самых распространенных в поэзии и прозе XVII в. Достаточно сослаться хотя бы с одной стороны на образы Страшного суда в "Пентатеугуме", в "Лестнице к небеси", в стихах Симеона Полоцкого и "Виршах на Апокалипсис" Ивана Величковского,⁶⁰ а с другой - на тексты поведения этой эпохи, строившиеся подчас как ожидание апокалиптических пророчеств.

Процедура перевешивания признака открывает возможность и для передачи качеств неживого миру живых. На этом сюжетном пути трагические тексты будут демонстрировать зависимость героя в настоящем от минувших и (или) грядущих событий, связанных с влиянием природных сил, иначе говоря, будут повествовать о судьбе (роке) отдельных лиц, семьи, общества, нации, в том числе и о границах самовольного распоряжения своей судьбой.⁶¹ Писатели XVII в. развивали тему судьбы и в ее общепринятых формах (мотивы исполненных предсказаний, провидческих снов, родовых проклятий), и в версиях, показательных для стиля барокко, к которым можно было бы причислить, скажем, сетования на фатальную скоротечность времени и изображение смерти при жизни как достоверного факта. Подобного рода смерть посылается за прогрешения монаху из "Повести" Никодима типикариси: "И внезапно яко врата растворишася и яко за руку ять мене некто, и исторгнув из врат вне, и паки врата затворишася. И обретохся негде, яко на зеленой траве стоя. А тело свое зрю на земли лежащо предо мною".⁶² (Ср. метафорическое преломление этого мотива во "Временнике" дьяка Ивана Тимофеева: по словам автора, Лжедмитрий с присными пребывал "во плоти . . . яко в гробнице",⁶³ жил "мертвою жизнью";⁶⁴ в метонимическом перевоплощении мотив смерти при жизни может развертываться в рассказ о потере родителями детей.⁶⁵) Существенно заметить, что тема зависимости героя от прошлого приближает нас к выявлению тех обстоятельств, в силу которых мученичества в трагедии (в противовес комическим смертям), как правило, имеют родословную, возрождают реальные или мифологические сцены, наделенные архетипическим смыслом.

Обращаясь к темам рока и живого прошлого, трагическая речь становится речью о происхождении и истории отображаемой действительности.⁶⁶ Произведение трагического искусства, предостерегая от забвения норм, утвержденных коллективной практикой, вместе с тем оказывается хранилищем социального опыта, выполняет *мнемоническую функцию* в системе социального общения. Именно этим мотивировал Симеон Полоцкий выбор драматической формы для изложения притчи о блудном сыне в прологе к своей "Комедии": "Благодарнии, благочестивии, // государие премилостивии! // Не тако слово в памяти держиться, // яко же аще что делом явится".⁶⁷

Конверсия следования - последняя из трех операций, образующих трагический смысл, - подытоживает тему отпадения от положительных ценностей таким финалом, который *эквив* включает отверженного в культуру или *восстанавливает подлинный облик героя*.⁶⁸ Тягущие под маской сбра-

сылают ее, изгнанные возвращаются, плененные обретают свободу, гонимых судьбой принимает монастырь подобно тому, как это происходит в заключительных сценах повестей "О Горе Злочастии" и "О Тверском отроке монастыре",⁶⁹ отчужденные от общества находят заступничество в лице Богородицы ("Повесть о Савве Грудцыне") или вступают под покровительство святого ("Повесть о бесноватой ..").

С другой стороны, направленность действия изменяется и в таких ситуациях, когда трагедия прослеживает за тем, как зло просачивается в мир добра. Исход трагического сюжета совпадает здесь с темой *разоблачения и наказания отрицательного персонажа*,⁷⁰ куда входят, среди прочих, мотивы мук совести, виновности, искупления грехов и раскаяния заблудших (как, например, в драме Симеона Полоцкого "О Навходоносоре царе ..").

Как нетрудно заключить из этих выкладок, трагедия тяготеет к тому, чтобы после указания на опасность социального хаоса, реставрировать временно утраченную упорядоченность культурной среды,⁷¹ заново сплотить коллектив. Именно эта цель обязывает трагедию апеллировать к общественному мнению, носителем которого может быть групповой персонаж (хор), незаинтересованный в происходящем резонер,⁷² повествователь, сам автор или, наконец, пользующийся престижем герой (например, старец в "Повести о Савве Грудцыне", пытающийся убедить обманутого юношу освободиться от бесовского наваждения). Трагедия предупреждает читательскую реакцию.⁷³ В конечном счете трагическое искусство обращается к читателю как к члену неделимого в норме социального целого (*интегрирующая функция* трагической речи).

Остается сказать о том, к какой развязке ведут захваченные конверсией темы живого прошлого и рокового стечения обстоятельств.

Первая из них оборачивается темой *возмездия*, наносимого обидчику восставшей из гроба жертвой, провидением или героем-мстителем, который обычно связан с жертвой узами родства. Так, в уже упоминавшейся "Повести о начале царствующего града Москвы" за убийство суздальского правителя мстит брат, княживший во Владимире. Но возмездие нередко бывает и редуцированным. В истории об отравлении Скопина-Шуйского мотив кары отсутствует - вместо этого живое прошлое символизирует некий девятистолетний старец, который лишь раскрывает, опираясь на видение одного из горожан, тайну убийства воеводы. Ср. также символическую замену возмездия в "Повести про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина", где несправедливая экзекуция останавливается после того, как в конвульсиях временно оживает труп казненного купца. Два

последних случаях разумно осмыслить как компромисс между внутренней логикой трагического и сопротивляющимся ей историческим метариалом.

Конверсией трагического рока (то есть судьбы, направляющей героя к неизбежному концу), явится тема *регенерации*.⁷⁴ Возрождение мертвого человека к новому существованию бывает представлено в трагедии, как и предыдущая тема, в прямом варианте (скажем, спасение сжигаемых отроков в драме "О Навходоносоре царе ..") и косвенно (чудеса, творимые святым после смерти; почести, воздаваемые погибшему герою благодарной нацией или родом; освобождение из царства Сатаны - разновидность хождения по загробному миру; всевозможные метонимические подмены временной смерти, например, выздоровление увечных, выразительно описанное Аввакумом в том месте "Жития", где приговоренные к отрезанию языка старообрядцы чудом обретают дар слова).

Устрашая возмездием за преступление и отрицая конечность человеческого бытия, трагедия умиротворяет в адресате инстинкт разрушения и одновременно освобождает сознание от страха смерти. Эту функцию трагических текстов удобно определить как *компенсирующую*. По всей вероятности, аристотелевский катарсис позволительно рассматривать в качестве родового имени для обеих конечных целей трагедии - интегрирующей и компенсирующей.⁷⁵

Первоочередной вывод, который требуется сделать из всей совокупности выдвинутых положений, состоит в том, что в соответствии с ними трагическое оказывается категорией с гораздо большим объемом, чем принято думать, и охватывает значительное количество произведений, в силу традиции не зачислявшихся в этот класс. Читателю будет несложно убедиться, что сюда относится, например, волшебная сказка - во всяком случае в том ее виде, который изучал В. Я. Пропп и его последователи. Но, разумеется, произведения словесного искусства, которые подчиняются обсуждавшейся схеме, неодинаково реализуют ее. Эта модель отражает лишь постоянно существующие возможности трагедии, не предсказывая того, как они будут воплотиться на тех или иных этапах эволюции культуры.

В то же время хотелось бы надеяться, что предлагаемая модель позволяет наметить путь к переходу от теоретического к теоретико-историческому освещению трагедии. Как было показано, на каждом шаге порождения трагического смысла сознание сталкивается по меньшей мере с двумя функционально-тематическими комплексами,⁷⁶ сопричастными двум центральным оппозициям трагедии: своя культура / чужая культура и живая природа / неживая природа. Между параллельно формирующимися темами

могут возникать различные отношения, и, вероятно, каждая стадия культурных изменений будет характеризоваться особым типом отношений, связывающих эти компоненты.⁷⁷ Слагаемые трагического смысла способны объединяться между собой, выступать изолированно, сопрягаться друг с другом через промежуточное звено (так называемая медиация) и т.п.,⁷⁸ короче говоря, подвергаться *ретрансформации*. Однако выяснение природы ретрансформации выходит за пределы этой статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. И.П.СМИРНОВ, Древнерусский смех и логика комического. - В сб.: Текстология и поэтика русской литературы XI-XVII веков (= Труды Отдела древнерусской литературы, т. XXXII), Л., 1977, с. 305-318.
2. Ср. аналогичные замечания А.Ж.Греймаса о сюжетостроении: A.J. GREIMAS, Narrative Grammar: Units and Levels. - MLN. Comparative Literature, 1971, vol. 86, No. 6, p. 793.
3. Между тем большинство исследований последних десятилетий (особенно с экзистенциалистской окраской) было сосредоточено как раз на тех уникальных особенностях трагического взгляда на реальность, которые господствовали на разных отрезках культурной истории. Ср.: "Не может быть сделано никакого настолько всеохватывающего определения трагедии или трагического видения, чтобы вместить в себя все объекты, которые могут возникнуть" (Charles J. GLICKSBERG, The Tragic Vision in Twentieth-century Literature. Illinois University Press, 1965, p. XIII).
4. Д.С.ЛИХАЧЕВ, Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 171 и след.
5. См., например: Г.В.ДОРОФЕЕВ, Ю.С.МАРТЕМЬЯНОВ, Логический вывод и выявление связей между предложениями в тексте. - В сб.: Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 12, М., 1969. Логический вывод, однако, создает лишь своего рода прообраз связного текста. О других способах линейного упорядочения текстов на разных уровнях см.: С.И.ГИНДИН, Онтологическое единство текста и виды внутритекстовой организации. - В сб.: Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 14, М., 1971.
6. Ср. известные выводы Л.С.Выготского о внутренней речи, которой присущи редукция синтаксиса и "овеществление" лексических значений: Л.С.ВЫГОТСКИЙ, Мышление и речь. - В его кн.: Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 337, 372-374.
7. См. подробнее: Ю.И.ЛЕВИН, Лирика с коммуникативной точки зрения. - В кн.: Structure of Texts and Semiotics of Culture. The Hague - Paris, 1973, p. 178. Отсюда понятны аналогии, проводимые в последнее время между внутренней речью и лирической поэзией. См., например: Ежи ФАРИНО, Некоторые вопросы теории поэтического языка (Язык как моделирующая система. Поэтический язык Цветаевой). - В кн.: Semiotyka i struktura tekstu. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, 1973, s. 161.

8. Судя по некоторым исследованиям, драматические формы могут быть свернуты к формам элементарных социальных взаимо- и противодействий, в частности, как показывает разбор трагедии Корнелия "Цинна", к обмену дарами, см. Jacques EHRMANN, Structures of Exchange in *Cinna*. - В сб.: Introduction to Structuralism, ed. by M. Lane. New York, 1970 (первая публикация в: Les Temps modernes, 1966, No. 246). И наоборот: сами социальные акции стремятся подражать драматическому искусству, превращаясь в ритуал. Интересно отметить в этой связи, что анализ драматических произведений допускает применение социометрических моделей: Феликс фон КУБЕ, Драма как объект исследования кибернетики. - В сб.: Семиотика и искусствознание. М., 1972.
9. Поэтому, собственно, и является возможность конкурирующих сценических прочтений одной и той же пьесы.
10. В. ВОЛОШИНОВ (М.М. БАХТИН), Слово в жизни и слово в поэзии. - Звезда, 1926, № 6, с. 257. Ср. о разнице естественных и искусственных нарративов: Teun A. van DIJK, Action, Action Description, and Narrative. - New Literary History. A Journal of Theory and Interpretation, 1975, vol. VII, No. 2, p. 288 (специальный выпуск, посвященный теории повествования).
11. Ср. Ю.С. НЕКЛУДОВ, Чудо в бытине. - В сб.: Труды по знаковым системам, вып. 4, Тарту, 1969, с. 156-158.
12. С этой точки зрения становится логически мотивированным наблюдение, сделанное на материале повествовательных текстов Ю.К. Щегловым: "Обстоятельства первого появления персонажа на страницах литературного произведения часто бывают символическими, заключая в себе более или менее зашифрованную формулу его характера и всего дальнейшего поведения" (Ю.К. ЩЕГЛОВ, Семиотический анализ одного типа юмора. - В сб.: Семиотика и информатика, вып. 6. Грамматические и семантические проблемы. М., 1975, с. 189-190).
13. Ср.: Т.И. СИЛЬМАН, Лирический текст и вопросы актуального членения. - Вопросы языкознания, 1974, № 6, с. 93-94.
14. Ср. о "плеонастичности" лирики: Б.А. ЛАРИН, О лирике как разновидности художественной речи (Семантические этюды). - В его кн.: Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974, с. 85.
15. Вместе с тем сопоставление прозаических произведений, написанных от лица автора и от лица героя (была взята пушкинская проза), показало, что в первых более высока вероятность появления ритмичности. См. об этом: М.А. КРАСНОПЕРОВА, Замечания по поводу гипотезы о независимости ритмических структур в художественном тексте. - В сб.: Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, ч. I, М., 1975, с. 119-122.
16. См. хотя бы разборы стихотворных текстов в: R. JAKOBSON, Question de Poétique. Paris, 1973.
17. Вот формулировка Цв. Тодорова: "Поэзия основывается по существу на симметрии, на повторе (на пространственном порядке), тогда как художественная проза держится на отношении причинности (логический порядок) и последовательности (темпоральный порядок)" (Tzvetan TODOROV, Poétique de la Prose. Paris, 1971, p. 144). Одним из первых эту же мысль высказал (в неразвернутом виде) В.Б. Шкловский: В. ШКЛОВСКИЙ, Поэзия и проза в кинематографе. - В сб.: Поэтика кино. М.-Л., 1927, с. 141.
18. "Специфику поэтической семиотики определяет постулат о корреляции плана выражения и плана содержания .." (A.J. GREIMAS, Pour une

théorie du discours poétique. - Essais de sémiotique poétique, par A.J.Greimas, Paris, 1972, p. 7).

19. О трудностях, сопутствующих "замкнутому" анализу лирического текста, см. подробнее: Ю.И.ЛЕВИН, Семантический анализ стихотворения. - В сб.: Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. Шадринск, 1971, с. 14-15.
20. Ср.: "В условиях внутренней речи ... необходимо должен возникнуть ..внутренний диалект .. Словесные значения во внутренней речи являются всегда идиомами, не переводимыми на язык внешней речи" (Л. С.ВЫГОТСКИЙ, Мышление и речь, с. 374).
21. Лирическое сообщение сходно с типом высказывания, разобранным Дж. М.Липски ("Henry teaches at Yale" и т.п.): "Здесь заключение, которое может быть получено, является функцией индивидуального знания о мире каждого слушающего .. Только слово teach благодаря его имплицативным свойствам допускает прямой вывод приблизительно такого предложения ..: "Yale is an Institution of learning" (John LIPSKI, A Topology of Semantic Dependence. - Semiotica, 1974, vol. XII-2, pp. 154-155).
22. Б.А.ЛАРИН, О лирике .., с. 100. Ср. о комплексном характере значений в поэтической лексике: В.В.ИВАНОВ, Некоторые проблемы современной лингвистики. - Народы Азии и Африки, 1963, № 4.
23. Подобные преобразования обычны и в процессе повседневного общения, но, естественно, без вторичной актуализации правил, формирующих смысл.
24. Н.А.КАЗАКОВА и Я.С.ЛУРЬЕ, Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - начала XVI века. М.-Л., 1955, с. 43 и след.; Приложение, с. 232 и след.
25. Там же, с. 52.
26. Ересью может считаться и выколачивание понятий о своей и чужой культурах: ср. воспринятое как еретическое пророчество Квирина Кульмана о грядущих войнах христианства с мусульманством, из которых должна была вырасти новая универсальная религия (Дм.ЦВЕТАЕВ, Памятники к истории протестантизма в России, ч. I. - ЧОИДР, 1883, т. III, с. 119; А.М.ПАНЧЕНКО, Квирина Кульман и "чешские братья". - ТОДРЛ, т. XIX, М.-Л., 1963, с. 334 и след.).
27. Ср. наблюдение Вяч. Иванова относительно трагического бытия, которое, согласно проницательному поэту, "... должно изначально таить в себе некую двойственность - не как противоречие внутри себя, но как внутреннюю полноту .." (Вяч.ИВАНОВ, О существе трагедии. - В его кн.: Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М., изво "Мусагет", 1916, с. 240).
28. Этот термин прилагал к материалу трагической драмы и Люсьен Гольдмани; исследователь, однако, не вкладывал в понятие конверсии, заимствованное им из теологии ясенязма, логического содержания (Lucien GOLDMANN, Structure de la tragédie Racinienne. - Le Théâtre tragique, éd. par Jean Jacquot, Paris, 1962, p. 257).
29. О средневековом усвоении этого представления, в частности, у св. Августина, см. подробнее: Joan M. FERRANTE, Women as Image in Medieval Literature. From the Twelfth Century to Dante. New York and London, 1975, p. 30 et sqq.
30. Пустозерский сборник. Автографы сочинения Аввакума и Епифания. Л., 1976, с. 104.
31. Там же, с. 104-105.

32. Там же, с. 103.
33. Ср.: "Установление .. правил перехода от одного жанра к другому .. несомненно выдвигает перед исследователями задачу кросс-жанрового анализа, понимаемую как определение жанровых структур (трансформов), передающих заданное содержание. Можно надеяться, что в идеале такие анализы могут строиться как исчисления .." (В.Н.ТОПОРОВ, К проблеме жанров в фольклоре. - В сб.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, вып. I (5), Тарту, 1974, с. 13). Что касается семантики трагического, то мысль об исчислении ее разновидностей была отчетливо сформулирована еще Шиллером в знаменитой статье "О причине наслаждения, доставляемого трагическими предметами".
34. В отношении этих пар ср. предположение М.Андерсона о том, что трагедия выражает собой духовное пробуждение героя в борьбе с трансцендентным биологическим началом: Maxwell ANDERSON, The Essence of Tragedy. Washington, 1939, pass.
35. Откуда, кстати, имеют хождение два типа лирических текстов, которые Ю.М.Левин называет "эготивными" и "апеллятивными" (Ю.И.ЛЕВИЙ, Лирика с коммуникативной точки зрения, с. 183).
36. Двойственность трагического героя была преувеличенно оценена А.Ф.Юсеевым в качестве единственного источника трагедии: ".. Идея уничтожает себя в образе, чтобы утвердить себя этим уничтожением .. Это и есть трагическое .. Подлинная значимость идеи (например, благородная личность Эдипа) уничтожается в своем фактическом осуществлении (например, его жизнь и преступления), так что жалевшее быть великим стало малым .." (А.Ф.ЮСЕВ, Диалектика художественной формы. М., 1927, с. 115).
37. Ср. о маске как об инструменте изоляции ее носителя от данной культурной среды: В.Л.ОГИБЕНИН, Маска в свете функционального подхода. - Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, с. 56 и след.
38. Ср. понятие трагической ошибки у Шеллинга.
39. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 3-е изд., Л., 1925, стлб. 3.
40. Д.Н.АЛЬШИЦ, Древнерусская повесть про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина. - ТОДРЛ, т. XVII, М.-Л., 1961, с. 256.
41. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ, Избранные произведения. М.-Л., 1953, с. 21.
42. Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. Л., 1970, с. 222.
43. О том же см.: М.О.СКРИПИЛЬ, Повесть о Соломоник. - В сб.: Старинная русская повесть. Статьи и исследования. М.-Л., 1941, с. 210.
44. О месте самоубийства в западной драматургии XVII в. см.: Clifford LERCH, Le dénouement par le suicide dans la tragédie élisabéthaine et jacobéenne. - Le théâtre tragique, Paris, 1962.
45. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стлб. 556.
46. Н.С.ДЕМКОВА, Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. - ТОДРЛ, т. XXI, М.-Л., 1965, с. 224.
47. Древнерусские взгляды на богатство обсуждаются в: В.П.АДРИАНОВА-ПЕРЕТЕЦ, К вопросу о круге чтения древнерусского писателя. - ТОДРЛ, т. XXVIII, Л., 1974, с. 14-16. Ср: А.Я.ГУРЕВИЧ, Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 217 и след. О накопительстве как о трагической теме новой литературы см.: А.Л.ВЕМ, Чужая беда в твор-

- честве Достоевского. - O Dostojevském. Sborník statí a materiálů. Praha, 1972, p. 225 et seq.
48. С.А.ЗЕНЬКОВСКИЙ, Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. München, 1970, с. 144 и след., 271 и след.
 49. Нужно подчеркнуть, что трагическая смерть (в отличие от комической) выступает в виде жертвенной (Gilbert MURRAY, Aeschylus. The Creator of Tragedy. Oxford, 1940, p. 4).
 50. Northrop FRYE, Anatomy of Criticism. Four Essays. New Jersey, 1957 ("Tragic Fictional Modes").
 51. О метафорическом равенстве еды и жизни в архаической традиции см.: О.ФРЕЙДЕНБЕРГ, Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы. Л., 1936, с. 59 и след.
 52. Сумму оценочных определений трагического, начиная с аристотелевского, см. в: Clayton KOELB, "Tragedy" as an Evaluation Term. - Comparative Literature Studies (Urbana), 1974, vol. XI, No. 1.
 53. Применительно к обеим темам ср. о перипетии у Аристотеля.
 54. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стлб. 513.
 55. В.ВАЛЬДЕНБЕРГ, Понятие о тиране в древнерусской литературе в сравнении с западной. - Известия по русскому языку и словесности, 1929, т. II, кн. I, с. 223.
 56. Ср.: В.Н.ЯРХО, Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского человека. - Вестник древней истории, 1963, № 2, с. 64.
 57. "Трагическое видение, продукт кризиса и шока, является самовыражением человека только в чрезвычайной ситуации и никогда - в нормальной или рутинной ситуации" (Murray KRIEGER, The Tragic Vision. Variations on a Theme in Literary Interpretation. Chicago and London, 1966, p. 20).
 58. Поскольку трагедия использует факты, не поддающиеся рациональному постижению, постольку загадочность как бы записывается в структуру трагических текстов, на что обратил внимание еще Л.С.Выготский в разборе "Гамлета": Л.С.ВЫГОТСКИЙ, Психология искусства, изд. 2-е, М., 1968, с. 211.
 59. В связи с темой насильственного умерщвления плоти ср. материалы о так называемых злых покойниках: люди, умершие неестественно и преждевременно, мыслились в архаической традиции как опасные для живых (Д.К.ЗЕЛЕНИН, Очерки русской мифологии, вып. I. Умершие неестественной смертью и русалки. Пг., 1916, pass.).
 60. В этом пункте, как и во многих других, XVII в. перекликается с началом XX в.: о роли Апокалипсиса в художественной культуре русского символизма см. первую главу в кн.: Samuel CIORAN, The Apocalyptic Symbolism of Andrej Belyj. The Hague - Paris, 1973.
 61. Об идее личной судьбы в словесном искусстве XVII в. см. подробнее: Д.С.ЛИКАЧЕВ, Семнадцатый век в русской литературе. - В сб.: XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 307 и след.
 62. О.А.БЕЛОБРОВА, "Повесть душеполезна" Никодима типикариси соловецкого о некоем брате. - ТОДРЛ, т. XXI, М.-Л., 1965, с. 208.
 63. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стлб. 373.
 64. Там же, стлб. 374. Аналогии см. в "Пентатеугуме". Сравнения, к ко-

торым прибегает дьяк Иван Тимофеев, переворачивают смысл по-своему трагического поведения Лжедмитрия, выдававшего умершего за здравствующего царевича.

65. Ср. в "Житии боярыни Морозовой" плач по утраченному сыну. О метонимических языковых обозначениях отношения матери и ребенка см.: Theodore THASS-THIENEMANN, *The Subconscious Language*. New York, 1967, pp. 16-17. Н.Фрай рискнул даже рассматривать ^{о. п. п. л.} женщину и дитя в качестве центральных фигур, служащих для создания трагического пафоса: Northrop FRYE, *Anatomy of Criticism*, p. 38.
66. Ср. в исходном примере создание первого человека из неживой матери.
67. Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972, с. 138.
68. Понятие конверсии трагического действия выглядит, таким образом, более гибким, нежели традиционное представление о катастрофе как о необходимой для трагедии сюжетной фазе. Трагические тексты отнюдь не всегда сводятся к краху героя; ср.: "...Всякое реалистическое понимание трагической драмы должно исходить из факта катастрофы. Трагедия кончается плохо. Трагического персонажа ломают силы, которые не могут быть ни полностью поняты, ни преодолены с помощью рациональной осмотрительности. Это и является решающим" (George STEINER, *The Death of Tragedy*. London, 1961, p. 8), откуда автор делает вывод о падении трагедии, начиная с романтической литературы, в которой "преступление ведет не к наказанию, а к раскаянию" (p. 127). Между прочим, в приложении к детективному жанру конверсия объясняет неизбежное для подобных трагедий, приспособленных к нуждам массовой культуры, сюжетное движение от конца (загадочного преступления) к началу (раскрытию тайны); ср. также выше о записываемой в трагедию загадочности.
69. По поводу "Повести о Тверском отрочем монастыре" ср.: "... Такой тип трагедии, в котором разрешаются все противоречия, стоит уже на границе идиллии" (В.М.ЭЙХЕНБАУМ, *Трагедия Шиллера в свете его теории трагического*. - В его кн.: *Сквозь литературу*, Л., "Academia", 1924, с. 93).
70. В аристотелевской теории трагедии восстановление настоящего облика героя и разоблачение антагониста нерасчлененно обозначены термином "узнавание" (*ἀναγνώρισις*).
71. Ср.: В.ВОЛЬКЕНШТЕЙН, *Опыт современной эстетики*. М.-Л., "Academia", 1931, с. 174-175; Raymond WILLIAMS, *Modern Tragedy*. Stanford University Press, 1965, p. 63 et seq. Ср. социо-этический взгляд на выдвинутое Ницше разграничение "аполлонистических" и "дионисийских" элементов в структуре трагедии: "Аполлонистическое начало .. есть то, благодаря чему мы .. познаем ценность .. сдержанности и самоконтроля, тогда как дионисийское начало поддерживает в нас стремление к самовыражению, свободе и праву на такую жизнь, какую мы сами пожелаем .. Именно аполлонистический инстинкт представляет собой основание всякой морали, в то время как дионисийский импульс, в сущности, аморален .. По отношению к аполлонистическим ценностям дионисийские являются бунтом, преступлением, анархией, гедонизмом" (Robert F. WHITMAN, *The Moral Paradox of Webster's Tragedy*. - *Publications of the Modern Language Association of America*, 1975, vol. 90, No. 5, p. 898); о столкновении между "этическим" и "демоническим" в трагедии см. также: Murray KRIEGER, *The Tragic Vision*, p. 18. Похоже, впрочем, что сам Ницше, вразрез с его интерпретаторами, заполнял антитезу Аполлон/Дионис более сложным смыслом, связывая ее сразу с обоими основополагающими для трагедии противо-

поставлениями своя культура / чужая культура и живая природа / неживая природа. Но судить об этом приходится только по косвенным данным, так как термины, использованные в "Происхождении трагедии", слишком синкретичны, заметно уступая более определенным (хотя также комплексным) понятиям аристотелевской "Поэтики".

72. О положении наперсника в трагическом сюжете см.: Г.ГУКОВСКИЙ, О сумароковской трагедии. - Поэтика, вып. I, Л., 1926, с. 71.
73. Ср. в "Философии искусства" Шеллинга замечание о хоре как о таком средстве, которое вовлекает в границы трагедии рефлексию зрителя, замыкает действие на самом себе, и аналогичный (но с упором на драматическую технику) подход к хору в предисловии Шиллера к "Мессинской невесте".
74. Эта тема абсолютизируется как главный сюжетный стержень трагедии в: Maud BODKIN, Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of Imagination. 3-d ed., London, 1965.
75. Новейшую сводку взглядов на катарсис см.: Leon GOLDEN, Aristotle, Frye, and the Theory of Tragedy. - Comparative Literature, 1975, vol. XXVII, No. 1, p. 48 et sqq.
76. Стоит напомнить, что еще Лессинг настаивал в "Гамбургской драматургии" на внутренней неоднородности трагедии, складывающейся, по его мнению, из частей с противоположными свойствами.
77. Ср. аналогичный диахронический подход в: Julia KRISTEVA, Le texte du roman. Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle. The Hague - Paris, 1970, p. 34 et sqq.
78. Соответственно, эти процессы запечатлеваются и в сменяющих друг друга теориях трагедии, то сводящих воедино, то абсолютизирующих, как отмечалось выше, те величины, из которых образуется структура трагического текста.

Юрия К. ШЕГЛОВ (Москва)

ЧЕРТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА АХМАТОВОЙ

Говоря об описании поэтического мира какого-либо художника слова, мы имеем в виду задачу "внутренней реконструкции" наиболее общих и глубинных семантических фигур, или величин (тем), лежащих в основе всех его текстов, и демонстрацию соответствия между темами и конструктами более поверхностного уровня - инвариантными мотивами*, каждый из которых, в свою очередь, реализуется множеством конкретных фрагментов текста. Главным эвристическим приемом выявления инвариантных мотивов и тем является сопоставление различных текстов одного автора с целью обнаружения в них общих черт смыслового, сюжетно-ситуативного, лексического и т.п. планов. По мере внимательного изучения, или "медленного чтения", всего корпуса текстов автора эти сходства оказываются гораздо более многочисленными и разветвленными, чем может представиться обычному читательскому взгляду. На правомерность такого подхода к ее собственной поэзии А.А.Ахматова указывала в 1940 г.: "Чтобы добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта - в них и таится личность автора и дух его поэзии" (цит. по: Тименчик, Топоров, Цивьян 1978:223).

Применить эту рекомендацию к изучению творчества Ахматовой кажется более чем своевременным. Исследователями констатировано большое количество текстовых параллелей, вплоть до самых косвенных и замаскированных, между ее стихами и произведениями других авторов, как крупных, так и сугубо второстепенных. Но чем объяснить то, что научная мысль, проявляющая столько упорства, хитроумия и эрудиции при обнаружении у Ахматовой скрытых цитат из Амари или В.Комаровского, остается почти равнодушной к поистине огромному количеству более или менее явных автоповторений и автовариаций у самой Ахматовой? Ведь последние заведомо важнее первых для раскрытия тайн "личности автора" и понимания того, что именно он постоянно стара-

* Список работ (А.К.Жолковского и автора), в которых подробно излагаются принципы описания поэтического мира и даются очерки поэтического мира отдельных авторов, читатель может найти в библиографии к статье А.К.Жолковского "How to show things with words" во втором томе WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH (1978), 5-24.

ется сказать и выразить; а без такого понимания едва ли можно с уверенностью постулировать даже сам тот ряд литературных имен, в котором следует искать релевантных параллелей к стихам данного поэта.

Из многочисленных сходств, зывающих к научному осмыслению, укажем для примера хотя бы три: *А сторож у красних ворот/Окликнул тебя "Куда!"* (1915) - *И "Quo vadis?" кто-то сказал* (1942); *Я теперь за високой горою, /За пустыней, за ветром и зноем, /Но тебя не предам никогда* (1942) - *Я сейчас плохая, но своего переведу обязательно* (ответ на предложение перевести стихи Г.Тукая, 60-е гг.?). Отметим, что сходство стихов и устного высказывания, переданного ме-муаристом, распространяется на порядок членов!); *И столетие ми лелеем/Бле слышный шелест шагов* (1911) - *Звук шагов в Эрмитажных залах* (1942) - *И замертво спят сотни тысяч шагов* (1959).

Следует отдать должное здравому смыслу и критической проницательности К.И.Чуковского, который писал: "Я люблю конструировать личность поэта по еле-уловимым чертам его стиля, по его инстинктивным пристрастиям, часто незаметным ему самому, по его бессознательным тяготениям к тем или иным эпитетам, образам, темам" (1921:25) и дал, идя этим путем, превосходные "реконструкции" поэтических личностей Ахматовой и Блока. Ряд черт мира Ахматовой, о которых идет речь в настоящей статье, был впервые отмечен Чуковским.

Статья начинается с попытки изложить "тематический комплекс", лежащий в основе поэтического мира Ахматовой. Данный термин связан с тем, что тематический уровень описания состоит у нас не из одного символа или краткой формулы, но выглядит как целая система взаимосвязанных утверждений, своего рода жизненная философия in a nutshell. Это отличает нашу работу от предшествующих описаний поэтического мира (см. сноску выше), в которых обшая тема поэта имела, как правило, весьма абстрактный и элементарный характер (например, представляла собой одну-две изолированных семантических единицы или оппозицию таких единиц), а все разнообразие текстов было отнесено за счет многоступенчатого и чисто выразительного варьирования этой атомарной темы. Если резюмировать этот подход несколько огрубленно, он как бы предполагал, что поэт высказывает в своих стихах, в сущности, всегда одну и ту же, и притом довольно несложную мысль, но зато владеет искусством высказать ее множеством технически изобретенных способов. Мы, напротив, допускаем, что уже сами "исходные" мысли поэта могут быть достаточно богатыми и многочисленными. При этом не исключается, что они образуют какое-то единство, но природа его

может быть различной. Не обязательно пытаться возвести эти ядерные мысли к какому-либо единому для них семантическому инварианту; можно мыслить их соотносенными иначе, например, как звенья единой цепи рассуждений, или даже как элементы совершенно гетерогенные, но в совокупности дающие некий специфический "букет", который и составляет основу поэтической индивидуальности данного автора.

Сформулировав тематический комплекс, мы демонстрируем затем ряд инвариантных мотивов, развертывающих различные его сегменты. При этом каждый раздел списка мотивов (А, Б, В, Г) в общем соответствует одному из сегментов тематического комплекса, хотя в формировании мотивов каждого раздела в той или иной мере участвуют и другие сегменты. Термин "мотив" применяется нами для обозначения инвариантов довольно различного рода и уровня абстракции. Среди мотивов, в частности, фигурируют: конструкции сюжетно-ситуативного типа (большинство мотивов); особенности актантажной структуры лирического сюжета [напр., (21), (39)]; некоторые типичные для акматовской лирической героини модусы отношения к действительности и лирические позы [напр., (12), (33), (38), (56)]; некоторые наиболее общие свойства ее личности [напр., (10)]. Поскольку главная цель работы - не теоретически строгое описание текста, но лишь "конструирование личности поэта", попыток иерархизации этих разнородных сущностей не делается.

Роль мотивов в построении стихотворения может быть разной. Одни охотно используются в роли структурной доминанты (например, композиционного стержня) стихотворения, другие более пригодны в качестве периферийных аксессуаров, третьи могут выполнять и доминирующую, и периферийную роль. Вопрос о том, как именно лирические сюжеты стихотворений Ахматовой синтезируются из инвариантных мотивов, в статье совершенно не затрагивается.

В принципе, кроме мотивов, имеет смысл выделять и еще один тип единиц, отличающихся у Ахматовой большим постоянством. Это - лексические и образные средства, применяемые для развертывания мотивов, в частности, типичные образы, метафоры, гиперболы, эпитеты и т.п. Так, мотив 'страдание' может реализоваться как *липка*, *казнь*, мотив 'воспоминание' - как *физическое действие* (путешествие, извлечение объекта из лапца или чего-либо еще, и т.п.). Подобные типовые средства развертывания могут самостоятельно выражать те или иные элементы тематического комплекса. В настоящей статье образно-лексические средства систематически не рассматриваются. Иногда они приводятся при соответствующих мотивах, а иногда даются нерасчлененно с ними.

Формулируя инвариантные мотивы, мы почти совершенно не констатируем их инвариантных совмещений; ср., напротив, большую роль последних в предшествующих описаниях поэтического мира. Это различие представляется довольно естественным ввиду более конкретного характера вычленяемых нами мотивов. В самом деле, совмещение абстрактных элементов также является достаточно абстрактным и потому допускает варьирование, приобретая тем самым статус инварианта. Но совмещение более конкретных элементов само настолько конкретно, что не оставляет простора для дальнейшего варьирования; если оно и будет встречаться более одного раза, то скорее всего в почти неизменном виде. Что касается неинвариантных, единичных совмещений инвариантных мотивов, то они представляют собой в стихах Ахматовой массовое явление: почти каждый из приводимых примеров, помимо иллюстрируемого мотива, реализует и ряд других, и это, как правило, специально не оговаривается.

Следует подчеркнуть, что наша статья не является анализом художественной структуры стихов Ахматовой. Мы претендуем лишь на то, чтобы в предварительном и черновом порядке разнести тексты Ахматовой по тематическим рубрикам (темам, инвариантным мотивам) и показать соответствие самых различных фрагментов текста некоторым общим идеям. Анализ поэтической фактуры и лирического сюжета отдельных стихотворений - совершенно особая задача.

Основным материалом исследования послужили 5 книг: Вечер (В), Четки (Ч), Белая стая (БС), Подорожник (П), Anno Domini (АД). Полагаем, что наш инвентарь мотивов в основном позволяет достаточно подробно "пересказать", т.е. объяснить в наших терминах, почти любое стихотворение из указанных сборников. Более поздние книги - Тростник (Т), Седьмая книга (С), Поэма без героя (ПБГ) - регулярно не обследовались, хотя много примеров из них и приводится в качестве параллелей.

Тематический комплекс поэзии Ахматовой разделен нами на четыре сегмента:

(1) (а) Судьба. Естественный удел человека - отсутствие счастья, страдание; равнодушие и жестокость мира, имеющего тенденцию нивелировать и поглотить хрупкие, индивидуальные, одухотворенные ценности; эфемерность этих ценностей и самого человека.

(б) Душа. Свойства души лирической героини (далее - ЛГ) - женственность, пассивность, ощущение собственного бессилия перед силами судьбы; инстинктивная, вопреки судьбе, любовь к жизни, сим-

патия к хрупкому и одухотворенному, ощущение ценности каждого отдельного момента жизни; креативность, т.е. склонность к выходу за рамки непосредственно данного, способность снимать ограничения, налагаемые на человека реальным миром, и творить в духовном пространстве собственный аналог мира.

Следующие два сегмента тематического комплекса имеют общую черту, которую можно определить как сочетание "конформизма" по отношению к несчастливой судьбе (ЛГ исходит из данности этой судьбы, не предполагает возможным ее изменить) и противостояния судьбе (ЛГ считает необходимым в данных условиях сохранять верность живым человеческим ценностям, оберегать их, в пределах возможного, от разрушения и забвения).

(в) Долг и счастье. Поскольку счастье, согласно ЛГ, "не причитается" человеку, не является естественным для него состоянием, то на счастье не следует рассчитывать и его не надо искать. Счастье обманчиво, если оно и дается, то ненадолго, и за него приходится дорого платить. Поэтому необходимо самоограничение и сдержанность. Бессмысленно помогать себе каких-либо благ для себя. Правилom должна быть помощь существам, находящимся в столь же трудном положении, солидарность, совместные попытки сохранения человеческих ценностей. Ввиду ограниченности возможностей человека, вещественных результатов все эти действия, вероятно, иметь не будут, но помогать друг другу противостоять судьбе все же необходимо.

(г) Победа над судьбой. Исходя из сознания естественности несчастья, ЛГ старается "сжиться" с ним и выработать для себя удовлетворительный *modus vivendi*, прибегая для этого к ресурсам Души; она терпит или преодолевает несчастье, находит источники компенсации неудач и т.п.; вообще, находит те или иные возможности позитивной оценки своего положения, что, однако, с точки зрения обычной китайской психологии лишь трагически оттеняет его негативный характер.

Из этого сжатого изложения тематического плана поэзии Ахматовой, при всех неизбежных в нем несовершенствах и упрощениях, более или менее очевидно, что творчество Ахматовой принадлежит к экзистенциалистской струе духовной культуры XX в. В литературном плане были бы, по-видимому, плодотворны сопоставления ее с такими фигурами как Хемингуэй, Камю, Ануи; в философском - с таким как Бердяев или Ясперс. Однако в настоящей статье мы не располагаем местом для каких-либо литературных параллелей, для философских же сопоставлений чувствуем себя, к тому же, недостаточно квалифицированными. Обратимся поэтому непосредственно к инвариантным мотивам.

А. Судьба

Горя много, счастья мало.
(1936)

Тема 'неудачливости судьбы и враждебности мира' имеет в первых книгах Ахматовой много вариаций, в ряде случаев согласуемых с 'пассивностью и слабостью' ЛГ, с ее пристрастием к 'инициально-финальным состояниям', с принципом 'Значимость малого' и др., см. (13) - (17). Разнообразны как обстоятельства жизни, вызывающие страдание (впрочем, не всегда ясно выраженные), так и образно-лексические средства, применяемые для его описания. В плане причин страдания выделим:

(2) Неудачливость, обездоленность, разочарование и т.п. ЕХ. *Мне счастливой не бывать* (В); *В этой жизни я не много видела, / Только пела и ждала* (Ч) и др.

(3) Сознание собственной эфемерности, недолговечности счастья; часто применяется мотив 'связь жизни/счастья с определенным временем года', и отсюда - 'обреченность, предсказуемость конца'. ЕХ. *Он мне сказал: Не жаль, что ваше тело / Растает в марте, хрупкая Снегурка .. // Пускай умру с последней белой вьюгой* (В); *Шутил: Какатная плюсунья, / Как ты до мая доживешь?* (В) [оба примера - совмещение с 'жестокими словами возлюбленного', см. ниже (6в)]; *Дни томлений острих прожить / Вместе с белой зимой* (В); связывание смерти с наступлением зимы - в "Память о солнце .." (В); *Новый мост еще не достроят, / Не вернется еще зима, / Как руки мои покроет / Парчовая бахрома* (14 г.).

(4) Томление, болезнь, усталость, угасание. ЕХ. *Тупо болит голова* (В); *Ты опять, опять со мной, бессоница* (Ч); *В недуге горестном моя томится плоть* (БС) и мн. др.

(5) Оцепенение, опреснение жизни, поэтическая немота. ЕХ. *Коснется ли огонь небесный / Моих сомкнувшихся ресниц / И немоти моей чудесной?* (БС); *Все отнято: и сила, и любовь .. // Веселой Музы прав не узнаю: / Она глядит и слова не проронит* (БС) и др.

(6) Сложные и мучительные любовные переживания.

(а) "Горькие встречи". ЕХ. "Все, как раньше .." (Ч); *И чтим обряды наших горьких встреч* (БС) и др.

(б) Неутоленное ожидание, одиночество, страдания неразделенной любви. ЕХ. *Для тебя в окошке створчатом / Я всю ночь сижу с огнем* (В); *И это - юность - светлая пора .. / Да лучше б я повесилась вчера / Или под поезд бросилась сегодня* (11 г.) и др.

(в) "Он" гонит, ругает, проклинает ЛГ, говорит ей властные и

жестокие слова. ЕХ. Ты сказал мне: ну что ж, иди в монастырь, / Или замуж за дурака (В); Он так хотел, он так велел / Словами мертвыми и злыми (В); Не люблю только час пред закатом, / Ветер с моря и слово "уйди" (В); Он говорил о лете и о том, / Что быть поэтом женщине - не-лепость (Ч); Ви, приказавший мне: довольно, / Поди, убей свою любовь! (Ч); Не гони меня туда, / Где под душным сводом моста / Станет грязная вода (Ч); Пусть он не хочет глаз моих, / Пророческих и неизменных (БС) и др.

(г) "Он" бросает, забывает ЛГ, уходит к другой. ЕХ. Отчего ушел ты? / Я не понимаю.. (В); Меня покинул в новолуние... (В); У разлюбленной просьб не бывает (Ч); И сердцу горько верить.. / Что всем он станет мерить / мой белый башмачок (Ч); А ты думал - я тоже такая, / Что можно забыть меня.. (АД) и др.

(д) "Он" мучает, поработает, тиранит ЛГ. ЕХ. Как соломинкой, пьешь мою душу... (В); Муж хлестал меня узорчатим, / Вдвое сложенным ремнем (В); Углем наметил на левом боку / Место, куда стрелять... (Ч); Но любовь твоя, о друг суровый, / Испитание железом и огнем (П); Ах, за что ты каравшь меня (П).

(7) Иррациональные, анонимные силы, угрожающие спокойствию и самой жизни ЛГ. ЕХ. Страшно мне от звонких воплей / Голоса беда (В); Здесь мой покой навеки взят / Предчувствием беда (В); Я боюсь того сича (В); Слух чудовищный бродит по городу, / Забирается в дома, как тать (АД); За стеною слышен стук злоеющий - / Что там, крися, призрак или вор? (АД).

(8) Утраты, исчезновение из жизни ЛГ любимых людей и объектов. ЕХ. Нет на земле твоего короля (В); Где, високая, твой цмеганек (БС); И вот одна осталась я / Считать пустые дни (П); И ты ушел. Не за победой, / За смертью. Ночи глубоки! (П); "Белый дом" (БС); "На пороге белом рая (АД); "А Смоленская..." (АД).

(9) Нищета, отверженность, изгнание, аскеза. ЕХ. А мнече станешь нищенкой голодной, / Не достучишься у чужих ворот (П); Все расхищено, предано, продано (АД) и др.

В плане лексических и образных средств, применяемых для описания страданий ЛГ, отметим частое употребление образов и метафор, выражающих 'пассивность', например, слов со значением отнимания, не-давания, простертости ниц, физического истязания и пр., а также выражающих 'долг', в частности, слов со значением наказания и расплаты. ЕХ. И отняла золотое кольцо (В); Магдалина смочка взяла (БС); Все отнято... (БС); Так я, Господь, простерта ниц (БС); Лежала и ждала ее (БС); Муж хлестал меня... (В); Словно тяжким огромным молотом / Раздробили слабую грудь (11 Г.); Прощай, прощай! меня ведет палач (Ч); Отчего же Бог меня наказивал (Ч) и мн. др.

Б. Душа

... с детства была крилатой.
(1913)

В решении трудных вопросов существования одну из ключевых ролей играет особый строй души ЛГ, в первую очередь – те ее свойства, которые мы называем "креативными" – высокая эмоциональность, чуткость, "крылатость", необычайная сила памяти и воображения. Именно за счет ресурсов души обеспечивается противовес разрушительным и нивелирующим силам судьбы. В настоящей статье эта сложная и оригинальная душа будет по необходимости очерчена очень кратко, в наиболее общих ее параметрах, без вхождения в детали.

(10) Пассивность, осознание невозможности реально бороться с судьбой, покорность ей – черта, определяющая не только все аспекты поведения ЛГ в ранних книгах, но и самый характер ее несчастий. ЕХ. – в соответствующих разделах (А, В, Г).

(11) Любовь к жизни, природе, сочувствие к живому и стремящемуся жить, к тонкому, одухотворенному, хрупкому, недолговечному; любовь к культуре как носительнице живой памяти о прошлом. Характерно восхищение ЛГ объектами, совмещающими в скупом рисунке элементы природы и культуры. ЕХ. *И чернеющие ветки/За оградой чугунной.../Многоводный, темный город* (БС); *И две большие стрекозы/На ржавом чугуне оградж* (БС); *И на медном плече Кифареда/Красногрудая птичка сидит* (БС); "Царскосельская статуя" (БС); "Вновь подарен..." (БС) и др.

(12) "Торжественно-трепетный" модус восприятия действительности. Осознание ЛГ особой важности ее встречи с миром, ввиду недолговечности всего живого и неповторимости отдельного момента, нередко придает ее взгляду на окружающее благоговейный, трепетный и торжественный оттенок. Ахматовские описания природы и культуры часто оставляют впечатление какой-то печально одухотворенной парадности. *Пишний, парадный, торжественный* – весьма употребительные эпитеты. ЕХ. *Новогодний праздник длится пышно* (Ч); *И на пишиях парадных снегах* (АД); "Не бывала осень..." (АД) и мн. др.

(13)–(17) Характерная черта художественного мышления Ахматовой – преобладание положений, выражающих (и вызывающих у читателя) ощущение эмоциональной напряженности и как бы устремленности в сторону чего-то скрытого, недосказанного. Событие лирического сюжета не дается как готовая, ясно очерченная и статическая данность, а предстает

в редуцированных, завуалированных, потенциальных, отраженных и т.п. формах, своей неполнотой стимулирующих работу чувств и воображения. Гамма подобных модусов показа действительности у Ахматовой весьма широка, и мы выделим лишь некоторые самые общие и очевидные их типы.

(13) Движение, приближение, переход, подступ, путь куда-то или откуда-то - типичное состояние героев ахматовского мира. Сюда прежде всего относится очень распространенный мотив 'ходьбы', странничества, путешествий. В большом количестве стихотворений герои и прежде всего ЛГ предстают идущими. ЕХ. "Смуглый отрок .." (В); "Знаю, знаю, снова лыжи .." (Ч); "Все обещало мне его .." (БС); "Я знала, я снюсь тебе .." (БС) и мн. др.

(14) Инициальное состояние (канун, начало, "первый раз", появление, приход, вход, приветствие, порог, крыльцо, стук в дверь или окно и т.п.) - другой очень частый угол зрения на событие у Ахматовой. ЕХ. *Ты первый раз одна с любимым* (Ч); *Здравствуй! Легкий шелест слышишь .. / Я к тебе пришла* (Ч); *И если в дверь мою ты постучишь ..* (Ч); *И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий* (БС); *Там впервые предстал мне жених* (БС); ср. *Постучи кулачком - я открою* (С); *Победа у наших стоит дверей* (С) и мн. др.

(15) Финальное состояние (конец, "последний раз", уход, прощание, порог, крыльцо и т.п.). ЕХ. *В последний раз мы встретились тогда ..* (Ч); *И покинула ступени, / Где прощалась я с тобой / И откуда в царство твое / Ты ушел, утешный мой* (БС); *На пороге белом рая, / Оглянувшись, крикнул: "Жду!"* (АД), и мн. др.

(16) Предчувствие, предвосхищение, ожидание, с одной стороны, и воспоминание, ретроспективное переживание, с другой, - естественные для Ахматовой модусы изображения действительности. События, как счастливые, так и несчастные, часто описываются в прошедшем или будущем времени. ЕХ. Будущее: *Все обещало мне его* (БС); *Скоро будет последний суд* (БС); *Но, предчувствуя свиданье ..* (П); Прошедшее: *Вчера еще, влюбленный / Молил: не забудь* (БС); *О, это был прохладный день* (БС) и мн. др.

Нередки различные совмещения мотивов (13) - (16): например, 'воспоминание о начале' (*годовщины / Первые дни твоей любви* - АД) или 'о конце'; 'предчувствие начала' (*Я, с утра угадав минуту, / Когда ты ко мне войдешь* - БС); 'предчувствие кануна конца' (*Не чудо ль, что нынче пробудем / Ми час предразлучный вдвоем* - БС); 'воспоминание о начале конца' (*Не забыть, как пришел он со мною проститься* - В) и т.п.

(17) Значимость малого. Еще один важный тип стимулирующей обработки "редукции" состоит в сведении происходящего и переживаемого к внешне незначительным деталям. Малое - как положительное так и отрицательное - для Ахматовой может значить очень много, что неоднократно замечалось критикой. ЕХ. *Я на правую руку надела/Перчатку с левой руки* (В); *Качание веток задетых/И шпор твоих легонький звон* (которые слаще всех песен пропетых - В) и мн. др.

(18) Склонность к взволнованно-экстатическим состояниям, душевному опьянению, бреду, трансу. ЕХ. *И взволнованным голосом петь* (Ч); *Не живешь, а ликуешь и бредишь* (ЕС); *сп. В ту ночь мы сошли друг от друга с ума* (С), и мн. др. Очень частыми моментами таких состояний являются, во первых, 'неразличение окружающих объектов': *Кто ты: брат мой или любовник/Я не помню..* (В); *Сливаются вещи и лица* (Ч); *И куда мы идем - непойму* (Т); *И я не узнала - ты враг или друг, /Зима это или лето* (С); *...И мне не разобрать, /Конец ли дня, конец ли мира, /Иль тайна тайн во мне опять* (С) и мн. др.; во вторых, 'нарастающие сил, стимулирующих экстаз, в окружающей природе' [совмещение с 'приближением', см. (13)]: *Крик ворон/Становится все слышней* (В); *Все сильнее запах теплый/Мертвой лебеди* (В); *Все сильнее запах спелой ржи* (Ч); *С каждым утром сильнее мороз* (АД); - третьих, особая опьяняющая роль запахов, ветра, планет, циклически возвращающихся дат и т. п. Национально окрашенная разновидность транса и бреда - 'уродливость', 'блаженность', которой отмечены многие стихотворения. ЕХ. "А Смоленская.." (АД) и др.

Ряд мотивов выражает способность души ЛГ к преодолению и нейтрализации разнообразных граней: временных, пространственных, разделяющих живое и мертвое, человека и природу и пр. Приведем лишь два, наиболее нужные для последующего изложения:

(19) Память. Является аккумулятором всех ценных моментов жизни и ориентирована прежде всего на их сохранение и преодоление эфемерности; однако может оказываться для ЛГ и источником нежелательных соблазнов и даже мучений. Важность запоминания и способность ЛГ все помнить подчеркнута во многих стихах. ЕХ. *Я вижу все. Я все запоминаю, /Любовно-кротко в сердце берегу* (В); *У него глаза такие, /Что запомнить каждый должен* (Ч). В "Умирая, томлюсь.." ясно показана роль памяти для сохранения теплых, индивидуальных человеческих ценностей от анонимных, нивелирующих сил: *Только память ей мне остается.. /Чтоб в томительной веренице/ Не чужим показался ты..* (Ч). То же выражено в "Уже безумие крылом.." (Реквием).

Память о моментах человеческой жизни приписывается также предметам и местам - в виде теней, отражений, следов, звука шагов и т.п. ЕХ. "Смуглый отрок.." (В); "В ремешках.." (Ч); "Хорошо здесь.." (АД); "Там тень моя.." (БС) и мн. др.

(20) Дистантное общение - основная форма преодоления расстояний и физических преград. Общение ЛГ с отдаленным (в том числе и не находящимся среди живых) человеком может осуществляться как непосредственно, путем "посылания духа" (*Свой дух прислал ко мне - С*), так и через те или иные стихии или объекты-носители, как ветер, музыка, птицы и др. ЕХ. *Зачем притворяешься ты/То ветром, то камнем, то птицей?* (БС); *С первым звуком, слетевшим с роля, /Я шепчу тебе: "Здравствуй, князь!" /Это ты, веселья и печала, /Надо мною стоишь, наклонясь* (17 г.); ср. *Мы с тобой в Адажио Вивальди /Встретимся опять* (С).

В. Долг и счастье

*Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга (1956)*

Тематический сегмент 'Долг и счастье' разворачивается в три группы инвариантных мотивов. Первая группа реализует тему 'самоограничения' и 'анти-гедонизма'; мотивы, входящие в нее, выражают аскетический настрой души, скромность, осуждение легкомысленной погони за удовольствиями и т.д. В ранних книгах Ахматовой эти мотивы нередко носят традиционный национальный оттенок: "Великий русский соблазн самоуменьшения, смирения, страдальчества, кротости, бедности, манивший Тютчева, Толстого, Достоевского, обаятелен и для нее. В этом она заодно с величайшими выразителями старо-русской души" (Чуковский 1921:26). Вторая группа образуется в результате согласования той же темы 'самоограничения' и т.п. с темой 'любви к жизни и ее хрупким ценностям', входящей в тематический комплекс 'Душа'. Здесь идет речь об эмоциональных реакциях ЛГ на те частицы запретного счастья, которые все же иногда приходится на ее долю и от которых она не имеет сил отказаться. В основе третьей группы лежит, помимо уже упоминавшегося 'самоограничения', тема 'альтруизма, взаимопомощи, взаимной выручки'; сюда входят мотивы, касающиеся содержания взаимоотношений ЛГ с любимыми людьми и объектами.

В первую группу мы включили мотивы (21)-(30).

(21) "Мы". Самоуменьшение, смирение, отказ от "эго" выражаются там, где ЛГ, пользуясь местоимением "мы", говорит от лица некой массы, состоящей из людей скромных, богобоязненных, однотипно мыслящих, иногда немного юродивых. ЕХ. *А у нас - светлых глаз/Нет приказу поди-мать* (Ч); *Много нас таких бездомных..* (Ч); *А мы живем как при Екате-ринке* (П); *Принесли мы Смоленской заступнице.. /Наше солнце, в муке по-гасшее* (АД). О другом значении "мы" см. (39).

(22) Опасения расплаты за легкомысленную или гедонистическую жизнь. ЕХ. *А та, что сейчас танцует, / Непременно будет в аду* (Ч); *Ты - как грешник, видящий райский/Перед смертью сладчайший сон* (БС, о Петро-граде); *Черных ангелов крылья остры, /Скоро будет последний суд* (БС); *Трудным кашлем, вечерним жаром/Наградит по заслугам, убьет* (БС); *Где, день и ночь, склонясь, в жару и холода, /Должна я ожидать по-следнего суда* (БС).

(23) Угрызения совести. Прежнее легкомыслие вызывает у ЛГ раскаяние иногда само по себе, иногда - в связи с ущербом, который оно нанесло другому человеку, с недооценкой ЛГ этого человека в прошлой жизни, и т.п. ЕХ. *И только совесть с каждым днем страшной/Беснуется: великой хочет дань* (БС); *Кого ты на смерть проводила, /Тот скоро, о, скоро умрет* (В); "Пока не свалюсь..", "Ангел, три года.." (оба - АД).

(24) Переход ЛГ от прежней жизни (невинно-счастливой, легкомысленной, а то и бездумно-гедонистической) к новой жизни (под знаком аскезы, долга, самоотречения, труда, скромности).

Данный мотив, как и следующий, часто совмещается с (50) 'Успокоение'. ЕХ. *"Позабудь о родительском доме, /Уподобься небесному крику./ Будешь, хворая, спать на соломе/И блаженную примешь кончину"* (БС).

В рамках перехода к новой жизни изменяется и характер любви, утрачивающей черты утехы или страсти и приобретающей характер долга: *Не для страсти, на для забавы, /Для великой земной любви* (П); "Ангел, три года.." (АД). В некоторых случаях неуместность любви-гедонизма эксплицитно связывается с трагизмом ситуации: *Не ласки жду я, не любов-ной лести/В предчувствии неотвратимой тьмы..* (П). Иногда принятие на себя долга и аскезы описывается без упоминания о прежней жизни: "На пороге белом рая", "Буду черные грядки холить" (оба - АД).

По своему содержанию долг, принимаемый на себя ЛГ, соответствует тематическим задачам помощи, сбережения ценностей и т.п.: *Из памяти, как груз, откине лишней/Исчезли тебе песен и страстей. / Ей - опустев-шей - приказал Всевышний/Стать страшной книгой грозовых вестей* (БС). *Забуду дни любви и славы... /Но образ твой, твой подвиг правый/До часа смерти сохраняю* (П); *Теперь ты наши печали/И радость одна храни* (АД).

(25) Отклонение соблазна. ЛГ сталкивается с теми или иными соблазнами: ее куда-то зовут, ей что-то предлагают (например, контакты, обещающие счастье или веселую жизнь). Соблазн может принимать и форму воспоминаний [см. (19)]. ЛГ отклоняет все это, предпочитая скромную жизнь и выполнение долга. ЕХ. Шутливый вариант - "Я с тобой не стану пить вино" (Ч). Но к этому же мотиву относятся и такие трагические вещи как "Мне голос был.." (П), "Нам встречи нет.." (АД) (ср. такие сходства в деталях как: *мальчишка озорной - наглец; у вас ... , у нас... - ми в разных стаканах*). Другие примеры: *Голубя ко мне не при- силай, / Писем беспокойных не пиши.. / Я вошла вчера в зеленый рай, / Где покой для тела и души* (БС; совмещено с 'Успокоением'; нежелательный контакт носит характер 'Дистантного общения'); *Нет, царевич, я не та, / Чем меня ты видеть хочешь, / И давно мои уста / Не целуют, а про- рочат* (БС); *Зачем же в ночи перед темным порогом / Ты медлишь, как будто счастьем томим? / Не выйду, не крикну "О, будь единым" ..* (АД). Иногда отклонение контакта выражается ослабленно - в упреках или недоумениях по поводу чьих-то попыток дистантно общаться с ЛГ: *Что ж ты бродишь, словно вор / У затихшего жилья?* (БС); *Для чего ж ты приходишь и стонешь / Под высоким окошком моим?* (П); ср. *Неправильно виноват / В том, что приблизился ко мне / Хотя бы на одно мгновение ..* (С). Отклонение воспоминаний: *А о первой я не смею / И в молитве вспоминать* (БС); *Там строгая память.. / Свои терза мне открыла с глубоким покло- ном; / Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь* (АД; ср. *Руками я замкнула слух*).

(26) Проповедь долга. Тема 'долга', 'аскезы', предрасполагает - в плане способов изложения - к использованию формы прямого поучения, дидактических, проповеднических интонаций. Действительно, поучений об отказе от утех и о выполнении долга у Ахматовой немало. ЕХ. "Нам свежесть чувств.." (БС); "Высокомерьем дух твой помрачен.." (БС); "Видел я тот венец.." (АД); "Земной отрадой сердца не томи (АД) и др.

К первой группе можно отнести также ряд мотивов, проецирующих тему 'самоограничения', 'антигедонизма' в сферу любовных отношений. Действительно, большинство изображаемых в стихах любовных сценок характеризуются крайней сдержанностью и скромностью. Отметим следующие типичные моменты:

(27) "Любовь, не похожая на любовь". Неоднократно ЛГ говорит, что ее отношения с возлюбленным - не имеют признаков обычной любви и должны называться как-то иначе. ЕХ, *Отчего все у нас не так?* (БС); *Так до конца и не знали, / Как нам друг друга назвать* (65 г.) и др. Сюда же примыкает мотив (ба) 'Горькие встречи'.

(28) Скромные, тихие проявления любви. ЕХ. *Настоящую нежность не спутаешь/Ни с чем, и она тиха(Ч); Ты задумчив, а я молчу (БС).*

(29) "Редуцированные" (финальные, переходные, минимальные и др.) формы и состояния в общении с объектом любви. О том, что в мире ахматовской ЛГ вообще преобладают состояния этого рода, говорилось в разделе "Дула". Заметим, что проекция некоторых из них в сферу любви может давать эффект 'сдержанности', 'аскетичности'. Так, 'финальность' применительно к любовной ситуации дает 'прощание': *Где прощались я с тобой (БС) и т.п.* Особенно часто любовное свидание сочетается с мотивом 'идти', давая следующий типичный мотив:

(30) ЛГ и ее возлюбленный (друг) идут рядом. ЕХ. *Мы с тобой в страну обманную/Забрели.. (В); Чернеет дорога приморского сада (Ч); В последний раз мы встретились тогда/На набережной, где всегда встречались (набережная = дорога; Ч); Здесь с тобой прошли мы вдвоем(АД).* Характерная в смысле 'сдержанности' деталь - идущие не смотрят друг на друга: *Согласилась, да забила/На него взглянуть(БС); Не взглянув друг на друга, выйдём(БС); ср. И мы проходили сквозь город чужой ../Взглянуть друг на друга не смея(С).* По большей части их внимание направлено вовне: см. ниже (43).

Перейдем ко второй группе мотивов [(31)-(35)] и посмотрим, как взгляды ЛГ на соотношение 'счастья' и 'долга' определяют восприятие ею элементов счастья в тех случаях, когда она их не отклоняет, а принимает или даже ищет.

(31) Минимальное счастье - подарок, чудо, благодать. Идея 'недозволенности, незаконности, непредусмотренности счастья' конкретизируется в виде ряда мотивов, общий элемент которых состоит в том, что "хорошее" - причем не завершенное и "полнокровное" (такое у Ахматовой никогда не встречается), а редуцированное, нематериальное, представленное инициальными или переходными состояниями, созерцанием, намеками, воспоминаниями, предчувствиями, снами и т.п. [см. (13)-(17)] - воспринимается ЛГ как источник удовлетворения и веселья, в наиболее же сильном случае - как нечто совершенно неожиданное и исключительное. В образно-лексическом плане последнее выражается такими терминами как *божья милость, подарок, чудо, удача, праздник, торжество, нечто царственное* [см. (12) 'Торжественно-трепетный модус'].

ЕХ. Простые вещи, знакомые явления природы - праздник, подарок: *Молюсь окопному лучу../.. В этой трамине пустой/Он словно праздник золотой/И утешенье мне(В); Затем, что воздух был совсем не наш,/А как подарок божий - так чудесен(Ч); ср. Все так же льется божья милость/С непревратимых высот(С).*

Сон, видение, предчувствие - подарок, удача, радость, торжество: *Вновь подарен мне дремотой/Наш последний звездный рай* (BC); ср. *Приснился мне почти что ты./Какая редкая удача! ("Подраж. корейскому")*; *А мне в ту ночь приснился твоей приезд../Чем отплачу за царственный подарок?* (C). Иногда в качестве чуда или подарка выступает (54) 'Общение с отсутствующими'. ЕХ. *Как сияло там и тепло/Нашей встречи чудо..* (C).

Находиться, идти рядом с возлюбленным - чудо, подарок, счастье: *Благослови же небеса-/Ты первый раз одна с любимым* (Ч); *И мы, словно смертные люди,/По свежему снегу идем./Не чудо ль, что никак пробудем/Мы час предразлучный вдвоем?* (BC).

Появление возлюбленного (инициальность) - чудо, торжество: *Там впервые предстал мне жених,/Указавши мой путь осиянный* (BC); *"Небывалая осень.."* (AD).

(32) Минимальное счастье - опасно для непривычной ЛГ. Привыкнув стоически переносить страдание и неудачи, ЛГ иногда опасается, что минимальное проявление "хорошего" (доброты, ласки) может оказать слишком сильное и опасное воздействие на ее непривычную душу; боится счастья из опасения его потерять, и т.п. ЕХ. *Только глаза поднимать не смей,/Жизнь мою храня./Первих фиалок они светлей,/А смертельные для меня* (BC); *Горе душит, не задушит,/Вольный ветер слезы сушит,/А веселье, чуть погладит,/Сразу с бедным сердцем сладит* (AD). Ср. *Разлуку, наверно, неплохо смесу,/Но встречу с тобой - едва ли* (C).

Спонтанная 'любовь к жизни' - свойство души ЛГ, заставляющее ее вопреки всему стремиться к счастью хотя бы в самых "редуцированных" и отраженных его формах. При 'пассивности и слабости' ее природы, с одной стороны, и признаваемой ею 'недозволенности счастья', с другой, вполне естественно, что выражением таких стремлений оказываются

(33) Мечты, надежды, ожидание, мольбы, робкие просьбы и т.п. ЕХ. *Ожидание: Для тебя в окошке творчатом/Я всю ночь сижу с огнем* (B); *В этой жизни я немного видела,/Только тела и ждала* (Ч). *Мечты: ..о такой тишине/С невыразимым трепетом мечтала* (BC). *Мольбы, просьбы: О, только дайте греться у огня* (B); *Ты бил испуган нашей первой встречей,/А я уже молилась о второй* (BC); *Помоги моей тревоге,/Белый, белый Духов день!* (BC).

Тон и формулировки обращений ЛГ к судьбе часто выражают трогательное доверие слабого и наивного к сильному: попытки договориться, заручиться обещаниями, просьба не обмануть и т.д. *Все обещало мне его../И я не верить не могла..* (BC); ср. *Не обманывай меня,/Первое апреля!* (C).

Напряженность между живыми чувствами и долгом может демонстрироваться по-разному. Упомянем два типичных способа:

(34) Детали, жесты, признания, прорывающиеся сквозь сдержанную мину и выдающие истинные желания и чувства. ЕХ. "Под крышей промерзшей.." (А в Библии красный кленовый лист/Заложен на Песни Песней - ВС); "Нам встречи нет.." (2-я строфа); "Течет река.." (Целует бабушке в гостиную руку/И губи мне на лестнице крутой - П); "Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой.." (И вижу дневной град, и слышу голос милый - АД).

К этим всплескам подспудных чувств близки эмоциональные порывы типа "Dahin!", когда ЛГ мечтает о воссоединении с любимыми объектами. ЕХ. А теперь би домой скорее/Камероновой Галереей/В ледяной таинственный сад.. (ПГБ); ..О, туда, туда,/По древней подкапризовой дороге,/ Где лебеди и мертвая вода(Т); Я к розам хочу, в тот единственный сад.. (С).

(35) Уступка соблазну. Иногда ЛГ уступает чувствам и идет на "недозволенные" контакты с любимыми ценностями или объектами желаний, делая это украдкой, с угрызениями совести и боязнью расплаты. Данный мотив противоположен (25) 'Отклонению соблазна'. В образно-лексическом плане он часто обставляется как бегство, с такими драматизирующими деталями как погоня, оклики, препятствия, свидетели и т.п.

ЕХ. Бегство:..Семь дней тому назад,/Вздозгнувши, я прости сказала миру./Но душно там, и я пробралась в сад/Взглянуть на звезды и потрогать лиру(П); ср. Прямо под ноги пулям,/Рассталкивая года,/ По январю и июлям/Я проберусь туда("Путем всяя земли"); Ты шел, не зная пути/И думал:"Скорей, скорей"..//А сторож у красных ворот/Окликнул тебя:"Куда!"/Хрустел и ломался лед,/Под ногами чернела вода.. (BC); Через речку и по горке,/Так, что взрослым не догнать(BC). Ситуация, где ЛГ куда-то "пробирается", налицо в: И увидел месяц лукавый,/Притаившийся у ворот,/Как свою посмертную славу/Я меняла на вечер тот.. (46 г.); ср. А надо мной, спокойный и двурогий,/Стоит свидетель.. (Т). Иногда целью является не свидание с любимыми ценностями, а спасение от опасности, однако обстоятельства бегства те же: см. "Побег" (Нас окликнул кто-то с моста - BC); см. также (42).

Третья группа мотивов включает некоторые содержательные аспекты отношений ЛГ с близкими ей людьми и предметами, определяемые темами 'самоограничения', 'альтруизма', 'взаимопомощи', 'сохранения' и т.п. Эти отношения предстают как неэгоистические, основанные на свободе и равенстве, а основной функцией их оказывается совместное преодоление трудностей существования в равнодушном или враждебном мире.

(36) Неприятие материальных и собственнических пониманий любви. Любовь, признаваемая ЛГ, во-первых, скромна и отказывается от притязаний на свободу партнера, а во-вторых, пребывает неизменной в духовном измерении и не зависит от перипетий обладания, ссор, разлуки, ревности и т.п. ЕХ. *Ты свободен, я свободна* (Ч); *Сказал, что у меня соперниц нет, / Я для него не женщина земная, / А солнца зимнего утешный свет.*, (АД). Подчеркивается равенство партнеров: *Но со мной лишь ты, мне равный* (БС). Кое-где любовь-собственность эксплицитно противопоставлена ахматовским идеалам любви. Программно в этом смысле "Я не любви твоей прошу.." (А этим дурочкам нужней / Сознание полное победы, / Чем дружбы светлые беседы / И память первых нежных дней - Ч). Сходные мысли - в "Как мог ты.." (АД). В некоторых стихотворениях борьба эгоистического и альтруистического вариантов любви происходит внутри самой ЛГ: "Не кулил меня.." (БС), "Долгим взглядом.." (АД).

(37) ЛГ отпускает на свободу возлюбленного. ЕХ. *Сердце к сердцу не приковано, / Если хочешь - уходи* (В); *Отпустила я на волю / В Благовещенье его* (БС); *Прощай, прощай, будь счастлива, друг прекрасный, / Верну тебе твой сладостный обет* (АД). Иногда добровольность любви подчеркивается тем, что отпущенный сам возвращается к ЛГ: см. "Выбрала сама.." (БС), "Из памяти твоей.." (БС).

(38) Дружба, братство. Обращает на себя внимание постоянное употребление, с одной стороны, слов *брат / сестра, друг / подруга*, с другой - смягченных любовных наименований, вроде *милий, утешный* и т.п. И те и другие используются для обозначения как собственно любовных отношений, так и чисто дружеских. Фактически различие этих типов отношений в текстах Ахматовой часто оказывается нейтрализованным (о каком из них идет речь, например, в "Тот август.." или "Вновь подарен..?"). Данная особенность отражает общую анти-эгоистическую и анти-гедонистическую установку поэта, приоритет взаимопомощи и совместного противостояния судьбе перед страстью и личным счастьем. ЕХ. - развил.

(39) "Мы" и "наша тайна". Как отмечалось выше, местоимение 1 л. мн. может выражать тему 'скромности', 'отказа от "эго"'. Второе, не менее важное значение слова *мы* (и *наше, свое*) у Ахматовой - 'круг людей, объединенных общими ценностями и общей судьбой, окруженных чуждым или враждебным миром, обязанных по мере возможности оберегать общее достояние и помогать друг другу'. В стихах, отражающих общенародные бедствия и потрясения, объем этого *мы* неограниченно расширяется, придавая стихам патриотическое и гражданское звучание, но исходный смысл мотива - 'защита уязвимых ценностей от враждебных сил'

- остается тем же.

Сюда же одним своим краем примыкает и мотив 'Тайна'. Вообще говоря, он имеет у Ахматовой и другие значения, в данной статье не затрагиваемые; значение, интересующее нас здесь в связи с мотивом 'мы' - это 'тайна, интимность, сокровенность, призванная оберегать "наше" (жизнь, ценности) от равнодушного и враждебного мира'.

В нижеследующих примерах контекст с очевидностью подтверждает указанное понимание обоих мотивов.

ЕХ. "Мы". *И столетие мы лелеем / Еле сличный шевел шагав (В); Думали, нищие мы, нету у нас ничего, / А как стали одно за другим терять .. (BC); И брат мне сказал: Настали / Для меня великие дни. / Теперь ты наши печали / И радость одна храни (AD); "Петроград, 1919" (в частности: Мы сохранили для себя / Его дворцы, огонь и воду - AD); Отчего же нам стало светло? (AD); Под нашими, под теми небесами (Т); Наше было не кончено дело, / Наши были часы сочтены (44 Г.); Доченька! / Как мы тебя укрывали .. (о статуе "Ночь" в Летнем саду - С); Принеси же мне горсточку чистой, / Нашей невской студеной води (С); Так вот когда мы вздумали родиться (С); Я сейчас плохая, но своего переведу обязательно (ответ Ахматовой на предложение перевести татарского поэта Г. Тукая - см. Липкин 1969:5).*

Тайна. *Божий ангел, зимним утром / Тайно обручивший нас .. (BC); И в тайную дружбу с высоким .. / Походкою легкой вошла (П); Зачем ты дал ей на забаву / Всю тайну чудотворных дней (AD).*

(40) Взаимопомощь - типичное содержание отношений ЛГ с возлюбленными, друзьями, дорогими объектами. Связь этой их функции с трагизмом существования прямо указана в стихах 1915 г.: *А теперь пора такая, / Страшный год и страшный город. / Как же можно разлучиться / Мне с тобой, тебе со мной? (BC)* Ввиду безнадежности, в конечном счете, человеческой судьбы взаимопомощь, как правило, может иметь лишь паллиативный, "симптоматический" характер. Отсюда преобладание таких ее форм, как 'душевная помощь', 'утешение', 'успокаивание', 'сочувствие, сопереживание', 'молитвы за ..'. ЛГ и ее партнер 'берегут' друг друга и 'вручают' друг другу душу и судьбу.

ЕХ. Душевная помощь. *"Высокомерьем дух твой .." (BC); "Ты - отступник .." (П); ср. Если б все, кто помощи душевной / У меня просил на этом свете .. (С); Но и ты мне не можешь помочь (С).*

Утешение, успокаивание. *Ты пришел меня утешить, милый (Ч); Я спю тебе, чтоб ты не плакал .. (Ч); Чтоб не страшно было жениху .. / Мерзую невесту поджидать (BC); ср. А человек, который для меня .. / .. был .. / .. утешением самым горьких лет (С); Чтоб ты слышать без тре-*

нета мог / Воронья подмосковного сплетни (С); .. toi qui m'av convo-lée (эпиграф из Ж. де Нерваля - С).

Молитвы за .., вспоминание, оплакивание. Столько поклонов в церквах положено / За того, кто меня любил (BC); Для чего же каждый вечер / Мне молиться за тебя? (П); ср. Но уходи и за меня не ратуй / И не молись так горько обо мне (58 г.); Люби меня, припоминай и плачь (Ч).

Защита, охрана, покровительство. Только душу мне оставил / И сказал: побереги (BC); И сразу вспомнит, как поклялся он / Беречь свою восточную подругу (П); Ангел, три года хранивший меня (AD); ср. О том, как мы друг друга берегли (Т).

(41) Взаимные услуги и договоры ("ты - мне, я - тебе") - еще один мотив, выражающий трудность условий существования, слабость людей, связанных солидарностью и обязанностью взаимовыручки. По большей части эти услуги имеют характер, описанный в (40); внешне они могут представлять собой, помимо утешения, молитв и т.п. в чистом виде, также обмен символическими предметами, сувенирами и т.п. БХ. Помолись о нищей, о потерянной, / О моей живой душе .. / И тебе, печально благодарная, / Я за это расскажу потом .. (Ч); Если ты еще со мной побудешь, / Я у Бога вымолю прощенье / И тебе, и всем, кого ты любишь (Ч); ср. Я лопухи любила и крапиву, / Но больше всех серебряную иву. / И, благодарная, она жила / Со мной всю жизнь, плакучими ветвями / Бессоницу обвеивала снами (Т); Где статуи помнят меня молодой, / А я их под невскую помню водой (С; память = услуга); Принеси же мне горсточку чистой / Нашей невской студеной воды, / И с головки твоей золотистой / Я кровавые смою следы (С); Спаси ж меня, как я тебя спасала (44 г.; к поэме); И губы ми в тебе омочим, / А ты мой дом благослови (63 г.; к розе); Непогребенных всех - я хоронила их, / Я всех оплакала, а кто меня оплачет? (58 г.).

(42) Верность - предательство. Естественным драматическим развитием того типа отношений, какие связывают ЛП с ее партнерами, являются ситуации, с одной стороны, предательства, оставления друга в беде вместо обещанных солидарности и покровительства, с другой, наоборот, непредательства, верности другу, неоставления его в беде, готовности разделить с ним несчастливую судьбу. 'Оставление в беде' может, как и 'Уступка соблазну', принимать образную форму бегства, со сходными деталями: покидаемый зовет партнера, тянет ему вслед руки и т.п., а тот испытывает угрызения совести, слышит воображаемые оклики, стыдится свидетелей и т.п.

ЕХ. Верность: Не покину я товарища / И беспутного и нежного (В); Знаю, брата я не ненавидела / И сестри не предала (Ч); ср. Я теперь за высокой горю .. / Но тебя не предам никогда (С); Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был (61 г.).

Предательство: И сразу вспомнит, как поклялся он / Беречь свою восточную подругу (П); Как же вышло, что тебя оставил / За себя ложницей в неволе .. (АД); ср. Ах, одна ушла ты от приступа, / Стона нашего ты не слышала, / Нашей горькой гибели не видела .. (40 г.); Мне казалось, за мной ты гнался, / Ты, что там погибать остался .. // И "quo vadis?" кто-то сказал (ПБГ); Всем обещаньям вопреки .. / Забил меня на дне (С); Был недолго ты моим Энеем .. / Ты забил те, в ужасе и в муке, / Сквозь огонь протянутые руки .. (С); Отцу сказал: Почто меня оставил! / А Матери: О, не рыдай Мене (Т; в обоих высказываниях представлены инвариантные ахматовские мотивы - в первом стихе 'Оставление в беде', во втором - 'Утешение', ср. .. чтоб ты не плакал - Ч).

Близок к 'Оставлению в беде' мотив 'рокового расставания', при котором один из партнеров уходит от другого (т.е. из сферы теплоты, защиты, помощи, утешения) в хаос и смерть. ЕХ. И ты ушел. Не за победой, / За смертью (П); И откуда в царство теней / Ты ушел, утешный мой (ВС); ср. И тебя тогда твоя тревога, / Ставшая судьбой, / Уведет от моего порога / В ледяной прибор (С).

(43) Совместное переживание трепетности мира, любование объектами природы и культуры. Одно из характерных положений, в котором мы застаем ЛГ и ее партнера, - это совместное общение с любимыми ценностями и торжественно-трепетное восприятие окружающего мира, прекрасного в своем неповторимом, представшем в данный миг облики, т.е. то, что характерно и для ЛГ самой по себе. Свидание героев лирической новеллы Ахматовой происходит на фоне объектов природы и культуры, которые неотделимы от их собственной судьбы и разделяют с ними черты хрупкости, одухотворенности и потенциальной беззащитности перед силами зла и хаоса. Данный мотив часто реализуется как совместное созерцание героями города, предметов старины, картин, памятников и т.п., т.е. всего того, что, согласно представлениям ЛГ, способно хранить память о событиях и людях. Это позволяет в ряде случаев совместить его с (53) 'Претворением мгновенного в вечное'. Кроме того, 'Совместное переживание' .. нередко совмещается с мотивом (30) 'ЛГ и ее друг идут рядом'.

ЕХ. Оттого, что стали рядом / Ми в блаженный миг чудес, / В миг, когда над Летним садом / Месяц розовый воскрес .. (Ч); О, это был

прохладный день / В чудесном городе Петровом! (БС); Как площади эти обширны, / Как гулки и крути мосты! (БС); Там, за пестрою оградой, / У задумчивой воды / Вспоминали мы с отрадой / Царскосельские сады, / И орла Екатерины / Вдруг узнали - это тот! .. (БС); "Все мне видится Павловск холмистый .." (БС); "В последний раз мы встретились тогда .." (БС); "Божий ангел, зыбним утром .." (БС); "Древний город словно вымер .." (БС); Но приходи взглянуть на рай, где вместе / Блаженны и невинны били мы (П); "Хорошо здесь: И шелест, и хруст .." (АД); ..художник милый, / С которым я из глубокой мансарды / Через окно на крышу выходила, / Чтоб видеть снег, Небу и облака (АД); ср. Звук шагов в Эрмитажных залах, / Где со мною мой друг бродил (ПБГ); "Годовщину последнюю праздную" (Т) и мн. др.

Г. Победа над судьбой

*Холоднов, чистое, легкое пламя
Победн моей над судьбой. (1956)*

Как мы помним, типичная стратегия поведения ЛГ в негативных ситуациях состоит, на самом общем уровне, в нахождении *modus a vivendi*: несчастливую судьбу она принимает как непреложную данность и пытается создать в этих условиях некую видимость благополучного существования. Опираясь, в частности, на инвариантные свойства и способности души, ЛГ находит источники компенсации - которую было бы правильнее назвать квази-компенсацией - отсутствующего счастья и вырабатывает целую гамму позитивных реакций на печальные условия существования, от спокойной готовности принять их до различных оттенков удовлетворения и радости. Само собой разумеется, что с точки зрения обычной психологии подобная "трагическая эйфория" лишь оттеняет безнадежность действительного положения. Выделим основные способы "победы над судьбой", применяемые ЛГ.

(44) Близость к Богу, способность пророчествовать, творить чудеса, оказывать душевную помощь - частая компенсация обездоленности, неудачной любви, лишений, нищеты, аскезы и т.п. ЕХ. "Будешь жить, не зная лика" (*Много нас таких бездомных, / Сила наша в том, / Что для нас, слепых и темных, / Светел Божий дом .. - Ч*); *И Муза в дырявом платке / Протяжно поет и уныло. / В жестокой и юной тоске / Ее чудо-творная сила* (БС). ЛГ часто с удовлетворением или удивлением отмечает, что к ней, убогой, приходят за душевной помощью более удачливые и сильные: *Вокруг тебя - и вода, и цветы. / Зачем же к нищей грешнице*

стучишься? (БС).

(45) ЛГ находит сладость в сложных, мучительных, горьких переживаниях, ценит и лелеет их; радуется неудаче, приветствует боль. Это несколько мазохистическое упоение болью может иметь место в любовных отношениях - см. (6а) - и в других ситуациях. Оно в какой-то мере опирается на (17) 'Значимость малого' (даже малая примесь "хорошего" заставляет ценить страдание). Но главным источником удовлетворения является, по-видимому, самое осознание того, что страдание и есть наиболее естественный человеческий удел. Ср. мысль А. Камю о необходимости "выбивать клин клином", противопоставляя безысходности ситуации "прочное, уверенное, идущее из глубин дохристианской истории сознание неустранимого трагизма человеческого существования" ("Миф о Сизифе"). ЕХ. *Мы хотели муки жалчей / Вместо счастья безмятежного (В); Слава тебе, безысходная боль! (В); А мы живем торжественно и трудно / И чтим обряды наших горьких встреч (БС);* отметим (56) 'Торжественность' в двух последних примерах. Для понимания данного мотива много дает "Под навесом темной риги.." (В), где противопоставлены ЛГ, звонко приветствующая страдание, и ее незрячий и убогий друг со своим плоским оптимизмом.

(46) ЛГ безропотно приемлет свою участь (вследствие того же сознания неизбежности страдания или пассивности, чувства долга, вины и др.). ЕХ. *Я молчу. Молчу, готовая / Скова стать тобой, земля (В); Я не плакала; это судьба (В); Пускай умру с последней белой вьюгой (В); Мы ни единого удара / Не отклонили от себя (АД).*

(47) Усилием воли ЛГ сохраняет спокойную и веселую мину и продолжает выполнение привычных действий. ЕХ. *Пусть страшен путь мой, пусть опасен, / Еще страшнее путь тоски.. // Оркестр веселое играет / И улыбаются уста.. (В); Бить веселой - привычное дело, / Бить внимательной - это трудней (БС).*

Группа мотивов (48) - (54) объединяется следующим моментом: ЛГ тем или иным путем вырабатывает нечувствительность, безразличие к боли, причиняемой жизнью, и выдает это за достижение, хотя ясно, что подобное "обезболивание" связано, в конечном счете, с атрофией живого, отказом от естественных человеческих надежд и стремлений и т.п.

(48) Механическое поведение в состоянии оцепенения или транса. В ряде случаев нечувствительность ЛГ к страданию достигается тем, что она впадает в оцепенение или транс [см. (18)], начинает вести себя механически, что в образном плане иногда выражается сравнениями с заводной игрушкой. Обычно при этом сохраняется веселая мина и продолжают обычные действия, как в (47). ЕХ. *Я живу, как кукушка в часах..*

/ Заведут - и кукую (В); Как соломинкой, пьешь мою душу...// Когда кончишь, скажи (В); Но зачем улыбкой странню / И застывшей улыбаемся? (В); Странно вспомнить: душа тосковала, / Задыхалась в предсмертном бреду. / А теперь я игрушечной стала, / Как мой розовый друг какаду (В).

(49) Омертвление, потеря памяти и чувствительности (образно - превращение в камень). ЕХ. *Ты давно перестала считать уколы - / Грудь мертва под острой иглой (В); Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморной стану (В); Ему обещала, что плакать не буду. / Но каменным сделалось сердце мое (ВС); ср. У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить, / Надо, чтоб душа окаменела.. (Т).* Иногда идет речь о превращении в существо с пониженной чувствительностью: *Мне больше ног моих не надо, / Пусть превратятся в рыбий хвост! / Пливу, и радостна прохлада...// .. И не пленюсь ничьей тоской (В).*

(50) Успокоение. Во многих стихотворениях описывается успокоение ЛГ, т.е. отдых, отрезвление, переход от "горько-сладких", острых и утонченных переживаний к простой здоровой жизни, природе и т.п. Изменение образа жизни часто связано с переменой места (из столицы ЛГ попадает в деревню или тихий провинциальный город). В прошлом может подразумеваться либо опустошившая душу драма, либо "греховная" гедонистическая жизнь, которую ЛГ теперь отвергает - см. (24). Так или иначе, ЛГ с удовлетворением констатирует свое избавление от прошлого под влиянием мирной природы, характеризующейся добротностью, ясностью, циклическим постоянством - в противовес нервным, неустойчивым, импрессионистически-уникальным состояниям, типичным для прежней жизни. Если в прошлом была боль, то теперь ее источник "вынут" из души: нет больше страха, треволений, бессонницы и т.п. ЛГ научилась жить размеренно и ровно. Покой и уединение в некоторых случаях восхваляются как способствующие поэтическому творчеству. Но, как и в других ситуациях квази-компенсации, оптимистический тон лишь оттеняет неблагоприятные положения. Вместе с болезненным из души оказывается "вынутым" и живое. Отброшена "проклятая легкость", но при этом жизнь перешла на более примитивную ступень, где ЛГ, по ее признанию, "душно". ЛГ либо угасает, либо приближается к состоянию немoty и безразличия, либо, в лучшем случае, подспудно тяготеет к прозаичности и простотой новой жизни, образно описывая ее как неволю и монастырь. "Здоровая и чистая" природа, успокоительная регулярность жизненного цикла имеет обратную сторону в виде бездуховности и стагнации.

Приведем примеры 'Успокоения', разделенные на три группы по (убывающей) степени негативности фактической ситуации.

(а) Угасание, приближение смерти. Память о солнце в сердце слабеет. // .. Может быть, лучше, что я не стала / Вашей женой .. // Что это? Тьма? (В); Эта жизнь прекрасна. / Сердце, будь же мудро. // Ты совсем устало, / Бьешься тише, глуше .. / Знаешь, я читала / Что бессмертны души (В); Я гощу у смерти белой / По дороге в тьму .. // Истоит звезда большая .. / Так спокойно обещая / Исполнение снов (ВС); Я вошла вчера в зеленый рай, / Где покой для тела и души .. (ВС). По-новому, спокойно и сурово, / Живу на диком берегу .. // .. Вот таким себе я представляла / посмертное блуждание души (ВС). И будет так, пока тшайший снег / Не сжалится над скорбной и усталой (АД).

(б) Охлаждение, "опреснение" жизни, стагнация, немота. Не печально, / Что души моей нет на свете .. // Как светло здесь и как бесприютно, / Отдыхает усталое тело (В); Вместо мудрости - опитность, пресное, / Не утоляющее питье .. (ВС). Я очень спокойная. Только не надо / Со мною о нем говорить. // Ты милый и верный, мы будем друзьями .. / Гулять, целоваться, стареть .. / И легкие месяцы будут над нами, / Как снежные звезды, лететь (ВС). Сразу стало тихо в доме, / Облетел последний мак, Замерла я в долгой дреме / И встречаю ранний мрак .. // Нежной пленницей песня / Умерла в груди моей (П).

(в) Неволя, заточение, монастырь, аскеза. Так много камней брошено в меня, / Что ни один из них уже не страшен, / И стройной башней стала западня, / Высокою среди высоких башен. // Строителей ее благодарю .. / Отсюда раньше вижу я зарю .. (ВС). Так случилось: заточенье / Стало родиной второю, / А о первой я не смею / И в молитве вспоминать. (ВС). Мой румянец жаркий и недужный / Стерла богомольная печаль (П). И было так светло в твоей неволе, / А за окошком сторожила тьма. // .. Теперь во мне спокойствие и счастье (АД).

В некоторых стихотворениях 'Успокоение' имеет более или менее "искренний" оптимистический колорит, не будучи сопряжено с угасанием, неволей, застоєм и т.п.; негативным подтекстом такого 'Успокоения' служит лишь общий грустный тонус мироощущения ЛГ, иногда с намеками на какую-то пережитую драму, а иногда и без них. Так, например, обстоит дело в "Пусть голоса органа .." (А я иду владеть чудесным садом, / Где шелест трав и восклицанья муз - АД), "Приду туда .." (ВС), в сюжетно сходных "Вот и берег .." и "Древний город .." (оба - ВС), и др.

Нередко, в соответствии с (13) - (14), отмечается сам момент перемещения ЛГ в ту местность, с которой связано 'Успокоение' (деревню и т.д.). В образном плане оно иногда описывается как резкое перенесение, падение с неба на землю: Я с неба ночного упала / На эти сужие

поля (14 г.); ..И на землю я упаду, - / Теперь мне не страшно очнуться / В моем деревенском саду (BC); в других случаях - как конец бегства или странствия: Вот и берег северного моря (BC); Путь свой жертвенный и славный / Здесь окончу я (BC); Я вошла вчера в зеленый рай .. (BC) и т.п. Но и в рамках мирной сельской жизни иногда фиксируются "внутренние" моменты успокоения, которые также могут связываться с перемещением (обычно домой): .. И долго перед вечером бродить, / Чтоб утомить ненужную тревогу .. // Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь / Пушистый кот .. (Ч). Я иду домой, / И прохладный ветер нежит / Лоб горячий мой (П).

Месту действия могут придаваться черты застоя, запустения, утомительной цикличности: Здесь никогда ничего не случится, - / О, никогда! (B); Годи можно здесь молчать (B); Здесь все то же, то же, что и прежде, / Здесь напрасным кажется мечтать (Ч); .. Как тому назад три года. / Те же мши книги точат, / Так же влево пламя клонит / Стеариновая свечка (BC); Древний город словно вимер (BC).

(51) Полное избавление от земных забот. Смерть нередко приветствуется ЛГ как освобождение от горя, житейских тревожений, тягостной немоты и др. ЕК. Пора лететь, пора лететь / Над полем и рекой. / Ведь ты уже не можешь петь .. (BC); Чугунная ограда, / Сосновая кровать. / Как сладко, что не надо / Мне больше ревновать .. // Добились мы покою / И непорочных дней .. (АД); Пусть дух твой будет тих и покоен, / Уже не будет потерь .. (BC); ср. Все души милых на высоких звездах. / Как хорошо, что некого терять / И можно плакать .. (С). Избавление от мучительных переживаний может служить квази-компенсацией и в иных случаях: Больше нет ни измен, ни предательства .. (Т, цикл "Разрыв").

(52) Приобщение к "царству славы". Разрушение и смерть могут приветствоваться также как приобщение человека к таинственной космической симфонии, воссоединение души с Богом, вступление ее в небесную рать и т.п. ЕК. Он божьего воинства новый воин, / О нем не грусти теперь .. // Подумай, ты можешь теперь молиться / Заступнику своему (BC); Казалось, стены сияли / От пола до потолка (описание смерти - BC); Так вот оно, преддверье царства славы (13 г.); "А Смоленская .." (АД); финал поэмы "У самого моря" (смерть царевича, сопровождаемая несказанным светом); ср. Но как заплачет, возликует он, / Когда, минув тусклое оконце, / Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце, / И смертный уничтожит сон (44 г.).

К данному мотиву близок мотив претворения разрухи и нищеты в чудесный свет, по-видимому, имеющий эсхатологический смысл: "Все рас-

хищено .." (Отчего же нам стало светло? - АД).

(53) Претворение мгновенного и эфемерного - в вечное и нетленное. Эфемерность, хрупкость дорогих объектов, мимолетность впечатлений, редкость и краткость счастливых мгновений жизни, их невозвратимость - квази-компенсируются переходом в духовное измерение, где все преходящее и летучее запечатлевается навечно и как бы изымается из-под юрисдикции времени, житейских невзгод и т.д. В частности, пережитые моменты любви навсегда остаются в душах участников романа (а также в "памяти" окружающих мест и предметов) в виде неких нетленных сущностей, нимало не затрагиваемых ссорами, разлукой, изменой, смертью, забвением и прочими превратностями. (Отсюда частые утверждения ЛГ, что бросить ее, расстаться с ней - нельзя). Данная разновидность "Победы над судьбой", которая, отметим, реализует одновременно и "Долг" (сохранить ценности!), опирается в первую очередь на аппарат 'Памяти' [см. (19)].

ЕХ. Мысленный образ, воспоминание, тень, след, отражение - как заменитель "оригинала", иногда приравниваемый к нему интенсивностью воображения: *Но я эту запомнила речь, - / Пусть струится она сто веков подряд / Горностаевой мантией с плеч (В). .. Личный след, словно память о том, / Что в каких-то далеких веках / Здесь с тобой прошли мы вдвоем (АД). Сердце бьется ровно, мерно. / Что мне долгие года? / Ведь под аркой на Галерной / Наши тени навсегда (Ч). ... Тень моя на стенах твоих. / Отражение мое в каналах, / Звук шагов в Эрмитажных залах .. (ПБГ). Там, где наши проносятся тени, / Над Невой, над Невой, над Невой; / Там где плещет Нева о ступени, - / Это пропуск в бессмертие твоей (С). Иная близится пора, / Уж ветер смерти губы студит, / Но нам священный град Петра / Невольным памятником будет (АД). И лениградцы вновь идут сквозь дым рядами - / Живые с мертвыми: для славы мертвых нет (С).*

Поэзия и история - как залог бессмертия, компенсирующего отсутствие счастья: *Мне любви и покоя не даю, / Подари меня горькою славой (Ч). Твоей белый дом и тихий сад оставлю. / Да будет жизнь пустынно и светла. / Тебя, тебя в своих стихах прославлю, / Как женщина прославить не могла (ВС). Пусть он не хочет глаз моих .. / Вся жизнь ловить он будет стих, / Молитву губ моих надменных (ВС).*

Воспоминание - как бережно хранимое сокровище, источник утешения: *Вновь подарен мне дремотой / Наш последний звездный рай .. // Чтобы песнь прощальной боли / Вечно в памяти жила .. (ВС). Чтоб вечно жили дневные печали, / Ты превращен в мое воспоминанье (ВС). И я подумала: не может быть, / Чтоб я когда-нибудь забыла это. / И если трудный путь*

*мне предстоит, / Вот легкий груз, который мне под силу / С собою
взять, чтоб в старости, в болезни, / Бать может, в нищете - припоминать
/ Закат неистовый, и полноту / Душевные сил, и прелесть милой
жизни (АД).*

Неразрушимый образ лучших моментов любви как компенсация ее не-
долговечности и томительных перипетий: *Оттого что стали рядом / Ми в
блаженный миг чудес .. // Мне не надо ожиданий / У постилого окна / И
томительных свиданий. / Вся любовь утолена (Ч); Спокойно знаю - в этом
тайна / Неугасимого огня. / Пусть мы встречаемся случайно / И ты не
смотришь на меня (10-е гг.); О, есть костер, которого не смеет / Кос-
нуться ни забвение, ни страх (Ч); Все равно, что ты наглый и злой, /
Все равно, что ты любишь других, / Предо мной золотой акалой / И со
мной сероглазый жених (Ч); То ли я с тобой осталась, / То ли ты ушел
со мной, / Но оно не состоялось, / Разлученье, ангел мой! (09 г.?);
Разлучение наше мнимо: / Я с тобой неразлучима, / Тень моя на сте-
нах твоих (ПВГ).*

(54) Общение с отсутствующими. К только что рассмотренному мо-
тиву примыкает такой привычный для ахматовской ЛГ способ квази-ком-
пенсации, как "сеансы" общения с "гостями из прошлого" - умершими или
далекими людьми, исчезнувшими объектами - как с живыми и присутствую-
щими. Отличие от (53) состоит в том, что там идет речь о существо-
вании в духовном пространстве постоянных образов прошлых объектов,
а здесь - об окказиональном их явлении. Возможность таких встреч
обеспечивает, во-первых, способность ЛГ к прониканию времени (па-
мять) и пространства (телепатия), на которой основан и (53); во-
вторых, способность к экстагическим, взволнованным, "бредовым" со-
стояниям, "юродство", "блаженность". Там, где действует преимущест-
венно первый фактор, рассматриваемый случай довольно близок к (53).
Во многих стихотворениях, однако, общение ЛГ с гостями из прошлого
имеет оттенок бреда, транса, иногда даже полупомешанности, мотивиру-
ющих неспособность уловить грань между живыми и мертвыми, смешение
разных лиц и одного и того же лица в разных возрастах и т.д.

Подобные фантастические встречи особенно типичны для поздних
стихов (где они иногда называются "невстречами"), но примеры их есть
и в первых книгах. Ср. *Пришли и сказали: "Умер твой брат". / Не знаю,
что это значит .. // Брата из странствий вернуть могу .. // Брат! Дожда-
лася я светлого дня, / В каких ты скитался странах? / - Сестра, от-
вернись, не смотри на меня, / Эта грудь в кровавых ранах (10 г.);
Ты опоздал на много лет, / Но все-таки тебе я рада. // .. Прости, про-
сти, что за тебя / Я слишком многих принимала (БС); И вот одна оста-*

лась я .. // Но так бывает: раз в году .. / Стою у чистых вод // И слышу плеск широких крыл / Над гладью голубой. / Не знаю, кто окно раскрыл / В темнице гробовой (П); Заболеть бы как следует, в жгучем бреду / Повстречаться со всеми опять .. // Даже мертвые никак согласны прийти .. // Буду с милыми есть голубой виноград .. (АД); Наступают годовщины / Первых дней твоей любви. // Ты мои разрушил царя, / Годы плыли, как вода. / Отчего же ты не старей, / А такой, как был тогда? (АД).

Примеры юродивой эйфории, поисков несуществующего - "Похороны", где ЛГ имеет место для могилы, как будто бы речь шла о выборе жилья, где она сможет обитать с умершей: .. Она привыкла к покою / И любит солнечный свет. / Я келью над ней построю, / Как дом наш на много лет .. // Между окнами будет дверца, / Лампадку внутри зажжем .. (В); "Где высокая .." (БС), где ЛГ радуется тому, что Магдалина смочка взяла, ходит в бреду по комнатам и ищет его колыбельку; "Белый дом", где ЛГ аналогичным образом ищет несуществующий дом, и т.п. Из более поздних стихотворений, где желанная встреча имеет явные черты сна, бреда и смещения лиц, отметим "Так отлетают .." (Т).

Выделим в заключение некоторые мотивы и детали, часто используемые для развертывания и сопровождения различных мотивов раздела "Победа над судьбой".

(55) Живые чувства, прорывающиеся сквозь маску благополучия. Аналогичный мотив встречается, как мы помним, в разделе "Долг и счастье" - см. (34). Это естественно, поскольку 'Прорывание чувств' несомненно соотносено с общей темой, к которой восходят оба раздела - 'конформизм по отношению к неблагоприятным условиям', см. (1). Сквозь искусственный оптимистический тон, как и через тон сдержанности в (34), время от времени слышится интонация живой боли, страха и т.п. Иногда она сказывается в заявлениях о нежелании говорить или знать о чем-либо. ЕХ. Жгу до зари на окошке свечу / И не о ком не тоскую, / Но не точу, не точу, не точу / Знать, как целуют другую (В); Грудь предчувствием боли не жата .. / Не люблю только .. / слово "уйди" (В); Я очень спокойная. Только не надо / Со мною о нем говорить (БС). В других случаях страх, сожаление, любовь и др. чувства прорываются в явной форме. ЕХ. Этой сказкою никак утешена / Я, наверно, спокойно усну. Что же сердце колотится бешено, / Что же вовсе не клонит ко сну? (АД); О, есть костер, которого не смеет / Коснуться ни забвение, ни страх. / И если б знал ты, как сейчас мне любви / Твои сухие, розовые губы! (Ч; при мотиве 'Претворение мгновенного в вечное'); конец "Я научи-

лась просто, мудро жить .." (И если в дверь мою ты постучишь, / Мне кажется, я даже не услышу - Ч), где 'Прорывание' совмещено с финальным аккордом 'Успокоения'. Интересный пример 'Прорывания', занимающего все стихотворение - "Да, я любила их .." (БС), где явно подразумевается 'Успокоение' (прош. вр. любила и общий контекст "Белой стаи").

(56) Ликование и торжество, с использованием образов и слов типа *праздник, торжество, царственность, годовщина, слава* и т.п. ЕХ. *Но я эту запомнила речь, / - Пусть струится она сто веков подряд / Горностаевой мантией с плеч* (В; при мотиве 'Претворение мгновенного в вечное'); *Слава тебе, безжосткая боль!* (В; при мотиве 'Горечь - сладость'); *В мою торжественную ночь ..* (Ч; то же); *..празднует тело / Годовщину грусти своей* (БС; при мотиве 'Претворение ..', причем роль 'мгновенного' играет 'горечь - сладость'); *Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски одарил тысячелетья* (БС; при мотиве 'Горечь - сладость').

Подобные случаи можно рассматривать как совмещение очень высокой степени 'позитивной реакции' (свойственной всем мотивам раздела "Победа над судьбой") с присущим ахматовской ЛГ 'торжественно-трепетным модусом восприятия действительности' и, по-видимому, также с 'обезболиванием, отключением живых чувств' (праздник = ритуал = механическое). Если последнее верно, то данный мотив близок к группе (48) - (54).

(57) Пожелания счастья и благополучия другим. Данный мотив, контрастно подчеркивая отсутствие счастья у ЛГ, в то же время способствует поддержанию позы удовлетворения и оптимизма, конституирующей мотивы "Победы над судьбой". ЕХ. "Столько просьб .." (все стихотворение - Ч); *Будешь жить, не зная лиха* (Ч); *И жниц ликующую рать / Благослови, о боже!* (БС); *Строителей ее [башни-западни] благодарю: / Пусть их забота и печаль минует* (БС); *Прощай, прощай, будь счастливе, друг прекрасный ..* (АД).

(58) Холод, прохлада, чистый холодноватый свет, вода, снег, лед - детали, часто ассоциируемые с 'Успокоением' и другими мотивами "обезболивания". ЕХ. "Память о солнце" (В); *Под улыбкою холодной / Императора Петра* (Ч); *Приду туда, и отлетит томленья. / Мне ранние приятны холода* (БС); *И будет так, пока тишайший снег / Не скажится над скорбной и усталой* (АД); *И без песен печаль улеглась. / Наступило прохладное лето ..* (П); ср. *И от наших великолепий / Холодочка струится волна* [С; совмещение с (55)]; ср. также эпиграф к настоящему разделу.

(59) Формулировки: "ничего ..", "пусть ..", "не страшно (больно,

жаль и др.)..", "так даже лучше .." и подобные им - очень часто применяются при оформлении самых различных мотивов "Победы над судьбой".
ЕХ. Меня покинул .. / Ну так что ж? (В); Что мне долгие года? (Ч); Что теперь мне смертное томление! (Ч); Пусть он не зочет глаз моих (ВС); ср. У наизусть затверженных прогулок / Соленый привкус - тоже не беда (Т); Ничего, ведь я была готова (Т); Ничего, что не встретим зарю (С); Я не плачу, я не жалуюсь (В); Не печально, / Что души моей нет на свете (В); Уже не страшно ничего (10-е гг.); И струится пенье панихидное / Не печальное ничче, а светлое (АД); ср. Не страшно под пулями мертвыми лечь, / Не горько остаться без крова (С); Мне даже легче стало без любви (ВС); Даже звонче голос нежный (АД); Там средь стволое еще светлее (С).

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Липкин 1969: С. ЛИПКИН, Восточные строки Анны Ахматовой. В кн.: А. Ахматова. Классическая поэзия Востока. Москва: Художественная литература.
- Тименчик, Топоров, Цивьян 1978: Р. Д. ТИМЕНЧИК, В. Я. ТОПОРОВ, Т. В. ЦИВЬЯН, Ахматова и Кузмин. *Russian Literature*, VI-3, Amsterdam.
- Чуковский 1921: К. ЧУКОВСКИЙ, Ахматова и Маяковский. В кн.: Дом искусств, № 1, Петербург.

НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА М. ЦВЕТАЕВОЙ

Данная статья является кратким изложением работы по описанию поэтического мира Цветаевой (ПМЦ)¹. По своему направлению исследование примыкает к циклу работ в рамках модели "Смысл ↔ Текст", в частности посвященных описанию поэтического мира как системы инвариантов². Исследовались различные тексты Цветаевой (Ц): стихи, проза, письма; в статье примеры приводятся в основном из стихотворных произведений. Изучение материала позволило сделать некоторые общие выводы.

Творчество Ц. прежде всего являет собой пример активно-пристрастного, оценочного отношения к миру. Контакт поэта с миром представляет собой следующее: имеется мир объективной реальной действительности и поэт-личность, ощущающая свою индивидуальность, "особость", отдельность, отъединенность от мира. Поэт имеет представление об идеале, это набор абсолютов, абстрактных положительных категорий. При такой максималистской установке на идеал, при сопоставлении идеала и действительности, которая, естественно, не выдерживает сравнения с ним, мир объективной действительности представляется поэту несовершенным, ущербным, получает отрицательную оценку, объявляется неистинным. По контрасту с неистинным миром (НМ), полностью отталкиваясь от него, поэт творит иной, свой, истинный мир (ИМ), в соответствии со своим представлением об идеале, как приближение к нему.

В самом общем виде отношение поэта Цветаевой к миру это позиция:

а) идеалиста-максималиста (ориентация исключительно на идеал, не существующий в реальной действительности; характер идеала - миф типа *возвешенного обмана*);

б) активного бойца, борца с ненавистным ему несовершенным миром: все, что не соответствует его идеалу, яростно и гневно отвергается, клеймится как неприемлемое, недостойное, низкое, презренное, уничтожается; с другой стороны, имеется тяготение к совершенному, восхваление (*тоном обвинительного акта*), страстная проповедь, прославление, громогласно-декларативное отстаивание идеала, доходящее порой до пристрастного навязывания своей истины - *защита (мира высшего от мира низшего)*;

в) активного творца, не только разрушающего старый несовершенный мир, но и творящего новый совершенный; сотворение нового мира в данном случае есть мифотворчество.

г) романтика-индивидуалиста: все события мира автора, драматика его мира разворачиваются не в "жизни", а в душе; преобразование мира осуществляется не в сфере "строительства жизни", а в области души и духа.

Указанные свойства Цветаевой находят свое отражение на уровне глубинных смысловых инвариантов, которые являются наиболее общими, исходными инвариантами ее ПМ, и архиситуаций, которые представляют собой различные сочетания этих исходных смысловых инвариантов и отражают устройство мира в ПМЦ.

В терминах смысловых инвариантов, наиболее глубинными элементами структуры ПМЦ являются следующие оппозиции:

(1) 'соответствие/несоответствие' - парадигматический тип отношений (сокращенно 'соотв./несоотв.')

(2) 'соединение/несоединение' - синтагматический тип отношений (сокращенно 'соед./несоед.')

(3) 'истинное/неистинное' - оценочный смысл ('ист./неист.')

(4) 'активное/пассивное' - отношение к миру и точка зрения автора ('акт./пасс.')

Из них смыслы (1) и (2) являются самыми общими исходными инвариантами - их сочетания определяют наиболее общую структуру ПМЦ, т.е. основные типовые архиситуации: "А" - 'соединение соответствий', "Б" - 'несоединение соответствий', "В" - 'соединение несоответствий', "Г" - 'несоединение несоответствий'. Отсюда наиболее глубокий архисюжет в ПМЦ:

(5) "Б" может сопровождаться или вызывать "В", что приводит к "Г", что вызывает или, в свою очередь, является результатом "А".

При наложении смыслов, отражающих позицию автора (3) и (4), получаются архиситуации несколько менее абстрактного уровня, т.е. частные случаи типовых архиситуаций "А", "Б", "В", "Г". Из них наиболее актуальные - это ситуации, участниками которых являются основные противоборствующие силы в ПМЦ - 'ист.' и 'неист.':

(6) сит.1 - 'соединение неистинного' ('соед.неист.и неист.')

(7) сит.2 - 'несоединение истинного' ('несоед.ист. и ист.')

(8) сит.3 - 'соединение истинного и неистинного' ('соед. ист. и неист.')

(9) сит.4 - 'несоединение истинного и неистинного' ('несоед.ист. и неист.')

(10) сит.5 - 'соединение истинного' ('соед.ист. и ист.')

В этих ситуациях смысл 'соотв.' выражается однородными элементами, т.е. X и соответствующий ему X^1 ('ист.' и 'ист.'; 'неист.' и 'неист. '), а смысл 'несоотв.' - неоднородными ('ист.' и 'неист.').

Именно эти ситуации (6) - (10) находятся в центре внимания автора, и можно считать, что одной из наиболее актуальных инвариантных тем ПМЦ является

(11) 'активное несоединение с несоответствующим, неистинным и активное соединение с соответствующим, истинным'

Другими словами: активное, пристрастное неприятие несовершенного устройства низшего, неистинного мира и такое же страстное приятие совершенного, высокого, истинного.

Перейдем к рассмотрению исходных инвариантов и их разновидностей.

1. 'СООТВЕТСТВИЕ/НЕСООТВЕТСТВИЕ' (X,Y)

1.1. Инвариант 'соответствие' ($X \sim Y$) имеет следующие разновидности:

а) 'равенство, тождество'.

Соответствие вытекает либо из явной одинаковости сопоставленных элементов (*Близнецы Сиам!*), либо приписывается им путем названия, давания имени, или определения одного из элементов через другой. Так, "Стихи к Блоку" начинаются *Имя твое - птица в руке...* и далее следует целый ряд определений из цветаевской *сокровищница подобий*, в том числе неназываемое, но подразумеваемое имя Бога. Типичные способы выражения этого смысла: двоеточие, тире; X может связываться с Y-ом словами *есть, то же, что, равен, значит, есть сам, явление, воплощенный* и т.п.

Напр. *Любовь, это значит лук натянутый: лук:разлука (ИП,456); в нищез и тесной жизни: "жизнь, - как она есть" (ИП,450)³*. Сравнимые элементы могут быть равны, соизмеримы, тождественны по какому-то основанию сравнения: той же силы, степени признака и т.п.; типичная конструкция - X *в размер, в меру, в пору, по росту, по силе, по хажде* и т.п. Y-а, ср. *А прочный, во весь мой вес, просторный - во весь мой бег, стол - вечный на весь мой век! Спасибо тебе, Столяр, за доску во весь мой дар, ... за вещь - в размер (ИП,301)*; *один Мне равносильен... один Ты - равномоц Мне (ИП,260)⁴*.

б) 'сходство, подобие' X,

похож, как, будто, точно, подобен, творительный сравнения : ср. *и как призрак - птицей - бабочкой ночной - Психея (ИП,154)*. Тот же

смысл 'подобия' и в идее 'копии' (скизок, слепок, оттиск, дагерротип, тень, отражение в зеркале, X в роли Y и т.п.), ср. в "Доме": *Девический дагерротип души моей... Дом - будто юности моей день, будто молодость моя меня встречает: - Здравствуй, я!* (ИП, 293). Ср. также 'подобия' для Брюсова: *дятел, станок, нечто от каменного гостя - подобия в природе не подберешь* (Пр. "Герой труда").

в) 'родство'

'Неистинное' - кровное, брачное и т.п.; 'истинное' - духовное, ср. *невеста во Христе, сны души*. Так, например, 'соотз.' Пушкина и Петра Великого, истинное величие которого не в сфере "строительства жизни", (где он, правда, тоже велик, ср. его *диво-дела*), а в сфере духовной (*подарил России Пушкина, ставшего источником света на Руси*), устанавливается не только и не столько через кровное родство (Пушкин - Ганнибал), сколько через духовное родство по избранию: *бил негр ему истинным сыном, так истинным правнуком - ты останешься* (ИП, 285).

г) 'общность'

Наличие для X и Y некоего общего Z: союз, заговор, общая принадлежность к чему-то, напр. общность происхождения, породы, корней, круга, общие привязанности и т.п. Ср. Пушкин и Петр - *заговор равних; Димитрий! Марина! В мире Согласнее нету ваших Единой волною вскинутят, Единой волною смятат Судеб! Имен! Над темной твоею люлькой, Димитрий, над люлькой пишкой твоею, Марина Мнишек, Стояла одна и та же Двусмысленная звезда, Она же над вашим ложем, Она же над вашим тронном* (ИП, 91)⁵. Естественно, что и в этом случае авторское предпочтение отдано 'истинной общности' - всякого рода духовным связям, родству в духе, братствам, товариществам - союзам вне, помимо, вопреки, поверх всех земных примет-барьеров (кровных, любовных, социальных, возрастных и др.) как осуществление свободы выбора - душой, права на душевные пристрастия, ср. *пробитие тупики и раздвинутие границы рождения и крови* (ИП, 473).

д) 'соположенность'

Соотнесенность, связанность членов одного ассоциативного ряда (выступающая в данном случае именно как парадигматическое свойство). Виды 'соположенности' многообразны: X 'часть', 'деятель', 'основное действие', 'сфера деятельности', 'содержание', 'принадлежность' (в том числе принадлежность к одному миру, т.е. 'однородность' элементов), 'назначение' (*суть, смысл, судьба, долг, предназначенность, закон, главная примета, основа, роковое свойство, место, линия жизни, обусловленность*: X для Y, X для того, чтобы Y, если X то Y, 'источник' (*родина, колибель, истоки, корни, гнездо*) Y-а и т.п. *Зверю - берлога, Страннику - дорога, Мертвому - дроги. Каждому - свое.*

Женщине - лукавить, Царю - править, Мне - славить Имя твое (ИП,95); Я - страница твоему перу (ИП,130); В постель иду, как в ложу: Затем, чтоб видеть сны (ИП,265); раз музыкант - так гол (ИП,527); Германия - моя родина, колибель моей души! (ИП, "О Германии"); Душа есть долг. Долг души - полет (ИП,471); птица я ... и легкий мне закон положен (ИП,158); Две птицы вили мне гнездо: Истина и Сиротство (ИП,117); Семь в основе лири, Семь в основе мира. Раз основа лири - Семь, основа мира - Лирика (ИП,560).

е) 'обратность'

'Соответствие' элементов устанавливается по принципу сходства разного, а не подобного: разные элементы, как две стороны одной медали, представляют собой неразрывное единство. Сюда относятся случаи предельной, полярной, крайне заостренной разности, "взаимоисключенности" элементов, которые при взгляде с более высокой точки зрения "над" фактически тождественны в своем различии. Два на миру у меня врага, Два близнеца неразрывно-слитых: Голод голодных - и ситость ситых. (ИП,133) - С точки зрения высокого ИМ все видимые, условные различия (напр. "низы" и "верхи", т.е. немущие и имущие, по неистинному признаку брэнние великоления) и сходство элементов ИМ являются 'соответствием' с оценкой 'неист.' Ср. парные имена, связанные 'соответствием' по типу 'обратности': Пушкин - Н.Гончарова: ...обратное красавице не чудовище, ...а сущность, личность, печать. ...Пара по силе, идущей в разные стороны... пара друг от друга. Пара - ерозь... Тяга гения-переполненности - к пустому месту. Чтоб было куда... Он хотел нуль, ибо сам был - все... хотел того ВСЕГО, в котором он сам был нуль (ИП,166); Бальмонт - Брюсов: Все, что не Бальмонт - Брюсов, и все, что не Брюсов - Бальмонт. Не два имени - два лагеря, две особи, две расы (Пр.,129).

1.2. Инвариант 'несоответствие' ($X \neq Y$) выражается в отрицании той или иной из разновидностей их соответствия (напр. "не", "вопрос" плюс какая-либо разновидность 'соотв.'), в подчеркивании 'различия, непарности, несовместимости, несопоставимости, несоизмеримости' ($X > Y$ или $X < Y$), 'разнородности' (принадлежность к разным мирам). Примеры: Мои кольца - не я .. (ИП,231) - внешнее, поверхностное, отчуждаемое не есть моя суть, мое "настоящее" "я"; о Петре - Сей, не по кровям торопливый славакским... (ИП,284) - X 'не в размер, не по' Y; Вещи бедных - странная пара Слов... Вещь и бедность - лаяная свара... Вещь и нищ. Связь? Нет, разлад (ИП,550); о внешнем несоответствии Царь-Девы и царевича (дева-царь) - Твоя-то - перышко, моя-то - лапца, ... я большая, а ты - махонькой (ИП,363); о похоро-нах Пушкина - ...точно вори вора..внесли...С проходного двора

- Умнейшего мужа России (ИП, 282) - 'неоднородность, разномасштабность, неравноценность' X и Y: 'безликое' (неназванные "они"), 'низкое' (ворн) 'самое', 'избранное', 'огромное' (Россия), 'высокое', 'торжественное' (умнейший муж);...*Всех живучей и живее. Пушкин - в роли мавзолея? Африканский самовол - ... в роли гувернера?* (ИП, 282).

2. 'СОЕДИНЕНИЕ/НЕСОЕДИНЕНИЕ' (X,Y)

2.1. Смысл 'соединение' имеет много разновидностей, представляющих собой разнообразные формы синтагматического контакта. Укажем некоторые из них.

А. 'Физический контакт'

а) 'устремленность, направленность к контакту':

а₁) 'стремление к контакту, желание контакта' - *тяга, тяготение, наклон, притяжение, ожидание, обращенность, нацеленность на. Мотивы: 'привлечение внимания' (призыв, зов, оклик, магия, прельщать, соблазнять); 'завораживание, привораживание' (X завораживает Y, в результате чего Y 'соед.' с X и 'не соед.' с Z) и 'ответное движение' - отклик, отзыв, эхо, услышать, оборачиваться на, соблазняться, обольщаться и т.п.*

У меня к тебе наклон ... ВСЕХ звезд (родовая тяга звезд к звездам!) ... - К дуплу тяготенье совье, тяга темени к изголовью гроба ... уст к роднику (ИП, 249); как на каждый слог - что на тайный взгляд оборачиваюсь ... как на каждый стих - что на тайный свист остаиваюсь, настораживаюсь (ИП, 273) - оборот на, тайный стговор, переключка, переглядывание, обмен призывными взглядами.

а₂) 'движение к, навстречу' - *тянуться, идти, бежать к, следовать за, догонять, настигать; мотив 'поиска, преодоления преград, разделяющих X и Y': железняком к магниту Тянуть (ИП, 594); за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика (ИП, 169).*

б) 'непосредственный физический или сенсорный контакт' и его разновидности:

б₁) 'соприкосновение: начиная от простой 'смежности' (рядом, около, с и т.д.) до тесной спаянности, т.е. образования единого целого (стать одним - слиться, сбиться - от:быть вместе, срастись и т.д.); ср. характерные глаголы трогать, целовать, цепляться, льнуть, жаться к, впитаться, привоздить, прохзить, обнимать, сцепиться, свиться, опутать, окутать, одеть, обмотать, обвить, окружить, опоясывать ('охват') и т.п.

Держусь, как котного листа Певница, края стенки - Слепец (ИП, 453); обвила мне глаза кольцом Теневым - бессоница. Оплела мне глаза ...

Текстием векном (ИП, 85); о столе - к себе привоздив чуть свет (ИП, 298); Я в грудь тебя целую, Московская земля! (ИП, 83). Некоторые типичные мотивы: 'запропасться, запутаться в чем-то цепко держащем' (в зарослях, в кустове, вощее, плуцее); - 'погрузиться, одеться во что-то обволакивающее, окутывающее' (лена, волна, ливни, водопад, реки, ручьи, мех, пух, огонь, дым, свет, волосы, слезы, листья и т.п.) - жимолостью опояшусь, изморозью опушусь ... шорохами опояшусь, шелестами опушусь (ИП, 196); В ручьевую жимолость Окунутый холм (ИП, 239); - 'встреча' (как совмещение различных видов контакта: рукожатие, поклон, объятие, ср. ток при прикосновении, дружеская или любовная встреча, кутеж, мир).

б₂) 'восприятие 5 органами чувств'

б₃) 'присутствовать' (находиться, существовать, жить, возникать), а также вызывать эти состояния (осуществлять, рождать, творить), ср. В тот час, душа, верши Мири, где хочешь Царить - чертог души, Душа, верши (ИП, 248).

б₄) 'иметь и вызывать обладание' (давать, брать, выбирать, предпочитать и т.п.), ср. связанные с этим мотивы: 'дарение' - И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова! - и сердце свое в придачу (ИП, 103); 'владение, присвоение' (добыть, взять себе, скрыть от других, спрятать), 'единоличье чувств' (максимальная, безраздельная полнота владения: "сама", "одна", "навсегда") - От очевидцев скрою В тучу! (ИП, 254); Взяла его наглухо (ИП, 246).

б₅) 'процесс проникания, вхождения в, внутрь, вглубь' и 'состояние нахождения внутри' - иначе б не шел Мне в очи, и в мысли, и в уши. Не нужно б - тогда би не целел Мне прямо в разверзную душу (ИП, 306); В поток! - В пророчества (ИП, 208); Стихами - как странами, Он въезжал в меня ... Он канул в меня (ИП, 245). С этой разновидностью тесного контакта связаны пересекающиеся и часто совмещающиеся мотивы: - 'звинчивание, вхождение в самую глубь, суть, проникание вглубь - до потери чувства' - Так дети, вплакиваясь в плач, Шептаются в шепот ... так влюбляются в любовь: впадают в пропасть ... вваливаются в любовь (ИП, 238); - 'вбирание' - принять внутрь, поглотить, вместить в себя, впитать, сделать своим, частью себя, X полон Y-а, Y есть богатство X-а, внутреннее владение, неотторжимое, ибо вошло в состав, ср. влияние X на Y, понимаемое Ц. как влияние в: проникаясь, проникаю - Это давление на, влияние - в, как река в реку... Новая вода, небывшая. Сли - якие. (ИП, 190); - 'слияние' - взаимопроникновение, растворение, уподобление, слияние вод, смешение в цвете - Море! - небом в тебя отоживаюсь ... в тебя окраши-

ваюсь (ИП, 273) - *входя, сливаясь, уподобляясь: равносущее становится единосущим; Крово-серебряный, серебро-кровавый след двойной лия ... Не лира ль истекает кровью? Не волосы ли - серебром?* (ИП, 187); ср. слияние в звуке - *Тоской на гитарный лад Перестраиваюсь, Пере-краиваюсь* (ИП, 273) - *настраиваться "в лад", быть созвучным с: в лад, в тон "тебе".* Заметим, что разновидности тесного или полного контакта предполагают в качестве участников элементы, связанные отношением 'соотв.'. Таким же совмещением 'соед.' и 'соотв.' является 'совместность' - X и Y вдвоем, вместе (*в лад, в рифму, в такт, в ногу, в тон - слаженно, дружно, созвучно*) делают одно и то же, они со-участники общего действия: *Спасибо, что рос и рос Со мною, по мере дел Настольных - большал, ширел* (ИП, 298) - *стол ровень с, в размер больших дел поэта, ср. Которую десятину Вспазали, версту - прошли, Покрили: письмом* (ИП, 300).

Б. 'Эмоциональный контакт'

Как всякое взаимодействие вообще, чувства, эмоции есть факт соединения. Однако, характер эмоциональной реакции может быть разным. Положительные эмоции связывают X и Y *канатом любви*, а отрицательный эмоциональный контакт это *канат ненависти* (ср. романы *любви и ненависти*), что дает особый смешанный тип 'соед.-несоед.'

Разновидностями 'положительного эмоционального контакта' являются чувства, соединяющие X и Y, сближающие их, напр. *страсть, при-страстие, любовь, привязанность, привычка, приятие, понимание, сочувствие, нужда в, верность, служение, благодарность, восхищение, поклонение, почитание, признание* и т.п.

В. 'интеллектуальное восприятие и воспроизведение' (*знать, помнить, вспоминать, узнавать, учить, читать* и т.п.).

2.2. 'Несоединение' и его разновидности

А. 'состояние отсутствия контакта'

(X без, вне, мимо Y) ср. *Мимо родилась Времени!* ИП, 240; *Камчатским медведем без льдины* (ИП, 304); типичные мотивы: 'состояние разъединенности, разобщенности, *врозь, порознь, не вместе*', ср. *Поздно и порознь - вот нам брак!* (ИП, 295); *Все врозь у нас: рты и жизни* (ИП, 456); 'Наличие преград, барьеров, препятствий к соединению': *между X и Y стена, ров, река, расстояние, пространство, сильные ненарушаемые запреты (клятва, заповеди, обеты).* Мотив третьего лишнего, третьего между: *грань, межа, водораздел, клин.* Ср. *Меж мечом и рукою - уст Клятва* (ИП, 653); *Но между нами - океан, И весь твой лондонский туман, И розг свадебного тира... И плятой заповеди гнев* (ИП, 107).

Б. 'Прихождение в состояние отсутствия контакта'

1. 'неосуществление контакта'

Ср. разнообразные грамматические средства выражения идеи отрицания, отсутствия контакта, напр. "не" плюс вид 'соединения' в той или иной разновидности: *Я на душу твою не зарюсь!... И по имени не окликну, И руками не потянусь* (ИП, 94); лексические средства (слова типа *бояться, страшиться, отсутствовать* и т.п.), ср. *Скуки боюсь, а не ран* (ИП, 417).

Наиболее частые мотивы:

а) 'нежелание вступить в контакт'

а₁) 'неучастие, уклонение':

- 'движение от' с тем, чтобы не вступить в контакт (*избегать, обходить, миновать, убегать, отдаляться от, отворачиваться, отталкиваться от, спасаться от*). Ср. *Деревька с пугливым наклоном, а может брезгливым?... отератом От улицы: всех и всего там... отворотом... От девушек - сплошь без стыда, От юношей - то ж - и без лба... От тресков, зовущихся: речь... От отроков - листьев новых Не видящих из-за листовок...* (ИП, 303);

- 'ставить преграды к соединению': самому заслоняться, загораживаться, отгораживаться, защищаться от, (ср. *От нее себя заставил Изгородью стрункой!* (ИП, 407)) или загораживать X от 'соед.' с Y, мотив 'защиты' ср. *о столе - стал (Соблазнам мирским порог) Всем радостям попереk, Всем низостям - наотрез!... противовес... всему... У кевечникт благ Мекя отбивал* (ИП, 298).

а₂) 'безучастие' - не реагировать, не откликаться на призывы, ср. *Что усопшему - трепет черни, Женской лести лебяжий пух... Проходил одинок и глух* (ИП, 100).

а₃) 'отказ входить в контакт', ср. *С волками площадей Отказываюсь - вить... На твой безумный мир Ответ одинок - отказ* (ИП, 337).

б) 'разминовение' - несостоявшаяся встреча (*не узнать, не услышать, проглядеть, проспать* и т.п.), ср. *С брачного ложа ушел, не узнаю, И неопознанною - спала... Так разминовиваемся - мы.* (ИП, 259)

2. 'нарушение, прерывание, разрывание, уничтожение контакта', причем в ситуации разрыва X может быть как страдательным участником нарушения контакта (ср. мотив 'разрознения' - *нас рас-ставили, рас-садили... расклеили, распяли...* (ИП, 274)), так и активным (сам разрывает контакт, ср. *каменной глыбой Выйду из двери - Из жизни,* ИП, 177).

Типичные мотивы:

- 'движение от' как выход из, преодоление соединения - отрывать-

ся от, покидать, оставлять позади: переступать, отделяться от, ср. *Из каземата - Соколом взял* (ИП, 288); *Прочь из нор... из школ* (ИП, 532); *От мамы, от мужа, ... От рож скоморошья, От дел наших тошнях! Из спаленки выкралась...* (ИП, 378);

- 'отказ, отречение, разрыв с' ср. *пора Теорию вернуть билет. Отказываюсь - бить. В Бедламе нелюдей Отказываюсь - жить* (ИП, 336);

- 'разлука, расставание, прощание' ср. *Как с любовником с тобой прощаюсь, Виреанная из грудных глубин - Молодость моя! - Иди к другим!* (ИП, 186).

- 'потеря' (терять, лишаться и др.)

Частым является совмещение 'несоед.' и 'соед.': X 'несоед.' с Y и при этом 'соед.' с Z, напр. X меняет Y на Z, бросает Y для, ради Z, бежит из, от Y в, к Z, X не видит Y, так как смотрит на Z и т.п. Ср. *В высокое небо вперенный взгляд: Адам, проглядевший Еву!* (ИП, 174); *с топочущих стогн В легкий жертвенный огонь Рош!* (ИП, 204); *Блаженки дочерей твоих, Земля, Бросавшие для боя и для бега* (ИП, 183)

3. Оппозиция 'ИСТИННОЕ/НЕИСТИННОЕ' имеет следующие разновидности:

3.1. 'идеальное/материальное'; 'духовное, бесплотное, бестелесное (дух, душа)/вещественно-телесное (тело, плоть)'; 'внутреннее, глубинное, отдаленное/внешнее, поверхностное, ближайшее'; 'насуцное, неотъемлемое/ненасуцное, отторжимое'; 'сложно-простое, высшее/примитивно-простое, упрощенное, низшее';

3.2. 'легкое/тяжелое'; 'сухое/влажное'; 'чистое/грязное'; 'светлое (свет, сияние, свечение, яркое)/мрачное'; 'тонкое/грубое'; 'небесное, воздушное, неземное/земное, приземленное'; 'высокое, возвышенное/низкое, низменное';

3.3. 'полное, совершенное/неполное, несовершенное:

- 'неделимое, цельное, единое/разорванное, раздробленное, разчлененное на части, частности, подробности' - различные виды деления во всех сферах жизни

- 'беспредельное, безграничное, бесконечное, свободное от пределов (вне - все - над - инвариант снятых запретов на беспредельность, напр. вне-все-над-временное: всегда, вечное, бессмертное; всюду, везде - простор вселенскости)/предельное, ограниченное, косное, скованное (нормы, рамки, границы, пределы - тупики; временное, смертное, бременное, тщетное, местное)';

- 'полномерное, безмерное (большое, свыше, сверх мер) /умербное (малое, убогое, искаженное, узкое, тесное)'

3.4. 'личное, внеличное (естественно - природные силы стихий),

надличное (*высшие силы*) / безличное, безликое'; 'необычайное, исключительное, избранное (особое, "самое", чудесное: *чудо, чары, магия, волшебство, вымысли, шестое чувство, четвертое измерение, подвиг*) / обычное, заурядное, общее, массовое, среднее, заменимое'; 'божественное/человеческое';

3.5. 'естественное, живое, творческое (*вдохновение, наитие, дар, игра*) / искусственное, безжизненно-мертвое, вымученное (*усилия, труд - в поте, дела, заботы*)'; 'радостное, веселое, празднично-торжественное / уныло-скудное, будничное'; 'красивое/некрасивое'.

Ограничимся несколькими примерами:

Все, что вечно, - на том берегу (ИП, 536); *Здесь - пути, Здесь - числа ... Разруха... Разлука* (ИП, 535); *В поте пишущий, в поте - пахущий! Нам знакомо иное реение. Легкий огонь, над кудрями пляшущий, - Дуновенье - вдохновения!* (ИП, 127); *влажен Ил, бессмертье - сухо* (ИП, 558); *Что же мне делать... С этой бессмертностью В мире мер?!* (ИП, 233).

Оценочный смысл 'ист./неист.' лежит в основе деления мира на истинный (ИМ) и неистинный (НМ), и разновидности оппозиции 'ист./неист.' выступают как характеристики этих миров. В самом общем смысле слова ИМ (цветаевское *тот СВЕТ*, с акцентом на СВЕТ) - это лежащая вне человека реальность, Высший мир (ВМ), мир абсолютов, наиболее обширностей, таких как Дух, Свет, Суть, Единое, Целое, Полное, Вечное, Высшее, Истина, Бог, который существует именно как единство и представляет собой Высший Замысел Бытия (ВЗ). Проекцией на реальный мир отрицательного полюса этих абсолютных категорий является 'неистинный' мир (*этот, сей, здешний мир*), а положительный полюс составляют характеристики 'истинного' мира в более узком смысле слова (цветаевское *тот, нездешний мир* - ТМ). ПМЦ ориентирован по вертикали. В пространственно-этическом плане НМ и ИМ представлены как низ (*низкое, земное, земля*) и верх (*высокое, небесное, небо*). ВМ существует лишь в идее, как идеал, как точка устремления основной линии развития Жизни - непрерывного роста от низшего к высшему (*беспредельное повышение идеи высокого*). ТМ занимает промежуточное положение между ВМ и НМ, и природа его двойственна. Относительно ВМ, ТМ - это самое *первое, низкое небо духа, фактически вторая земля*. По отношению к НМ это *верхний мир (земля как трамплин для отталкивания), высшая точка земли, вершина возможного, максимум дозволенного в жизни, наибольшее приближение к идеалу, то небо на земле, где реально протекает жизнь Духа*. На вертикали роста к ВМ, ТМ - вторая, более "сложная", высшая ступень "того же", т.е. "простого" НМ, его антимир, устроенный по принципу от обратного.

Как мы увидим далее, в общей идее роста, предполагающей связанность всех элементов в едином процессе движения к высшему, т.е. превращения, преобразования простого, низшего в сложное, высшее (ТМ это преобразенный ИМ) - смысл и право на существование элементов низшей ступени, и именно поэтому наличие положительного (ТМ) *уравновешивает, искупает, возмещает, исправляет, оправдывает* существование отрицательного (ИМ): *Змея оправдана звездой, Застеночная низость - небом, Топь - водопадом, камень - хлебом, Червь - Марселлезой, царь - бедой... горб могильный - розой...* (Н,114). Не вдаваясь подробно в анализ стихотворения, отметим кратко лишь те моменты, которые иллюстрируют отношение 'обратности' ИМ и ТМ: 'тяжесть', 'низость', 'грязь', 'некрасивость' всего 'земного' ('неист.') уравновешиваются 'высоким', 'возвышенным', 'легким', 'чистым', 'красивым' ('ист.'). Через полное отрицание, уничтожение (мотив 'спасительной, очищающей "благой" беды; мотив 'рождения в высшем: второе рождение') 'неист.' превращается в 'ист.', т.е. 'неист.' необходимое условие развития; так укусы змеи, застеночные пытки прекращают низкую, недостойную жизнь и тем самым обеспечивают переход в ИМ (*небо, звезда*); камень (мотив 'преследования', а также 'лишения насущного' в ИМ) может чудесно превращаться в хлеб; через потерю неистинного (царь как верх всего земного) обретается высшее, истинное; роза, вырастающая на могиле, есть символ новой *посмертной* жизни; назначение высшего - оживить, украсить, преобразить, возвысить 'неист.'

Если говорить исключительно только о ИМ и ТМ, эти миры противоположны, противопоставлены друг другу (отношение 'несоотв.') по признаку 'неист./ист.'. С точки зрения самого верха (ВМ) они обратны друг другу как (-) и (+) - отношение 'соотв.' - т.е. соотносены с ВЗ (идеалом) как отрицательный (человеческое, бездарное, ущербно-искаженное, несовершенное осуществление ВЗ) и положительный (исправление несовершенного мира в *сотрудничестве с высшими силами, восстановление облика*) варианты воплощения высшего божественного замысла. Внутри каждого мира действуют свои законы, нормы, меры и т.д. У каждого - своя "правда". Характер соотносённости этих антимиров таков, что, то что хорошо, нормально для одного, плохо, ненормально для другого; каждый мир на фоне другого является "уродством", "болезнью", ибо не соответствует норме, действующей в рамках этого другого мира: *Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там. Правда - перебежчица.* ("Земные приметы", 89), - так то, что люди болезнью называют... (ИП, 204),

то, что в мире век смеженье... (НП, 359) - есть переход в иной, высший мир: *встать, вознесение, воскресение*. С точки зрения нормального здравого смысла (НМ) всякое нарушение, отклонение от него, из ряда вон выхождение есть *сумасшествие, безумие*. И напротив, точка зрения ИМ: не мы сумасшедшие, а они *недошедшие*. Обычный средний мир (НМ) на фоне безмерного ИМ выглядит малым, ущербным, незрелым - недошедшим до полной меры, ниже нормы; в свою очередь ИМ на фоне средней нормы представляется преувеличенным: превышает малую норму НМ, и т.д. Поскольку в ПМЦ миры не равноценны, то "настоящей" правдой объявляются, считаются все ценности ИМ, это точка отсчета и мерило всего в ПМЦ. Дадим краткое описание НМ и ТМ.

НМ - это "человеческий" аспект физического мира - *жизнь, как она есть*: простая, обычная, земная жизнь во всех своих материально-вещественных проявлениях - бытовой, хозяйственный, деловой, гастрономический, любовный и пр. аспекты жизни. Это первый, внешний, "ближайший" (*это, этот, сей, здешний мир, близи, явь, видимый мир, жизнь-рядом*); существующий во времени и пространстве (*здесь и сей-час; время и место действия - сей век, современность, сей-час страка*); реальный (*факты, детали, достоверность*) план жизни - *бит* (понимаемый не только в узком смысле как один из аспектов жизни - понятие расширяется до обобщения: вся жизнь 'неист.' есть "быт"), *жизненная, хитейская биография, проза жизни*. Это мир, организованный по внешним, узко-местным, несущественным признакам (*земные приметы*) - *Мир мер, веса, счета, дроби, цен* - отсюда множественность форм-разъятий во всех сферах жизни: физической (напр. дробимое на части время: век, день, минута; числа, даты, различные виды ограниченного пространства, ср. земной "дом"); биологической (возраст, пол, виды родства); социально-общественной (имя, отчество, мировоззрение, различные виды государственной и прочей иерархии: группы, классы, школы, партии - *бедные заслонки закуты, закрепляющие место каждого и всех вместе в системе принятого порядка, т.е. унифицированный, единообразный, уныло-казенно-серо-убогий, безликий и обезличенный шаблонностью мир, ср. страна-масс*). Основной принцип НМ - *здравый смысл (ходячие, низкие истины): как есть, здраво и попросту, ясно, просто, грубо, черним по белому, без вымыслов, как по-писанному, ... по-положенному, ... как у соседей, как у людей*. Основной закон НМ - закон *земного тяготения*, основное действие, назначение, сфера деятельности - *строительство жизни*. "Мера" НМ - *золотая середина, умеренность, это мир, где кайчернейший - сер, т.е. даже "самое" всего лишь заурядно-серое*. Действующие лица НМ - *мир человеческий, государство-машина, организованные массы, обыкновенные смертные, "все"*

{ "вы", "они", "любой", "всякий", "никто": ни черт, ни лиц }, просто-людинки, туши, тела, добропорядочные граждане, не-художник, собирательное убожество, людское стадо (поскольку НМ, как уже сказано, есть восприятие реального мира представителем другого мира, осознающим превосходство своего мира, характеристика НМ получает презрительно-уничжительную окраску, ср. эта слизь называется жизнью (ИП, 493)); чернь, кроты земляные, черви, муравьи, землю роющие лбы, недочеловеки, недомерки; неодушевленные бездушные предметы (предметов бездарный лом) и т.д. и т.п.

ТМ - это одушевленный (мир природы) и одухотворенный-высший, глубинный, возвышенный, духовный план жизни, внутренний мир души (душевная страна - мир высокого и возвышенного строя чувств), идеальный мир - как в смысле нематериальности, так и соответствия идеалу: *Бытие*, жизнь, как быть должна; особая реальность, мир, отдаленный от действительности, лежащий за пределами этого мира (то, там, Великое Издали, даль, заочность, нездешний, тот мир, тридевятая земля), воображаемый, мечтанный, сказочный мир, обладающий емкостью беспредельно раздвинутых границ внутреннего пространства (мечтанные просторы, угодыя Душа); ТМ - высокий "дом" (чертог, храм души, княжество снов, слов) и настоящая родина души. Основной принцип ТМ - как быть должно (ср. ВЗ). Основной закон - небесное тяготение; основное действие - высокие движения души, творить высокое (высокие небесные божественные звуки, высокие духовные ценности, высшие истины и т.д., т.е. мифотворчество). Мера ТМ - полнота, сверхмера (сверх-сил дела), масштаб - вселенскость. Сфера деятельности - простор души, душевные чувства (внутри, в груди, под черепной коробкой); время и место действия - беспредельные вечные просторы, райские, далекие острова, Осиянный град, горный лагерь, и т.д. Действующие лица ТМ (инвариантное: душа) - художник, поэт, музыкант, певец, плясунья и свирельница, танцовщица, гении, маги, чародеи, волшебники, жрецы, мечтатели, тайновидцы, пророки; особость и отдельность личности: кто, божество, высшая раса; из ряда вон выходящие элементы, человек суть вещей, голая душа, голос - как самое насущное; высокие предметы, высокие небесные тела, небожители, птицы - обитатели высоких пространств; бесплотные души, призраки, бестелесные явления высшей сути и зрелости - старики, Сивилла и т.п.

4. 'АКТИВНОЕ/ПАССИВНОЕ'

Смысл 'пассивное' означает невозлеченность в ситуацию, неучастие, состояние высшего, бесстрастного покоя - как характеристи-

ка "самого верха" (ВМ), и в данной статье не рассматривается.

'Активное' есть вовлеченность в ситуацию в качестве участника. Вовлеченность может быть 'беспристрастной' и 'пристрастной'. 'Беспристрастная вовлеченность' есть принятие ситуации в целом, взгляд на нее как на единство (*согласованность* всего), т.е. принятие всего без выбора, предпочтения, деления на свое и чужое; не принятие сторон или принятие и той и другой - позиция "над", поверх разных полюсов, исключая всякую односторонность и узкую приверженность. Таковы в ПМЦ высшие, по сравнению с самой Ц, действующие лица ее ПМ: Пастернак - сама жизнь ("сестра"), пример высшей кротости, доверия к жизни в целом (без противодействия напору жизни): *Залестнут и залит... пронзен...всем...для него ...от всего идут лучи...Все в него ударяет* ("Световой ливень"); Волошин - *То единство, в котором было все, и то все, которое было единство... Вот это "прав по своему" было первоосновой его жизни с людьми, ...вседушие, ...некое равнодствие всего существа: по солнцу полдня, которому все иначе и верно видно* ("Живое о живом"); Бальмонт, который не знал ...презрения; сродни этому гармоничность Пушкина, Гете и др. Такого принятия жизни самой Ц. дано не было. Ц. прежде всего контрсила, направленная на преодоление земного тяготения, всех и всяческих земных пределов и барьеров.

'Пристрастная вовлеченность' есть представление ситуации в виде наличия противоположных полюсов, приписывание им положительности или отрицательности (т.е. различие носит оценочный характер; это оппозиция 'ист./неист. '), факт принятия сторон, выбора. (*Между страстью, калечащей, и бессмертной мечтой. Между частью и вечностью Выбериай - выбор твой!* (ИП, 678)), а также активного функционирования в соответствии со своей сущностью. Смысл 'активное' характеризует оба полюса в ПМЦ, т.е. присущ действующим лицам ПМ и ТМ и самим мирам в целом, но оценивается, соответственно, как 'неистинное' (напр. *жизненный активизм; давление, натиск жизни; как она есть*) и 'истинное' (*душевный активизм.*). В цветаевском, максималистски-крайнем варианте 'активная пристрастность' выливается в однозначно-четкую поляризацию пристрастий: выбор и принятие "своего", т.е. 'ист.', более того, активное сотворение "своего" мира, и с другой стороны, неприятие, воинственная непримиримость, активные контр-действия, страстное отречение от непримлемого, не-своего, т.е. 'неист.' Ср. *Бить современником - творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит... т.е. с ⁹/10 в нем сражаться* (ИП, 632). Отсюда инвариантное защита

мира высшего от мира низшего. Авторский вариант пристрастного неприятия неприемлемого есть взгляд изнутри антимира, т.е. "над" отрицательным полюсом, в отличие от взгляда с высшей точки зрения (высшая беспристрастность) - над обоими полюсами. Такая пристрастность, ограниченная выбором, явно умеренна. Если Волошин, например, уподобен шару как символу идеального, совершенного целого, то Ц. - это прямая линия, хотя и уходящая по вертикали в высокую беспредельность... Таким образом ущербность "выборничества" в каком-то смысле уравновешивается характером того, что выбирается; выбор же сделан Ц. *отродясь* : владеть большим (истинно большим, т.е. высшим, насущным... и т.п., см. компоненты ВЗ - идеала, к которому устремлен автор), т.е. рамки такой ограниченности беспредельно раздвинуты и безмерно велики.

х х х

Как уже отмечалось, комбинации исходных смысловых вариантов дают типовые архиситуации. В задачу данной статьи не входит их описание, мы ограничимся лишь беглым перечислением наиболее общих типов ситуаций, представленных на стр. 58-59.

Итак, сит.1 есть осуществление контакта между совместимыми элементами НМ, это вариации на тему *не-художник в жизни*, который в ней помещается *весь*, так как она ему "в размер" (мотивы 'участия в жизни', 'как она есть', 'строительства жизни', 'прикрепленности к земле' и т.д.).

Сит. 2 описывает "разлад созвучного" в этом мире (мотивы 'разминовения', 'разрозненности', 'разрыва, разлуки', 'жизни как *помехи*' и т.д.)

Сит.3 описывает разнообразные браки с *не-тем*, конфликтное столкновение *бита* и *Бития*, вариации на тему "художник в жизни": контакт художника с "этим" миром - *душе вопреки* (мотивы 'несовместимости с жизнью', 'пленения', 'гонения', 'душевной астмы', 'одиночества в толпе', 'тоски по большему, высшему' и т.п.)

Сит.4 описывает неприятие, нежелание контакта, отказ от контакта с НМ как средство перехода - "путь" - в *иной* мир, т.е. сит.4 есть часть ситуации сотворение *иного мира* (мотивы 'неучастия в жизни', 'неприкрепленности к земле', 'высокомерия', 'бунта', 'выбывания из жизни', 'преодоления земных пределов': ('сбрасывание "земных примет"', 'истончение "плоти"', 'дематериализация'); 'бегства из жизни', 'единичья', 'разрыва с жизнью'; 'очищающей, спасительной "благой беды"', 'победы путем отказа' и т.д.).

Сит. 5 есть созидательная часть процесса мифотворчества: сотворение мифа - восполнение, преувеличение, возвышение, преобразование жизни,

как она есть в жизнь, как быть должна; описывает поэта в своем мире (мотивы 'высокого движения', 'прикрепленности к воздуху', 'соединения с насущным', 'нездешних встреч', 'сотворения вымыслов', 'веселой, красивой смерти', 'второго высшего рождения', "награды" за отказ от неистинного', 'доверия к высшему', 'славословия' и т.п.).

Подробное описание этих наиболее типичных ситуаций, а также других структурных особенностей поэтического мира Цветаевой предполагается дать в последующих публикациях.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Работа по описанию ПМЦ еще не полностью завершена; данная статья кратко, обзорно знакомит с некоторыми предварительными выводами, отсюда все возможные оговорки-беглость, недоказательность, фрагментарность изложения и т.п.
2. См. А.К.Жолковский, К описанию одного типа семиотических систем. В сб. Семиотика и информатика, выпуск 7, М., 1976 и другие работы того же автора.
3. Примеры цитируются по следующим изданиям:
Марина Цветаева. Избранные произведения, М.-Л., 1965 (в ссылках указывается сокращенное название источника, напр. вышеуказанное ИП и номер страницы).
М.И. Цветаева. Несобранные произведения. Мюнхен, 1971, (сокр. ИП).
Марина Цветаева. Неизданное. Стихи. Театр. Проза. Париж, 1976 (сокр. Н).
Марина Цветаева. Наталья Гончарова. В сб. Прометей, т. 7, М., 1969. (сокр. НГ).
М. Цветаева. Земные приметы, "Воля России", 1924, I-II. (сокр. ЗП).
Марина Цветаева. Световой Ливень. Лондон, 1969. (сокр. СЛ).
Марина Цветаева. Проза. Лондон, 1969 (сокр. Пр.).
4. Все личные местоимения, сводимые к лирическому "я", имеют смысл 'ист.', остальные - 'неист.'; основное противопоставление "я" "они".
5. Имена собственные являются частным случаем сопоставленных элементов. Они либо берутся в готовом виде из общемирового культурного фонда (однако, тип отношения не обязательно совпадает с узуальным представлением о характере соотнесенности этих имен), либо составляют самим автором ad hoc. Имена собственные, связанные отношением 'соотв.', образуют пару: парные имена (мотив подобранности членов "пары", задуманных как единство, предназначенных друг для друга.).

Автор выражает глубокую благодарность своему учителю А.К.Жолковскому за помощь, поддержку и ценные советы.

DER LITERARISCHE ERZÄHLER ALS FAKTOR TEXTUELLER KOMMUNIKATION
UND KONSTRUKTION

Zum Verfahren des Textaufbaus und der Textgestaltung durch explizite Äußerungen des Erzählers in H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov"

1. Gemeinsamkeiten von H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov"
2. Der literarische Erzähler im Rahmen textueller Kommunikation
3. Textaufbau und Rolle des Erzählers in "Katharina Blum"
4. Der Erzähler in den "Brüdern Karamazov"

1. Die Frage nach Gemeinsamkeiten zwischen H. Bölls Roman "Die verlorene Ehre der Katharina Blum"¹ und F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov"² soll hier nicht auf der inhaltlichen Ebene gestellt werden, obwohl auch das möglich wäre.³ In diesem Sinne soll die folgende Analyse auch keine Partizipation an dem Vorgehen sein, Problematiken, die in vergangenen Zeiten literarisch oder gesellschaftlich vorhanden waren (hier: das zaristische Rußland), entweder in ihrer gesellschaftlichen Erscheinungsform oder in der literarischen Verarbeitung (hier: im Westen der 70er Jahre) wiederzuentdecken.

Nachdem diese inhaltliche Komponente ausgeschaltet ist, läßt sich nun vorläufig bestimmen, wo und welche Gemeinsamkeiten auf anderer Ebene in diesen beiden Werken zu finden sind: es gibt in den zwei Texten jeweils explizite Äußerungen des Erzählers zur Romanonstruktion, zum eigenen Wissen/Nicht-Wissen, zum Erzählen-Wollen/Nicht-Erzählen-Wollen und zur eigenen Anteilnahme am Geschehen. Mit anderen Worten: in beiden Fällen erweist sich der literarische Erzähler als spezifischer und wichtiger Kommunikationsträger und dies im textinternen wie im textexternen Bereich. Er ist damit für die Rezeption von Relevanz.

Die Bedeutung und Funktion dieser Erzählerrolle, dies muß gleich dazu gesagt werden, ist allerdings in den beiden Texten nicht gleichartig und auch nicht gleich gewichtet und wichtig. Daraus resultiert natürlich folgerichtig die Frage: wieso werden dann Texte aus so verschiedenen Sphären herangezogen, wenn sich dann zeigen wird, daß doch selbst bei dem Vergleichspunkt eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten festzustellen sind?! Die Antwort ist einfach: "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", bzw. die Lektüre des Romans ist im wesentlichen Ausgangspunkt und Katalysator für Entdeckungen ähnlicher Elemente in den "Brüdern Karamazov", die bei der 'gewöhnlichen' Lektüre dieses tausendseitigen Romans womöglich nicht auffallen. Anders ausgedrückt: Der Gebrauch eines bestimmten Verfahrens der Erzählerhaltung ist bei H. Böll dominant für den gesamten Textaufbau und somit auch 'auffällig'; daraufhin ist dann leicht feststellbar, daß es ähnlich geartete Strukturelemente auch in den "Brüdern Karamazov" gibt. Oder umgekehrt: bestimmte Elemente der Erzählerhaltung bei Dostoevskij, die hier nur einen unter vielen textkonstituierenden Faktoren repräsentieren, sind bei Böll exzessiv verwendet und werden zum eigentlichen Konstruktionsprinzip des Romans.

Daraus wird deutlich, daß die so konstituierte Gemeinsamkeit zwischen "Katharina Blum" und den "Brüdern Karamazov" keine notwendig zwingende oder ausschließliche (d.h. die Berücksichtigung anderer Werke oder Autoren ausschließende) ist. Diese soll in der Analyse auch nicht künstlich konstruiert werden. Allerdings ermöglicht die Heranziehung von "Katharina Blum" zweierlei Erkenntnisse: zum einen erleichtert und katalysiert dies die Betrachtung der Erzählerrolle in den "Brüdern Karamazov" (worum es in dieser Untersuchung eigentlich gehen soll) durch den hier vorhandenen exzessiven und konstruktionsbestimmenden Gebrauch, zum anderen zeigt dies (als Nebenprodukt) die bleibende Gültigkeit von Verfahren im literarischen Prozeß bei veränderter Funktion im veränderten System.

2. Eine Betrachtung des literarischen Erzählers im Rahmen textueller Kommunikation setzt ein ganz bestimmtes Vorgehen bei der wissenschaftlichen Rezeption voraus, nämlich eine Bestimmung aller an der literarischen Produktion und Rezeption beteiligter

sowie sich innerhalb des Textes konkretisierender Personen in ihrer gegenseitigen Relation innerhalb eines bestimmten Kommunikationszusammenhanges.

In dieser Weise könnte man in etwa das folgende Modell⁴ mit drei textinternen und zwei textexternen Relationen zugrundelegen:

Textinterne Relationen bestehen

- a) zwischen den dargestellten Figuren (als jeweils erzählte -sendende- Figur und erzählte -empfangende- Figur)
- b) zwischen fiktivem Erzähler⁵ und fiktivem Adressat
- c) zwischen abstraktem Autor und abstraktem Adressat.

Textexterne Relationen bestehen

- d) zwischen realem Autor (in seiner Rolle als Produzent eines literarischen Werkes) und realem Leser (in seiner Rolle als Rezipient eines literarischen Werkes)
- e) zwischen Autor als historischer Person und Leser als historischer Person.

Die Problematik der konkreten Bestimmung dieser Beziehungen vergrößert sich fortschreitend von a) zu e) . - Mit Hilfe des o.a. Modells ist es möglich, den Standort des Erzählers im Rahmen des literarischen Werkes zu bestimmen.

Im folgenden soll es nun darum gehen, die Rolle und Funktion des fiktiven Erzählers bei der Romankonstruktion, soweit es sich um explizite Äußerungen handelt, aufzuzeigen, wobei deutlich werden wird, daß, inwiefern und welche Beziehungen zum fiktiven Adressat bestehen und darüber hinaus - in Kongruenz oder Distanz - Beziehungen zu den dargestellten Figuren, dem abstrakten Autor und Adressat, teilweise auch zum realen Autor als Literat und als historischer Person.

3.1. Der gesamte Textaufbau in H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" ist bestimmt durch die Rolle, die der Erzähler einnimmt, indem er mit dem Material, das ihm zum Erzählen zur Verfügung steht, nach bestimmten Kriterien so schaltet und waltet, wie es seinen Darstellungszielen am besten entspricht.

Wie schon oben erwähnt, geht es hier nicht darum, die Er-

zählerrolle und Erzählerperspektive, wie sie implizit vorhanden ist, zu erschließen, sondern rein um die Bestimmung expliziter Erzähleräußerungen.

Zunächst: der Erzähler ist a) keine der dargestellten Figuren, die Erzählperspektive jeweils von außen; b) die Beziehung zwischen Erzähler und abstraktem Autor (als sich im Text manifestierendes Autorbewußtsein) ist nicht genau faßbar, allerdings eher Kongruenz als Distanz feststellbar; c) die Äußerungen des Erzählers sind eindeutig auf den abstrakten Adressat⁶ gerichtet.

Der Erzähler macht seine expliziten Angaben entweder in der 'Wir-Form' oder in der unpersönlichen 'Man-Form', womit (außer in der Frage der Erzählkonstruktion) eine Allgemeingültigkeit der Partizipation, des Vorgehens und der Einschätzung erreicht wird.

3.2. Die expliziten Äußerungen des Erzählers in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:

1. Aussagen zur Komposition

Form (A): als Abhängigkeit von Material/Quellen

- a) als Selbsteinschränkung (dabei allerdings die Frage, ob er nicht anders erzählen k a n n oder w i l l)
- b) als dokumentarischer Nachweis
- c) als erklärende allgemeine Äußerungen zur Konstruktion und Erzähltechnik

2. Aussagen zur Komposition

Form (B): vom Erzähler aufgestellte Hierarchie der für das Verständnis erforderlichen Erzählnotwendigkeit

- a) was erzählt werden muß
- b) was erzählt werden kann/sollte

3. Aussagen zur persönlichen Partizipation

4. Leservorgaben

- a) als Entschuldigungen (auch in Verbindung zu 1./2.)
- b) als Aufforderungen (auch in Verbindung zu 2.)

Eine explizite Äußerung kann hierbei gleichzeitig in verschiedene Gruppen fallen; vor allem ist dies innerhalb der Gruppe 1.

sehr häufig, ebenso im Zusammenspiel von 1. und 4. sowie von 2. und 4.

Die Beispiele aus "Katharina Blum" sind ausgewählt; sie erschöpfen nicht vollständig das Inventar derartiger expliziter Erzähleräußerungen. Wichtig bei der Betrachtung dieser Elemente ist auch nicht in erster Linie die Häufigkeit des Auftauchens, sondern ihre Funktion im Romanaufbau; in diesem Sinne bilden im vorliegenden Roman die Erzähleräußerungen das dominante, vorherrschende Konstruktionsmerkmal des Sujetaufbaus.

3.3. Der Roman beginnt mit einer Aussage zur Komposition in der Form (A), also einer Angabe über die Abhängigkeit von Material und Quellen, die die Grundlage des Erzählens bilden: "Für den folgenden Bericht gibt es einige Neben- und drei Hauptquellen, die hier am Anfang einmal genannt, dann aber nicht mehr erwähnt werden." (S. 7) Dieser Hinweis des Erzählers über das für den Textaufbau zugrundeliegende Material enthält zunächst einmal 1.a) = eine Selbsteinschränkung, nämlich, daß für das Erzählen die Quellen allein maßgeblich sind. Offen bleibt in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ob der Erzähler damit andeutet, daß er nicht anders erzählen *kann* als durch Stützung auf das vorgegebene Material oder ob er nicht anders erzählen *will*. Die Berücksichtigung von Punkt 1.b), daß es sich bei dieser Angabe um einen Nachweis handelt, daß der Erzähler dokumentarisch vorgehen will, führt jedoch dazu, die zweite Variante als maßgeblich anzunehmen (daß er nicht anders erzählen will, obwohl er es könnte).

Der Aussageteil "... , die hier am Anfang einmal genannt, dann aber nicht mehr erwähnt werden" ist außerdem eine Aussage aus der Gruppe 1.c) = erklärende allgemeine Äußerungen zur Konstruktion und Erzähltechnik. In dieselbe Gruppe fallen auch Äußerungen wie diese: "... so wird dafür um Verzeihung gebeten: es war unvermeidlich. Angesichts von 'Quellen' und 'Fließen' kann man nicht von Komposition sprechen, ..." (S. 8) / "Es wird alles getan werden, weitere Stauungen ... zu vermeiden." (S. 77) / "Bevor die letzten Um-, Ein-, Ablenkungsmanöver gestartet werden, muß hier eine technische Zwischenbemerkung gestattet werden." (S. 100) Gleichzeitig ist allen drei Fällen gemeinsam, daß sie das Element 4.a) = Leservorgabe/Entschuldigung enthalten. Die eigenen Angaben über die Kompositionstechnik werden nicht nur vom Erzähler dargeboten

in der Weise, daß er sie explizit in den Raum stellt, sondern auch dem Leser (abstrakten Adressat) gegenüber gerechtfertigt bzw. sogar entschuldigt. Weitere Beispiele zu 1.c) : "Bevor der Rückstau endgültig als beendet betrachtet werden und wieder auf Samstag geblendet werden kann, muß noch über den Verlauf des ..." (S. 82) / "Gehen wir von diesem äußerst niedrigen Niveau sofort wieder auf höhere Ebenen." (S. 14) / "Hier muß eine Art Rückstau vorgenommen werden." (S. 44) Derartige einleitende Bemerkungen (meist an den Kapitelanfängen) machen deutlich, daß der Erzähler hier offensichtlich seine Verfahren der Sujetfügung darlegt, d.h. den Vorgang von der Umgestaltung der Fabel zum Sujet und dessen Eigenarten einerseits klarmacht und andererseits gerade diese spezielle Form der Sujetfügung vor dem Leser rechtfertigt.

3.4. Es gibt nun noch eine zweite Art von Aussagen zur Romankonstruktion, die aber von ganz anderem Typ sind. Es sind keine Äußerungen, die sich auf den Aufbau im Ganzen beziehen, auf die Abhängigkeit vom Material oder auf die Begründung der Sujetfügung; hier erweist sich der Erzähler vielmehr als kompetenter und wissender Betrachter und Walter des gegebenen Materials, dem die Aufgabe obliegt, dem Leser eine Auswahl aus den möglichen Erzählfakten zu offerieren. Demgemäß finden wir in dieser Gruppe 'eine vom Erzähler aufgestellte Hierarchie der für das Gesamtverständnis erforderlichen Erzählnotwendigkeit'. An erster Stelle steht hier 2.a) = das, was erzählt werden muß, an zweiter Stelle 2.b) = das, was erzählt werden kann/sollte, wobei eine Tendenz festzustellen ist, daß das 'kann/sollte' sehr häufig dem 'muß' nahesteht.

Äußerungen des Erzählers zu dem, was erzählt werden muß, sind u.a.: "..., wie unbedingt hinzugefügt werden muß,..." (S. 7) / "Diese Tatsache ... muß hier vermerkt werden." (S. 13) / "..., muß auch festgestellt werden, ..." (S. 60) / "..., das muß festgehalten werden, ..." (S. 105) / "Es muß hier festgestellt und festgehalten werden, ..." (S. 114).

Realisierungen des Typs 2.b) sind Formulierungen wie z.B.: "Die Tatsachen, die man vielleicht zunächst einmal darbieten sollte, ... (S. 9) / "Vielleicht sollte man lediglich hinweisen, ..." (S. 10) / "Man sollte hier nicht vergessen, ..." (S. 17) / "Das geschah auf eine Weise, die man vielleicht der Mitteilung für wert

halten mag." (S. 18) / "An dieser Stelle sollte man etwas ... erfahren, ..." (S. 19) / "Man kann getrost annehmen, ..." (S. 19) / "Es soll hier erklärt werden, ..." (S. 58) / "Es soll hier nicht vorenthalten werden, ..." (S. 78) / "Es kann hier leider nicht verschwiegen werden, ..." (S. 126) Die Formen des Sollen und Könnens drücken hier in den meisten Fällen, wie auch aus den Beispielen ersichtlich wird, nicht so sehr eine Medialität aus, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern tendieren eher zum Pol 'was erzählt werden muß'.

Die Passagen mit dem, 'was erzählt werden kann/sollte', haben zumeist zwei Arten von Inhalten, es sind entweder 1. Detailaussagen, die aber im Prinzip nicht überflüssig sind und nur zur Zusatzinformation dienen, sondern in der Regel das 'Tüpfelchen auf dem i' der Gesamtaussage darstellen, oder 2. oft anders akzentuierte und durch eine vorgebliche Potentialität verbrämte Aussagen des Typs 2.a), haben somit gleichartige inhaltliche und kompositorische Funktion wie die entsprechenden Aussagen dieser Gruppe.

Diese Erzähleräußerungen zur Komposition sind insofern besonders interessant, weil sie klar den gedanklichen Vorgang der Materialauswahl und der kompositorischen Planung des Autors widerspiegeln, und zwar in der speziellen Form, daß dies nicht nur implizit in der Erzählgestaltung deutlich wird, sondern explizit vom Erzähler durch entsprechende Äußerungen dargeboten wird. Der zweite Aspekt dieser Sache ist die damit verbundene Leservorgabe, in einer Weise, daß die gestalterischen Verfahren selbst offengelegt werden. Die vorgegebene Quellen- und Kompositionsgebundenheit wird somit zu einem Wirkungspotentiator.

3.5. In einigen Fällen kann auch eine persönliche Partizipation des Erzählers in emotionaler Hinsicht durch explizite Äußerungen bestimmt werden. vgl.: "Es kann hier **l e i d e r** nicht verschwiegen werden, ..." (S. 126; Hervorhebung von mir) oder "Letzten Endes bleibt da noch etwas halbwegs **E r f r e u - l i c h e s** mitzuteilen." (S. 139; Hervorhebung von mir). Aufmerksamkeit verdient, daß die ideologische Haltung des Erzählers zu dem Erzählten zwar den ganzen Roman über implizit deutlich fixierbar ist (auch über a) den abstrakten Autor, über b) den realen Autor, über c) den Autor als historischer Person), er aber

erst zum Schluß hin zu derartigen expliziten Äußerungen übergeht. Es bewirkt ohne Zweifel eine Steigerung, daß erst nach Darbietung des fast vollständigen Erzählinhalts die explizite Wertäußerung hinzukommt.

3.6. Sogenannte Leservorgaben des Erzählers, die in der Regel als Varianten der Form 'Entschuldigungen' oder der Form 'Aufforderungen' auftreten, stehen (wie schon oben gesagt) häufig in Verbindung mit Aussagen zur Komposition (vor allem 1.c) oder 2.b)). Beispiele dazu: "..., so wird dafür um Verzeihung gebeten: es war unvermeidlich. Angesichts von ... kann man nicht ..." (S. 8; vgl. den Zusammenhang mit 1.c) = erklärende allgemeine Äußerungen zur Konstruktion und Erzähltechnik) / "Es wird alles getan werden, ... zu vermeiden" (S. 77; vgl. 1.c)) / "..., muß hier eine sozusagen technische Zwischenbemerkung gestattet werden." (S. 100; vgl. 1.c)) / "Es war hier versprochen worden, ..., und es wird Wert darauf gelegt, festzustellen, ..." (S. 105) / "Es kann hier leider nicht verschwiegen werden, ..." (S. 126; vgl. 2.b) oder sogar 2.a)).

Aufforderungen an den Leser sind z.B. Aussagen wie "Vergessen sein soll ..." (S. 14) oder "Es wird gebeten, ..." (S. 60).

Der abstrakte Leser bleibt bei dieser Erzählhaltung zwar weiterhin abstrakt, jedoch wird ein gedanklicher Kommunikationsprozeß auf der Werkebene durch die direkte Ansprache herbeigeführt.

3.7. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Erzähler in H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" der entscheidende Kommunikationsträger auf textinterner und textexterner Ebene ist. Seine expliziten Äußerungen zum Textaufbau und zur Textgestaltung lassen ihn zum zentralen Perspektivengestalter werden. Zentraler Punkt ist er auch in seinen Beziehungen zu den übrigen, an der Konstituierung des literarischen Werks beteiligten Figuren. - Über die dargestellten Figuren, zu denen er nicht gehört, verfügt er, und zwar in einer selbstgewollten Einschränkung und Brechung über vorgegebene Quellen und Material. - Zum abstrakten Autor steht er als konkreter Sprecher und Sprachrohr von dessen Gedanken in kompositorischer Hinsicht in Beziehung. - Darüberhinaus manifestiert sich im Erzähler weiterhin die Figur des realen Autors als Literat sowie auch die historische Person H. Böll als Mensch, als Teil-

nehmer des gesellschaftlichen Lebens. - Sogar die Beziehung Erzähler - Rezipient ist zweifach, einmal als direkte Hinwendung zum abstrakten Adressat, dann aber auch in den emotionalen Passagen als textexterne Relation zum realen Leser als literarischem Rezipienten und als historischer Person (über den Autor als historischer Person).

P.S. Zweifellos und leider gehen alle diese Elemente, nämlich die Spezifiken des Erzählers als Faktor textueller Kommunikation und Konstruktion, die das Besondere dieses Textes ausmachen, im Film verloren⁷, sodaß sich dort zwar auf inhaltlicher Ebene der Autor H. Böll ausmachen läßt, der 'Komponist' H. Böll aber fehlt.

4.1. Da in diesem Zusammenhang nur explizite Äußerungen des Erzählers berücksichtigt werden sollen, sei vorab gesagt, daß alle Wendungen unpersönlicher Art (=implizite Erzähleräußerungen) in F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov" wie "wahrscheinlich", "sonderbar", "Übrigens", "schien", "anscheinend", an denen die Erzählerrolle nicht fixierbar ist, weggelassen werden. Es sei nur darauf hingewiesen, daß es sie in großer Zahl gibt.

Die expliziten Äußerungen des Erzählers in den "Brüdern Karamazov" sind fast durchgehend in der "Ich-Form" vorhanden, im Gegensatz zu "Katharina Blum", wo die Plural-Form "Wir", das unpersönlichere "Man" oder überhaupt unpersönliche Konstruktionen vorherrschen. Dies macht die stärkere Distanz/Nicht-Identifikation von Autorbewußtsein und Erzähler in den "Brüdern Karamazov" spürbar.

Die Erzähleräußerungen haben in den "Brüdern Karamazov" weniger textorganisierende Funktion als in "Katharina Blum". Bei Dostoevskij ist die Erzählstruktur nicht allein auf diesen Äußerungen aufgebaut. Der jeweilige (unterschiedliche) Grad des Vorhandenseins der Erzähleräußerungen und ihre Bedeutung für die Textorganisation wird weiter unten besprochen werden.

4.2. Bei der Betrachtung der folgenden Übersicht über die Erzähleräußerungen in Dostoevskijs "Brüdern Karamazov" wird deutlich werden, daß die expliziten Aussagen des Erzählers zur Roman-konstruktion, zum eigenen Wissen/Nicht-Wissen, zum Erzählen-Wollen/Nicht-Erzählen-Wollen und zur eigenen Anteilnahme am Geschehen

grundsätzlich mit denen in "Katharina Blum" kongruent sind.

Die expliziten Äußerungen des Erzählers in den "Brüdern Karamazov" lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:

1. Aussagen zur Komposition

Form (A): a) als bewusstes Konstruieren

b) Vorgabe einer inneren Erzählstruktur, an die sich der Erzähler hält

2. Aussagen zur Komposition

Form (B): vom Erzähler genannte Aspekte

a) des Erzählen-Wollens/Nicht-Erzählen-Wollens

b) des Wissens/Nicht-Wissens = Erzählen-Könnens/
Nicht-Erzählen-Könnens

3. Aussagen zur persönlichen Partizipation

a) persönliche Wahrnehmungen

b) eigentliche Meinungsäußerung

4. Leservorgaben

a) Rechtfertigungen (auch zu 1., 2.a) und 2.b))

b) Aufforderungen

c) Wiederholungen

d) Erinnerungen

e) Vorgriffe

Ebenso wie bei "Katharina Blum" gibt es auch hier häufig poly-funktionale Erzähleräußerungen, also Äußerungen, die in verschiedene Gruppen eingeordnet werden können. Es wird im Einzelfall, aber nicht immer grundsätzlich darauf verwiesen werden.

4.3. Die über 200 expliziten Erzähleräußerungen in den "Brüdern Karamazov" sind sehr ungleichmäßig über die insgesamt 12 Bücher des Romans verteilt. Ungefähr 20 % fallen allein auf das erste Buch, sogar 40 % auf das letzte, sodaß für die übrigen Abschnitte insgesamt auch nur noch lediglich 40 % übrigbleiben.

4.3.1. Das erste Buch, die Vorgeschichte der "Brüder Karamazov" hat eine Sonderstellung im Romanaufbau, weil es sich hier um einen Erzählprolog handelt, die eigentliche Handlung somit noch nicht eingesetzt hat. Die Erzähleräußerungen in diesem Buch stammen aus allen vier Gruppen; es gibt also Äußerungen des Erzählers

zur Erzählkonstruktion (z.B. "..., von dem ich später berichten werde, ..." (Bd.1,S. 17)), zum Erzählen-Wollen/Nicht-Erzählen-Wollen bzw. Wissen/Nicht-Wissen (z.B. "Doch darüber möchte ich mich jetzt nicht weiter verbreiten, ..." (Bd.1,S. 21) / "..., weiß ich nicht genau." (Bd.1,S. 26)), zur persönlichen Partizipation als a) = Wahrnehmung (z.B. "..., erschien mir, ..." (Bd.1,S. 28) / "..., hörte ich, ..." (Bd.1,S. 23)) und b) = Meinungsäußerung (z.B. "Ich glaube, ..." (Bd.1,S. 21) / "..., will ich nicht bestreiten, ..." (Bd.1,S. 29)) und zur Leservorgabe in der Form b) = Aufforderungen (z.B. "Das bitte ich den Leser, von Anfang an zu beachten." (Bd.1,S. 25)), c) = Wiederholungen (z.B. "Ich wiederhole, was ich schon einmal gesagt habe, ..." (Bd.1,S. 37)), d) = Erinnerungen (z.B. "..., wie ich schon erwähnte, ..." (Bd.1, S. 28)) und e) = Vorgriffe (z.B. "..., wird der Leser später bis ins Einzelne erfahren." (Bd.1,S.28)).

4.3.2. In den Büchern zwei bis elf, in denen sich 40 % aller Erzähleräußerungen finden, also relativ wenig im Verhältnis zum Gesamtumfang dieser Bücher, ist die Verteilung ähnlich gelagert, d.h. anteilmäßig sind alle vier Formen von Erzähleräußerungen mehr oder weniger gleich gewichtet vorhanden.

4.3.3. Im Buch zwölf, dem letzten des Romans, ist eine starke Konzentrierung der Erzähleräußerungen auf die Gruppe 3., also die persönliche Partizipation in Form von eigenen Wahrnehmungen und Meinungsäußerungen feststellbar. Dies geht einher mit einer in diesem Buch deutlicher werdenden Fixierung des Erzählerstandpunktes auf der räumlichen Ebene. Der Erzähler geht in diesem Buch von der vorher eher distanzierten (bzw. nicht genauer feststellbaren) Position zu den dargestellten Figuren über in eine Teilnehmerfigur, zwar nicht als aktiv handelnder, aber als räumlich fixierbarer Beobachter und Kommentator. Als dieser räumlich fixierbare Beobachter steht er inmitten von anderen Beobachtern, mit denen teilweise eine Identifikation in der Wahrnehmung und Meinungsbildung erfolgt (vgl. "... setzte u n s (Hervorhebung von mir) immer mehr ... in Erstaunen." (Bd.2,S.354)), von denen er sich aber andererseits auch distanziert in Form von Einschränkungen in der Wahrnehmung und Meinungsbildung, daß sie nämlich auf subjektiver Erfahrung beruhen, und Einschränkung der eigenen Urteilskompetenz aufgrund des Nicht-Wissens über die Wahrnehmung von

anderen (vgl. "Mir wurde kalt und heiß und ich zitterte, ..." (Bd.2,S. 366) / "..., wenigstens auf mich, ..." (Bd.2,S. 370)).

4.4. Die Aussagen des Erzählers zur Komposition in der Form (A) enthalten zwei Aspekte. Zunächst Äußerungen, die deutlich werden lassen, daß der Erzähler selbst konstruiert, daß er aus dem gegebenen Material nach bestimmten Kriterien ein Sujet aufbaut. Äußerungen dazu wären z.B.: "..., von dem ich später berichten werde, ..." (Bd.1,S. 17) / "... ich beschränke mich vorläufig ..." (Bd.1,S. 22) / "Hierzu sei bemerkt, ..." (Bd.1,S. 26) / "Ich füge hinzu, ..." (Bd.1,S. 28) / "Noch ein Wort ..." (Bd.1,S. 32) / "Hier eine Anmerkung." (Bd.1, S. 107) / "Doch davon später." (Bd.1, S. 330) / "Ich habe nicht die Absicht, ..." (Bd.2, S. 346).

Andererseits schränkt der Erzähler seine eigene Erzählkompetenz in Hinblick auf den Romanaufbau selbst ein, indem er Aussagen macht, die deutlich machen, daß er nicht selbst konstruiert, sondern daß der Roman ein ganz bestimmtes Konstruktionsprinzip besitzt, an das sich der Erzähler aufgrund dieser 'Strukturvorgabe' halten muß. Beispiele dazu: "..., es ist auch noch nicht an der Zeit, ..." (Bd.1,S. 317) / "Ich muß hier vorgreifen: ... Ausführlicheres werde ich noch nicht sagen, das wird sich später von selbst ergeben." (Bd.2,S. 12) / s. auch verschiedene Formen des 'Erzählen-Müssens' wie: "Ich muß hier noch bemerken, ..." (Bd.2,S. 100) / "... werde ich ... sagen müssen, ..." (Bd.2,S. 313).

Es ist allerdings offensichtlich, daß die hier getroffene Unterscheidung nur zwei Aspekte ein und derselben Sache beleuchtet. So ist denn auch in den meisten Äußerungen diese Doppelschichtigkeit erkennbar und nicht genauer identifizierbar, um welche Seite es sich handelt. vgl. "Ich erwähne diese Geschichte nur deswegen, ..." (Bd.1,S.26) / "Ich sehe, daß ich etwas ausführlicher ... berichten muß." (Bd.1,S. 112) / "Ich habe hier nicht die Absicht, ..." (Bd.1,S. 391) / "Hier muß noch ... hingewiesen werden, ..." (Bd.2, S. 9) u.a.

Im Gegensatz zu "Katharina Blum" geschieht das Erzählen in den "Brüdern Karamazov" nicht in Abhängigkeit von Quellen und Material, zumindest ist dies nicht gesagt, nicht erkennbar und auch nicht, wie in "Katharina Blum", gewollt. Einige Einschränkungen, die der Erzähler zu seinem Wissen macht (s. weiter unten) sind nur partieller Natur und beeinflussen nicht die Gesamtkonstruktion. Die Rela-

tion Erzähler - abstrakter Autor in den "Brütern Karamazov" ist nicht genau faßbar, aber zumindest räumlich distanziert, denn der Erzähler erweist sich als räumlich dem Geschehen nahestehender Wissender mit persönlicher Erfahrung und Erkenntnisgewinnung, während in "Katharina Blum" die Entfernung von abstraktem Autor und fiktivem Erzähler zum Geschehen gleich ist.

4.5. Äußerungen des Erzählen-Wollens bzw. Nicht-Erzählen-Wollens finden sich in vielfältiger Form und über den ganzen Roman verteilt. Es entspricht in etwa dem, "was erzählt werden kann/sollte" in "Katharina Blum", jedoch nicht in allen Fällen.

Dies wird deutlich in Hinblick auf die Kategorie "was erzählt werden muß" in "Katharina Blum", welche nämlich in dieser Form in den "Brütern Karamazov" nicht deutlich vorhanden ist. Formen des "Erzählen-Müssens" sind in den "Brütern Karamazov" meist der Gruppe 1. (A), also den Bemerkungen zur Romankonstruktion, oder aber 3.b) = der persönlichen Meinungsäußerung zuzuordnen. Das heißt, Formen des "muß ich" deuten entweder die Abhängigkeit von der Erzählstruktur an oder in der Form "dazu muß ich bemerken" die persönliche Meinungsäußerung. Ähnlich gelagert ist es auch mit einigen Fällen des Erzählen-Wollens. Das Erzählen-Wollen in den "Brütern Karamazov" drückt mehr persönliche Freiheit des Erzählers aus als das, "was erzählt werden kann/sollte" in "Katharina Blum", wo eher eine Erzählnotwendigkeit vorgegeben ist.

Beispiele für das Erzählen-Wollen/Nicht-Erzählen-Wollen sind: "Vorläufig will ich ... nur bemerken, ..." (Bd.1,S. 17) / "..., will ich nicht weiter zu erklären versuchen." (Bd.1,S. 17) / "Doch darüber möchte ich mich jetzt nicht weiter verbreiten, ..." (Bd.1, S. 21) / "... will ich noch ... erzählen." (Bd.1,S. 39) / "Bei der Gelegenheit will ich noch bemerken, ..." (Bd.1,S.44) u.a.

Angaben über das Wissen/Nicht-Wissen des Erzählers, die sich dann darin zeigen, ob er etwas erzählen kann oder dazu nicht in der Lage ist, finden sich in dieser Form in "Katharina Blum" nicht; dies ist hier in der Frage nach dem Vorhandensein von Material und Quellen vorab geklärt. Das Wissen bzw. Nicht-Wissen des Erzählers in den "Brütern Karamazov" wird von diesem nicht als grundsätzliches Problem aufgeworfen, sondern zeigt sich jeweils bei Einzel-

aspekten und Detailinformationen. Die Äußerungen des Wissens/Nicht-Wissens, meist in der Variante Nicht-Wissen, sind nicht sehr zahlreich; manchmal sind sie auch in der medialen Form des "ich glaube" vorhanden, womit dann schon wieder der Übergang zur persönlichen Meinungsäußerung da ist. Beispiele zum Wissen/Nicht-Wissen: "..., weiß ich nicht genau." (Bd.1,S. 26) / "...; ich aber glaube, ..." (Bd.1,S. 36) / "Es tut mir leid, daß ich mich in dieser Frage nicht ganz maßgebend fühle; ..." (Bd.1,S. 38) / "Ich kann dazu nur eines bemerken: ..." (Bd.2,S. 13).

Die Aussagen des Erzählen-Wollens/Nicht-Erzählen-Wollens, Wissens/Nicht-Wissens, Erzählen-Könnens/Nicht-Erzählen-Könnens zeigen eine größere Erzählfähigkeit des Erzählers als in "Katharina Blum". Gerade die expliziten Angaben des Erzählers zu diesen Punkten decken diese Fähigkeit auf. Die Offenlegung des Nicht-Wissens, z.B., ist eine ganz bestimmte Form der Minus-Realisierung von Strukturelementen, auf die erst durch die Erwähnung des Nicht-Wissens hingewiesen wird. Die Formen des 'Glaubens', z.B., sind wiederum Zeichen einer bestimmten Kommunikationsrolle des Erzählers, wo er von einer objektiven (bzw. pseudoobjektiven) Erzählhaltung ausgehend nun eine andere Form der Hinwendung zum Leser erlangt.

4.6. Die Angaben über die persönliche Partizipation des Erzählers sind über das ganze Werk verteilt, allerdings meist in der Form b) = Meinungsäußerung; z.B. "..., wenigstens meines Erachtens, ..." (Bd.1,S.28) / "..., blieb für mich noch lange nachher unaufgeklärt ..." (Bd.1,S. 27) / "..., doch meiner Meinung nach ..." (Bd.1,S. 36) / "..., das fragte ich mich sogar ..." (Bd.1,S. 27). Diese Äußerungen finden sich sehr häufig vor allem in der Vorgeschichte, also dem ersten Buch.

Ganz auffällig ist aber nun im letzten Buch der Übergang zu Formen verstärkter persönlicher Partizipation; es sind nämlich, wie schon oben gesagt, in diesem Buch 40 % aller Erzähleräußerungen des Romans vorhanden und zudem enthalten fast alle diese Äußerungen das Element der persönlichen Partizipation und dabei in etwa gleichem Maße wie die persönliche Meinungsäußerung auch die persönliche Wahrnehmung. Als persönlich wahrnehmender tritt hier der Erzähler in ein neues Kommunikationsverhältnis zum abstrakten Adressat und in dieser Konkretisierung gleichzeitig in ein größeres Distanzverhältnis zum abstrakten Autor. Einige Formen der persön-

lichen Wahrnehmung: "... war ich ihm begegnet, ..." (Bd.2,S. 343) / "Da sah ich sie denn alle." (Bd.2,S. 346) / "... ich erinnere mich, ..." (Bd.2,S. 361) / "... hörte ich zum erstenmal ..." (Bd.2,S. 352) / "... setzte uns immer mehr ... in Erstaunen." (Bd.2,S. 354) u.a. Beispiele zur persönlichen Meinungsäußerung sind ähnlich den schon oben angeführten.

Erwähnt seien in diesem Zusammenhang auch noch einige Erzähleräußerungen, die implizite/explicit Wertangaben zu dem dargestellten Geschehen sind. Ich denke an Formen wie "Leider ..." (Bd.2,S. 19) / "... leider ..." (Bd.2,S. 20) / "..., obgleich es besser gewesen wäre, ..." (Bd.2,S. 21) / "Ja, leider - ..." (Bd.2,S. 29) / "Armer Mitja!" (Bd.2,S. 133). Neben den angegebenen Beispielen sind nur noch wenige andere derartige Stellen zu finden; interessant ist aber zweifellos - trotz oder wegen der geringen Quantität - ihr Vorhandensein.

4.7. Eine letzte Gruppe expliziter Erzähleräußerungen sind die unter dem Oberbegriff 'Leservorgabe' zusammengefaßten, wobei sie a) als Rechtfertigungen (meist im Zusammenhang mit Fragen des Romanaufbaus) und b) als Aufforderungen meist direkt an den Leser (abstrakten Adressat) gewandt sind. Sie sind somit parallel zur Leservorgabe in "Katharina Blum". vgl. zu 4.a): "Sehen sie: wenn ich auch vorhin sagte (vielleicht etwas zu voreilig), ..., so sehe ich jetzt doch ein, daß ... Erläuterungen ... unbedingt erforderlich sind. Deshalb sage ich: ..." (Bd.1,S. 392). vgl. zu 4.b) "... (und auch dies bitte ich nicht zu vergessen), ..." (Bd.1,S. 22) oder "Nur möchte ich den Leser bitten, ..." (Bd.1,S. 391).

Weiterhin finden sich Äußerungen eher technischer Art, entweder als 4.c) = Wiederholungen, 4.d) = Erinnerungen oder 4.e) = Vorgriffe. Zu den Wiederholungen lassen sich anführen: "Ich wiederhole, was ich schon einmal gesagt habe: ..." (Bd.1,S. 37) / "..., wie ich schon erwähnt habe, ..." (Bd.1,S. 38) / "Ich erwähnte schon einmal, ..." (Bd.1,S. 114) u.a. Die Formen des Erwähnens gehen teilweise schon über ins Erinnern, wozu außerdem noch gehören, z.B.: "..., worauf ich schon hingewiesen habe, ..." (Bd.1,S. 381) / "..., wie sich der Leser vielleicht noch erinnern wird, ..." (Bd.2,S. 186) u.a. Vorgriffe sind u.a.: "..., von dem ich später berichten werde, ..." (Bd.1,S. 17) oder "..., wird der

Leser später bis in alle Einzelheiten erfahren." (Bd.1,S. 28)

Es wäre im Einzelnen zu fragen, inwieweit diese technischen Angaben der Wiederholung, Erinnerung und des Vorgriffs textinterne Funktion haben, also den übrigen Äußerungen gleichzusetzen sind, oder ob sie möglicherweise mit textexternen Komponenten, - ich denke hier an Fragen der Edition in Fortsetzungen, wobei der reale Autor womöglich noch nicht immer genau weiß, wie es im einzelnen weitergehen wird -, in Zusammenhang stehen. Dies scheint im Augenblick nicht schlüssig zu beantworten zu sein, jedoch zeigt sich in diesem Sinne bei den genannten Äußerungen am ehesten eine direkte Identifikation von Erzähler und dem realen Autor als Literat, der beim literarischen Produktionsprozeß mit bestimmten Produktionsbedingungen zu kämpfen hat.

4.8. Zum Schluß sei noch kurz auf drei auffällige, spezielle Kommunikationssituationen in den "Brüdern Karamazov" hingewiesen, die etwas aus dem Rahmen fallen:

4.8.1. (vgl. II.Teil,6.Buch,2.Kap.;Bd.1,S. 329ff) Der Erzähler zieht sich in diesem Abschnitt von etwa 50 Seiten explizit und mit Begründungen sowie Einschränkungen auf die Position der Wiedergabe einer Mitschrift, die eine der dargestellten Figuren zu 'Reden/Belehrungen' einer anderen Figur verfaßt hat, zurück. Hier ist also eine Verschiebung der Erzählerrolle feststellbar, eine Kompetenzabgabe, wodurch eine ganz andere Kommunikationssituation zwischen dargestellten Figuren, Erzähler und Leser initiiert wird.

4.8.2. (vgl. II.Teil,6.Buch,2.Kap.;Bd.1,S. 352) Eine der dargestellten Figuren übernimmt in ihren 'Reden/Belehrungen' (es handelt sich hier um den unter 4.8.1. genannten 50seitigen Textabschnitt) eine typische Erzählerphrase: "..., doch davon später.

4.8.3. Im III.Teil,7.Buch,2.Kap.;Bd.1,S. 391 gibt es eine (einmalige) fiktive Kommunikationssituation, wo der Erzähler in Kontakt zu einem (dem) fiktiven Adressaten tritt, mit dem er einen Dialog/Disput führt.

5. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß also anscheinend in den zwei Texten, - H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov" -, der Erzähler trotz seiner unterschiedlichen Bedeutung ein gleiches Merkmal hat; er ist implizit und noch mehr durch seine expliziten Äußerungen wichtiger Kommunikationsträger, Erzählmedium und Textkonstrukteur. Gerade über die Einschaltung des Erzählers werden die einzelnen Relationen und Kommunikationssituationen deutlich herausgestellt und klassifiziert. Der Erzähler scheint hier das zentrale organisierende Element zu sein. Über ihn lassen sich sogar Beziehungen zum textexternen Bereich fassen. Der dominanten Funktion des Erzählers im Romanaufbau bei "Katharina Blum" ist die Stellung in den "Brüdern Karamazov" zwar nicht gleichwertig, jedoch zeigen schon allein Gegenüberstellungen von Abschnitten mit zahlreichen Erzähleräußerungen und deren Inhalten in diesem Roman sowie den Abschnitten, wo dergleichen fehlt, Wege zu einer Deutung der Romanteknik hinsichtlich der Ordnungs- (oder anderen) Funktion des Erzählers als Faktor textueller Kommunikation und Konstruktion.

Anmerkungen:

- 1 zugrundegelegt wurde die Ausgabe: Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Lizenzausgabe für Bertelsmann Reinhard Mohn OHG, Gütersloh u.a., o.J.
- 2 zugrundegelegt wurde die Ausgabe: F.M. Dostojewski, Die Brüder Karamasoff, 2 Bd., Frankfurt 1976
- 3 z.B. in der Frage nach dem Terrorismusproblem
- 4 vgl. Kahrman, C. u.a. (Hrsg.), Erzähltextanalyse, 2 Bd., Kronberg 1977; vor allem Bd. 1, S. 40
- 5 beachte: hier synonymem Gebrauch meines "literarischen Erzählers" mit "fiktivem Erzähler"
- 6 im folgenden häufig einfach als Leser bezeichnet (wenn der reale Leser oder der Leser als historische Person gemeint ist, wird dies hinzugefügt)
- 7 vgl. dazu im Gegensatz die Verfilmung von U. Plenzdorfs "Die neuen Leiden des jungen W.", wo versucht wurde, diese Ebene beizubehalten

Zusammenfassung Hans Wefers, Der literarische Erzähler als Faktor textueller Kommunikation und Konstruktion
Zum Verfahren des Textaufbaus und der Textgestaltung durch explizite Äußerungen des Erzählers in H. Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und F.M. Dostoevskijs "Die Brüder Karamazov"

Gemeinsamkeit beider Texte: explizite Äußerungen des Erzählers zur Romankonstruktion, zum eigenen Wissen/Nicht-Wissen, zum Erzählen-Wollen/Nicht-Erzählen-Wollen und zur eigenen Anteilnahme am Geschehen

Explizite Äußerungen des Erzählers in "Katharina Blum"

1. Aussagen zur Komposition
Form (A): als Abhängigkeit von Material/Quellen
 - a) als Selbsteinschränkung (dabei allerdings die Frage, ob er nicht anders erzählen kann oder will)
 - b) als dokumentarischer Nachweis
 - c) als erklärende allgemeine Äußerungen zur Konstruktion und Erzähltechnik
2. Aussagen zur Komposition
Form (B): vom Erzähler aufgestellte Hierarchie der für das Verständnis erforderlichen Erzählnotwendigkeit
 - a) was erzählt werden muß
 - b) was erzählt werden kann/sollte
3. Aussagen zur persönlichen Partizipation
4. Leservorgaben
 - a) als Entschuldigungen (auch in Verbindung zu 1./2.)
 - b) als Aufforderungen (auch in Verbindung zu 2.)

Explizite Äußerungen des Erzählers in den "Brüdern Karamazov"

1. Aussagen zur Komposition
Form (A): a) als bewußtes Konstruieren
b) Vorgabe einer inneren Erzählstruktur, an die sich der Erzähler hält
2. Aussagen zur Komposition
Form (B): vom Erzähler genannte Aspekte
 - a) des Erzählen-Wollens/Nicht-Erzählen-Wollens
 - b) des Wissens/Nicht-Wissens = Erzählen-Könnens/Nicht-Erzählen-Könnens
3. Aussagen zur persönlichen Partizipation
 - a) persönliche Wahrnehmungen
 - b) eigentliche Meinungsäußerung
4. Leservorgaben
 - a) Rechtfertigungen (auch zu 1., 2.a) und 2.b))
 - b) Aufforderungen
 - c) Wiederholungen
 - d) Erinnerungen
 - e) Vorgriffe

Verteilung der Erzähleräußerungen in den "Brüdern Karamazov"

1. Buch = 20 % 2.-11. Buch = 40 % 12. Buch = 40 %

"ŠKOLA DLJA DURAKOV", VERSUCH ÜBER SAŠA SOKOLOV

"Cette voix qui sort du miroir et qui, sans aucun doute, est la sienne, est aussi la voix d'un autre."

Bernard Pingaud

I

Der 1943 geborene, seit kurzem im amerikanischen Exil lebende Schriftsteller Saša Sokolov hat für seine noch in der Sowjetunion abgeschlossene Erstlingsprosa, einen Text, der 1976, unter dem Titel *Škola dlja durakov* ("Die Schule der Dummen"), in den USA erschien und neuerdings auch in verschiedenen Uebersetzungen vorliegt¹⁾, bei der angelsächsischen wie bei der exilrussischen Kritik bemerkenswert einhellige Anerkennung gefunden. Trotz höchstem Lob ("a lyrical vision of extraordinary intensity", "a puzzling and wonderful book", "a witty, subtle, and dynamic collage of imagery and rhetoric") blieb allerdings in manchen Fällen eine gewisse Ratlosigkeit - und wohl auch Irritation - bestehen ("this strange novel", "a difficult, unique creation", "a psychological mystery").²⁾ Die befremdliche "Fremdheit" (foreignness) des Werks, auf die verschiedentlich hinge-

- 1 Saša Sokolov, *Škola dlja durakov*, Ardis Publishers: Ann Arbor 1976 (2nd printing 1977); nach dieser Ausgabe wird im folgenden zitiert (Seitenzahlen in runden Klammern). Der Text ist inzwischen in englischer, deutscher, französischer, italienischer, dänischer Uebersetzung erschienen.
- 2 Aus amerikanischen und britischen Pressekommentaren zitiert nach dem Sonderprospekt von Ardis Publishers (*Sokolov: A School for Fools*, 1978).

wiesen wurde, dürfte darin bestehen, dass Sokolov einen zugleich chaotisch und artifiziell wirkenden Vexiertext vorführt, dessen Mach-, beziehungsweise Lesart nicht von vornherein ersichtlich ist, sondern, aufgrund diskreter auktorialer Referenzen, erst erschlossen werden muss.

Sokolov lässt den Text sich selbst als Text darstellen; das Dargestellte fällt folglich mit der Darstellung weitgehend zusammen. Nicht indem er *über etwas* schreibt, vielmehr indem er *überhaupt* - so und nicht anders - schreibt, stellt Sokolov dar. Solche Art zu schreiben (das Schreiben zum Akt und Gegenstand der Darstellung zu machen) ist, wie Beckett im Rückblick auf Vico und im Hinblick auf Joyce einmal festhielt, "ein Extrakt des Wichtigsten aus Sprache, Malerei und Gebärdenspiel, mit der ganzen unausbleibenden Klarheit der einstigen Sprachlosigkeit. Hier herrscht die barbarische Sparsamkeit der Hieroglyphen. Hier sind die Wörter nicht die höflichen Verzerrungen der Druckerschwärze des 20. Jahrhunderts. Sie sind lebendig."³⁾ Die Frage - der Satz, mit dem der Text eröffnet wird - gilt denn auch den *darstellenden* Worten, und nicht den durch Worte *darzustellenden* Realien:

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, какими словами: там, на пристанционном пруду. На пристанционном? Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть околостанционным. Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело? Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. //

Sokolov spricht also nicht mehr von irgendeiner externen Wirklichkeit, bespricht sie nicht; er schafft Wirklichkeit, indem er sie ausspricht, das heisst: indem sein Text sich selber als autonomes Gebilde konstituiert. Die Wörter verselbständigen, verirren, wiederholen sich, wo sie Flucht, Entsetzen, Sehnsucht zu bedeuten haben; wo Angst ihr Sinn ist, erstarren und ersterben sie. Die Darstellung

3 Samuel Beckett, "Dante ... Bruno. Vico ... Joyce", in S.B., *Stücke/Kleine Prosa*, Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1967, S. 22.

wird hektisch, konfus, pathetisch, wenn Hektik, Konfusion oder Pathos den Sinn des Dargestellten ausmachen. Ein Beispiel dafür, wie Konfusion durch sich selbst - als allmähliche Auflösung grammatischer und syntaktischer Zusammenhänge - dargestellt werden kann, sei hier zumindest auszugsweise angeführt:

Ночью все звуки слышнее: крик младенца, стон умиравшего, полет Бейтингеяла, кашель трамвайного констриктора: проснитесь, откройте и отвечайте. Подождите, я надеву пижаму. Надевайте, она вам очень к лицу, симпатичная клеточка, шили или покупали? Не помню, не знаю, следует поинтересоваться у жены, мама, пришли Те Кто Пришли, они хотели бы знать про пижаму, шили или покупали, а если да, то где и почему. Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра на метр семьдесят пять на через три года потому что фатрику закрыли на ремонт а потом.../34/

Wie Michail Bulgakovs Meister (in *Master i Margarita*) oder Andrej Sinjavskijs fiktiver Autor "Terc" (in *Golos iz chora*), so hat auch Sokolovs Erzähler die ihm auferlegte äussere Unfreiheit - Elternhaus, Sonderschule, psychiatrische Klinik - zur Schaffung eines poetischen Raums und damit eines uneinnehmbaren innern Freiheitsraums genutzt, welcher dem schlecht Vorhandenen als ins Ideal verkehrte Welt entgegengesetzt und dennoch realer ist denn jene selbst⁴; dem Träumer und Poeten gerät weniger die eigene Utopie als vielmehr die dekretierte und automatisierte Normalität der Alltagswelt zur phantastischen Fiktion:

Дорогая мама, я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может,

4 Vgl. dazu einen Passus aus Sinjavskijs Grundsatzrede zum Problem des kulturellen Dissens anlässlich der Biennale in Venedig (1977): "[...] je pense que l'art est plus haut et plus important que la réalité. Je veux dire que l'art est ce qu'il y a de plus inutile et dérisoire sur la terre, mais en même temps que c'est lui qui renferme le sel et le sens de tout ce qui existe et de tout ce qui se passe" (A.S., "L'art est supérieur à la réalité", in *Tel quel*, 76, 1978, S. 60).

кому-то не дано, но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно вместе и порознь, неужели ты не понимаешь этого? а если не веришь мне, то спроси у Савла Петровича, и хотя его давно нет с нами, он все объяснит тебе: у нас плохо со временем - вот что скажет географ, человек пятой пригородной зоны. /77/78/

Sokolov tritt somit, um ein "politisches Problem in der Erfahrung zu lösen", jenen von Schiller vorgezeichneten Weg an, der durch ästhetische Problembereiche führen muss, "weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert".⁵⁾ Die Freiheit, um die es Sokolov in der "Schule der Dummen" geht (die *innere* Freiheit, zu tun und zu *sein*, was man *will*), wird künstlerisch durch verschiedene Minus-Verfahren realisiert, welche sich einerseits auf die formale Anlage des Texts, andererseits auf Stoff und Personal des Werks sowie auf die Struktur des poetischen Raums auswirken. *Škola dlja durakov* ist ein gattungstheoretisch nicht genau bestimmbarer, aus fünf in sich heterogenen Kapiteln bestehender Prosatext mittleren Umfangs, der weder eine nachvollziehbare Handlung aufweist, noch eine kohärente Fabel oder individuell konturierte Helden erkennen lässt. Statt dessen werden - aus der ständig wechselnden Perspektive eines namenlosen "Erzählers" ohne personalen Status - punktuelle Impressionen, Sensationen, Reflexionen aller Art vergegenwärtigt und assoziativ aneinandergereiht. Diverse Motive analytischer Selbstdarstellung - pubertärer Eskapismus und Messianismus, überstarke Mutterbindung, gestörte Vaterbeziehung, schwärmerisches Liebesverlangen bei sexueller Impotenz- und Erwartungsangst - weisen den Text ansatzweise als Entwicklungs- oder als satirischen Bildungsroman aus. Das Werk ist im Übrigen durch besonders zahlreiche intertextuelle Strukturmerkmale und -elemente charakterisiert: andere ("fremde") Texte sind in Form von diskursiven (bisweilen fast wörtlichen) Zitaten einbezogen, werden paraphrastisch

5 Friedrich Schiller, "Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen", in F.S., *Sämtliche Werke*, V, Hanser: München 1965, S. 573.

abgewandelt oder weiterentwickelt, jedoch nie als solche gekennzeichnet; rekurrent sind Bezüge auf Cervantes und Gogol', auf Nabokov und den späten Valentin Kataev.

Was bei realistischem und vollends bei sozialistisch-realistischem Erzählen als Chronologie (beziehungsweise als deren erklärte Verzögerung, als Wiederholung oder Rückblende) unabdingbar ist⁶⁾, das heisst: die kausal verknüpfte Abfolge von Handlungen und Handlungselementen, wird bei Sokolov eingeebnet, synchronisiert und - im Sinn Nabokovs - durch "vorsätzliche Gegenwart" ersetzt: es gibt in der "Schule der Dummen" keine chronometrisch erfah- und erfassbare Zeit mehr; alle Ereignisse, seien sie nun aus der "Vergangenheit" erinnert, in der "Gegenwart" erlebt oder für die "Zukunft" imaginiert, werden *präsentisch*; der Gebrauch verbaler Tempora und Aspekte ist nicht logisch, sondern emotional motiviert; jeder Vorgang erweist sich als aktuell, spielt sich hier und/oder dort, so und/oder anders, immer jedoch in der "Jetztzeit" ab.⁷⁾

Der von Sokolov evozierte Realitätskontext ist weder durch Daten noch durch Ortsangaben näher bezeichnet; seine raum-zeitliche Un-

6 Dem (sozialistischen) Realismus als "äusserster Form der Anpassung [der Kunst/ an 'diese Welt']" läuft Sokolovs Darstellungsverfahren bald polemisch, bald parodistisch zuwider. "Der Realismus [...] ist die wenigst schöpferische Form der Kunst", heisst es bei Berdjajev: "Das Programm der realistischen Kunst ist immer Verfall [...], Erniedrigung der Kunst [...]. Der schöpferische Akt des Künstlers ist seinem Wesen nach Ungehorsam gegen 'diese Welt' und deren Missgestalt." Und in Vorwegnahme der bereits zitierten These Sinjavskijs (siehe oben, Anm. 4) fährt Nikolaï Berdjajev (1911/1916) fort: "Der Künstler glaubt, dass die Schönheit realer ist als die Missgestalt dieser Welt" (N.B., *Der Sinn des Schaffens*, Mohr: Tübingen 1927, S. 252-253).

7 Vladimir Nabokov hat die "vorsätzliche Gegenwart" (Deliberate Present) als "Aufmerksamkeitsakt" (act of attention) bestimmt (V.N., *Ada or Ardor*, Weidenfeld & Nicolson: London 1969, S. 549). - Vgl. auch (a.a.O., S. 549-550): "The conscious construction of one, and the familiar current of the other give us three or four seconds of what can be felt as *nowness*. This *nowness* is the only reality we know; it follows the colored nothingness of the no-longer and precedes the absolute nothingness of the future."

schärfe (gegeben ist lediglich eine "Datschensiedlung" mit Bahnhof und kleinem Fluss in Stadtnähe) steht in auffallendem Kontrast zu zahlreichen, sorgsam ausgearbeiteten Detail- und Situationsbeschreibungen, deren veristische Wirklichkeitstreue die ästhetische Distanz allerdings so stark verkürzt, dass sie nicht Klärung, sondern Verfremdung bewirkt. Alles befindet sich bei Sokolov in einem Zustand trivialer Metamorphose, nichts steht fest oder lässt sich feststellen, Gegenstände, Oertlichkeiten, Charaktere, auch Namen, soziale Funktionen, ethische und ästhetische Werte sind ständiger - wenn auch keinesfalls kontinuierlicher - Fluktuation ausgesetzt. Indem er jede Determinierung, jede kausale Bedingtheit verwirft, entzieht er seinen poetischen Raum der Verdinglichung, hält ihn frei von jenen objektiven und objektivierenden Zwängen, denen er selbst *realiter* ausgesetzt ist. Die Umschichtung der Zeitebenen, wie Sokolov sie in Anlehnung an die apokryphe "*Theorie eines Philosophen*" (94) bewerkstelligt, ist primär als Protest gegen Zerstörung und Vergänglichkeit aufzufassen, gegen die Zeit als "Krankheit zum Tod", gegen jede Form von Determinismus überhaupt, aber auch als manifeste Demonstration ideeller Freiheit, welche kraft ihres schöpferischen Verhältnisses zur Zeit nicht nur Zukunft zu schaffen, sondern auch Vergangenheit zu revidieren erlaubt⁸⁾; letzterem entspricht im religiösen Bewusstsein das Problem der Auferstehung (oder Auferweckung) von den Toten, das heisst - nach Berdjaev - "die Ueberwindung des mit dem Vergangenen verknüpften Determinismus in Bezug auf das Zukünftige"⁹⁾ oder auch, in den Worten Sokolovs,

8 Nikolaj Berdjaev, *Ja i mir ob-ektov*, YMCA: Paris o.J., S. 128. - Mehrfach hat in diesem Sinn auch Velimir Chlebnikov die Absicht geäußert, sich mit künstlerischen Mitteln "von Zeit und Raum" (ot vremeni, ot prostranstva) befreien zu wollen, um einen neuen (autonomen) poetischen Raum zu begründen, innerhalb dessen die unterschiedlichsten darstellerischen Elemente zur Synthese gebracht werden könnten (vgl. V.C., *Neizdannye proizvedenija*, Goslitizdat: Moskva 1940, S. 354).

9 A.s.O., S. 125.

- вокрешение из мертвых всех тех, чьими устами глаголила истина, в том числе п о л н о е воскресение наставника Савла в плоть до восстановления его на работе по специальности. /123/124/ 10)

Auf ähnliche Weise (und ebenfalls in Anlehnung an einen nicht genannten Philosophen) glaubte auch Vladimir Nabokov, der "auf der Suche nach einem geheimen Ausweg" aus dem historischen Determinismus des Menschen zur Erkenntnis gelangt war, "dass der Kerker der Zeit eine Kugel ohne Ausgang" sei, das Zeitproblem künstlerisch bewältigen zu können: der Dichter müsste dann die Fähigkeit entwickeln, "alles in einem Punkt der Zeit" zu fühlen und es entsprechend, in "kosmischer Synchronisierung", zur Darstellung zu bringen.¹¹⁾ Um dem "Kerker der Zeit" zu entkommen und die "WC-Zeit" zu überwinden, führt Nabokov - in Van Veens fiktivem Traktat über "Die Textur der Zeit" - das Kriterium der "Aufmerksamkeitsspanne" ein, welche es erlaube, alle jemals wahrgenommenen Ereignisse als simultan (als Produkt "vorsätzlicher Gegenwart") zu begreifen und somit einen Anwesenheitseffekt zu erzielen - eine Auffassung, die sich nach Kataev auch Sokolov zueigen gemacht hat.¹²⁾

Das trotzige Freiheitspostulat des Sonderschülers und Irrenhäu-

- 10 Vgl. dazu Valentin Kataevs Forderung nach einer neuen "mauvistischen" Poetik, in der "auch ein Traum und meine Erfindung, mein Tod und meine Auferstehung / ... / ein Element des Kunstwerks" sein kann ("Gespräch mit Valentin Katajew", in *Sinn und Form*, 1967, Oktober, S. 1144).
- 11 V.N., *Drugie berega*, Izd. im. Čechova: New York 1954, S. 9-12; vgl. dazu Andrej Belyjs Ueberlegungen zum Phänomen des (jeweils letzten, also stets gegenwärtigen) Zeit-Punkts, in dem die zu ihm hinführende Zeit-Linie immer schon zum Konzentrat geworden ist ("my v poslednem mgnovenii očučščaem vsju liniju vremen"), sowie seinen Vorschlag, die "Philosophie des Augenblicks" in die "Philosophie der Evolution" zu integrieren (A.B., "Linija, krug, spiral' - simvolizma", in *Trudy i dni*, 1912, IV-V, S. 13-22).
- 12 Vgl. Vladimir Nabokov, *a.a.O.*, Kap. IV, bes. S. 539 ff.; siehe auch (zum holographischen Anwesenheitseffekt) Valentin Kataev, "Kubik", in V.K., *Sobranie sočinenij*, IX, Chud. lit.: Moskva 1972, S. 498 ff.

lers, der den Ingenieur des sozialistischen Aufbaus als kleinkarierten Spiesser und opportunistischen Karrieremacher durchschaut (76/77), enthält *in nuce* Saša Sokolova poetologisches Programm: seine Freiheit - oder wenigstens "eine ihrer Formen" - besteht darin, sich als "ein anderer Typ von Radfahrer" souverän "ausserhalb von Raum und Zeit" zu bewegen (47); der Künstler wird somit zum Widerpart jenes motorisierten Zeitgenossen, dessen Unabhängigkeits- und Veränderungswille auf den Erwerb des jeweils neuesten Automobils beschränkt bleibt (75/76).

In der normierten Optik der *Andern* erscheint der Künstler - der "Sonderschüler" - als der Unreife, Unbelehrbare und Unberechenbare, als Querschläger und Einzelgänger, Empörer, Träumer, Idiot¹³⁾ - er realisiert sich als unabhängiger Radler und Schmetterlingsfänger, der mit kompromissloser Beharrlichkeit dem nachstrebt, was gerade nicht als erstrebenswert gilt; er bemüht sich um stetige Aufnahme- und Antwortbereitschaft für alles Ungewohnte, Unvorhergesehene und Unabsehbare, für das, was weder gelehrt noch geprüft, weder ideologisch noch materiell vereinnahmt werden kann: der Duft der Levkoje, die Brownsche Bewegung, das Vorgefühl des Nichtseins "und vieles andere" (115):

Нет, мама, нет, мы совершенно другие люди, и с теми мозгляками нас ничто не связывает, мы несравненно выше и лучше их во всех отношениях. Естественно, со стороны может показаться, будто мы такие же, а по успеваемости хуже нас вообще никого нет, мы не в состоянии запомнить до конца ни одного стихотворения, а тем более басню, но зато мы помним вещи поважнее. /85/

13 Vgl. dazu schon Evgenij Zamjatin's kategorisches Diktum ("Ja bojus'", 1921) wonach "wirkliche Literatur nur dort existieren kann, wo sie nicht von untergeordneten und verlässlichen Angestellten gemacht wird, sondern von Verrückten, von Einzelgängern, Häretikern, Träumern, Empörern, Skeptikern" (E.2., *Lica*, MLS: New York 1967, S. 189). - Zum Problem des künstlerischen Aussenseitertums siehe u.a. Nikolaj Berdjaev, "O profetičeskoj missii slova i mysli", in *Novyj Grad*, X, 1935, S. 56-65; Felix Philipp Ingold, "Künstlertum und Judesein", in *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*, 1976, 1, S. 62-72.

Mit Vasilij Rozanov scheint Sokolov, bewusst oder unbewusst, die Vorliebe für alles "Unsinnige" und "Ausgefallene", aber auch die Abneigung gegen das "Regelmässige, Korrekte, Monotone" zu teilen.¹⁴⁾ Statt dem Ruf der Mutter, dem Befehl des Vaters, den Erwartungen der Nachbarn, dem "Perillo-System" der Lehrer zu folgen, macht sich der Sonderschüler selbständig, befährt eigene Wege, verfolgt eigene Ziele:

... а жизнь, которую в нашем и в соседних поселках принято измерять сроками так называемого в р е м е н и , днями лета и годами зимы, жизнь моя остановится и будет стоять, как сломанный велосипед в сарае, где полно старых выцветших газет, деревянных чурок и лежат ржавые плоскогубцы. Да, ты не хотел примирения с отцом нашим. Вот почему, когда мать крикнула тебе вослед в е р н и с ь ! - ты не вернулся, хотя тебе было чуточку жаль ее, нашу терпеливую мать. /46/

Непримиримость с окружающей действительностью, стойкость в борьбе с лицемерием и ханжеством, нестигаемая воля, твердость в достижении поставленной цели, исключительная принципиальность и честность в отношениях с товарищами - эти и многие другие замечательные качества ставили тебя вне обычного ряда велосипедистов. Ты был не только и не сколько велосипедистом, сколько велосипедистом-человеком, велосипедистом-гражданином. Право, мне как-то неловко, что ты так квалишь меня. Я уверен, что совсем не стою этих красивых слов. Мне представляется даже, я неправильно поступил в упомянутый день, я, наверное, должен был вернуться на зов матери и успокоить ее, но я ехал и ехал со своим сачком, и мне было безразлично, как и куда ехать, мне было просто хорошо ехать, и как это обычно бывает со мной, когда мне никто не мешает мыслить, я просто мыслил обо всем, что видел. /47/

Durch das einerseits erzwungene, andererseits gewollte "Sonder"-Dasein des "Schülers", der abwechselnd "Krankheit" oder "Dummheit" vor-schützt, um die Gesellschaft in ihren Vorurteilen zu bestätigen, sich selbst aber von ihr unabhängig zu machen, legitimiert Sokolov sein betont subjektivistisches, jeglicher Form von Realismus pole-

14 Vgl. Vasilij Rozanovs Aufzeichnung vom 13.4.1913 (in "Mimoletnoe"): "Voobščē ja ljublju vzdornoe, glupoe, 'ni na čto ne pochožee' - ja v vostorge. Ja nenavižu tol'ko pravil'noe, korrektnoe, monotonnoe, 'kak vse'" (Zit. nach V.R., *Izbrannoe*, Neimanis: München 1970, S. 434).

misch zuwiderlaufendes Darstellungsverfahren. Solches Verfahren wird, wie Adorno mit Bezug auf den neuen Roman pauschal festhält, weitgehend "selber gezeitigt von seinem realen Gegenstand, einer Gesellschaft, in der die Menschen voneinander und von sich selber gerissen sind": "In der ästhetischen Transzendenz reflektiert sich die Entzauberung der Welt."¹⁵⁾

Das unbändige, grundsätzlich subversive, zumindest irritierende Freiheitsstreben des Künstlers, der von den Apologeten einer auf Ruhe und Ordnung festgelegten Normalität als Idiot in die Schule der Dummen abgeschoben oder als Andersdenkender in der Irrenanstalt festgehalten wird, bringt Sokolov dadurch zum Ausdruck, dass er immer dann, wenn es sich anmeldet oder durchsetzt, metaphorisch auf die jeweilige Luftbewegung verweist - auf eine laue Brise, auf frischen Wind, auf heranziehende Gewitterwolken, auf scharfen Sturm, gelegentlich auch auf den Vormarsch eingebildeter Windmühlen. Der Wind, in seinen diversen Erscheinungsformen, ist und/oder bedeutet Atem und Erhebung, Inspiration und Perturbation; Wind ist entfesselte Luft, ist elementarer Aufruhr und somit Symbol reinen Zorns, der auch ohne Objekt und ohne Vorwand gilt - Rebellion. Auf solche Weise versteht utopische Funktion, nach Ernst Bloch, "das Sprengende, weil sie es selber in sehr verdichteter Weise ist: ihre Ratio ist die ungeschwächte eines militanten Optimismus".¹⁶⁾

Um die repressive Autorität des "Vaters" und/oder "Staatsanwalts",

15 T.W. Adorno, *Noten zur Literatur*, I, Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1965, S. 65.

16 Ernst Bloch, *Aesthetik des Vor-Scheins*, I, Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1974, S. 266. - Vgl. (zur literaturpsychologischen Bedeutung der Windmetaphorik) Gaston Bachelard, *L'Air et les songes*, Corti: Paris 1943, S. 256-270. - Siehe auch die bildnerische Gestaltung der Windmetaphorik in Tarkovskijs Spielfilm *Zerkalo* (1974), zu dem Sokolovs Text auch in anderer Hinsicht (Zeit-Be-handlung; Spiegelmotivik; Personendarstellung; multianekdotische Textkonstruktion; Vervielfachung der Perspektivität; Wahl und Präsentation der Schauplätze) bemerkenswerte Uebereinstimmungen aufweist. Zur filmischen Zeitgestaltung siehe Andrej Tarkovskij: "Zapečatlennoe vremja", *Iskusstvo kino*, 1967, IV.

der nurmehr zu sehen vermag, "was er gerade sieht", zu verunsichern, nimmt der Dumme die Lautgestalt seines eigenen Schreis an (120), wird also selber zum heulenden Unruhestifter:

И бочка, переполнившись несравненным гласом твоим, выплевывает излишки его в красивое дачное небо, к вершинам сосен - и по дачным душным мансардам и чердакам, набитым всяческим барахлом, по волейбольным площадкам, где никто никогда не играет, по вольерам с тысячами ожиревших кроликов, по гаражам, провонявшим бензином, по верандам, где на полу разбросаны детские игрушки и чадят керосинки, по огородам и вересковым пустошам вокруг дачных поселков - несетя эхо - излишки твоего крика: ея-ея-ея-ея-няня-а-а! Отец твой, отдыхающий в гамаке у себя на участке, вздрагивает и просыпается: кто там кричал, будь он проклят, мать, мне послышалось, где-то на пруду орал твой убогодок, разве я не приказал ему заниматься делом. /100/

Als Windsender ("nasyłajušćij veter", oder einfach: "Nasyłajušćij") figuriert gewöhnlich der Briefträger Micheev (oder Medvedev), dessen Fahrradklingel von Zeit zu Zeit einen Sturm anmeldet; als kompromissloser Windgegner erweist sich demgegenüber der Vater (auch Staatsanwalt), der jedwede Regung in der Luft dadurch zu verhindern sucht, dass er dem Wetterhahn auf dem Haus des Nachbarn den Kampf ansagt.

Да, - мечтает Михеев, - ветер перевернет вверх дном всю эту садово-самоварную жизнь и хоть на время прибьет пыль. "Из пыли, - вдруг вспоминает пенсионер читанное где-то и когда-то, - бриз мастерит серебряные кили". Вот именно, из пыли, анализирует Михеев, и именно кили, то есть кили к лодкам, килевые лодки, значит, а не плоскодонки, чтоб им пусто было. Скорей бы уж ветер. "Ветер в полях, ветерок в тополях", - опять цитирует Михеев в уме, меж тем как тропинка поворачивает вправо и идет немного под гору. /161/

In diesem Sinn hat schon Rozanov die prinzipiell nonkonformistische, ebenso notwendige wie gefährvolle Aktivität der Kulturschaffenden mit einem Windzug verglichen, der einerseits Erfrischung bringe, andererseits zu Erkältung führen könne:

В грозе, конечно, есть только то, что раньше было в облаках: пар, воздух, ветер, два вида электричества. Но явление грозы глубоко новое, сравнительно с облаком. Она потрясает.

Она очищает воздух. Убивает, оживляет. С нее рисуют картину, об ней пишут стихи, ея боятся, на нее любятя. 17

Entsprechend ist bei Sokolov die Lebenshilfe des Geographielehrers Savl (oder Pavel) Norvegov zu verstehen, eine liebevolle Anleitung zum Ungehorsam, die den Sonderschüler bald aus dem Jenseits, bald in einem Korridor oder auf dem Klo der Idiotenschule - welech letztere, als Korrektions- und Verdummungsanstalt, bisweilen mit der staatlichen Volksschule gleichgesetzt wird - zu Ohren kommt:

... други милые, вы, возможно, не поверите мне, вашему отставной козы барабанщику, цинику и охальнику, ветрогону и флюгеру, но поверьте мне иному - нищему поэту и гражданину, явившемуся просветить и заронить искру в умы и сердца, дабы воспламенились ненавистью и жадной воли. Ныне кричу всюю кровью своей, как кричат о грядущем отмщении: на свете нет ничего, на свете нет ничего, на свете нет ничего, кроме Ветра! /149/

Der Wind, welcher heute "das Gesicht erfrischt" und "die Taschen durchlüftet", wird morgen, so lehrt Norvegov, "die unnützen alten Bauten einreißen", "Eichen entwurzeln" und "die Samen aus meinem Garten in alle Welt verbreiten"; und den Herren eben dieser Welt gibt Norvegov, fast schon drohend, zu bedenken, dass auch die laueste Brise, der schwächste Durchzug zum Orkan anschwellen kann:

Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они рождает ураганы и смерчи. /19/

Wenn Sokolov zudem den Künstler Leonardo sagen lässt, er werde mit Hilfe seiner Mühlen "zu jeder beliebigen Zeit Wind produzieren"

17 Vasilij Rozanov, *Oslabnuvšij fetiš* (Psichologičeskie osnovy russkoj revoljucii), Pirožkov: S.-Peterburg 1906, S. 3. - Vgl. in ähnlichem Sinn Vladimir Ėrn (*Mešč i krest*, Moskva 1915, S. 9) zur metaphorischen Bedeutung des "Gewitters": "Groza i razrušaet, i oplodotvorjaet, i gubit, i živit. Groza v sebe sobrannoj russkoj sily 'užasna' i 'prekrasna'." - Entsprechende Metaphorik (Wind; Gewitter; Schneesturm) ist in der Dichtung des russischen Symbolismus (Blok; Belyj; Gippius) rekurrent.

(22), so ist dies, wie der Kontext erkennen lässt, ein Plädoyer für die befreiende und verändernde Macht der Phantasie, eine Rechtfertigung des künstlerischen Aussenseitertums und - indirekt - eine Herausforderung an die "Herren der Städte und Datschen", an Kulturverweser und Kulturverächter, welche alles, was fluktuiert, was sich rührt, was weht und sich ihrem Verständnis entzieht, als schädlich oder feindlich inkriminieren. Unentwegt sind inzwischen Sonderschüler und sonstige Andersdenkende bemüht, der Phantasie - als Ausdrucksform innerer Freiheit - zum Durchbruch zu verhelfen und sich selber auf ihre Tätigkeit als Windsender vorzubereiten:

Мы будем велосипедистами и почтальонами, как Михеев/Медведев/, или как тот, кого вы, Савл Петрович, называете Насылающим. Мы все, бывшие идиоты, станем Насылающими, и это будет прекрасно. /81/

Die Tatsache übrigens, dass der Name der Geliebten ("Veta") auf mannigfache Weise - etwa in der etymologisierten Form von "Roza Vetrova" (168) - mit der leitmotivisch wiederkehrenden Wind-Metapher ("veter"), indirekt also mit Sokolovs zentralem Freiheitspostulat verbunden ist, macht deutlich, welche eminente Wichtigkeit der Autor dem Eros als Motor (und als Motiv) künstlerischer Kreativität beimisst; seit Bulgakovs *Master i Margarita* ist dieser Zusammenhang in der russischen Literatur kaum je mit vergleichbarer Intensität aufgezeigt worden.

II

Zu der von Sokolov postulierten Freiheit, tun und sein zu können, was man will, gehört auch die Freiheit, schreiben zu dürfen, was und wie man will. "Die Seele des Menschen, seine Gefühle und Gedanken sind so frei, dass man sie nur schwer in eine bestimmte Form - Roman, Erzählung, Novelle - pressen kann. Das ist alles Unfug! ... In Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Das Wort Roman erkenne ich nicht an. Es gibt keinen Roman und folglich auch keine Probleme des Romans." Dieser "mauvistischen" Erklärung Valentin Kataeva würde Sokolov wohl ebenso vorbehaltlos zustimmen wie

dessen mehrfach geäußelter Ueberzeugung, dass die determinierende Dominanz von Chronologie und Kausalität künstlerischen Texten prinzipiell abträglich und dass überhaupt die Zeit der "Hauptfeind des Künstlers" sei.¹⁸⁾ Im Sinn der Kierkegaardschen These, wonach das Ewige als Rechtfertigung menschlicher Subjektivität zu betrachten und durch den schöpferischen Akt ins Zeitliche zu heben sei, hat Boris Pasternak ("Noč", 1957) den Künstler als "Geisel der Ewigkeit / in den Fängen der Zeit" bezeichnet.¹⁹⁾ - Auch Sokolov tut sich schwer mit den Konventionen chronologischen Erzählens; verschiedentlich hält er in seinem Text denn auch explizit fest, es sei um die Zeit nicht alles zum besten bestellt ("čto-to ne tak so vremenem"), die progressive Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sei fiktiv, entspreche nicht dem innern Zeiterleben und schon gar nicht der im Traum oder durch Phantasiearbeit geschaffenen Zeit. "In der objektivierten Welt enthüllt sich nur die quantitative Unendlichkeit, nur das Teilbare und das Summierbare, das heisst die mathematisch messbare Zeit. Innerhalb des Existierens hat die nicht objektivierbare Zeit keine mathematische Dimension. Die Intensität der Erlebnisse verändert den Charakter der Zeit und misst sie auf andere Weise. [...] Jeder weiss, wie sich die Zeit je nach der Intensität des Lebens, je nach den Ereignissen des menschlichen Existierens in die Länge ziehen und verkürzen kann. Die mathematische Messbarkeit der Zeit verliert an Bedeutung, und das menschliche Existieren tritt aus der Gewalt der Uhr und des Kalenders hinaus."²⁰⁾ - Wie ein poetischer Subtext zu dieser Reflexion Berdjaevs liest sich die nachfolgende Aufzeichnung aus Aleksandr Vvedenskij's "Grauem Heft":

18 Vgl. "Gespräch mit Valentin Katajev", a.a.O., S. 1143, sowie V.K., "Kubik" (1969), a.a.O., IX, S. 481.

19 Siehe Boris Pasternak, *Stichotvorenija i poëmy*, Sov.pisatel': Moskva-Leningrad 1965, S. 462-463; die Schlussstrophe (zu "Noč") lautet dort: "Ne spi, ne spi, chudožnik, / Ne predavajsja snu. / Ty - večnosti založnik / U vremeni v plenu."

20 Nikolaj Berdjaev, *Ja i mir ob-ektov*, S. 143.

Название минут, секунд, дней, недель и месяцев отвлекают нас даже от нашего поверхностного понимания времени. Все эти названия аналогичны либо предметам, либо понятиям и исчислениям пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед нами как убитый олень. Это было бы так, если бы время только помогало счету пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время было зеркальным изображением предметов. На самом деле предметы - это слабое зеркальное изображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми... 21)

Obwohl Sokolovs Erzähler "längst geheilt" und "von dort" entlassen ist, kann er sich über das, was Zeit sein soll oder "auch nur im geringsten mit dem Begriff Zeit verbunden" ist, weder eine Vorstellung machen noch ein Urteil bilden; die geltende Uhr- und Kalenderzeit sei eben willkürlich in Kraft gesetzt worden wie falsches Geld und könne daher nicht als verbindlich gelten:

Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым январем следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда - чередой дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь./23/

Um dieses Leiden an der Zeit zu überwinden, die Zeit als solche zumindest innerhalb seines poetischen Frei-Raums ausser Kraft zu setzen, verrückt und verkehrt Sokolov in geradezu karnevalesker Manier nicht nur sämtliche an Uhr oder Kalender orientierten Zeitanlagen (wie Stunde, Tag, Jahr, Herbst, gestern, heute, morgen), sondern auch die biographische Abfolge von Kindheit, Jugend und Alter, die Grenze zwischen Leben und Tod. So kann der Sonderschüler in willkürlichem Wechsel als kleiner Junge, als pubertierender Halbwüchsiger, als erwachsener Mann, ja sogar, ausserhalb des ka-

21 Aleksandr Vvedenskij, "Seraja tetrad'", zit. nach *Československá Rusistika*, 1968, V, S. 299.

alendarischen Zeitrasters, als Pflanze, als Gegenstand oder Abstraktum in Erscheinung treten; das Subjekt tritt in die Welt der Objekte ein und geht synthetisch darin auf.²²⁾ Der dissidente "Windsender" etwa spricht bald als Verstorbener, bald als Auferstandener, dann wieder - unter ständig wechselnden Namen - als gewöhnlicher Sterblicher zu seinen Schülern.

...и хотя его давно нет с нами, он все объяснит тебе: у нас плохо со временем - вот что скажет географ, человек пятой пригородной зоны./78; vgl. 95, 153/

Und die sterbende, vielleicht schon tote, vielleicht aber auch bloss als Einbildung existierende Vetrova ist möglicherweise mit der Lehrerin Akatova, die Mutter mit der Grossmutter, diese mit dem Grabengel identisch. Man vergleiche dazu auch die folgende, das Zeit-Raumkontinuum durchbrechende Assoziationsreihe, welche von der Lehrerin Tinbergen - einer "graubärtigen Hexe" - zum Fabelwesen Skirly führt:

...- не могу не думать о сказке С к и р л ы , потому что звук именно тот самый, как в гостинице, и она сама, седобородая ведьма с заспанным лицом старухи, которая уже умерла, но которую насильно разбудили и заставили жить, она, в сумеречном свете безлюдного коридора, где бликующий паркетный пол, она сама и есть С к и р л ы , воплотившая в себе все самое печальное из этой истории с девочкой, хотя я до сего дня не разберусь, в чем тут дело, и отчего все это так, а не по-другому./106/

Die von Sokolov bewusst offengehaltene Unbestimmtheitsrelation zwischen den verschiedenen Zeit-, beziehungsweise Lebensphasen (mit Einschluss des "Lebens" nach dem "Tod") wirkt sich nicht zuletzt auf den temporalen Adverbialgebrauch und die Verwendung sonstiger verbalisierter Zeitangaben aus. Während etwa zeitliche Umstandswörter wie "skoro", "nedavno", "ežde", "uže", "prežde", "zatem" nicht selten,

22 Vgl. dazu Gaston Bachelard, *Le droit de rêver*, PUF: Paris 1970, S. 196. - Zur "doppelten /oder mehrfachen/ Temporalität" im innern Monolog ("stream of consciousness") bei Joyce, Faulkner u.a. siehe Zbigniew Lewicki, *Czas w prozie strumienia świadomości*, Warszawa 1975, S. 116 ff.

durch willkürlichen Bezug auf den kontextuellen Zusammenhang oder auf die extratextuelle Chronologie, verfremdet, gelegentlich auch bewusst *ad absurdum* geführt werden, gewinnen indefinite Zeitbestimmungen wie "kogda-to", "skol'ko-to vremeni", "s takogo-to čisla", "takogo-to goda do n.é.", "po neskol'ku tak nazыvaemych let", "skol'ko-to let podrjad", "vsjakij den' i vsjakij god", "ran'se ili pozže" oder "tri severnye zimy" quantitativ und qualitativ an Bedeutung: da solche Angaben bei Sokolov durchweg die Uhr- und Kalenderzeit zu ersetzen haben, wird ihre *Unbestimmtheit* gewissermaßen neutralisiert und als eine *bestimmte* Art achronologischer Zeiterfahrung bewusst gemacht. Dies gilt im übrigen ebenso für die in Sokolovs Text rekurrenten konditionalen Satzverbindungen und relativierenden Negationen sowie für die zahlreich vorkommenden Verhältnis- und Vergleichswörter (wie "kak", "kak budto", "ili /... ili/", "voobšče", "tem bolee", "poskol'ku", "sravnitel'no", "primerno", "tak skazat'", "to est'", "liš'", "tol'ko"). Sokolov anerkennt weder die bildhafte "Pfeil"-Aporie des Zenon noch die klassische - obzwar längst trivial gewordene - Metapher vom (stets gleichgerichteten und unumkehrbaren) "Strom der Zeit"; vorher und nachher, gestern und heute, Morgen und Abend, Anfang und Ende sind für ihn beliebig austauschbar und werden von seinem Erzähler - in ihrer Begrifflichkeit wie auch in ihrer Erscheinungsform - entsprechend behandelt:

Смиритесь! Ни вы, ни я и никто из наших приятелей не можем объяснить, что мы имеем в виду, рассуждая о времени, спрягая глагол е с т ь и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра - это лишь другое имя сегодня²³), буд-

23 Vgl. - fast wörtlich - bei Kataev ("Svjatoj kolodec" /1966/, a.a.o., S. 147): "- Zavtra - éto tol'ko drugoe imja segodnja, - proiznes ja, povtorjaja č'ju-to dužuju mysl'". - Vgl. auch (in "Trava zabven'ja" /1967/, a.a.o., S. 393) die folgende Parallelstelle: "Po otnošeniju k prošlomu buduščee nachoditsja v nastojaščem. Po otnošeniju k buduščemu nastojaščee nachoditsja v prošlom. Tak gde že nachožus' ja sam? - Neučeli dlja menja teper' net postojannogo mesta v mire? - Ili teper' - éto to že samoe, čto togda?"

то нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит, есть, является, существует - действительно, на самом деле е с т ь , я в л я е т с я , с у щ е с т в у е т . /24/

Handlungs- und Bewegungsabläufe, auch Naturvorgänge (Tages- und Jahreszeiten, Wachstums- und Alterungsprozesse) können demzufolge ohne weiteres umgekehrt, beziehungsweise gegenläufig abgewickelt werden: " - skazal on, snimaja, a možet nadevaja očki" (25); oder: "očen' skoro, vozmožno včera ili v prošlom godu" (121). Unter launiger Berufung auf einen unbekanntem Philosophen artikuliert Sokolov - ähnlich wie Nabokovs Van Veen - sein eigenes indeterministisches Zeitverständnis, welches Vergangenheit als Zukunft, Zukunft als Vergangenheit begreift²⁴):

Философ писал там, что, по его мнению, время имеет обратный счет, то есть, движется не в ту сторону, в какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад,

- 24 Vgl. neuerdings in E.Y. Meyers Roman *Die Rückfahrt* (Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1977) den Versuch einer Rehabilitierung der "perpendikulären Zeit" gegenüber der automatisierten "linearen Zeitauffassung", die den geschichtlichen Erfolg zum verbindlichen Gradmesser für Qualität habe werden lassen: "Die Kunst, Zeit rückwärts laufen zu lassen, beruht aber [...] auf einer völlig anderen Zeitkonzeption, bei der die Zeit wie ein Perpendikel oder Pendel hin und her schwingt: Zeit ist da nicht Linie und auch nicht Zyklus, sondern Oszillation, also ein Schaukeln oder eine Schwingung." (S. 424) - Vgl. (zum Problem der "Wiedererinnerungsgegenwart") eine entsprechende Aufzeichnung Edmund Husserls aus Text Nr. 20 zu den *Cartesischen Meditationen* (1931-1932): "Die Gegenwart geht der Zukunft entgegen, mit offenen Armen. In ihrem Fortströmen, in dessen Intentionalität, erwirbt urströmende Gegenwart die Zukunft. [...] Von jeder wiedererinnerten Gegenwart kann ich kontinuierlich aufsteigen, in Strömen fortlebend, also in die Zukunft lebend, in die Zukunft, die doch schon zur Vergangenheit geworden ist, die nicht unbestimmte, leere Zukunft, sondern schon erworben ist. [...] Von jeder Wiedererinnerung aus bzw. von ihrem Erinnerten kann ich im Prozess das Werden der künftigen Gegenwart stetig verfolgen und die spätere Wiedererinnerung erreichen als die gewordene Gegenwart" (E.H., zur *Phänomenologie der Intersubjektivität*, III, Nijhoff: Den Haag 1973, S. 349-350).

поэтому, все, что было - это все еще только будет, мол, истинное будущее - это прошлое, а то, что мы называем будущим - то уже прошло и никогда не повторится... /94/

Auch mit diesen Formulierungen schliesst Sokolov in nahezu wörtlicher Übereinstimmung an eine Reflexion Valentin Kataevs in *Svjatoj kolodec* (1966) an; es heisst dort unter anderem:

...время начинает бежать в обратном направлении - из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти. 25)

Die von Sokolov erzählte - sich selbst immer wieder aufhebende - Zeit funktioniert wie die beiden gegenläufig "in geschlossener und folglich in endloser Kurve" verkehrenden Vorortszüge (123) oder aber wie der kleine Fluss am Rand der Siedlung, der - Lethe und Zeitstrom zugleich! - sich selbst zuwiderläuft (142):

Я принадлежу отныне дачной реке Лете, стремящейся против собственного течения по собственному желанию. И - да здравствует Насылающий ветер!

Der Verlust an (oder die Entfremdung von) der äussern, der messbaren Zeit wird bei Sokolov durch beträchtlichen Gewinn an "innerseelischer Zeit" und die damit ermöglichte Erweiterung des poetischen Freiheitsraums kompensiert. Husserl hat in seinen nachgelassenen Forschungsmanuskripten die "innerseelische Zeit", die Zeit des Ich im Erlebensstrom, als "Mitgegenwart" (Adpräsenz) bestimmt, in der auch Vergangenes präsentisch wird, "seiend als Vergangenheit von Gegenwart" und daher "Mitquellpunkt von Vergangenheiten": "Mein stehend-strömendes urtümliches Sein, dann meine selbstgezeitigte Gegenwart in der gezeitigten Zeit meines ego, als Gegenwart für meine Vergangenheit und Zukunft."²⁶⁾ Wenn nun Sokolov solche

25 V.K., a.a.O., S. 227; vgl. oben, Anm. 22; Anm. 24.

26 Vgl. Husserls noch unveröffentlichtes Manuskript C 3 (1931), zit. a.a.O., S. XLVIII-L; siehe ausserdem E.H., "Zeitigung-Monade" (1934), a.a.O., S. 668. - In diesem Sinn hat Marina Cvetaeva die "Zeitgenossenschaft" (sovremennost') als das schlechthin "Gegenwärtige" (nastojščee) bestimmt ~ Mitgegen-

"Mitgegenwart" zeitigt, indem er sie erzählt, bringt er demonstrativ die Übereinstimmung des jeweils erzählten Ereignisses mit der es erzählenden Diskursinstanz zum Ausdruck, unterstreicht also die Subjektivität, die aller sprachlichen Praxis - und vollends der poetischen - inhärent ist: "Es gibt weder ein anderes Kriterium noch einen andern Ausdruck, um 'die Zeit, in der man sich befindet', auszudrücken, als sie aufzufassen als 'die Zeit, in der *gesprochen wird*'. Darin liegt der ewige Ausdruck 'Praesens', obwohl er sich niemals auf dieselben Ereignisse einer 'objektiven' Chronologie bezieht, weil er durch jeden Sprecher, durch jede der Diskursinstanzen, die sich darauf bezieht, bestimmt wird."²⁷⁾

Auf welche Weise "Mitgegenwart" literarisch hergestellt, wie weitgehend dabei der Tempus- und Aspektgebrauch modifiziert, vom Regelzwang der akademischen Grammatologie und von stilistischen Konventionen befreit werden kann, führt Sokolov im ersten Stück ("Poslednij den'") der eingeschobenen Kurzprosaserie *Teper'* (54-55) exemplarisch vor; eine weitere Möglichkeit adpräsentischer Darstellung sei hier anhand eines kurzen Textauszugs aufgezeigt:

Дорогой Леонардо, недавно /сию минуту, в скором времени/ я плыл /плыву, буду плыть/ на весельной лодке по большой реке. До этого /после этого/ я много раз бывал /буду бывать/ там и хорошо знаком с окрестностями. Была /есть, будет/ очень хорошая погода, а река - тихая и широкая, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка /кукует, будет куковать/, и она, когда я бросил /брошу/ весла, чтобы отдохнуть, напела /напоет/ мне много лет жизни. Но это было /есть, будет/ глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен /уверен, буду уверен/, что умру очень скоро, если уже не умер.
/24/

Zeit zu schaffen, um "der Zeiten eigner Herr" zu sein, ist in jedem

wart als "Koexistenz der Zeiten": " - сосуществование времен, концы и начала, живое уzel - " (M.C., "Poët i vremja", in *Volja Rossii*, 1932, I-II, S. 7).

27 Emile Benveniste, *Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft*, List: München 1974, S. 293.

Fall ein schöpferisch verwandelndes Prozedere, ein Vorgang, der in umgekehrter Richtung analog zur Erinnerung verläuft. Durchweg bleibt Sokolov bemüht, dieses Verfahren - als Ausdrucksform ästhetischen Widerstands gegenüber seiner realen Umwelt - literarisch adäquat zu realisieren, das Erzählen selbst als Herstellung von Zeit zu praktizieren. In *Škola dlja durakov* fällt deshalb die Darstellung der Zeit mit der dargestellten Zeit zusammen; die Zeit des Erzählers ist die durch sein Erzählen geschaffene Zeit.²⁸⁾ Uebrigens ist die Tatsache, dass Sokolov der naturalen chronometrischen Raumzeit seine erklärt subjektive "innerseelische Zeit" entgegensetzt, wohl nicht zuletzt als indirekte Erwiderung auf das mechanistische Zeitverständnis und die materialistische Geschichtsauffassung der offiziellen Sowjetphilosophie zu deuten: somit käme in der "Schule der Dummen" der Zeit auch übertragene Bedeutung zu, sie würde dann zur polemischen Metapher für das linear-progressive Geschichtsverständnis des Diamat und, nicht zuletzt, für die schlechte Alltäglichkeit im realen Sozialismus.²⁹⁾

28 Vgl. dazu den programmatischen Diskussionsbeitrag von Alain Robbe-Grillet zur kreativen Funktion der Zeit im Nouveau roman (*Entretiens sur le temps*, hrsg. von Jeanne Hersch und René Poirier, Mouton: Paris - La Haye 1967, S. 260), wo es u.a. heisst: "La narration n'est plus un élément de seconde main, la narration elle-même est créatrice du temps." Oder: "[...] c'est la narration elle-même qui a créé l'événement. De même que c'est la narration qui a créé le monde [...] Il n'y a pas d'existence des choses en dehors de la parole qui les parle." - Im kreativen Subjekt gibt es - so Berdjajev - keine Determiniertheit, keine Kausalität mehr: "Der primäre Akt setzt weder Zeit noch Raum voraus, er erzeugt Zeit und Raum" (N.B., a.a.O., S. 128). - Zur Funktion und Bedeutung grammatischer Tempora bei der Zeitgestaltung im künstlerischen Text vgl. die (aufgrund von englischem Beispielmateriale erarbeitete) Untersuchung von Z. Ja. Turaeva, "Vremja chudožestvennoe i vremja grammatičeskoe", in *Stilistika romanogermanskich jazykov*, Leningrad 1972, S. 124-142.

29 Vgl. etwa die Auseinandersetzung der Sowjetkritik (Sučkov, Zatonckij, Dneprov) mit dem Zeitproblem in der Prosa des "bourgeoisen Modernismus" (Proust, Joyce, Faulkner); die Aufhebung der objektiv messbaren Raumzeit und die Schaffung eines subjektiven, werkimmanent sich konstituierenden Zeitraums wird von der marxistisch-leninistischen Kritik weiterhin als

Die Aufhebung der Uhr- und Kalenderzeit, die narratorische Verwirklichung des atemporalen "Anwesenheitseffekts", in dem sich die Zeiten zur "Mitgegenwart" verdichten, - solches Verfahren bringt auch wesentliche Modifikationen bei der Darstellung räumlicher Ordnungen und Verhältnisse mit sich. Der Empfindung der Zeitlosigkeit entspricht das Gefühl der Ver-rücktheit der Dinge im Raum:

... я снова стал ощущать приближение знакомого мне чувства потери времени. Все предметы вокруг как бы начали медленно перемещаться в другие измерения. 30)

Wenn nun Vergangenheit und Zukunft - das was vorher (davor) war und nachher (dahinter) sein wird - auf adpräsentischer Ebene abgehandelt und somit poetisch aktualisiert werden, setzt dies einen allseitig offenen visuellen Raum voraus, in dem alles - Figuren, Gegenstände, Interaktion - horizontfrei und schwerkraftlos zur Entfaltung kommen kann, ohne Rücksicht auf hierarchische Perspektivität, auf die Staffelung von Vorder- und Hintergrund, auf Abhängigkeiten zwischen Oben und Unten, Nah und Fern, Anfang und Ende. Entscheidend ist nicht mehr die objektive - oder objektivierte - Struktur des euklidischen Raums, sondern das subjektive Bewusstsein, in dem sich die räumlichen Dispositionen spiegeln: der Blick erschliesst den Raum nicht bloss, er schafft ihn, immer wieder, neu; der freie, der unerwartete Blick des Autors ist es auch, der die Ereignisse - zeitliche Vorgänge also, die an räumlichen Veränderungen ablesbar werden - durch die Art und Weise, wie er sie erfasst, zur Darstel-

Versuch gewertet, "alle Bindungen des Menschen an seine Zeit zu zerreißen" und "ihn der historischen Epoche zu entheben": "U Prusta i Džojša, pri vsej ich talantlivosti, otčetlivo raskryvaetsja central'naja ideja modernizma - vyključenje čeloveka iz ego epochi, vremeni, iz real'nogo dviženija istorii, to, što sejdčas prinjato nazyvati 'mifotvorčestvom'. Prežde vsego oni sozdajut mif o čeloveke vne vremeni, vne opredelennogo choda istorii" (Vladimir Ščerbina, *Puti iskusstva*, Chud. Lit.: Moskva 1970, S. 60).

- 30 Valentin Kataev, "Malen'kaja Železnaja dver' v stene" (1964), a.a.o., IX, S. 107; vgl. (zur Zeit-Raum-Verdichtung im Traum) Gaston Bachelard, *La poétique de la rêverie*, PUF: Paris ⁴1968; hier auch zahlreiche Hinweise auf chronotopische Gestaltungen in der Poesie.

lung bringt. "Denn auch der Raum", so heisst es bei Paul Klee, "ist ein zeitlicher Begriff".³¹⁾

Durch die auktoriale Zeitgestaltung ist einerseits die Konzeption des poetischen Raums, andererseits die Technik der Personendarstellung bedingt. Im Raum gewinnt die Zeit ihren "sinnlich-anschaulichen Charakter"; für die literarische Chronotopik bleibt in jedem Fall die zeitliche Dimension bestimmend.³²⁾ Ein Panorama disparater Oertlichkeiten - Innenräume, Landschaften, auch mobile Aufenthaltsorte wie Fahrzeuge, Schiffe - entwirft (in einem Institut, das gelegentlich - und gewiss nicht zufällig - den Namen des "vaterländischen Mathematikers Lobačevskij"³³⁾ trägt) der Sonderschüler, während er "über die Natur der Bedingtheiten und Besonderheiten des Fleischlichen im Menschen" nachsinnt:

Дорогой учитель! в лесных, затерянных в полях, хижинах, в почтовых дилижансах дальнего следования, у костров, дым коих создает уют, на берегах озера Эри или - не помню точно - Баскунчак, на кораблях типа Б и г л ь , на крышах европейских омнибусов и в женеvском туристическом бюро пропаганды и агитации за лучшую семейную жизнь, в гуще вереска и религиозных сект, в парках и палисадниках, где на скамейках нет свободных мест, за кружкой пива в горном кабачке

- 31 Vgl. Maurice Blanchot, "La clarté romanesque", in *Le livre à venir*, Gallimard: Paris 1959, S. 195-201.
- 32 Vgl. Michail Bachtin, "Formy vremeni i chronotopa v romane", in ders., *Voprosy literatury i estetiki*, Chud. Lit.: Moskva 1975, S. 234 ff.; siehe auch a.a.O., S. 398 ff.
- 33 Siehe zu Nikolaј Lobačevskijs Raumbegriff und Raumvorstellung (im Vergleich mit der Euklidischen, Gausschen und Riemannschen Geometrie) Wesley C. Salmon, *Space, time, and motion*, Dickenson: Encino-Belmont (California) 1975, bes. Kap. I ("Philosophy and geometry"); zur Entwicklung und Rezeption der nicht-euklidischen Geometrie in Russland (mit besonderer Berücksichtigung von Lobačevskijs *Geometrischen Untersuchungen*, postum 1860) siehe Alexander Vucinich, *Science in Russian Culture*, Stanford 1970, S. 171-174. - Zur Rezeption Lobačevskijs bei den russischen Futuristen - "Razin unter Lobačevskijs Banner" (V. Chlebnikov) - siehe Agnès Sola, "Pour un fonctionnement lobatchevskien du langage", in *Revue d'Etudes slaves*, LI, 1978, 1-ii, S. 225-232.

У к о т а , на передовых первой и второй мировых войн, стремительно едучи на нартах по зеленому юконскому льду, обуруемый золотой лихорадкой, и в прочих местах - тут и там, дорогой учитель, размышлял я о том, что есть женщина, и как быть, если настало время действовать, я размышлял о природе условностей и особенностях плотского в человеке.
/113/114/

Die Relativierung der räumlichen Verhältnisse und Zusammenhänge wird hier durch die Überganglose Montage völlig verschiedenartiger, unter jeweils wechselnder Perspektive vorgeführter, teils genau bezeichneter, teils gänzlich unbestimmter Wirklichkeitsausschnitte erreicht, wobei die Bündelung der kaum koordinierbaren Raumstrukturen (Wiesen, Hütten, Schiffe, Schlitten, Kutschen, ein Reisebüro, eine Bergkneipe, Dickicht von Heidekraut und Sekten) eine Szenerie von surrealistisch anmutender Phantastik ergibt, dies umso mehr, als sich der Sonderschüler nicht nur an all den erwähnten Orten, sondern auch an weit auseinanderliegenden Punkten der historischen Zeit (Erster/Zweiter Weltkrieg) aufgehalten haben will, um über das Ewigweibliche nachzudenken; der Erzähler selbst macht deutlich, dass der poetische Raum in diesem Zusammenhang als Projektion eines onirischen Raumgebilds aufzufassen ist, das sich, da ihm geometrische Kohärenz abgeht, in permanenter Pulsation befindet, sich bald vergrößert, bald sich verkleinert und das Subjekt mit den Objekten zur Synthese bringt.³⁴⁾

Durch ein weiteres Textbeispiel sei veranschaulicht, wie Sokolov die Zeit zur "Jetztzeit" verdichtet; wie er sie sichtbar werden lässt und bildhaft macht; wie er sein individuelles Zeiterleben räumlich konkretisiert:

Я живу вместе с мамой и папой, но иногда получается, что я живу один, а соседка моя - старая Трахтенберг, а скорее всего - Тинберген жила с нами на старой квартире, или будет жить на новой. Как называются остальные части моста - я не знаю. Под мостом - линия железной дороги, а лучше ска-

34 Siehe (zur Struktur des onirischen Raums) Gaston Bachelard, *Le droit de rêver*, PUF: Paris 1970, S. 195-200.

зять - несколько линий, несколько путей сообщения, некоторое число одинаковых, одинаковой ширины путей. По утрам ведьма Тинберген пляшет - плясала, будет плясать - в прихожей, напевая песенку про Трифона Петровича, кота и экскаваторщика. Она пляшет на контейнерах красного дерева, на их верхних площадках, под потолком, а также возле./122/

Das ekstatische, möglicherweise im Traum gewonnene Raumerlebnis wird einerseits durch die Verschachtelung disjunktiver Innen- und Aussenräume (wie Diele, Brücke, Bahntrasse, Zimmerdecke), andererseits durch die unauffällige Einführung zeitlicher Anhaltspunkte (alte : einstige/neue: künftige Wohnung: pljašet : pljasala : budet pljasat') darstellerisch intensiviert, wenn auch faktisch aufgehoben:

Под потолком. По ним - туда и сюда - ходит "кукушка", вся сотрясаясь на стрелках Тра-та-та. Ритм она отбивает на марокассах. Она толкает и тащит коричневые товарные вагоны. Я ненавижу эту косматую старуху. /122/

Sokolov ist bestrebt, womöglich jede reale oder auch bloss realistische Topographie aufzuheben - so als ob seine "Geschichte" sich ausserhalb der *Geschichte* (und damit ausserhalb der Zeit) abspielte; die Zerlegung und die unmasstäbliche Rekonstruktion des Raums entspricht der Auflösung, beziehungsweise Umkehrung der naturalen und historischen Zeit. Sokolov führt seinen Erzähler als eine ausserhalb von Zeit und Geschichte - nicht aber unabhängig von ihr - gelebte Existenz vor, als ein Individuum, das sich seinem zeiträumlichen Realitätskontext weder einzuordnen vermag noch gewillt ist, sich ihm anzupassen. Einer bis zur Lebensfeindlichkeit vorentschiedenen und verwalteten Welt, in der alles seinen bestimmten Platz, seine verordnete Funktion und Bedeutung hat, setzt Saša Sokolov ein erzählerisches Ich entgegen, das, getarnt als geistesschwacher Sonderschüler, zum subversiven Nein-Sager wird und mit poetischer Vehemenz "verbotene Themen" in "verbotener Sprache" - in der Sprache des Narren und Irren - zu artikulieren versteht.³⁵⁾

35 Vgl. dazu Osip Mandel'stam ("Četvertaja proza", in O.M., *Sobranie sočinenij*, II, MLS: New York 1971, S. 182): "Vse

Das von Sokolov als dominierende Diskursinstanz eingeführte Ich vertritt keine individuell bestimmbare oder physiognomisch beschreibbare Person; es stellt sich dar und ist präsent allein dadurch, dass es sich selber ausspricht und bespricht; weder mit dem Autor noch mit dem Erzähler ist dieses Ich identisch, vielmehr konstituiert es sich, indem es spricht, als fiktionales Subjekt, das sowohl für den Autor wie auch für den Erzähler und überdies für beliebige ("literarische") Figuren stehen kann, als ein grammatisches Konstrukt somit, welches nicht auf die Kategorie der ersten Person festgelegt ist, sondern sich, als erste Person ("ich"/"wir") in Form der zweiten, der dritten Person ("du", "er"/"sie"/"es") zum Ausdruck bringt. Die solchermaßen bewerkstelligte Erweiterung der Diskursinstanz ermöglicht es Sokolov, *monologisch* für eine Vielzahl von Personen zu sprechen, beziehungsweise diese für sich, den Autor, sprechen zu lassen; es gibt in seinem Text kein Personal (als Kollektiv autonomer Individualitäten mit jeweils eigener Statur und Stimme) mehr, es gibt statt dessen eine einzige - wenn auch keineswegs *monotone* - Stimme, welche, da sie in wechselnden Rollen spricht, verschiedene Personen unter verschiedenen Namen darzustellen vermag, eine letztlich *neutrale* Stimme also, die wohl bisweilen individuelle Färbung annimmt, deren Herkunft und Richtung jedoch - wie im Fall des Steinernen Gasts (seit Tirso de Molina) oder bei Hamlets Vater - offen, daher auch variabel bleiben. Der grammatische Status des sprechenden Subjekts wird auf diese Weise zerrüttet und weitgehend aufgelöst; das Subjekt ist nicht mehr durch den dialogischen Kontrast zwischen Rede ("ich") und Anrede ("du") definiert, es lässt sich weder nach Genus noch nach Numerus eindeutig bestimmen und bleibt folglich proteischer Verwandlung ausgesetzt. Der permanente Rollen- und Positionswechsel des "Ich"-

proizvedenija mirovoj literatury ja delju na razrešennye i napisannye bez razrešenija. Pervye - èto mraz', vtoroje - vorovannyj vozduch. Pisateljam, kotorye pišut zaranee razrešennye veščì, ja choču plevat' v lico, choču bit' ich pal'koj po golove i vsech posadit' za stol v Dome Gercena, postaviv pered každyj stakan policejskogo čaju i dav každyj v ruki analiz moči Gornfel'da."

Erzählers ist bei Sokolov teilweise durch dessen schizoide Gespaltenheit, teilweise auch durch das (mit der Zeit-Raumgestaltung eng verbundene) Phänomen der *Wiedererinnerung als Einfühlung in sich als einen andern* legitimiert. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das literaturhistorisch bedeutsame Motiv des Doppelgängers ("ich" = er), beziehungsweise des Spiegelbilds ("ich" = ich), auf das Sokolov - durch Verwendung entsprechender Motti aus der Apostelgeschichte (13, 9-10) und Edgar Allan Poes *William Wilson* (1839) - explizit verweist, neue Relevanz und Aktualität.³⁶⁾ Sokolovs drittes Kapitel ("Savl") beginnt mit einem monologischen Exkurs über Veta, die vom "Schüler Soundso" verehrt und verfolgt, jedoch von einem unbekanntem Mann geliebt wird, wobei Schüler ("ich") und Mann ("er") als identisch ("ich"/"du") zu gelten haben. Als die beiden - "ich" und ich ("er") - von dort (d.h. aus der psychiatrischen Klinik) entlassen werden, rät ihnen der behandelnde Arzt, sie sollten den, welchen sie "er" nennen, aufmerksam beobachten, sollten ihm überallhin folgen, um möglichst nahe an ihn heranzukommen, immer näher, bis der eine nicht mehr vom andern zu unterscheiden und beide "ein einheitliches Wesen mit unteilbaren Gedanken und Bestrebungen, Gewohnheiten und Geschmack" geworden seien:

И вот я, куда бы ты не пошел, следовал за тобой, и время от времени мне удавалось слиться с тобой в общем поступке, но ты сразу прогонял меня, как только замечал это, и мне опять становилось тревожно, даже страшно. Я боялся и боюсь вообще многого, лишь стараюсь не подавать вида, и мне кажется, ты боишься не меньше моего. Вот, например, ты боишься, вдруг я стану рассказывать тебе правду о том, что делал с твоей Ветой в ночь твоего прихода тот сравнительно молодой человек у себя на квартире. Но я все-таки расскажу об этом, потому что не

36 Man vgl. neuerdings die kinematographische Visualisierung des Doppelgänger- und Spiegelmotivs bei Andrej Tarkovskij (*Zerkalo*, 1974), vor allem aber bei Carlos Saura (*Elisa, vida mia*, 1976), der nicht nur verschiedene Rollen (Mutter/Tochter) von einer und derselben Schauspielerin darstellen lässt, sondern deren Doppelfunktion durch Verfremdung erst recht als solche bewusst macht, indem er für die innern Monologe (und die schriftlichen Aufzeichnungen) der Tochter eine männliche Stimme im Off verwendet.

люблю тебя за то, что ты не хочешь слиться со мной в общем поступке, как советовал доктор. ... Мне кажется, ты снова притворяешься, неужели все это так интересно, ты заговариваешь мне зубы, ты не желаешь, чтобы я рассказал тебе всю правду о Вете, о том, что делали с ней в своих квартирах и номерах те молодые люди, которых ты никогда не увидишь ну почему скажи мне наконец почему ты или почему я почему мы боимся говорить про это друг другу или каждый себе во всем этом так много правды почему почему да много знаешь но знаешь если не знаю я же ничего и ты ничего мы ничего про это не знаем мы пока или уже не знаем что ты можешь рассказать мне или себе если у тебя как и у меня не было ни одной женщины мы не знаем как это вообще как бывает мы только догадываемся мы можем догадываться мы только читали только слышали от других но и другие тоже толком ничего не знают ...

/71/72/

Subjekt dieses Monologs, der dialogisch (als Eifersuchtsmonolog oder als schizophrene Rede) gelesen werden kann, ist weder "ich" noch "du", sondern "ich" als "du", somit ein fiktionales "wir", aus dem bald die erste, bald die zweite (oder auch, indirekt, die dritte) Person spricht - simultan für sich selbst und für den jeweils Andern.³⁷⁾

- 37 Zur Bedeutung der Ich-Du-Relation für den Prozess des Verstehens in unterschiedlichen kulturellen Systemen siehe die Ueberlegungen von Aleksandr Pjatigorskij, "If I Were You", in *Russian Literature*, V, 1977, i, S. 37-40. - Vgl. die wegweisenden Vorarbeiten Andrej Belyjs zur literarischen Vereinnahmung der "ver-rückten" Autorenposition; so z.B. in *Zapiski žudaka*, I, Gelikon: Moskva-Berlin 1922, S. 77 ff. ("Dva 'Ja'") oder in der Prosastudie "Ja (Sumasšedšee)", in *Moskovskij Al'manach*, Ogon'ki: Berlin 1922, S. 175-215. - Siehe im weitern bei Edgar Allan Poe ("William Wilson"), auf den Sokolov mehrfach Bezug nimmt (*Tales, Poems, Essays*, Collins: London-Glasgow, 1952, S. 37): "A large mirror, - so at first it seemed to me in my confusion - now stood where none had been perceptible before; and, as I stepped up to it in extremity of terror, mine own image, but with features all pale and dabbled in blood, advanced to meet me with a feeble and tottering gait. - Thus it appeared, I say, but was not. It was my antagonist - it was Wilson, who then stood before me in the agonies of his dissolution. His mask and cloak lay, where he had thrown them, upon the floor. Not a thread in all his raiment - not a line in all the marked and singular lineaments of his face which was not, even in the most absolute identity, mine own!"

In vergleichbarer, jedoch nicht mehr pathologisch begründeter Weise wird auch ein Gespräch (vielleicht ein Selbstgespräch) zwischen "Mutter" (Tochter) und "Grossmutter" (Mutter) mit den innern (verschwiegenen) und äussern (in direkter Rede artikulierten) Repliken des ebenfalls anwesenden Sonderschülers, der hier simultan den doppelten Status von "Sohn" und "Enkel" zu vertreten hat, monologisch verschränkt:

-у нас дома все хорошо, с мужем /мама называет имя отца моего/ не ссоримся, все здоровы, сын наш /мама называет мое имя/ учится в таком-то классе, с учебой у него лучше. Неправда, мама, неправда, думаю я, у меня с учебой так худо, что Перилло не сегодня - завтра исключит меня из школы, думаю я, и я стану продавать бумажные цветы, как та старуха, думаю я, но в слух говорю: бабушка, я ужасно стараюсь, ужасно, я непременно закончу школу, не волнуйся, пожалуйста, и стану инженером, как дедушка./90/

Doch wenig später wird der dialogische Gesprächsansatz wieder auf den schizophrenen Monolog des Jungen mit sich selbst zurückgeführt:

Могу ли я задать тебе следующий вопрос, меня интересует одна деталь, я собираюсь проверить твою, а заодно и свою память: в те годы, когда ты или я, когда мы навещали вместе с матерью нашу бабушку... /94/

An anderer Stelle wird die Simultaneität von erster und dritter Person ("wir") als verdoppelte Diskursinstanz ("ich" und "er") dadurch zur Darstellung gebracht, dass der Schüler ("ich") einen Text rezitiert (und kommentiert), in dem von ihm selbst als einer aussenstehenden Drittperson ("er") die Rede ist:

"Он /то есть, я, сударь/ несколько дней был в отъезде. Он тосковал по ней, а она /то есть, Вета Аркадьевна/ по нему. Должны ли они /то есть мы/ скрывать это друг от друга, как это часто происходит вследствие неправильного воспитания?" /155/

Der solcherart - in konsequenter Analogie zur Aufhebung der Zeit - bewirkte Zerfall der Kategorie der Person wird von Sokolov noch verstärkt (wenn auch nie willkürlich strapaziert) durch bewusst relativistische Verwendung von Personennamen, von Berufs-, Funk-

tions-, Verwandtschafts- und Ortsbezeichnungen. Die in Sokolovs *Škola dija durakov* in grosser Zahl und in manchen Varianten verwendeten Eigennamen (Vornamen; Vornamen in Deminutivform; Vor- und Vaternamen; Familiennamen; Uebernamen; Kunstnamen) erzeugen zunächst die Illusion realistischer Wirklichkeitsdarstellung, erweisen sich jedoch sekundär als mehr oder minder frei bewegliche und beliebig vertauschbare Chiffren, was einerseits die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Rollen- und Funktionsträgern, andererseits das Verhältnis des (durchweg namenlosen, als "učeník takoj-to" bezeichneten) Erzählers zu seinen Kunstfiguren relativiert; denn wie soll einer (mit Heidegger gefragt) *nennen*, was er *sucht*? Und was hat es schon (mit dem "Sonderschüler" gefragt) für einen *Sinn*, all die Vor-, Vater- und Familiennamen im Gedächtnis zu behalten, da man doch, gerade beim Erzählen, "auch einen *fiktiven* Namen erfinden" könnte und da Eigennamen ohnehin - "selbst wenn es die *richtigen* sind" - fiktiv bleiben? So lässt Sokolov etwa den bärtigen "Briefträger" und "Windsender" *Micheev* gelegentlich unter dem Namen *Medvedev* (beziehungsweise unter der alternativen Bezeichnung "Micheev oder Medvedev") auftreten, oder aber - durch assoziative Identifikation seiner Fahrradschelle mit der klassisch gewordenen Klingel der Reflexforscher - in Gestalt und unter dem Namen Professor *Pavlovs*; der dissidente Geographielehrer *Norvegov* wird bald als *Pavel* (Paulus) *Petrovič*, bald als *savi* (Saulus) angesprochen; bei einer Unterhaltung zwischen mehreren Eisenbahnern verwandeln sich, nachdem von Yasunari Kawabata die Rede gewesen ist, ein gewisser *Seměn Nikolaev* unversehens in "Cuneo Nakamura", ein gewisser *Fědor Muromcev* in "F. Muromacu"; der autoritäre (namenlose) "Vater" ist zugleich repressiver "Staatsanwalt" und wird als solcher ("naš prokuror-otec") nicht nur mit dem Vater Staat, sondern auch mit Väterchen Stalin assoziiert; die alte "Š.S. Trachtenberg", Jüdin, Hexe, Denunziantin und linientreue Konrektorin zugleich, erscheint auch unter dem Namen "Tinbergen"; und ihre positive Gegenfigur, *Veta Akatova*, welche - als Lehrerin und Geliebte, als halbwüchsige (oder erwachsene) Tochter des Akademiemitglieds *Akatov*, als kranke (oder verstorbene, vielleicht auch bloss einge-

bildete) Klassenkameradin, aber auch als Rose und Windrose, als Grabesblume, als Akazien- und Eisenbahnzweig - die Sehnsüchte des Sonderschülers verkörpert, wird abwechslungsweise Veta Arkad'evna, Vetka ("vetka"), Vetočka ("vetočka"), Roza ("roza"), Roza Vetrova genannt und mit dem Lautbild (nicht mit der Wortbedeutung) der Buchstabengruppe V, O, D, O, K, A, Č, K, A ("vodokačka") in Verbindung gebracht:

...и любил бесконечно учительку Вету Ветку акации крупную женщину в тугих шуршащих при ходьбе чулках девочку с маленькой родинкой около сладкого и присывного рта, дачницу с глазами ветреной лани глупую и продажную девку с пригородной электрической платформы над которой виадук и часы и бьющиеся на снежном ветру снежном ветру провода а выше а-а-а-а-а летучие молодые звезды и грозы летящие сквозь лета, - я опоздал? извините, ради бога, Вета Аркадьевна.../88/

Nicht selten verknüpft Sokolov - auch hierin Nabokov folgend - diverse, lediglich durch ihre Lautqualität oder durch stereotype Epitheta aufeinander bezogene Namen assoziativ zu einem Bedeutungsfeld, das in sich weder zeitlich noch räumlich koordiniert ist; an einem weiteren Textbeispiel soll auch dieses Verfahren aufgezeigt werden: Durch frische Bettwäsche und reinen Schnee, aber auch, ganz allgemein, durch die Vorstellung unbefleckter Weisse fühlt sich der einstige Schüler Soundso ("takož-to") spontan an seine einstige Lehrerin ("byvšaja učitel'nica") Veta Arkad'evna erinnert, mit der er sich für heute ("na segodnja") schriftlich verabredet hat und die nun tatsächlich zum verschneiten Bahnsteig gekommen ist ("vot učitel'nica prišla"), um sich nach längerer, nicht näher bestimmter Zeit ("spustja stol'ko-to let") mit ihm ("so mnoj") zu treffen; er ("ty") geht auf Veta zu, eine Hand legt sich ihm schwer auf die Schulter, er wendet sich um, vor ihm ("pered tobj") steht eine strenge, etwas mehr als vierzigjährige Frau, seine Mutter ("tvoja terpelivaja mat'"), die eine volle Stunde auf ihn, den widerborstigen Jungen ("mal'čik"), gewartet hat, der nun aber zu seiner Rechtfertigung erklärt, einem Winterfalter ("zimnjaja babočka") nachgestellt und sich dabei verirrt zu haben; inzwischen ist es also höchste Zeit (meint die Mutter), zur Grossmama ("babuška") zu eilen, deren Wunsch es seit langem sei, den

Neffen auf dem Akkordeon spielen zu hören, und dieser setzt sich denn auch folgsam mit seinem Instrument an Grossmutter's Grab nieder und intoniert für den weissen Engel das "Kartoffel"-Stück von Brahms ... (92-93). Die vom einstigen und jetzigen Sonderschüler bewunderte, jedoch unerreichbar gebliebene Veta Arkad'evna macht hier, unter wechselnden Namen und Bezeichnungen, die alle - lautlich, psychologisch oder metaphorisch - auf sie bezogen sind, mehrere Verwandlungsstadien durch, um schliesslich, nachdem ihre Identität durch das Eingreifen der Mutter problematisiert worden ist, in Gestalt eines steinernen Grabengels ("belyj angel") zur Allegorie höchster Reinheit und reinsten - wenn auch kalter, unfruchtbarer, gogolesker - Weiblichkeit zu werden. Dass Sokolov in die Assoziationsreihe, welche die geliebte Veta mit dem weissen Steinengel verbindet, auch einen Schmetterling ("babočka") einbezogen hat, verdient besondere Beachtung: die "Metamorphose der lieblichen Larven" (Nabokov) kann als mikrokosmisches Paradigma fortgesetzter kreativer Selbstverwirklichung und Selbstbefreiung gelten.³⁸⁾

Im "schmetterlingshaftem" Versuch des Sonderschülers, sich durch konsequente Metamorphose - das heisst auch: durch Selbstaufgabe und Selbstübergabe - erst eigentlich zu realisieren, findet Saša Sokolovs aus "intelligenter Schizophrenie" erwachsener Protest gegen jegliche Form von Determinismus und Objektivierung adäquaten Ausdruck.

38 Vgl. dazu Vasilij Rozanov ("Apokalipsis našego vremeni", 1917/1918): "V fazach nasekomogo dany fazy mirovoj žizni. Gusenica: - 'my polzaem, žrem, tuskly i nedvižimy'. - 'Kukolka' - èto grob i smert', grob i prozjabanie, grob i obeščanie. - Motylek - èto 'duša', pogružen'naja v mirovoj éfir, letajuščaja, znajuščaja tol'ko solnce, nektar, i - nikak ne pitajuščajasja, krome kak iz ogromnych cvetočnych čašešek." (V.R., a.a.O., S. 469; siehe auch Rozanovs entomologisch-theologischen Essay "O strastjach mira", a.a.O., S. 502-507). - Die Tatsache, dass Sokolov seinen "Sonderschüler" wiederholt als Schmetterlingsjäger und -sammler auftreten lässt; die Tatsache ferner, dass entomologische Motive und Vergleiche in *Škola dija durakov* rekurrent sind, dürfte als verkappte Hommage des Autors an Vladimir Nabokov zu verstehen sein, zugleich auch als indirekte Bezugnahme auf dessen entomologisch begründete Poetik (vgl. *Lolita*, 1955; *Ada*, 1969).

АРХАИЧЕСКИЕ БЫВАЛЬЩИНЫ В СОСТАВЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Существует некоторое - небольшое - количество сказок, которые считаются волшебными, и в то же время сюжеты их мало похожи на обычные сюжеты волшебных сказок. Это сказки "Снегурочка", "Хромая утка" (украинск.) и некоторые другие ("Снегурочка", например, в Указателе Аарне-Андреева¹ отнесена к волшебным, - гнездо "Прочие волшебные сказки", 703). Чаще всего в них рассказывается о том, как человек потерпел неудачу в попытках справиться с чудесным существом, овладеть им. Куда же, в самом деле, отнести такие сказки?

Все указывает на большой архаизм этих сюжетов - колдовское умение, которым располагают "человеческие" персонажи этих сказок (при помощи колдовских действий они и пытаются овладеть чудесным существом); незамысловатость волшебных персонажей (медведь - хозяин лесной избушки; жена-птица; дитя, сделанное из снега и пр.). Сопоставление этих сказок с фольклором наших нерусских соседей, - народностей, сохранивших в большей целостности отголоски первобытно-общинных представлений, - заставляет предположить, что сказки эти произошли из неких архаических бывальщин.

Вообще говоря, существующие в наше время бывальщины повествуют о встречах людей "из нашей деревни" с нездешней, нечистой, чудесной силой. Подробное исследование русских быличек и бывальщин выполнено в книге Э.В.Померанцевой *Мифологические персонажи в русском фольклоре*. По определению исследовательницы, былички и бывальщины относятся к числу произведений несказочной народной прозы, для которой характерна установка на достоверность. "Это подчеркнуто фактологические информации, основная функция которых, независимо от степени их художественности, познавательная."² В этом их отличие от сказки.

Э.В.Померанцева различает былички и бывальщины (мемораты и фабулаты). "От бывальщины...т.е. фабулата или фикта, быличка отличается своей, условно говоря, бесформенностью, единичностью, не-обобщенностью."³ В дальнейшем "...действия героев - демонических существ - могут усложняться, приобретать психологическую мотивировку. В таком случае простой эпизод [изложенный в быличке, Е.Т.] разрастается в сложный сюжет, - меморат превращается в фабулат,

рассказ выходит за жанровые границы былички, становится бывальщиной. Это уже истории о лешем, водяном и русалке, а не свидетельские показания о встрече с сверхъестественным существом, как это характерно для былички."⁴

Быличка и бывальщина - форма, в которой выражаются (видимо, выражались и в былое время) живые поверья народа. "Верования стигмулируют возникновение рассказов, а былички и бывальщины укрепляют верования, подтверждают поверья."⁵

Мы здесь будем иметь дело с архаическими бывальщинами. Есть все основания считать, что такие бывальщины могли существовать в свое время у славян так же, как архаические бывальщины и сейчас еще известны у их соседей - финно-угорских и др. народностей.

Мы предполагаем, что архаические бывальщины рассказывали о встречах - но не с колдунами, русалками, мертвецами и прочей установившейся нечистью народных поверий XIX-XX в.в., а с архаическими фигурами стихийных и чудесных существ - с полузверьями-полулюдьми (оборотнями) или с теми же хозяевами стихий и животных, о которых рассказывают архаические сказки. Большею частью такие бывальщины кончались неудачно для человека и являлись поучительными историями о том, что бывает, когда человек нарушает правила, как следует вести себя с чудесными существами.

Об архаической бывальщине может дать представление, например, марийское предание о Вожде Оленей. Охотник встретил в лесу "красивого оленя", упорно преследовал его и убил. Перед смертью олень произнес заклятье - предсказал всякие несчастья охотнику. И действительно, - добавляет преданье, - вернулся охотник домой, а у него сгорел дом и погибла семья. "Ведь он убил Вождя Оленей."⁶ По всей видимости, "Вождь Оленей" - это зверинный "хозяин" оленей, чудесный родоначальник оленьего рода. С ним надо быть очень осторожным - так учит древняя мудрость. Можно думать, что перед нами именно древняя бывальщина, рассказ, сочиненный для устрашения слишком самоуверенных охотников, не подчиняющихся велениям и обычаям рода. Подобные рассказы, с "установкой на достоверность", с устрашающим и поучительным концом, вполне можно назвать бывальщинами, хотя бы и архаического происхождения.

Как уже упоминалось, бывальщины относятся к жанрам "несказочной народной прозы". Но здесь мы рассматриваем архаические бывальщины наряду с волшебными сказками. Их антагонисты уже забыты как реально существующие, в них не ощущается "установки на достоверность"

Древние бывальщины во многом связаны именно с волшебной сказкой. Они и сами легко становятся волшебными сказками, приобретая "удачный" конец: человеку удается побороть сопротивление стихийных сил; это уже вполне близко к сказке. Как замечает Э.В.Померанцева, "...обязательная победа человека над демоническим существом отличает сказку .. от былины и бывальщины с их склонностью к трагическому исходу столкновения человека с существами потустороннего мира"⁷. Известны варианты бывальщин, прямо переходящие в разряд сказок.

А.Маскаев, исследователь финно-угорского фольклора, говорит, что в мордовском фольклоре иногда существуют одновременно и бывальщины о встрече, скажем, с хозяином вод, и сказки о нем. Маскаев устанавливает понятие о п е р е х о д н о й с к а з к е . Таков, по-видимому, вообще один из путей возникновения сказки. Этот процесс можно представить себе следующим образом:

БЫЛИЧКА (меморат, свидетельское показание) - "У нас в деревне было.."

БЫВАЛЬЩИНА (фабулат, уже целая история) - "В одной деревне был случай.."

ПЕРЕХОДНАЯ СКАЗКА (дальнейшее развитие фабулата).

СКАЗКА - "Жили-были дед и баба.."

Но в русском фольклоре мало сказок, прямо происходящих из древней бывальщины. Зато нередко в побочных эпизодах волшебной сказки можно узнать архаическую бывальщину, контаминацию с ней, ее осколки. Так, в библиографии уже упоминавшейся сказки "Снегурочка" В.Я.Пропп называет 10 вариантов этого сюжета.⁸ На самом деле соответствует сюжету "Снегурочки" только один из них (Купр. 21⁹); остальные - лишь контаминации с начальным эпизодом "Снегурочки". Можно назвать еще ряд вариантов, записанных позже, вплоть до наших дней; но все они - контаминации упомянутого вида. Это лишний раз подтверждает наше право включить архаические бывальщины в рассмотрение волшебной сказки.

БЫВАЛЬЩИНЫ И СКАЗКИ О ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

Выразительные примеры несомненных архаических бывальщин или их осколков можно встретить среди сказок о столкновении людей с медведем. В русском фольклоре есть целая группа сказок о встречах с страшным хозяином русских лесов (эти сказки рассматривала в неопубликованной работе Н.Шарьмова). Некоторые из них - это сказки о животных, но часть их тяготеет к волшебным, входит на ролях побочных эпизодов в волшебные. Следует рассмотреть именно их связи с волшебными.

Известно, что русский народ, равно как и нерусское окружение, всегда с особым почитанием относились к медведю.¹⁰ Еще не так давно у народа западно-сибирских охотников, называвших себя "хантомыр" (ханты, остяки), существовал известный обычай - справлять "медвежий праздник" (шкуру убитого медведя вносили через окно в дом; уверяли зверя, что не виновны в его смерти; наряжали медведя в красивое платье и украшения, устраивали в его честь пиршество с пением и танцами). У русских, да и у других соседних народностей (в особенности в Сибири) существовали отголоски подобных обычаев. Не так давно в Сибири, снимая шкуру с медведя, приговаривали: "Не я тебя убил, тунгус тебя убил. Не мы тебя убили, ты сам себя убил."¹¹

Эти сложные отношения с убитым медведем объясняют сибирское предание о "пестром медведе".¹² Предание это рассказывает Н.Л.Гондатти, описывая культ медведя у племен манси и хантов. Сначала медведь жил на небе у "нуми торум", затем спустился на землю. Его убил богатырь "узын одыр пых" и стал насмехаться над его телом, "употребляя передние лапы как метелки для пола и очага, задние - как лопатки, а всей шкурой стал затыкать чужал"¹³; оскорбилась на это тень медведя, пошла в лес и привела с собой новых десять медведей.. Богатырь убил всех медведей, но пестрого одолеть не мог. Богатырь спрятался в амбар, затем перебежал в дом, но медведь добрался до незадачливого богатыря и растерзал его.¹⁴

Можно не сомневаться, что предание это происходит из архаической бывальщины о самонадеянном охотнике, не соблюдавшем обычаев, требующих уважения к убитому зверю.

С преданием о пестром медведе сходна русская сказка "об отрубленной лапе" ("Медведь", Аф. 57-58). Она имеет в основе своей те же архаические представления об особых силах зверя, хотя и не столь фантастические (приходит не дух убитого медведя за своим телом, а живой медведь за своей отрубленной лапой). В русской сказке медведь еще так же человекоподобен, как и по древним представлениям: он сам мастерит себе деревянную ногу; он поет на человеческом языке ("Скрипи, нога, скрипи, липовая.."), и старуха его понимает.¹⁵ Как и раньше, медведь хочет отомстить людям (за надругательство, - не только отрубили лапу, но еще и прядут его шерсть, варят его мясо, а из кожи сделали подстилку). В варианте Афанасьева медведь вломился в избу и съел стариков. В других, не менее известных вариантах старуха подстраивает медведю ловушку и зовет мужиков; мужики убивают страшного зверя.

Таким образом, если даже мы имеем в сказке "Медведь" архаическую бывальщину, сходную с хансийским преданием "о пестром медведе", то она легко может быть доработана в сказку с "хорошим концом". В сказке мы видим не верования а лишь следы "медвежьего культа", осколки верования, - суеверия, уже не связанные с культом. В сказке изображено, как люди по неосторожности "накликали" зверя, но (чаще всего) вступили с ним в борьбу и одолели его. В этом случае перед нами не "страшный" рассказ о мести медведя, а сказка о победе человека над зверем.

Сказка "Медведь" стоит на границе с волшебными. Все же, здесь медведь - не чудесное существо, а скорее очеловеченный зверь, и действия людей не содержат в себе ничего чудесного. Быть может, эту сказку лучше отнести к сказкам о животных (как это и сделано в Ук. А-А: *161), выделив в особую группу сказки о встречах человека с медведем.

Есть другие сказки, о которых также можно предположить, что они происходят из бывальщин о встрече с медведем, но доработаны в сказки, близкие к волшебной. Такова, прежде всего, сказка "Медведь и три сестры" ("Кот-золотой хвост")¹⁶. У Афанасьева этого сюжета нет; впервые он опубликован в собрании Худякова¹⁷. Вообще сказка редкая, что также характерно для сказок-бывальщин. Здесь рассказывается, как "кот-золотой хвост" заманивал девушек, одну за другой, в лесную избушку - жилие медведя; сперва старшую, - ей пришлось выйти замуж за медведя и вести у него хозяйство. Но она нарушила его запрет - зашла в комнату, где в котле кипела чудесная смола - и медведь съел девушку (в других вариантах - бросил в погреб). Такая же участь постигла и среднюю сестру. Только младшей сестре удалось спастись, обманув медведя (в других вариантах - спасти также и сестер). Нечаянная встреча с медведем в лесной избушке вполне похожа на бывальщину, но все остальное - ее доработка в сказку, причем в архаическую сказку: человеческого (семейного) конфликта нет; имеется только столкновение с таинственным зверем.

В позднейших вариантах эта сказка еще более разработана; известны пересказы для детей - например, "Медведь-дурень" (сказка содержит известный мотив: "Не садись на пенек, не ешь пирожок").¹⁸

Следующий сюжет - уже несомненно волшебный: о мачехе, отправляющей нелюбимую падчерицу "с глаз долой", в лесную избушку, где та встречается с хозяином избушки - медведем (Аф. 98 - в других вариантах - с лешим, с таинственной "кобылячьей головой", наконец - с Морозкой). Как и в других вариантах, медведь подвергает девушку

испытанию (здесь это "игра в жмурки"). С помощью расположенной к ней мышки - обитательницы избышки, девушка выдерживает испытание, и медведь награждает ее и отпускает домой (следом за ней, в надежде на награду, приходит грубая и злая дочь мачехи; она не выдерживает испытания, и медведь убивает ее). Сказка несомненно волшебная, и медведь выступает здесь наравне с другими чудесными испытателями из этого сюжета. Но он не просто замещает их: "игра в жмурки" присуща только вариантам с медведем.¹⁹ Э.В.Померанцева считает, что "в подобной редакции [то-есть, с медведем и с "игрой в жмурки", Е.Т.] она известна только у восточных славян."²⁰

Таким образом, можно думать, что мотивы "игры в жмурки", так же как "не садись на пенек", - оригинальная доработка бывальщин о встрече с медведем. Все сказки с медведем имеют свою, уникальную разработку. Это и заставляет предположить, что фигура медведя в них - не позднейшая замена волшебных антагонистов, а оригинальный персонаж в сказке определенного типа, лишь впоследствии использованный в волшебной сказке "с мачехой" наравне с другими чудесными испытаниями. Тем более, что и для мотива "игры в жмурки" существует вариант более архаического вида (Аф. 557), где нет мачехи, а девушка просто заблудилась и попала в избышку к медведю.

Кроме цельных сюжетов, в роли чудесного антагониста медведь участвует в вводном эпизоде сказки типа "Звериное молоко" (сказка "Царь-Медведь", Аф. 201, 202). Фантастический "царь-медведь" (Аф. 201) или "медведь-железная шерсть" (Аф. 202) завладевает царскими детьми - героем и его сестрой - и уносит их к себе в лес. Дети бегут от медведя при содействии некоего бычка (здесь использован сюжет типа "Бычок-спаситель" - "бегство от ведьмы при помощи бычка"). Этим бегством мотивируется начало сказочного сюжета: убежав от медведя, дети остаются жить в лесу одни; тут начинаются сказочные перипетии. Может быть, архаическая сказка о бычке-спасителе сама имела вариант с медведем в качестве антагониста и в таком виде вошла как вводная мотивировка в сказку "Звериное молоко".

Все это заставляет предположить, что существовала бывальщина о том, как человек попал в лесное жилище к медведю. До нас эта бывальщина дошла в виде ее разработки (переходной сказки) или же контаминации ее с другими сказочными сюжетами. Можно предположить, что по мере утраты "установки на достоверность", такие бывальщины могли стать объектом переделок и контаминаций. Чем оканчивалась самая бывальщина - сказать трудно. Точнее это, может быть, удастся выяснить при дальнейшем сравнительном изучении русского и соседнего

нерусского фольклора; быть может, у народностей, сохранивших более явные следы фольклорного архаизма, удастся установить наличие сюжетов, аналогичных бывальщинам о медведе - хозяине лесной избушки.

ИВАНКО-МЕДВЕДКО (БЫВАЛЬЩИНЫ О ЧУДЕСНОМ ЗАЧАТИИ).

Кроме сказок, начинающихся с "запродажи детей царю-Медведю", есть и еще сюжеты, в вступительном эпизоде которых фигурирует медведь. Это сказки типа "Иванко-Медведко" (в Ук. А-А - "Иван-Медвежье Ушко", 650 А), о рождении героя-силача от сожительства женщины с медведем (например, Аф. 152). Можно предположить, что в древние времена существовало подобное поверье и что оно имело вид былички или бывальщины (в таком роде: "А у нас в деревне был такой случай: женщина заблудилась и попала в берлогу к медведю.."). Такая быличка и могла впоследствии стать вступительным эпизодом к героическим сказкам о чудеснорожденном богатыре.

В своей работе *Миф об умирающем и воскресающем звере*²¹ В.Г. Богораз-Тан, рассматривая "медвежий миф", привлекает к сказке "Иванко-Медведко" и возводит отдельные ее сказочные мотивы к "древнейшей охотничьей эпохе". При этом, "Иванко-Медведко действует рядом с древне-стихийными богатырями Дубиней и Гориней", но он сильнее их и таким образом, по мнению ученого, "очевидно древнее стихийных богатырей".²² Не будем обсуждать эту "очевидность". По всей вероятности, действительно существовал охотничий миф о рождении человека от медведя. Но, думается, к эпохе разложения первобытно-общинных отношений осталось только поверье, имевшее вид бывальщины; оно и дало основу для сказки. Для изучения сказки эта связь важнее, чем мифологические корни поверья.

Трудно также согласиться с тем, что сказки, подобные "Иванко-Медведко" имеют "древнейшее" происхождение. Герой-силач, герой-богатырь - это сравнительно поздний образ, никак не архаический. Герой архаической сказки в своей борьбе с антагонистами - хозяевами стихий силен не личной, богатырской мощью, а поддержкой рода, колдовскими знаниями, соблюдением всех правил и велений рода. Только при разрушении родовой идеологии, при переходе к классовому, феодальному обществу, в сказках появляется интерес к отдельной личности, к герою-богатырю; физическая сила героя свидетельствует уже о представлениях новой эпохи.

Самый факт резко выраженных достоинств и силы героя показывает, что в героических сказках родовая идеология близка к разрушению. Героическая сказка легко обходится без всякого участия рода. Бога-

тырский подвиг героя - вот главное ее содержание.²³

Таким образом, если в древние времена и существовала быличка о сыне медведя, то в ней главный интерес не мог сосредоточиться на его медвежьей силе. Такой интерес пришел позже и вызывал соединение былички с сказкой.

Ленинградский исследователь Н.В.Новиков в своей богатой материалами книге *Образы восточнославянской сказки* дал подробное описание сюжета "Иванко-Медведко". Исследователь считает, что "с момента освобождения Медвежьего Ушка из-под власти медведя .. сказка развивается в двух направлениях: одно представляется сюжетом "Три царства: золотое, серебряное и медное" (Андреев, 301, А, В), другое - сюжетами из цикла сказок о глупом черте (1000-1199)"²⁴. Именно сюжет "Три царства" представляется ученому первоначально связанным с мотивом "Медвежье Ушко": "Первоначально все внимание в сказке концентрировалось на неумной силе чудесно-рожденного героя-богатыря и его приключениях, связанных прежде всего с классическим сюжетом 'Три царства'".²⁵ С этим последним не обязательно соглашаться. Все это не так просто. С какими именно сказками связан мотив "Медведко"? В Указателе А-А сюжет "Три царства" крайне не расчленен. На самом деле сказки на этот сюжет различаются по ряду признаков и относятся к различным периодам. Среди них более ранними представляются сказки с похищением царевны. Здесь еще мало уделяется внимания личности героя. О герое сказано в нескольких словах, и он сразу же отправляется на поиски похищенной царевны. Зато в сказках с поисками подвигов все обстоит по-иному. Здесь пространно рассказывается о чудесном рождении героя, о предназначенности его к подвигам (пока еще неясно - каким). Эти сюжеты можно считать уже более поздними. Здесь личность героя-богатыря выступает на первый план, а подвиги (освобождение царевны от змея) - вторичный, вставной волшебный эпизод. Вот тут-то как мотивировка чудесного рождения могла быть включена бивальдина о рождении Медведки. Как это произошло?

В основном сюжете "с поисками подвигов" герой всегда рожден при царском дворе ("У царя не было детей.." и пр.). Собственно, Медведко тут не при чем. В сказках с чудесным рождением богатыря и его братьев в семье царя еще нет настоящего конфликта с окружением; чаще всего богатыри просто тяготятся мирной жизнью при царском дворе, хотят "людей посмотреть, себя показать", ищут себе подвига по силе. В сказке о Медведке, рожденном в деревне (сюжет, непосредственно вызванный бивальдиной), сюжет всегда движется конфликтом с окружением: героя посылают на подвиги в расчете отде-

латься от него или просто прогоняют. Изгнанный Медведко встречает по дороге "стихийных богатырей", - Дубыню, Горыню и т.д., - берет их себе в побратимы и дальше едет с ними. Они останавливаются в лесной избушке, где у них происходит столкновение с "мужичком-сам с перст" или с бабой-Ягой. Преследуя побежденного антагониста, герой спускается в подземное царство, и здесь уже в сказку включается сюжет "о трех царствах" с освобождением царевны и пр. (Аф. 141). Таким образом, эта сказка представляется сугубой контаминацией с историей о Медведке. Судя по материалам Новикова, вводный эпизод о Медведке может быть очень детально разработан, но сюжетно никак не связан с основным повествованием "о трех царствах". Единственная связь их - это изгнание героя из родной деревни.

Но зато в сказках второго направления, в которых развивается история о медведке, связь ее с чудесными подвигами героя вполне обусловлена и логически последовательна. Героя-Медведку посылают сначала со всякими опасными поручениями в надежде избавиться от него; затем отправляют с главным, невыполнимым поручением, требующим преодоления чудесных противников, например - чертей (Аф. 152).

Представляется, что этот сюжет - не контаминация, а является самостоятельной разработкой бывальщины о сыне медведя (подобно тому, как мы видели это на примере сказок о медведе - хозяине лесной избушки). Впоследствии вводный эпизод о рождении Медведки может исчезнуть, и Медведку заменит просто силач-батрак (сказки "Батрак" - Аф. 150, "Шабарша" - Аф. 151), и сила его ничем не мотивируется.

Итак, сказка, в которой Медведку изгоняют из родной семьи и происходит соединение с сюжетом "о поисках подвигов" (побратимы, лесная избушка, "мужичок-сам с перст", три царства), если и имеет раннее происхождение, то, во всяком случае, это лишь контаминация с бывальщиной о Медведке, тогда как история с "деревенской" отправкой Медведки на опасные подвиги представляется самостоятельной разработкой бывальщины.

Кроме поверий о сыне медведя, Медведке, существовали, видимо, и другие поверья о чудесно-рожденных богатырях, - также, как, например, мы видим в сказках "Покатигорошек" или "Иван Сучич". О них детально рассказал Н.В.Новиков, и мы не будем вдаваться в их рассмотрение, тем более, что в этом случае расхождений у нас нет. Как в нашей классификации, так и по описанию Новикова сюжет "Покатигорошек" (герой рождается от проглоченной матерью горошины) относится к самой ранней группе героических сказок - о похищении царевны (Аф. 133-134), а сказка типа "Иван Сучич" - к более поздним сказкам -

о поисках подвигов. В этом типе сказки герой и его братья по чудесному зачатью всегда рождаются в царском дворце, преимущественно от съеденной рыбы.²⁶ "В странствование ('в свет') братья пускаются главным образом по своей охоте [то-есть, на поиски подвигов, Е.Т.]..., реже их вынуждают к этому обстоятельства иного порядка..."²⁷ Для этой группы сюжетов характерны приключения - бой на калиновом мосту²⁸ и преследование со стороны змеих²⁹: впрочем, кроме того (о чем мы уже говорили), имеются сказки, которые развиваются через пребывание чудесных побратимов в лесной избушке ("Мужичок-сам с перст...") - такие, как "Иван Сученко" (Аф. 139), или "Зорка, Вечорка и Полночка" (Аф. 140) и некоторые другие.

Нет впечатления, что подобные сказки о змеборце могут быть непосредственно, генетически связаны с бывальщинами, как это имеет место для сюжетов о Медведке. Если поверье о чудесном зачатии когда либо имело вид архаической бывальщины, то в сказки и змеборце оно попало много позднее, из каких-то сказок, как свободный эпизод. По этим сказкам трудно представить себе бывальщину о рождении от гороха, от рыбы, вообще - от проглоченной пищи. То, что мы видим в сказках о чудесно-рожденном богатыре, - только контаминация с возможными осколками этих бывальщин.

ЧУДЕСНО-СДЕЛАННЫЕ ДЕТИ.

От поверий о чудесном зачатии и бывальщин о нем в корне отличаются поверья, бывальщины, сказки о чудесно-сделанных детях, не рожденных естественным путем, от матери. В фольклоре распространено представление о детях, искусственно созданных руками человека и лишь чудесным образом оживленных: о детях из снега, глины, дерева, теста и т.д. Большей частью это случается в обычной семейной обстановке ("Жили-были дед и баба...") и представляется связанным с какими-то архаическими поверьями и бывальщинами. В.Я.Пропп подробно осветил мотив о "сделанных людях"³⁰, но для него важно было обнаружить "историко-бытовые корни" этого мотива. Для наших задач достаточно рассмотреть возникновение сказочного мотива из предшествующих фольклорных форм - из бывальщины.

К бывальщинам этого рода можно отнести "Снегурочку". Это редкий, уникальный (только русский) сюжет, хотя и очень известный. Славу ему создал А.Н.Островский своей "весенней сказкой 'Снегурочка'". Ни в одном из ранних научных изданий народных сказок этой сказки нет; текст ее известен только по сборнику М.А.Максимовича "Три сказки и одна побасенка", изданном в Киеве в 1845 г. в собственной записи автора ("Снегурочка"). Н.В.Новиков, включая сказки Максимо-

вича в свою публикацию сказок начала XIX века, заметил: "Все четыре сказки Максимович издал в небольшой литературной обработке."³¹ Впрочем, обработка представляется не такой уж "небольшой": введено много деталей пейзажа и других описаний, несвойственных народной сказке. Но в комментариях Новиков утверждает, что Максимович сохранил сюжет неприкосновенным.³² В таком случае, хотя публикацию Максимовича нельзя считать научной, ее можно использовать, чтобы судить о сюжете сказки.

Сюжет этот состоит в следующем. Одинокие старики, дед и баба, слепили себе дочку из снега; она чудесным образом ожила и радовала сердце своих родителей. Но ничего хорошего не могло из этого получиться: настало лето, пошла Снегурка в лес по зову подружек; стали девушки прыгать через костер; прыгнула и Снегурочка - и растаяла; свилась легким облачком и исчезла. В таком виде эта сказка по всей вероятности должна отвечать сюжету некоей архаической бывальщины.

Как мы уже упоминали, кроме публикации М.А.Максимовича, имеется научная публикация сказки, хотя и поздняя.³³ У Афанасьева этой сказки нет. Правда, в издании сказок Афанасьева в 1957 г., в Указателе А-А для № *703 ("Снегурочка") В.Я.Пропп дал ссылку на Аф.34; но это неверно, как и большинство других ссылок для этого типа. Дело в том, что, кроме цельной сказки (Максимович, Куприяниха), сказочники гораздо чаще используют начало сказки "Снегурочка" для контаминации с другими сказками - как вводный эпизод, как мотивировку ухода героини в лес по ягоды с подружками. Этот вводный эпизод гораздо более распространен, даже в современных записях, чем основной сюжет. С уходом девушек в лес происходит переключение на другие сюжеты: девушка заблудилась, или подружки ее намеренно покинули ("Меня девки в лес заманули, заманувши - покинули"), или даже убили. Это сказки следующих типов:

"СНЕГУРОЧКА И ЛИСА" (Аф.34, по Ук. А-А *171). Пограничная с волшебными. Афанасьев причисляет ее к сказкам о животных. Э.В.Померанцева в своем сборнике³⁴ включила ее в число волшебных. Текст единственный, но широко публикуется в сборниках сказок для детей.

"СНЕГУРОЧКА" (Великорусские сказки в записях И.А.Худякова. М.-Л. 1964, 79). Контаминация с сюжетом типа "Бычок-спаситель". Волшебная сказка; существует в репертуаре сказочников до наших дней.

"СНЕЖЕВИНОЧКА" (Аф.246). Контаминация с сюжетом "Чудесная лудка" (вводный эпизод). Записывалась и впоследствии, вплоть до наших дней.

Можно было бы думать, что в этих сказках завязка - естественная для данных сюжетов: пошла девушка в лес по ягоды и заблудилась. Но имя, которое при этом дается героине сказки, - Снегурочка, Снежиночка, - а то даже и создание ее из снега, никак не связанное с дальнейшим развитием сюжета, указывают на контаминацию. Таким образом произошло немотивированное появление героини Снежиночки в сказке "Чудесная дудка". Весь смысл этой сказки - далеко зашедший распад семейных отношений, злоба и коварство завистливых сестер; тут же произошла замена сестер на подружек - на их злобу и зависть, что в данном сюжете слабо мотивировано. Словом, все свидетельствует о контаминации.

С сказкой о Снегурочке граничит жутковатая сказка о "глиняном парне", тоже, вероятно, возникшая из бывальщины: старики, желая завести себе сына, слепили его из глины, а он ожил и стал глотать по очереди всех встречаемых, начиная со своих родителей. Это вполне могло быть архаической "страшной" бывальщиной. Но, вероятно впоследствии, с утратой "установки на достоверность", сюжет был упорядочен в виде сказки, и к нему присоединен был забавный конец - о том, как козел ударил глиняного парня рогами в живот, и на этом все кончилось: глиняный людоед рассыпался, и из него по очереди вышли все проглоченные. Это не волшебная, а кумулятивная сказка.³⁵ В Указателе А-А она отнесена к волшебным (Ук. А-А 333 *В), в Указателе Аарне, доработанном Томпсоном, где введен раздел кумулятивных сказок, она имеет номер 2028. У Афанасьева этой сказки нет, но вообще она известна до нашего времени.

Кроме самостоятельных сказок о чудесно-сделанных детях, подобный мотив встречается в ряде сказок как вводный: он повествует о чудесном появлении на свет героя сказки. Прежде всего, это группа сказок типа "Ивашко и ведьма" или "Терешечка" (Ук. А-А 327 С), - архаические сказки о том, как ведьма похитила мальчика, но ему удалось спастись от нее - присутствием духа, находчивостью; иногда - при помощи пролетающих птиц. В вводном эпизоде этой сказки нередко рассказывается, как бездетные дед и баба сделали себе сына - из дерева, из лыка и т.д. Какой смысл здесь в этом мотиве - мало понятно. Вероятно, и рождение Липунюшки (Лутонюшки, Терешечки) взято из архаической бывальщины; но почему этот мотив с таким постоянством присущ сюжету о спасении от ведьмы?

Есть и другая группа сказок, в которых героя создают бездетные родители - из дерева, из теста и пр.; это некоторые сказки "с поисками подвигов", в которых, наравне с героями, рожденными от съе-

денной рыбы, могут появиться и герои, созданные из дерева, - "Иван Сосна" (Аф.142) и т.п. Но в классической сказке Афанасьева это редкое исключение. Надо думать, что появление "героя из дерева" в сказках этого типа - результат позднейшей контаминации.

ЖЕНА-ПТИЦА

Наконец, сюжетом, связанным с архангелской бывальщиной, представляется также сюжет "Жена-птица". В марийском фольклоре известна "Сказка о лебеди".³⁶ В ней рассказывается, как охотник, "сын Кожана Кождемыр", поймал у себя на овсяном поле лебедь, опалил ей перья; птица превратилась в девушку; парень взял ее к себе домой, к своим родителям и женился на ней. Но оскорбленная Йукталче, "дочь лебеди", не захотела оставаться с захватчиком. Свекровь послала сноху за водой; на реке Йукталче встретила со своей лебединой родней; лебеди кинули ей по перышку; она опять стала птицей и улетела с ними. Это не мифическая и не волшебная сказка; больше всего она похожа именно на бывальщину: охотник не сумел покорить чудесную птицу, и она улетела от него. При этом рассказ идет не об охотнике и его судьбе, а о ней, о жене-птице; разработана вся часть с ее освобождением. Она, а не человеческий герой - "основной персонаж повествования"; Э.В. Померанцева считает это характерным именно для бывальщины.³⁷

В русско-украинском фольклоре тоже имеется подобная сказка; там это редчайший сюжет. В собрании Рудченко³⁸ это сказка "Кривенька качечка" ("Хромая уточка"); ей свойственны те же сюжетные коды, что и для сказки "Дочь лебеди". Дед и баба приютили раненную уточку; когда выяснилось, что птица втайне принимает облик девушки, старики подкараулили этот момент и спалили сброшенные ею перья, надеясь, что она навсегда останется с ними. Но оскорбленная уточка не захотела оставаться. Пролетавшие стаи диких уток - ее родня - кинули ей по перышку; она снова обернулась птицей и улетела с ними. А дед и баба опять остались одни.

Сходство сказки с "Сказкой о лебеди" несомненно. Даже песни, которыми пролетающие птицы зовут девушку с собой, вполне схожи в обоих случаях.

В русском фольклоре тоже имеется сказка, подобная сказке о лебеди (единственный записанный вариант этого типа) - это сказка "Иван-царевич и молодая молодница" в сборнике Д.К.Зеленина.³⁹ Но здесь муж сумел удержать жену-лебедь, не дал ей улететь с другими лебедями, и она осталась с ним и со своим ребенком. Здесь архангелская бывальщина доработана в сказку с "хорошим концом". Обязательная победа героя отличает сказку от былички (о чем говорили в на-

чале статьи). - Насколько мне известно, других самостоятельных сказок этого типа в русском фольклоре больше нет. Но сюжет о жене-лебеди целиком вкраплен в сказку "Елена Премудрая" из собрания Афанасьева (Аф.237). Солдат попадает в дом к змею; змей усыновляет его. В сказках, которые начинаются с мотива "служба у змея", змей всегда держит у себя в плену какое-либо существо: будущего антагониста или будущего помощника героя, - в данном случае, Елену Премудрую, деву-птицу. Герой освобождает ее, она улетает. Змей разгневан, но прощает приемного сына и в дальнейшем даже помогает ему. А солдат с этого момента стремится к одному - завладеть Еленой Премудрой и жениться на ней (ведущий конфликт, определяющий собой сюжет сказки). Перед нами суший сказочный роман. Сперва солдат отыскал свою премудрую волшебницу, подкараулил ее, когда она купалась в пруду со своей служанкой, похитил у нее крылышки и таким образом снова завладел ею. Он отвез ее к своим (настоящим) родителям - как и в "Сказке о лебеди", - но не сжег крылышек своей невесты, а отдал их на сохранение матери. Елена хитростью выманила у будущей свекрови свои крылышки и улетела.⁴⁰ "Плохой" конец этого эпизода соблюден с целью мотивировать дальнейшие поиски героя. Он снова разыскивает Елену, и тут разыгрывается традиционный кульминационный ход этого сюжета - "игра в прятки", в которой герой, наконец, побеждает свою суженую и женится на ней.

Но чаще всего в сказках встречается другая, известная, модификация сюжета "Жена-птица", - это упомянутое выше похищение крылышек у девы-птицы во время ее купанья. Чтобы вернуть свои крылышки, чудесная птица дает слово стать женой героя, и с этого момента делается его верной помощницей и нареченной. Это типичный "свободный эпизод", который кочует из сказки в сказку до наших дней. Несомненно, он произошел из архаической бывальщины о жене-птице, но утратил мотивы антагонизма героя и жены-птицы, ее стремления освободиться от навязанного брака, ее исчезновения с лебединой стаей. "Свободный эпизод" о деве-птице стал широко употребляться как вводный, как эпизод с получением чудесного помощника и т.п. В.Г.Тан-Богораз считает этот эпизод исконным древнейшим мифом: "Самую обычную форму этого мифа представляет сказка о юноше и 12 лебяжьих девицах, которые, сняв свои шкурки, купаются в озере. Юноша захватывает шкурку самой красивой и таким образом женится на ней."⁴¹ Здесь Богораз-Тан рассматривает сказочный мотив наравне с мифологическими, не учитывая художественную вариативность сказки. Сравнение "свободного" сказочного эпизода с исходной архаической бы-

вальщиной показывает принципиальную разницу между ними: антагонизм лебединой девицы и человека в мифологической бывальщине и полное согласие между ними в сказочной эпизоде.

Изучение судьбы известных нам архаических бывальщин показало нам, как вообще живет и разрабатывается бывальщина, сближаясь с волшебной сказкой.

Может быть, в процессе изучения волшебной сказки удастся установить и другие сюжеты архаических бывальщин, родственные волшебной сказке, контаминированные с нею.

П р и м е ч а н и я

1. Н.П.АНДРЕЕВ, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л. 1929 (в дальнейшем - Ук. А-А).
2. Э.В.ПОМЕРАНЦЕВА, Мифологические персонажи в русском фольклоре. М. 1975, 9.
3. Там же, 14.
4. Там же, 24.
5. Там же, 86.
6. Подлинник находится в Архиве Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории мари (МарНИИ), г. Йошкар-Ола.
7. Э.В.ПОМЕРАНЦЕВА, Мифологические персонажи..., 63.
8. В издании Народных русских сказок А.Н.Афанасьева, 1957 г., под ред. В.Я.Проппа (принятое обозначение: Аф.; цифра при нем указывает № сказки).
9. А.М.НОВИКОВА и И.А.ОСОВЕЦКИЙ, Сказки Куприяники. Воронеж 1937.
10. Подробности об отношении русского народа к медведю - см. в книге В.П.АНИКИНА, Русская народная сказка. М. 1977.
11. А.М.ПОПОВ и Г.С.ВИНОГРАДОВ, Медведь в воззрениях русского старожилго населения Сибири. - "Советская Этнография", 1936, № 3, 82.
12. По словам В.Г.Тана-Богораза, пестрый медведь - бурый с белым подгивком.
13. Ср. в русской сказке "Медведь": "...Одна баба не спит, / На моей коже сидит, / Мое шерстку прядет, / Мое мясо варит."
14. Н.Л.ГОНДАТТИ, Культ медведя у инородцев С.З.Сибири. - Труды Этногр. Отд. Об-ва любит. естествознания, антропологии и этногр. при Моск. Унив., кн. VIII, М. 1888, 74.
15. В комментариях к этой сказке Н.П.Андреев указывает, что Афанасьев внес в сказку ряд изменений, в частности - несколько расширил песню медведя, прибавив три лишних стиха (см. А.Н.АФАНАСЬЕВ, Народные русские сказки. Изд. Асадемия, т. I, 1936, 542). Но эти изменения носят лишь пояснительный характер и не коснулись сюжета, его сущности.

16. В Ук. А-А этот сюжет отнесен к волшебным - тип 311.
17. Великорусские сказки в записях И.А.Худякова. М.-Л. 1964, № 18.
18. Песни и сказки Ярославской области. Ярославль 1958, №4.
19. Н.В.Новиков указывает этот мотив и для других сюжетов, но, думается, это уже позднейшее использование мотива.
20. Русские народные сказки (А.Н.Корольковой). М. 1969, 174, примеч.
21. В.Г.ВОГОРАЗ-ТАН, Миф об умирающем и воскресающем звере.- Художественный фольклор, № 1, М. 1926, 66-76.
22. Там же, 69.
23. В.Я.Пропп, изучая русский героический эпос, считает, что эпос "появляется только тогда, когда первобытнообщинный строй клонится к упадку", что эпос - "один из предвестников разложения, распада строя и свидетельствует о начавшейся борьбе за новое общественное устройство". Он считает, что в эпосе "герой ведет борьбу за основание и сохранение семьи" (Русский героический эпос. Л.1955, 28-40). Эти соображения могут быть отнесены и к героической сказке.
24. Н.В.НОВИКОВ, Образы восточнославянской сказки. Л. 1974, 46.
25. Н.В.НОВИКОВ, там же, 51.
26. Там же, 56.
27. Там же, 60.
28. Там же, 60-61.
29. Там же, 63-64.
30. В.Я.ПРОПП, Мотив чудесного рождения.- В.Я.ПРОПП, Фольклор и действительность. Сборник статей. М. 1976, 233 и далее.
31. Н.В.НОВИКОВ, Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. М.-Л. 1961, 39.
32. Там же, 367.
33. Собственно, известны три современные публикации этой сказки: сюжет ее пересказала Н.П.Гринкова в своей статье "Сказки Куприяники" (Художественный фольклор, I. М. 1926, 88); затем текст приведен в кн.: А.М.НОВИКОВА и И.А.ОСОВЕЦКИЙ, Сказки Куприяники. Воронеж 1937, № 21, а также - В.А.ТОНКОВ, Фольклор Воронежской области. Воронеж 1945, № 329. Но все три публикации имеют одинаковый источник - записи, сделанные от известной воронежской сказительницы Куприяники (А.К.Барышниковой).
34. Русские народные сказки. Сост. Э.В.Померанцева. М. 1957, № 25, 70.
35. Об этой сказке см. в статье В.Я.ПРОППА, Кумулятивные сказки.- В.Я.ПРОПП, Фольклор и действительность. М. 1976, 250.
36. Е.ТУДОРОВСКАЯ и С.ЭМАН, Марийские народные сказки. Йошкар-Ола, 1945, 36.
37. Э.В.ПОМЕРАНЦЕВА, Мифологические персонажи..., 64.
38. Народные ижморусские сказки, вып. I-II. Издал И.Рудченко. Киев 1869-1870.
39. Д.К.ЗЕЛЕНИЙ, Великорусские сказки Пермской губернии. Петроград 1914.
40. Аф., т. II, с.253.
41. В.Г.ВОГОРАЗ-ТАН, Миф об умирающем и воскресающем звере, 68. Быть может, в отличие от марийской сказки, в русской архаической бывальщине о деве-лебеди именно таков был начальный эпизод этого русского "фабулата".

ZUR LINGUISTISCHEN STRUKTUR DER BYLINENZEILE

1. Die Gattung und ihre Problematik.
2. Das Kompositionsproblem: Bylinenzeile und Konstituentenstruktur.
3. Nichtübereinstimmung und linguistische Lösungsansätze:
 - a) das Aufzählungsprinzip
 - b) das Vertreterprinzip
 - c) eine andere Ebene
4. Keine Ebenentrennung: die mündliche Perspektive
5. Konsequenzen für die linguistische Modellbildung

1. Die Gattung und ihre Problematik.

Die Gattung 'bylina' (urspr. 'starina') ist definiert als groß-russisches Heldenepos, mündlich vorgetragen bzw. gesungen von Personen, Männern oder Frauen, aus dem bäuerlichen Milieu, von den 'skaziteli'; es liegt ein begrenzter Kanon von Themen vor (Trautmann 1935 zählt 65 auf), die ein wichtiges Ereignis mit meist historischem Hintergrund behandeln, wobei ein oder mehrere Helden oder Heldinnen die Hauptrolle spielen. Das allen Bylinen gemeinsame sprachliche Aufbauprinzip ist die Gliederung in Einheiten, deren Existenz und Umfang von der Melodie her leicht zu erkennen ist, deren konstituierende Merkmale jedoch variieren, und zwar von strenger metrischer Gebundenheit (freie Trochäen mit meist ungerader Fußzahl und daktylischem Ausgang, vgl. Harkins 1963) bis zu einem rein tonischen Prinzip (drei dominierende Betonungen pro Einheit, vgl. Jakobson 1966). Eine Byline umfaßt durchschnittlich 300 - 500 Einheiten dieser Art; da mir nur schriftliche Aufzeichnungen vorliegen, spreche ich von Zeilen.

Die Byline stellt die Literaturwissenschaft vor eine Reihe von Problemen: Welches ist die Quelle für die verwendeten Motive, welche Entwicklung haben diese im ostslavischen Kontext erfahren, welche Gestaltung, Anpassung, Vervollkommung erfahren die einzelnen Stoffe dort, in welchen sozialen Schichten lebt diese Tradition und welche

Faktoren sind verantwortlich für den Niedergang? Eine wichtige Frage ist auch die nach dem zugrundeliegenden Aufbauprinzip: Aus was für Einheiten setzt sich ein Text dieser Art zusammen? Auf welche Ebene des gestalteten Materials konzentriert sich die Komposition? Informationen, die aus der Beantwortung solcher Fragen resultieren, werden nicht nur für den zuerst genannten Fragenkomplex fruchtbar werden. Es sind auch Einsichten in eine eigenartige Sprachproduktion zu erwarten. Worin besteht diese Eigenart des Bylinensingens? Rein äußerlich gesehen zumindest darin, daß der Sänger ohne äußere Hilfsmittel und in kontinuierlicher Weise, d. h. ohne Pausen, die Zeit zur Bearbeitung böten, eine große Menge von sprachlichem Material produziert, das einerseits bestimmten gattungsmäßig festgelegten Regeln gehorcht - zusätzlich zu den Regeln der Grammatik - , andererseits aber so individuell ist, daß man getrost davon ausgehen kann, keine Realisation ein und derselben Byline - selbst vom gleichen Sänger gesungen - gleicht der anderen. Es wird also ad hoc produziert, nicht Auswendiggelerntes rezitiert. Einsichten in den dabei zutage tretenden Spielraum erlauben Rückschlüsse auf den zugrundeliegenden Erzeugungsmechanismus, und jede Einsicht in den Spezialfall verspricht genauere Kenntnis vom Allgemeinen, also den Mechanismen, die dem Sprechen, der Sprechfähigkeit zugrundeliegen. Wenn diese Überlegungen den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Beobachtungen und Analysen bilden, dann sollte am Ende auch die Linguistik davon profitieren.

2. Das Kompositionsproblem

Aus welchen Elementen ist ein literarischer Text der Gattung Byline aufgebaut? Es sind sprachliche Elemente, und da die Sprache auf die Dimension der Zeit angewiesen ist, liegt es nahe, die eingangs gestellte Frage unter diesem Blickwinkel zu reformulieren: Welche Elemente werden bei der Produktion von Bylinen aneinandergereiht? Parry und Lord haben vor etwa 50 Jahren ein Modell entwickelt, das auch heute noch - trotz Kritik und Modifikation, vgl. Abrahams 1977 - die Grundlage für die Analyse mündlicher Epenproduktion bildet, zumindest in Amerika. Der Grundbaustein, mit dem ein Sänger operiert, ist die Formel (vergleichbare Begriffsbildungen bei Uchov 1957; Definition im Sinne von Parry und Lord bei Arant 1967, 18). Es ist eine sprachliche Einheit, ein Wort oder eine Kombination von

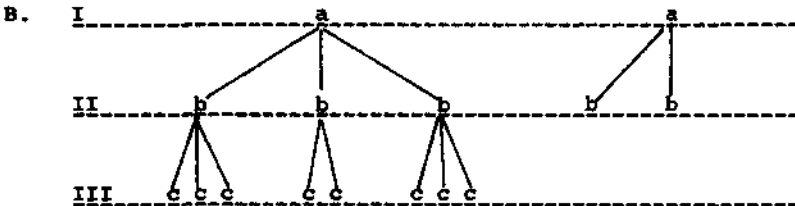
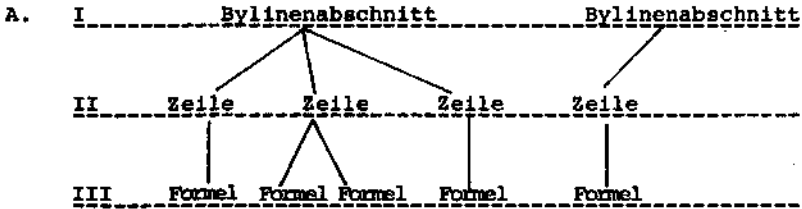
Wörtern mit relativ fixierter Zusammensetzung, wobei der entsprechende Variationsspielraum dem Zweck dient, das jeweils metrisch benötigte Format zu erreichen. Die Fixiertheit der Kombination ist ein individuelles, für die Bedürfnisse der Bylinenkomposition zugeschnittenes Faktum, hat also nicht unbedingt etwas mit phraseologischer oder vergleichbarer Erstarrung zu tun. Als Formel gilt, was in gleicher oder vergleichbarer Form mehrfach auftaucht. Was wird aus diesen Formeln zusammengesetzt bzw. was entsteht durch die Aneinanderreihung? Die Zeile. Formeln haben also, wenn sie sinnvoll ihre Aufgabe erfüllen sollen, ein Format gleich oder kleiner als die Zeile, und ihrem relativ fixierten Format entspricht auf Zeilenebene ebenfalls eine Art Fixiertheit, Selbständigkeit oder Autonomie. Die genannten Autoren verwenden als Maßstab für die Autonomie der Zeile den Sinn (sens): Jede Zeile ist in der Lage, einen eigenen Sinn zu tragen bzw. zu verkörpern. Charakteristisch für die Gattung ist das Fehlen des Enjambements (Lord 1968,54). Diese Selbständigkeit macht die Zeile wiederum zu einem Baustein höherer Ordnung, etwa einem Bylinenabschnitt; eine vergleichbare Position vertrat schon Vostokov 1817: "U russkogo pesnotvorca ili skazočnika v každom stiche polnyj smysl reči zaključaetsja (1817,149)".

An dieser Stelle ist es zumindest möglich, die Linguistik auf den Plan zu führen. Die Fixiertheit bei der Formel, der Sinn bei der Zeile sind Phänomene, bei denen sich linguistische Kategorien zum Einsatz anbieten. Dieser Einsatz kann zunächst ohne bestimmte Zielrichtung erfolgen, etwa einfach darum, um die literaturwissenschaftliche Hypothese durch linguistische Evidenz zu untermauern. Sollte es sich erweisen, daß durch die präziseren Instrumente der linguistischen Modellbildung nicht nur die Grenzziehung um den Bereich mündlicher Epenproduktion Stützung erfährt, sondern auch noch gattungsbezogene Probleme (vgl. den Fragenkatalog in § 1.) einer Klärung nähergebracht werden können, ist dies nur gut. Welche linguistischen Kategorien kommen als Äquivalente für Formel und Zeile in Betracht?

Bei dieser Suche bietet sich das Format der Einheiten als Suchraster an. Die Formel kann ein Wort sein, entscheidend für ihren Aktionsradius ist aber ihre Ausdehnungsmöglichkeit auf Überwortformat. Diesen Spielraum hat die Formel gemeinsam mit der Konstituente: Diese kann einem Wort entsprechen, doch die Regeln der

Sprache sorgen dafür, daß sie auch zu Einheiten größeren Formats expandiert werden kann. Außerdem hat sie einen Stellenwert in Verbänden größeren Formats, linguistisch gesprochen, in Expansions-ebenen höherer Ordnung - sie ist eingebettet in Konstituenten, die - und hier ergibt sich eine Verbindung zur Zeile - für die Interpretation des Ganzen, also z.B. des Satzes, den Ausschlag geben: erst wenn die Konstituenten niederer Ordnung interpretiert sind, können diejenigen höherer Ordnung interpretiert werden. Diese höhere Konstituente ist also eine Station im Interpretationsprozeß, und daraus ergibt sich eine relative Sinnunabhängigkeit - genau das, was die Bylinenzeile auszeichnet.

Der Aufbau eines mündlichen Epentextes nach Parry und Lord, schematisiert in A., zeigt also erhebliche Ähnlichkeit mit einer Strukturbeschreibung linguistischer Art B., wo die römischen Ziffern Ableitungsschritte bzw. Expansionsebenen symbolisieren.



Damit die sich anbietende Übertragung von linguistischer und kompositorischer Hierarchie den gewünschten Evidenzeffekt erhält, muß sie empirische Bestätigung finden. Es müßte sich also herausstellen, daß die Einheiten einer bestimmten Stufe des Modells A. den Einheiten einer bestimmten Stufe des Modells B. entsprechen. Läßt sich diese Übereinstimmung zwischen kompositorischer und linguistischer Gliederung nachweisen?

Die Tendenz ist offensichtlich, in einer Zeile einen vollständigen Satz unterzubringen. Diese Tendenz, das sei zunächst festgehalten, ist für die ganze Gattung charakteristisch. So wird z. B. die Jagd der Königstochter Nastas'ja von Litauen nach Kiev von Rjabinin folgendermaßen beschrieben:

- (Rjabinin,
Gil'f. 507)
- (1) Ona echala v pogonu po čistu polju,
 - (2) A skakala na koni na bogatyrskoem
 - (3) Da po slavnu rozdol'ju čistu polju;
 - (4) Po celoj versty kon' poskakival,
 - (5) Po kolen on vzemeljušku ugrjazyval,
 - (6) On s zemeljuški nožki vychvatyval,
 - (7) Po sennoj kupny on zemeliki vyvertyval,
 - (8) Za tri vystrely kameški otkidyval.
 - (9) Ne putem ona edet ne doroženkoj,
 - (10) Ona echala rozdol'icem čistym polem,
 - (11) Proechala ona da sestru rodnuju,
 - (12) A proechala ona i mimo kiev grad.

Bis auf (3) ist jede Zeile ein vollständiger Satz. Beispiele dieser Art sind typisch und können in großer Zahl gefunden werden. Zeile (3) gehört zur syntaktischen Kategorie Präpositionalphrase, und auch dieser Fall ist unzählige Male belegt. Es liegt daher nahe, die Zeile vorläufig durch die Zugehörigkeit zu einer Hauptkonstituente zu charakterisieren und nach der statistischen Verteilung der möglichen Entsprechungen zu suchen. Wenn das postulierte Entsprechungsmodell funktionieren soll, dann müßte das Nebeneinander zwei-

er Bausteine einer syntaktischen Gliederung entsprechen, bei der jedes Element des einen Bausteins zur einen Kategorie gehört, während der andere restlos von einem anderen Knoten dominiert wird. Das ist aber nicht der Fall, wie das nächste Beispiel zeigt.

- (Kalinin, Gil'f.26)
- (13) Uvidae on tut stado gusinoe
 - (14) Toj že on Avdot'i on Ivanovny
 - (15) A želanoj on svoej da bylo tetuški

Dieser Satz enthält eine Konstituente und damit eine Interpretationseinheit der folgenden Art: stado gusinoe Avdot'i Ivanovny. Diese Konstituente a enthält ihrerseits wiederum zwei Konstituenten b-b, deren jeweilige Interpretation die Grundlage für die Interpretation der ersteren darstellt. Weiter enthält jede Konstituente b zwei Konstituenten c-c, für die ein gleiches gilt. Diese linguistische Gliederung der Kette $c_1-c_2-c_3-c_4$ vorausgesetzt, ist ohne weiteres einleuchtend, daß eine Kette mit der Zusammensetzung $c_1-c_2-c_3$ keine Konstituente darstellt; c_3 kann nicht unabhängig von c_4 zur Konstituente c_1-c_2 in Beziehung gesetzt werden und mit dieser Kette zusammen eine Sinn-einheit bilden. Anders ausgedrückt: Es liegt wohl eine Konstituentengrenze zwischen c_3 und c_4 , nicht aber zwischen $c_1-c_2-c_3$ einerseits und c_4 andererseits. Und genau in diesem Sinne zeigt die linguistische Analyse, daß die Kette der Einheiten, die den Inhalt der Zeile (13) bildet, keine Konstituente ist.

Die fehlende konstituentenmäßige Geschlossenheit und damit verbunden die mangelnde Sinnautonomie kann mehr oder weniger ausgeprägt sein. Wenn man die Konstituente (15) abtrennt, ist die Unselbständigkeit der Restkette geringer als diejenige, die aus der Abtrennung von (14) entsteht. Das liegt daran, daß (15) ein nicht-restriktiver Modifikator ist, (14) aber ein restriktiver: Die Referenz der Objektsphrase kann nicht hergestellt werden nur aufgrund der Kette (13), während (15) für diesen Zweck überflüssig ist. Wir finden den schwachen Typ fehlender konstituentenmäßiger Geschlossenheit häufig, vgl. (16 - (17), aber

- (Kalinin, Gil'f.25)
- (16) Tol'ko ne chodi ko sukinoj Marinuški,
 - (17) K toj Marinuški Kajdalovnoj.

genauso häufig den starken Typ, vgl. (18) - (22).

- (Kalinin, Gil'f.54)
- (18) Stavil tut Michajla Potyk syn Ivanovič
 - (19) Na tu bylo na doščečku na klenovuju

- (20) Svoju že Mar'ju lebed' beluju,
- (21) Lebed' beluju da Korolevičnu,
- (22) Korolevičnu podoljanku.

Aus diesen Beobachtungen können wir den Schluß ziehen, daß das vorgeschlagene Entsprechungsmodell nicht stimmt, solange man die Konstituentenstruktur zum Maßstab nimmt.

3. Nichtübereinstimmung und linguistische Lösungsversuche

Die auf Zeilenebene festgestellten Verhältnisse - es gibt Zeilen, die keine Konstituenten sind - finden auf der Formelebene eine Bestätigung. Das wird ohne weiteres deutlich, wenn man Parrys Methode der Analyse betrachtet. Er unterstreicht Formeln - also Ketten, die in unveränderter Form mehrfach auftauchen - mit einfachen Linien; eine gestrichelte Linie ist ein Zeichen für ähnlich wiederholte Ketten. Das Ergebnis der ersten 5 Zeilen der Odysse sieht so aus:

- (23) ἄνδρά μοι ἔνεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλά
- (24) πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε.
- (25) πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
- (26) πολλὰ δ' ὃ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὄν κατὰ θυμόν
- (27) ἀρνύμενος ἦν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἐταίρων.

(zit. nach Finnegan 1977, 59)

In welchem Sinne sind μοι ἔνεπε Μοῦσα oder πολύτροπον ὃς Konstituenten oder Einheiten der semantischen Interpretation? Was ist, die kompositionsmäßige Relevanz vorausgesetzt, die linguistische Struktur dieser Einheiten?

Die unserer Untersuchung zugrundegelegte Fragestellung ist an dieser Stelle in folgendes Dilemma geraten; es gilt, Nichtkonstituenten linguistisch zu beschreiben oder zu erfassen. Dazu scheinen prinzipiell drei Wege möglich. Man zählt die Konstituenten auf, die eine solche Nichtkonstituente enthält, ohne sich um diese globale Zugehörigkeit zu kümmern. Oder man sucht, ob nicht ein Teil der Zeile zu einer bestimmten linguistischen Kategorie gehört und vielleicht

dieser Teil, stellvertretend für das Ganze, konstituierende Merkmale trägt. Oder man überprüft das zugrundegelegte Ebenenmodell und sucht, ob es nicht doch eine Ebene gibt, auf der die kompositorische Einheit als ganze sich auch linguistisch etabliert. Diese drei Möglichkeiten untersuche ich im folgenden unter Verwendung der Begriffe Aufzählungsprinzip, Vertretungsprinzip und sekundäre Regeln der Grammatik.

(a) Das Aufzählungsprinzip

Arant (1967, 36 ff.) zählt Grundschemata des Zeilenaufbaus (basic patterns) auf. Eine Zeile wie Zavodil počesten pir da j pirovanice ist eine unvollständige Einheit, "expression with verb incomplete, lacking subject or complement (38)". Überträgt man diese Technik auf die Einheiten, die von Parry als Formeln unterstrichen wurden, so kommt man etwa zu dem Ergebnis, πολύτροπον ὄς besteht aus einem Adjektiv (mit den morphologischen Merkmalen +masc, +acc, usw.), sowie aus einem Relativpronomen (+masc, +nom, usw.). Es handelt sich dabei um eine linguistische Analyse insofern, als Kategorien, Merkmale eines bestimmten linguistischen Modells zum Einsatz kommen; welche Kategorien dabei adäquat sind, bestimmt jedoch nicht die linguistische Kette, die diese Einheit, die Formel, als ganze einnimmt, vielmehr ihre Bestandteile, wie sie erst nach Auflösung dieser Einheit sich der Analyse stellen. Und da diese Art von Einsatz linguistischer Kategorien die Einheiten als Elemente einer bestimmten Struktur betrifft, die nicht oder nicht notwendigerweise mit der Zeile oder der Formel übereinstimmt, kann ihr Ergebnis nicht als die linguistische Struktur der Bylinenzeile angesehen werden. Im Punkt (c) soll dieses negative Ergebnis nochmals aufgegriffen werden, zumindest um den Weg zu zeigen, wie eine eigentliche linguistische Analyse aussehen müßte.

(b) Das Vertreterprinzip

Man kann, so das Ergebnis aus (a), den Einheiten, aus denen sich eine Zeile zusammensetzt, linguistische Kategorien zuordnen; und wenn man alle Einheiten erfasst hat, läßt sich aus den verwendeten Kategorien ein Schema der Zeile zusammenstellen, das jedoch nicht eine linguistische Struktur im eigentlichen Sinne bildet. Diese

Nichtübereinstimmung von metrischer und linguistischer Struktur muß nicht dazu führen, die der vorliegenden Untersuchung zugrundegelegte Frage grundsätzlich negativ zu beantworten. Es kann durchaus der Fall sein, daß auch eine linguistische Struktur im uneigentlichen Sinne für die Zeile charakteristisch ist. Anders ausgedrückt: Die Bedingung, die an eine Kette sprachlicher Elemente gestellt wird, um sie zur Einheit (etwa zur Zeile) eines bestimmten metrischen Systems zu machen, kann im Rahmen linguistischer Kategorien formulierbar sein, ohne die ganze Kette zu erfassen. Als ein Beispiel für diesen Fall kann der Reim oder allgemeiner das Homoioteleuton dienen; dabei ist zwar linguistisch erfaßbar, was an der Zeile ähnlich oder gleich sein muß, es ist aber nur ein Teil der Zeile, der von dieser Vorschrift erfaßt wird. Dieses Prinzip gilt auch für die Bylinenzeile, soweit sie eine daktylische Klausel besitzt, (Ausnahmen etwa bei Kalinin: Sad'ko, Vol'ga i Mikula, Gil'ferding 9 ff.). Wenn diese Vorschrift als eine der konstituierenden Kräfte der Zeile anzusehen ist, so ist sie linguistisch beschreibbar, und diese Beschreibung betrifft nicht die ganze Kette, sondern nur einen Teil. Und dieser Teil trägt dann die Verantwortung für die ganze Kette und macht diese zu einer legitimen Einheit des metrischen Systems. Ich nenne diese Art des Zeilenaufbaus, die sich nur in einem Teil der Zeile manifestiert, Vertreterprinzip; für die Bylinenzeile hat es eine gewisse Gültigkeit, jedoch nur insoweit, als die Betonung auf der drittletzten Silbe tatsächlich einem linguistischen Akzent entspricht. Arant (1967, 35) spricht von einem "primary accent" in einem Fall wie v moe] voli, obwohl moe] nur dann dominiert, wenn tatsächlich ein Kontrast vorhanden wäre. Es sind allerdings auch Fälle von daktylischem Schluß vorhanden, in denen die drittletzte Silbe von Enklitika gebildet wird, und diesen kann auf keine Weise ein linguistischer dominierender Akzent zugewiesen werden, vgl.:

- Jakušov, (28) Dak tut beret ego da ved' meč
Sokolov, 72.
(29) Da ego meča ne mozet da vid' podnjat'.

c) Eine andere Ebene?

Auch der Fall (b), den ich unter dem Terminus Vertreterprinzip zusammenfaßte, kann nichts an der grundsätzlichen Beobachtung verändern, daß nämlich keine linguistische Struktur existiert, die konstant allen Zeilen der Gattung Byline eigen ist. Diese Beobachtung

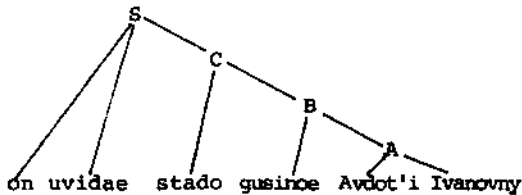
basiert jedoch auf einer Perspektive, die man als streng linguistisch bezeichnen kann: die exakt bestimmbareren Ebenen des Grammatikmodells und die innere Logik der auf einer Ebene vorhandenen Formantien lassen in vielen Fällen keine Entsprechung zwischen der Zeile (oder Formel) und einer der möglichen Strukturen des Modells erkennen. Um die Angemessenheit dieser Perspektive und eventuelle Alternativen zu untersuchen, sei nochmals kurz die Motivation für die zunächst (in § 2) eingeschlagenen Verfahren überprüft.

Das Aufbauelement der zur Debatte stehenden Gattung ist eine Kette sprachlicher Einheiten, die Zeile mit einer charakteristischen internen Gliederung, deren Grundeinheit mit dem Begriff Formel definiert ist. Was macht eine Kette zu einer Einheit dieser Gattung? Um diese Frage nach dem Kompositionsprinzip der Byline zu beantworten, werden konkrete Zeilen auf ein eventuell zugrundeliegendes Schema hin überprüft, mit dem Ziel, dieses Schema dann auch an anderen Zeilen zu erproben und so die Konstante dieses metrischen Systems zu eruieren. Wie kann ein solches zugrundeliegendes Schema aussehen? Auf jeden Fall entsteht es dadurch, daß von der konkreten Äußerungskette ausgehend bestimmte konkrete Elemente abgezogen werden, daß sie einer Abstraktion unterworfen wird. Diese Abstraktion kann von rechts nach links erfolgen; das Ergebnis wäre dann etwa so, wie es oben unter (b) beschrieben wurde: jede Kette, deren Klausel der Silbenfolge xyy entspricht, ist eine Zeile. Es gibt noch eine andere Abstraktionsmöglichkeit, und zwar die, die im eigentlichen Sinne eine linguistische Operation darstellt. Die linguistische Beschreibung abstrahiert von einer konkreten Äußerung alle diejenigen Merkmale, die nicht auf die linguistische Kompetenz, auf das Kennen der Grammatik zurückgehen. Das Ergebnis dieser Abstraktion nennt man eine Repräsentation dieser Äußerung, und dem Wesen des sprachlichen Objekts entsprechend gibt es mehrere Ebenen, auf denen jede Äußerung repräsentierbar ist. Ein Mindestbestand an Ebenen, die dabei nötig sind, ist die inhaltliche, die syntaktische und die lautliche.

Man kann nun die Suche nach dem zugrundeliegenden Schema der Bylinenzeile und die damit verbundenen Abstraktionsschritte auf die Pfade der angedeuteten linguistischen Abstraktion lenken; vielleicht entspricht die Einheit Zeile einer Einheit, wie sie sich auf einer bestimmten Repräsentationsebene zeigt.

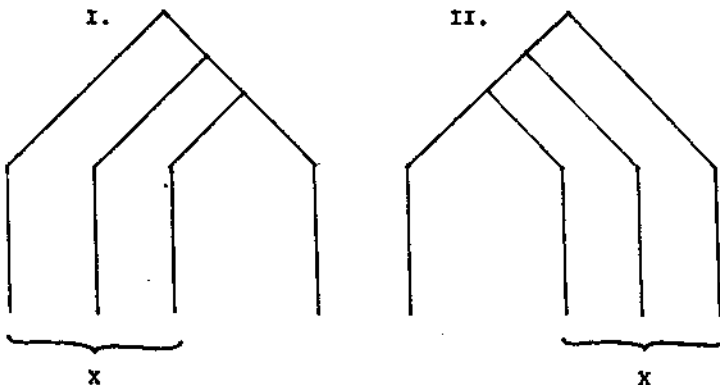
In diesem Fall könnte man, dem Titel unserer Untersuchung entsprechend, von einer linguistischen Struktur der Bylinenzeile sprechen. Die syntaktische Ebene hat sich als ungeeignet herausgestellt, und im Gefolge davon auch die inhaltliche. Dieses negative Ergebnis zeigte sich an einem

(13) - (14)



Beispiel wie (13-14): wohl ist A eine Konstituente und eine inhaltliche Einheit, und Zeile (14), die diese Konstituente enthält, hat damit auch eine linguistische Struktur in dem genannten Sinne. Es gibt aber keine entsprechende Kategorie B (oder C, oder S), die wiederum die Einheit für die vorhergehende Zeile abgeben könnte. Zeile 13 enthält keine Konstituente.

Die Frage ist, ob das Grammatikmodell wohl eine andere Ebene zur Verfügung hat, auf der die Kette der Zeile (13) eine Einheit darstellt, die den Verbindungsbogen C-B oder B-A eliminiert und eine Kategorie X enthält, die eine Struktur vom Typ I oder II ganz erfasst?



Eine grammatische Erscheinung der gesuchten Art trat beim oben untersuchten Beispiel von der Gänseherde zutage. Bei der Gegenüberstellung der beiden Genitive (14) und (15) kann, trotz formaler Ähnlichkeit und identischer Bezogenheit, davon ausgegangen werden, daß die sinnbezogene Abhängigkeit beim restriktiven Modifikator groß ist. Im Hinblick auf das appositive Element (15) dagegen erscheint die Zeile (13) sinnautonom und daher durchaus geeignet, die gesuchte Kette X zu verkörpern.

Diese gelockerten Bindungen tauchen in großer Zahl und in unterschiedlichster Gestalt auf. Besonders häufig vertreten ist der Typ der Präpositionalphrase; vgl. das Muster Ic. bei Arant 1967, 38 und unser Beispiel (3). Für den gelockerten Status spricht zusätzlich die Tatsache, daß diese Präpositionalphrasen meistens in appositiver Stellung sich befinden; vgl. (30) bis (33). Es geht ja wohl gemerkt nicht in erster Linie um den gelockerten Status der Präpositionalphrasen

- (Kalinin, Gil'f. 25)
- (30) Ty pochodiš' nun' guljaj da po vsim uličkam
 - (31) I po tym že ty po mel'kim pereuločkam.
 - (32) Tol'ko ne chodi k sukinoj Marinuški,
 - (33) K toj Marinuški Kajdalovnoj.

(31) und (33), vielmehr um die sinnbezogene Unabhängigkeit der Zeilen, die das entsprechende Bezugsglied enthalten.

Verwandte Beispiele einer Lockerung vom Typ II. lassen sich gleichermaßen in großer Zahl nachweisen. Es sind dies Fälle, vgl. (34) bis (40), die man mit dem Terminus Extraposition charakterisieren kann:

- (Kalinin Gil'f. 28)
- (34) Moloda Avdot'ja da Ivanovna,
 - (35) Povernulas' tut ona bylo sorokoju.
- (Rjabinin Gil'f. 505)
- (36) Tichija Dunajuško Ivanovič,
 - (37) Molodoj Vasilej Kazimirov,
 - (38) Kak prošli oni v polaty belokamenny.
 - (39) Tichomu Dunajušku Ivanoviču,
 - (40) Podnosil k nemu čaru zelena vina.

ein Satzglied wird über die linke Satzgrenze hinaustransportiert, im Satz selbst wird ein pronominaler Vertreter zurückgelassen, vgl. die unterstrichenen Elemente in (35), (38) und (40).

Welcher Schluß ergibt sich aus der Masse dieser Fälle für die Frage nach der Ebene, auf der die Zeile ihr eigentliches Wesen hat? Die Quelle ist für all diese Erscheinungen (Extraposition, Apposition, Modifikation, Präpositionalphrasen verschiedenster Provenienz) sicher nicht die gleiche. Selbst wenn auf der Ebene der Tiefenstruktur oder der semantischen Repräsentation bereits Markierungen anzusetzen sind, die die entsprechenden Prozesse auslösen, so sind sie doch von grundsätzlich verschiedener Natur. Ein Umstand jedoch ist allen Konstruktionen der hier genannten Art gemeinsam, und das ist eine Erscheinung auf dem prosodischen Sektor: Sie sind von ihrer Umgebung durch prosodisch relevante Grenzen getrennt, sie sind, um den Terminus von Peškovskij 1914 zu verwenden, isolierte Satzglieder (obosoblennye členy predloženiĵa).

Wenn nun von einer Folge zweier Ketten a b die eine ein solchermaßen isoliertes Element darstellt (*a* b oder a *b*), dann ist, prosodisch gesehen, auch die jeweils andere Kette isoliert: *a*b*. Daraus könnte man den Schluß ziehen, die Bylinenzeile stellt eine prosodische Einheit dar, ihr Zustandekommen ist prosodisch motiviert, ihre linguistische Struktur sei nicht so sehr intern bestimmt, d.h. durch ihren Inhalt, sondern durch die ihren Inhalt umgebenden Grenzen. In gewissem Sinne könnte man ein solches Ergebnis bereits im Vostokova's Aussage angelegt finden: v každyĵ stiche polnyĵ smysl zaključaetsja.

Daß jede Bylinenzeile eine prosodische Einheit darstellt, erscheint nicht überraschend; es ergibt sich ja bereits aus der Aufführungspraxis. Fällt aber tatsächlich die Zeilengrenze in jedem Fall mit der Stelle zusammen, wo das linguistische Modell eine prosodisch relevante Grenze voraussagt, spielt infolgedessen der Regelmechanismus der Grammatik, der eine linguistische Kette in Phrasierungseinheiten zerteilt, eine fundamentale Rolle bei der Entstehung der Bylinenzeile? Aus mehreren Gründen scheint diese Vorstellung den beobachtbaren Verhältnissen nicht ganz adäquat, scheint auch dieser linguistische Mechanismus den Kern der Sache, der Bylinenproduktion, nicht hundertprozentig zu treffen. Eine kurze Charakteristik dieser Probleme und der Ansatz einer Lösung bilden den Inhalt des folgenden Abschnitts.

4. Die mündliche Perspektive

Nachdem die Suche nach einer direkten Entsprechung zwischen einer Bylinenzeile und einer Einheit der syntaktischen Ebene des Grammatikmodells ergebnislos verlaufen war (§2.), wurde eine Reihe weiterer Entsprechungsmöglichkeiten untersucht. Alle drei Möglichkeiten erweisen sich in in gewissem Umfang als anwendbar: Die Aufzählung der syntaktischen Bestandteile (im Sinne einer 'analysis improprie') deckt, so bei Arant 1967, eine große Zahl von Grundmustern auf. Das Vertreterprinzip, nach dem nur ein Teil der Zeile die konstituierende Last trägt, spielt für die Bylinenzeile in statistisch großem Umfang eine Rolle. Kuryłowicz 1975 untersucht in diesem Zusammenhang die Rolle der starren, zum Teil von der Umgangssprache abweichenden Betonungsmuster vom Typ *molodý ženy* (umgangssprachlich wäre nur *mólogy ženy* möglich, 1975, 148). Der Effekt dieser erstarrten Wortfügung am Zeilenende besteht in der Verstärkung der Grenze zwischen den Zeilen. "Die innere Kohäsion des Verses und seine relative Autonomie gegenüber den benachbarten Verszeilen wird durch die Verstärkung der Fugen erzielt, die Nachbarwörter des Verses miteinander verbinden (1975, 152)". Hier tritt die Wirkungsweise des Vertreterprinzips besonders anschaulich zutage: Die erstarrte Fügung zertrennt in erster Linie die Verbindung zur nächsten Verszeile; und erst dann, in zweiter Linie, kann die Kohäsion der eigentlichen Verszeile, d.h. der, die die Fügung am Ende enthält, entstehen.

Eine ähnliche Funktion wird übrigens von R. Jakobson dem daktylischen Zeilenausgang zugemessen: "The dactylic ending interrupts the trochaic beat of the verse and thereby makes the transition from one line to the next more noticeable (1966, 436)".

Nicht alle Zeilen enden daktylisch oder mit einer erstarrten Fügung. Als nächste Möglichkeit wurde der Einsatz einer linguistischen Ebene erprobt (§3.c), auf der alle genannten Faktoren zu einer einheitlichen Struktur verarbeitet werden: die prosodische Ebene, wo Faktoren aus allen Ebenen des Grammatikmodells zu Phrasierungseinheiten verarbeitet werden (vgl. Bierwisch 1966). Der Nachteil dieser Lösung, obwohl sie sicher ein Optimum an Entsprechungen in statistischer Hinsicht erreicht, liegt darin, daß die linguistische Seite dieser Ebene (wenn es überhaupt eine solche ist) bislang wenig geklärt

erscheint. Verfolgt man dennoch diesen Ansatz bei der Erforschung der Bylinenzeile weiter, so könnte man zu einer Art Rollentausch hinsichtlich von explicandum und explicans kommen: Nicht der Linguist hilft mit seinen Strukturen, eine gattungsmäßig vorgegebene Einheit zu klären, sondern die Besonderheiten dieser Einheit, in diesem Fall der Bylinenzeile, helfen, eine bestimmte linguistische Struktur zu beleuchten.

Bevor die Äquatheit der Entsprechungsformel Bylinenzeile = Phrasierungseinheit überprüft wird - eine kurze Bemerkung zur Statistik. Wie kann man mit dem kleinen Rest von Fällen fertig werden, die sich in keines der postulierten Entsprechungsschemata einfügen? Mit einer kleinen Zahl von Abweichungen muß man wahrscheinlich in jedem metrischen System rechnen, besonders bei mündlicher ad - hoc Produktion, wo keine Möglichkeit einer nachträglichen Verbesserung gegeben ist. So zählt etwa Topić 1976 beim desaterac immerhin 6,9 % an Zeilen, die nicht genau 10 Silben enthalten. Einschneidender sind solche Zahlen bei Merkmalen, die sich nicht auf den Inhalt einer Zeile beschränken, sondern auf das Verhältnis zwischen zwei Zeilen Bezug nehmen. Das ist zum Beispiel der Fall bei dem Merkmal Enjambement. Lord 1965 zählt die Verse, die keinen vollständigen Gedanken abschließen (das ist sein definiens für notwendiges Enjambement) und kommt zu dem Ergebnis: "Von 2400 Versen...zeigten...nur 14,9 % notwendiges Enjambement (1965, 89)". Wenn eine Zeile keinen vollständigen Gedanken enthält, dann kann eigentlich auch die nächste Zeile keinen vollständigen Gedanken enthalten. Es besteht also die Möglichkeit, daß die gefundene Zahl verdoppelt werden muß, und dann handelt es sich schon nicht um einen Rest.

Das hier von statistischer Seite aus angesprochene Problem ist identisch mit dem Problem, das die ganze bisherige Untersuchung durchzieht: Die linguistischen Einheiten, ganz gleich welcher Ebene, sind so angelegt, daß sie auf andere Einheiten angewiesen sind. Sie erfüllen ihre Funktion nicht allein, sie entfalten ihr Wesen nicht in der Isolation, sondern in ihren Verbindungsmöglichkeiten und -Notwendigkeiten zu anderen Einheiten. Das wäre nun eigentlich noch nicht problematisch; warum soll nicht auch eine Einheit dieser Art eine Bylinenzeile bilden? In der Tat bilden ja diese Entsprechungen auch den Normalfall. Was problematisch ist und auch bei der Phrasierungsebene problematisch bleibt, ist der Umstand, daß das Ver-

hältnis zu den Nachbarzeilen nicht einheitlich bestimmt werden kann, weil es eben nicht einheitlich ist. Zum Wesen einer jeden linguistischen Einheit gehört die Verbindung zu anderen; wenn eine dieser Einheiten oder eine Klasse von Einheiten einheitlich oder mit statistisch hoher Wahrscheinlichkeit der Zeile entsprechen soll, dann müßte auch allen Zeilen ein identisches Verhältnis zu den anderen, benachbarten Zeilen eigen sein. Bei den Einheiten der semantischen oder der syntaktischen Ebene ist das nicht möglich. Bei den Einheiten der prosodischen Ebene ist das Verhältnis auf einen Parameter reduziert, den der Isoliertheit. Trotz des statistischen Maximums an Entsprechungen hat diese Analyse einen gewissen Nachteil. Bestimmte Eigenschaften des Zustandekommens von Phrasierungseinheiten, so wie sie bisher im linguistischen Modell vorgesehen werden, scheinen dem Zustandekommen von Bylinenzeilen nicht zu entsprechen.

Zu den Besonderheiten des Zustandekommens von Phrasierungseinheiten, wie es linguistischerseits von Daneš 1957, Bierwisch 1966 und Downing 1970 beschrieben wird, gehört die Beteiligung und Einflußnahme von Faktoren verschiedener linguistischer Ebenen. Das entspricht unserer Beobachtung, daß Bylinenzeilen von Appositionen, Extrapositionen usw. gebildet werden. Unabhängig von dieser heterogenen Motivation beruht der Prozeß der Phrasierung darauf, daß die ganze Kette den Input bildet, und ebenfalls die ganze Kette, nun aber zerlegt in Phrasierungseinheiten, den Output. Diese Zerlegung muß nicht mit der syntaktischen Gliederung (im Sinne einer analysis proper) übereinstimmen, was wiederum voll und ganz mit dem Wesen der Bylinenzelle übereinstimmt. Was nicht dem Wesen der Bylinenzelle zu entsprechen scheint, das ist der Umstand des Zustandekommens aufgrund einer Entscheidung, deren Grundlage die vollständige Satzreihe ohne ihre Zergliederung in Zeilen oder Phrasierungseinheiten darstellt. Wenn der Phrasierungsmechanismus anfängt, ist die syntaktische und morphologische Ableitung abgeschlossen; wenn die Zeile produziert wird, ist die exakte Gestalt der linguistischen Gesamtstruktur noch nicht festgelegt bzw. wird nicht berücksichtigt. Auf welche Beobachtungen stützt sich diese Hypothese?

Die zuletzt angeführte Beispielgruppe war dadurch ausgezeichnet, daß die eine Zeile von einer Konstituente eingenommen wurde, die in der benachbarten pronominal oder durch ein autonom referenzfähiges Nomen vertreten ist. Weil es in der Grammatik Regeln gibt, die genau diesen Effekt haben, z.B. Extraposition und Apposition, liegt es nahe, diese Regeln auch bei der Modellierung des Prozesses heranzuziehen, der zur Genese, zur Produktion von Bylinenzeilen führt. Der von den grammatischen Regeln beeinflusste Blick neigt dazu, sich auf die Fälle zu beschränken, die mit diesen Regeln in einen einfachen Zusammenhang gebracht werden können. Der Fall, daß Elemente in jeweils benachbarten Zeilen auftauchen, ist aber noch sehr viel weiter verbreitet; vgl. die Fälle (41) - (42) bzw. (43) - (44).

- (Rjabinin
Gil'f. 505) (41) A priechali oni na širok na dvor
 (42) Ko tom li ony k Korolju Litovskomu.
(Rjabinin
Gil'f. 506) (43) V čest' ja Opraksiju da Korolevičnu
 (44) Da vozmu - to ja za Knjazja za Vladymira.

Das doppelte Auftauchen des Personalpronomens ja bzw. oni kann nicht durch das Inkrafttreten eines grammatische Regelmechanismus erklärt werden; es ist zu erklären durch den teilweisen Verlust des Überblicks über die Gesamtstruktur und das Streben, die Zeile autonom, möglichst vollständig zu machen, ohne Rücksicht auf den Inhalt der anderen Zeile.

Die Zahl dieser Fälle wächst sehr rasch an, wenn man im Sinne des obigen Erklärungsversuchs nicht nur nach doppeltem Auftauchen identischer Element sucht, sondern nach vergleichbaren, ähnlichen, die die Abhängigkeit von Elementen aus der benachbarten Zeile schwächen. Das nächste Beispiel (45) - (47) enthält die Wieder-

- (Kalinin
Gil'f. 22) (45) A ne smel že echat' v suprotivnosti
 (46) A protiv bylo pogannago tatarina,
 (47) A protiv Idolišča velikago.

aufnahme eines verbalen Elements protiv bylo, dazu noch mit der Betonung des vorausgehenden Nomens suprotivnost. Das Motiv der so bewerkstelligten Autonomisierung wird noch deutlicher in (48) - (50),

- (Kalinin
Gil'f. 22) (48) Ubojalsja naš Vladimir stol'ne - Kievskoj
 (49) Čto - 1' tatarina da on bylo pogannago
 (50) Čto - 1' Idolišča da on bylo velikago.

wo durch eigene Satzkonjunktionen ĉto - 1' eine Struktur selbständig gemacht wird, die im Normalfall ein abhängiges Akkusativobjekt wäre: Ubojalsja naŝ Vladimir tatarina pogannogo.

Diese Art der Zeilenkonstituierung mit dem offensichtlichen Motiv der Autonomisierung basiert, wie die Beispiele zeigen, zum Teil auf Techniken, die nicht dem legitimen Kanon grammatischer Mittel entsprechen. Sie gehören jedoch zum festen Bestand der traditionellen Bylinenpraxis und müssen bei deren Modellierung berücksichtigt werden. Ihre Aussagekraft ist nicht dadurch zu schmälern, daß man sie mit einem Etikett (z.B. Füllsel oder dgl.) versieht und aus der linguistischen Erörterung ausklammert, nur weil hier keine entsprechende Kategorie vorliegt; unzulässig auch das Verfahren mancher Aufzeichner, diese Elemente einfach auszulassen - vgl. Rybnikov. Welchen Schluß lassen nun diese Beobachtungen zu, wenn man sie im Zusammenhang mit den zunächst postulierten Phrasierungseinheiten betrachtet?

Die Bylinenzeile hat mit diesen gemein, daß für beider Zustandekommen Faktoren heterogener Art, d.h. Faktoren aus verschiedenen Ebenen der Grammatik ihren Beitrag leisten. Die weiteren Beobachtungen geben Anlaß für eine weiterreichende Hypothese: daß die Bylinenzeile aus einer Perspektive heraus entsteht, für die die Trennung der Ebenen irrelevant ist.

Zunächst zum Begriff der Perspektive, da hier der Unterschied zur Phrasierungseinheit offenkundig ist. Diese letztere entsteht aufgrund von Regeln, die die Gesamtstruktur überblicken, den Inhalt der einen wie der anderen Phrasierungseinheit kennen und zu mehreren Ebenen dieses Inhalts Zugang haben. Erst aufgrund dieser ebenenübergreifenden Perspektive ist die Genese der grammatisch akzeptablen Untergliederung möglich. Erst aufgrund dieses Überblicks ist die Entscheidung möglich, ob ein Element noch zur einen oder bereits zur anderen Phrasierungseinheit gehören muß.

Gerade die zuletzt analysierten Zeilen zeigen, daß diese übergeordnete Perspektive nicht zu den konstituierenden Kräften dieser Einheit gehört. Das darf nicht so verstanden werden, als ob jede Art von struktureller Verbindung zwischen den Zeilen abgerissen wäre; es gibt selbstverständlich Kongruenz, Reaktionsbeziehungen usw. Für die Komplettierung und Gestaltung einer Zeile, für ihre gesuchte

Struktur, für die Summe der Faktoren, die eine Kette zur Bylinenzeile machen, sind diese Beziehungen jedoch irrelevant. Diese Struktur erfüllt sich innerhalb des Rahmens einer Zeile, sie betrifft nur den Inhalt jeweils einer Zeile, jedoch nicht den Inhalt im Sinne der Opposition Form - Inhalt, d.h. den Inhalt als eine der Ebenen der sprachlichen Kette, sondern den Inhalt in seiner Gesamtheit, ohne Zerlegung im Sinne einer linguistischen Operation.

Diese These von der globalen, nicht auf Ebenentrennung basierenden Perspektive wird zunächst einige Anforderungen an unsere Vorstellungsfähigkeit stellen. Für uns ist die Einflußnahme, die Gestaltung, ja überhaupt jede Art von Zugang zu sprachlichem Material automatisch mit der Ebenentrennung verbunden: entweder sprechen wir vom Inhalt, oder von der Lautgestalt, oder von der schriftlichen Form. Die Perspektive, wie sie der Bylinenproduktion zugrundeliegt, nenne ich die mündliche Perspektive, und ich berufe mich dabei auf den Ansatz von Baudouin de Courtenay 1915, die Einstellung von Schriftkundigen und Nichtschriftkundigen gegenüber sprachlichen Äußerungen zu differenzieren: "Jak sobie objektywizuje swe myślenia językowe człowiek niepiśmienny, my, ludzi piśmienni, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić(1915,209)".

Als Beweisgrundlage für die postulierte mündliche Perspektive wird eine Reihe von heterogenen Einzelbeobachtungen heranzuziehen sein. Dabei kommt besonderer Aussagewert einer Klasse von Fällen zu, die man unter dem Begriff Parallelismus subsumiert. In wieweit kann die Analyse dieses für die mündliche Epenproduktion zentralen Phänomens (vgl. Jakobson 1966a) Licht auf die Eigenart der dieser Produktion zugrundeliegenden Perspektive werfen?

Parallelismus ist definiert als die Rekurrenz von Ähnlichem; im sprachlichen Bereich also als die Folge von Ketten mit einer Menge gleicher Merkmale. Wenn man das Grammatikmodell betrachtet, so zeigt sich, daß dort durchaus Mechanismen vorhanden sind, die eine Struktur mit Parallelismus herstellen; es sind dies Regeln, die man unter dem Begriff Koordination zusammenfaßt. Dabei treten komplexe Bedingungen zutage, etwa die, daß die parallelen Ketten nicht zu verschiedenen und nicht zu ähnlich sein dürfen (vgl. Lang 1977). Es ist klar, daß diese und ähnliche Bedingungen nur dann befolgt werden können, wenn beide Ketten miteinander verglichen werden können, d.h.

wenn eine übergeordnete Perspektive vorhanden ist. Wie verhalten sich nun zwei aufeinanderfolgende Bylinenzeilen, die zueinander im Verhältnis der Parallelität stehen, zu diesem kritischen Punkt? Die These von der mündlichen Perspektive sagt gerade das Gegenteil voraus von dem, was die linguistische Hypothese vom Parallelismus postuliert.

Der Grundtyp von Parallelismus liegt vor im Zeilenpaar (51)-(52); dieses und die folgenden Beispiele (53) bis (71) entstammen der Byline Svjatogor von Jakušov, zitiert nach Sokolov 1948,70-73.

(51) Udaril tut ego plotno-naplotno,

(52) Udaril tut ego krepko-nakrepko.

Betrachtet man dieses Zeilenpaar unter dem Blickwinkel der grammatischen Koordination, so fallen zwei Dinge auf: Zum einen liegt keine Reduktion vor, d.h. die Tilgung der identisch wiederkehrenden Elemente ist ausgeblieben; vgl. etwa das gleiche Beispiel mit Konjunktionsreduktion: udaril tut ego plotno i krepko. Was die Konjunkte betrifft, so sind sie vollständig synonym, und es erhebt sich die Frage, ob das rekonstruierte Beispiel überhaupt akzeptabel ist, ob nicht die Einfügung der Konjunktion und eine Interpretationsoperation über den beiden Konjunkten auslöst, die im Originalbeispiel nicht angelegt ist und auch wegen semantischer Nichtdistinktivität (Terminus von Lang 1977,90) nicht möglich ist. Dieses Problem betrifft auch alle folgenden Beispiele; uns soll jedoch nicht so sehr die semantische Seite des Phänomens interessieren, vielmehr die Konsequenzen der Koordination auf der formalen Seite.

Das Paar (51)-(52) ist vollkommen parallel konstruiert, d.h. die vergleichbaren Elemente befinden sich an vergleichbaren Stellen. Dies ist jedoch die Ausnahme; in den zahlreichen anderen Parallelismen dieser Byline finden sich Unregelmäßigkeiten. In (53)-(54) ist das Abgehen vom konsequenten Parallelismus, ...čudo ne... vs. ...on ... , inhaltlich motiviert; in den übrigen Fällen lassen sich für

(53) Nazad-to ved' čudo ne ogljanetsy,

(54) Vpered-to ved' on kolybaetsi.

die Abweichungen keine Gründe finden. In allen drei Paaren (55)-(60)

(55) Takogo čuda èn da ved' ne vidal,

(56) Takogo vid' čuda on ne slychal.

(57) Na bõè mi smert' da ne pisana,

(58) Kak na bõè da ne skazana.

(59) Ležit-to grob da ved' kamennyj,

(60) Ležit-to ved' grob da ustroen-to.

wäre es ein leichtes, durch geringfügige Eingriffe einen vollständigen, konsequenten Parallelismus herzustellen. Bei der dreimaligen fast wörtlichen Wiederholungsfigur (61)-(62) könnte das rhythmische Muster dazu zwingen, der zweiten Zeile die Gestalt (62') zu geben;

(61) Udaril on tretij raz obruc' zeleznyi,

(62) Tretij raz da stal obruc' zeleznyej.

(62') Stal da tretij raz obruc' zeleznyej.

das Original zeigt, daß solche Angleichungen nicht gesucht werden, daß diese Kräfte beim Zeilenaufbau nicht wirksam werden. Die Auflösung des Parallelismus in der konsequenten, von der Grammatik vorgeschriebenen Gestalt kann sehr viel weitergehen; sie kann eine Art von Chiasmus erreichen (63)-(64). Es kann außer der Vergleich-

(63) Tvoego meča ne mogu ot zemli vložit',

(64) Ot zemli podnjat' ne mogu teper'.

barkeit der Position auch die Vergleichbarkeit der Wörter in Mitleidenschaft geraten, entweder teilweise wie in (65)-(66), oder

(65) A net, tak nun' ne ustroen grob,

(66) Mne teper' ètot da ne laden grob.

(67) Teper'-to u mnja sila ne po staromu,

(68) Mogutâ stala da ne prežnjaja.

gänzlich wie in (67)-(68), so daß im letzteren Beispiel zwar in beiden Zeilen von der gleichen Sache die Rede ist, von einer Parallelisierungstendenz keine Spur mehr zu entdecken ist.

Diese Beobachtungen stellen eine zusätzliche Stützung dar für die Hypothese von der Wirksamkeit der mündlichen Perspektive: Alle Operationen linguistischer Art, die über den Rahmen einer Zeile hinausgehen, sind in ihrer Wirksamkeit abgeschwächt oder gar außer Kraft gesetzt. Es gibt keine Abstraktionsebene, auf der eine Zeile isoliert betrachtet wird, so daß diese dann mit anderen Zeilen vergleichbar würde. Das Bylinensingen ist somit modellierbar als eine sukzessive Produktion von Einzelzeilen, deren Inhalt als integrales Ganzes, die Summe aller linguistischen Merkmale undifferenziert Umfassendes gestaltet wird.

5. Konsequenzen für die linguistische Modellbildung.

Die besonderen Merkmale der Bylinenzeile erschöpfen sich nicht in Besonderheiten der Gliederung des sprachlichen Materials. Die unverwechselbare und für die Gattung spezifische Gestalt jeder Zeile be-

ruht auf ihrer Unabhängigkeit von der Umgebung; sie wird ad hoc, im Augenblick der Aufführung zusammengestellt, ohne Berücksichtigung der genauen Zusammensetzung der umgebenden Zeilen. Voraussetzung für diese spezifische Art der Äußerungsproduktion ist eine bestimmte Einstellung gegenüber dem sprachlichen Material, die ich mit dem Terminus mündliche Perspektive bezeichnet habe. Linguistischerseits ist diese Perspektive ausgezeichnet dadurch, daß dem Material gegenüber ein globaler, nicht auf Ebenentrennung basierender Zugriff möglich ist. Wichtigste Indizien für das Fehlen einer auf Ebenentrennung basierenden Perspektive ist einerseits die Autonomisierung der Zeile durch grammatische Elemente als Vertreter für Konstituenten, die außerhalb der Zeile liegen, andererseits eine Sonderform des Parallelismus, der nicht auf einem simultanen Blick auf beide Ketten, die parallel aufgebaut sind, beruht.

Es läßt sich noch eine Reihe weiterer Beobachtungen anführen, die Besonderheiten der Aufführungspraxis betreffen und ebenfalls als Evidenz für die Hypothese von der mündlichen Perspektive zu werten sind. Wichtig ist vor allem das Verhältnis zwischen tonischen und syllabotonischen Zeilen, da letztere ja auf einem Prinzip der Ebenentrennung beruhen, indem die Ebene der Silbenstruktur im Fokus metrischer Gestaltung liegt. Ein Schwanken zwischen beiden Prinzipien und einen entsprechenden Kommentar von seiten des Sängers kennen wir von Rjabinin. Er sang die Byline Dunaj für Gil'ferding in Kiži nach dem tonischen Prinzip. Als er ihm später in Petersburg die gleiche Byline nochmals vorsang, gab er ihr, durch Einfügung von Partikeln, trochäisches Versmaß. Nach den Gründen befragt, sagte er, daß er aus Ermüdung nicht den richtigen Bylinenklang treffen kann ("ne možet popast' v nastojaščij golos byliny"), daß sie für ihn zu schwierig sei und daß er deshalb ihren Aufbau durch einen leichteren ersetzt habe ("i potomu peremenil ee sklad na bolee legkij (Gil'ferding 1873,502)". Im Sinne unserer Hypothese kann man sagen, daß das ebenentrennende Prinzip vom Sänger als für die Byline unadäquat angesehen wird.

Aussagekräftig im Sinne dieser Hypothese ist auch der vielfach beobachtete Zusammenhang zwischen dem Niedergang der Bylinentradition und dem Vordringen der gramotnost'. Auch die Schreibkunst beruht auf dem Prinzip der Ebenentrennung, und der Erwerb dieser Fähigkeit ist mit der mündlichen Perspektive unvereinbar. Sehr deutlich tritt dieser Zusammenhang zutage in der Analyse von Schmaus

1971. Er schreibt: " ... en réalisant l'idée du texte imprimé, l'attitude du 'diseur' envers le texte se modifie radicalement. Le chant épique figure dans la conscience du 'diseur' comme une entité intégrale de paroles et de mélodie; cette unité commence à se dissoudre. Maintenant, le texte est fixé, immuable; par cela même il demande à être appris et retenu d'une façon plus mécanique (1971,375)".

Kehren wir mit diesem Ergebnis zu unserer Ausgangsfrage zurück: Was ist die linguistische Struktur der Bylinenzeile? Diese Frage scheint zunächst eine negative Beantwortung zu finden; es gibt keine einfache oder komplexe Kategorie, zu der alle Grundeinheiten dieser Gattung gehören. Dieses Ergebnis wird in dieser Form gültig bleiben, solange linguistische Kategorien oder Strukturen ausschließlich auf dem Wege der Ebenentrennung gewonnen werden. Angesichts der Tatsache, daß die hinter dem Bylinensingen wirksame Perspektive eine Operation mit sprachlichem Material zu sein scheint, scheint die Frage an die Linguistik berechtigt, ob sie zurecht die Ebenentrennung als einzige Beschreibungsgrundlage heranzieht. Welche Konsequenzen müßte eine linguistische Modellbildung auf sich nehmen, wenn sie eine Prozedur wie die Bylinenproduktion mit in den Bereich der Abbildung aufnehmen wollte?

Die Ebenentrennung ist in jedem Fall eine nützliche Methode und muß als solche ihren rechtmäßigen Platz beibehalten. Das gilt auch für den Bereich des Sprachkunstwerkes, dessen dynamische Form sich gerade durch diese Trennung aufzeigen läßt, wie dies etwa Tynjanov macht: "Ne vse faktory slôva ravnocenny i dinamičeskaja forma obrazuetsja ne soedineniem, ne ich slijaniem (...), a ich vzaimodejstviem i, stalo byt', vydviganiem odnoj gruppy faktorov za sčet drugoj. Pri étom vydvinyutyj faktor deformiruet podčinennye (1965,28)". Ist dieses Deformierungskonzept bei der Byline außer Kraft gesetzt, da doch das Prinzip der mündlichen Perspektive gerade darin besteht, daß alle Faktoren des Wortes, sein Inhalt, seine morphologische Struktur, seine Lautgestalt und seine Silbenstruktur eine unauflösbare Einheit bilden?

Die Bylinenproduktion zeigt deutlich ein eigenständiges Deformierungsverhalten, es zeigt, daß das dabei zutagetretende Zusammenspiel der Faktoren nicht immer dasselbe sein muß, daß die durch das linguistische Modell, durch die linguistische Abstraktion nahegelegte Faktorenabgrenzung nicht allgemeingültig ist. Das Deformati-

onsprinzip der Byline beruht auf der Entfaltung dessen, was in den Rahmen einer Zeile paßt, und der Unterdrückung all. dessen, was sich in ihrer Umgebung befindet. Sobald die Zeile abgeschlossen ist und die nächste Zeile in den Zustand der Dominanz gerät, unterliegt deren Umgebung und damit auch die erstere Zeile der Deformation, der Nichtberücksichtigung. Zur Illustration die folgende Szene aus Svjatogor; bei der Produktion der zweiten Zeile die Beine begannen

(69) Stal-to kon' u togo u Svjatógora,

(70) Nogi-to stali ved' podgibatisja,

(71) Za kažnoe ved' stal potykatisja.

einzuknicken ist zwar wichtig zu erfahren, daß es die Beine des Pferdes sind, das Svjatogor trägt und daß dieser wiederum den Ilja Muromec in der Tasche trägt; doch all diese Umstände erfahren keinerlei expliziten Ausdruck, obwohl die Zeile davor in einer Weise angelegt ist, die dem Ausdruck dieses Sachverhalts angemessen ist, wenn man diese nur konsequent weiterführen würde. Ein gleiches gilt für die dritte Zeile, die zwar zum Teil mit der vorhergehenden parallel aufgebaut ist. Der Parallelismus ist jedoch nicht konsequent, stal ved' gegenüber ved' stal; außerdem ist das Subjekt ein anderes, es wird das aus der ersten Zeile wieder aufgegriffen; das Bezugswort von kažnoe fehlt hier und in der ganzen Passage, es taucht jedoch in der Rede des Pferdes auf, in der diese ganze Passage in ähnlicher Form wiedererscheint: za kažinnoe mesto.

Der Bylinensänger reiht die Einheiten aneinander und benutzt die Elemente der Textkohärenz gemäß dem eigenwilligen Destruktionsprinzip, nicht nach Grundsätzen, wie sie als grammatische Konsequenz einer kontinuierlichen Kommunikation entspringen würden. Es ist klar, daß für ein solches Verfahren Vorsicht geboten ist beim Einsatz literaturwissenschaftlicher Terminologie, die an einem anderen poetischen Verfahren mit Ebenentrennung entwickelt wurde. Es hat keinen Sinn, hier von Enjambement zu sprechen, da die Voraussetzung dafür, die Trennung von Sinnebene und Silbenebene, nicht gegeben ist. Ebenso ist es sinnlos, von Chiasmus zu sprechen, etwa bei (72)-(73), weil die beide Zeilen übergreifende Perspektive fehlt.

Kalinin, (72) On ne ezdit' nun' na matušku syru zemlju,
Gil'f.7. (73) K nam bogatyrjam da on ne javitsja.

Die linguistische Modellbildung darf die Fortschritte, wie sie aus der konsequenten Anwendung der Ebenentrennung resultieren, auf keinen Fall aufgeben. Man darf aber nicht grundsätzlich die Mög-

lichkeit ausschließen, daß das Verhalten eines Sprechers diese Trennung nicht oder anders realisiert, und daß Eigenheiten dieses Verhaltens in diesem Fall nicht minder einen legitimen Beschreibungsgegenstand der Linguistik darstellen. Dem ist von seiten der Linguistik noch am ehesten bei Phänomenen der prosodischen Gliederung Rechnung getragen worden. Die Analyse der Bylinenzeile zeigt, daß ebenenübergreifende Prozesse auch außerhalb der Phrasierungsmechanismen und unabhängig von der Prosodie möglich sind und beschreibbar gemacht werden müssen.

Literatur:

- Abrahams R.D., 1977: Review of: Oral Literature and the Formula. Ed. by B.A. Stolz et al. 1976, in *Language* 53,960-963.
- Arant P., 1967: Formulaic style and the Russian bylina. *Indiana Slavic Studies* 4,7-51.
- Bailey J., 1973: The epic meters of T.G.Rjabinin as collected by A.F.Gil'ferding. *American Contributions to the Seventh Congress of Slavists. Vol. I*, ed. by L.Matejka, The Hague,9-32.
- Baudouin de Courtenay J., 1915: Charakterystyka psychologiczna języka polskiego. *Język polski, jego historia*, Kraków.
- Bierwisch M., 1966: Regeln für die Intonation deutscher Sätze. *Studia grammatica* 7,99-201.
- Daneš F., 1957: *Intonace a věta ve spisovně češtině*. Praha.
- Downing B., 1970: *Syntactic structure and phonological phrasing in English*. The University of Texas at Austin, Ph.D.
- Finnegan R., 1977: *Oral poetry. Its nature, significance and social context*. Cambridge.
- Gil'ferding siehe unter Onežskie ...
- Harkins W., 1963: O metričeskoj roli slovesnych formul v serbochorvatskom i russkom narodnom épose. *American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists II*, The Hague,147-165.
- Jakobson R., 1966: *Slavic epic verse. Selected Writings*, The Hague, 414-463.
- 1966a: Grammatical parallelism and its Russian facet. *Language* 42,398-429.
- Kuryłowicz J., 1975: Bemerkungen zur Metrik der russischen Byline. *Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm*. Wien,145-152.
- Lang E., 1977: *Semantik der koordinativen Verknüpfung*. *Studia grammatica* 14, Berlin.

- Lord A.B., 1948: Homer and Huso III: Enjambement in Greek and South-slavic heroic song. TPAPHA 79,113-124.
- 1965: Der Sänger erzählt. München.
- Onežskie byliny zapisannye A.F.Gil'ferdingom. SPb. 1873.
- Peškovskij A.M., 1914: Russkij sintaksis v naučnom osveščeni. Moskva.
- Schmaus A., 1971: La byline russe et son état actuel. Gesammelte slavistische und balkanologische Abhandlungen I, München,368-379.
- Sokolov Ju.M., 1948: Onežskie byliny. Moskva.
- Topić M., 1976: Izosilabizam u srpskohrvatskim desaterackim pesama. Anali filološkog fakulteta 12, Beograd,511-539.
- Trautmann R., 1935: Die Volksdichtung der Großrussen I. Heidelberg.
- Tynjanov Ju., 1965: Problema stichotvornogo jazyka. Moskva.
- Uchov P.D., 1957: Tipičeskie mesta (loci communes) kak sredstvo pasportizacii bylin. Russkij fol'klor II,130-152.
- Vostokov A.Ch., 1817: Opyt o russkom stichsloženi. SPb.

Thomas LAHUSEN (Lausanne)

ALLOCUTION ET SOCIÉTÉ DANS UN ROMAN POLONAIS DU XIX^e SIÈCLE.
ESSAI DE SEMIOLOGIE HISTORIQUE.

L'étude des formes d'allocution est un domaine déjà traditionnel de la sociolinguistique. Nous nous sommes proposé dans ce travail d'élargir le cadre théorique ainsi que le champ de cette étude par une approche sémiologique plus apte, selon nous, à envisager les multiples faces d'une réalité où les frontières entre langue et culture sont floues. Nous avons procédé, à cette occasion, à l'esquisse d'une théorie sémiologique de la pratique sociale et culturelle, théorie qui, d'après nous, ne peut exclure de son objet la dimension du *temps*. L'exclusion de l'histoire, d'aussi "courte durée" que celle-ci puisse être, au profit de la pure synchronie des systèmes symboliques ne mène, comme nous tenterons de le prouver, qu'à l'abstraction, à la réduction objectiviste et à la construction d'*artefacts*.

Le corpus qui forme la matière de notre analyse est constitué par un roman polonais de la deuxième moitié du XIX^e s. (*La Poupée*, de Bolesław Prus, paru la première fois en feuilleton dans le quotidien de Varsovie *Kurier Codzienny*, entre le 29 septembre 1887 et le 24 mai 1889). Représentation selon les mots de l'auteur "de nos idéalistes polonais sur le fond de la décomposition sociale", mise en scène de la faillite de deux idéologies dominantes de l'époque - celle du romantisme et celle du positivisme - dans le contexte de la domination russe, de l'épuisement des luttes de libération et des progrès de l'industrialisation et, partant, de la société capitaliste, le roman de Prus est un tableau qui se veut réaliste de la société varsoivienne de la fin des années 70 du XIX^e s. Que ce soit sur un plan particulier ou général - l'intérêt de l'historiographie polonaise pour *La Poupée*, et plus généralement des historiens ou d'autres "chercheurs de la culture" pour le grand roman réaliste en témoignent¹ - la source littéraire a sa place parmi les autres sources de l'histoire. Reste à savoir laquelle, et sur ce point les

réponses sont vagues.

Nous sommes loin de vouloir, et de pouvoir, apporter une solution au problème et on peut se demander s'il y en a une. Pourtant, le type d'analyse de la présente étude apporte, nous semble-t-il, des réponses à certaines des questions posées par la source littéraire, et ce sur deux plans, celui du contenu et celui de la méthode. Le contenu de l'analyse porte sur la description de type sémiologique d'une système symbolique dont la littérature, au sens large, est la seule source. La méthode concerne les modalités et les possibilités mêmes d'analyse de ce contenu: nous pensons notamment aux méthodes quantitatives.

Il est évident qu'un corpus aussi restreint que le nôtre ne peut prétendre fournir des réponses pertinentes à l'histoire et tel n'a pas été notre propos. Nous avons tout au plus voulu indiquer une direction possible de l'étude historique ou sociologique de la source littéraire, ainsi qu'une utilité probable de la sémiologie.

1. VERS UNE THEORIE SEMIOLOGIQUE DE LA PRATIQUE SOCIALE

La principale faiblesse du structuralisme, ou, en général, de l'objectivisme, réside dans le fait qu'il exclut dans son établissement des "structures objectives du monde" son propre processus de construction théorique, processus qui doit faire l'objet de la science au même titre que l'objet empirique étudié par cette dernière. D'où l'exigence, en d'autres termes, d'un mode de connaissance "praxéologique", connaissance qui inclut dans son objet ses propres conditions de possibilité et dont la théorie ne peut donc être autre qu'une *théorie de la pratique*.²

La sémiologie de L.J.Prieto³ qui a formé ici notre point de départ semble, à première vue, satisfaire à cette exigence, postulant que l'identité sous laquelle un sujet connaît un objet matériel est toujours liée à une pratique et démontrant que cette pratique est, dans le processus de la connaissance, déterminante au plein sens du mot car c'est elle qui est à l'origine de toute modification des "façons de connaître" par le fait qu'elle agit sur ces dernières.

Mais il s'avère qu'elle ne le fait, encore une fois, qu'en théorie. Trop proche, comme nous le verrons, des conceptions simplificatrices et réductrices du structuralisme, la sémiologie de Prieto finit par méconnaître malgré les apparences sa propre pratique scientifique (en postulant par exemple que la connaissance qu'est une

science de l'homme peut s'expliquer entièrement à partir de son objet). Or isoler cette pratique scientifique de l'ensemble des autres pratiques sociales et culturelles en lui conférant le statut idéal des "sciences de l'homme" qui reflèteraient leur objet "tel qu'il est" aboutit fatalement à réduire cet objet (le langage, en l'occurrence) à une existence abstraite.

Si nous avons pourtant suivi très étroitement la démarche priétienne dans l'élaboration de la théorie qui suivra, en gardant l'essentiel de sa méthodologie, il y a à cela plusieurs raisons. Fondée sur la logique des classes elle se pose en méthodologie rigoureuse, de type hypothético-déductif. Elle n'exige donc, de la part du "récepteur" qu'un minimum de connaissances initiales ou implicites et satisfait donc au critère important de compréhension. Quant à la critique qui s'oppose à une théorie dont l'acquis méthodologique reste la démarche rigoureuse et une certaine unité, elle peut profiter, pensons-nous, des mêmes avantages. Au-delà de cet acquis reste le paradoxe d'une théorie qui se défend explicitement de l'empirisme comme de l'idéalisme, inhérents pourtant, tous les deux, à sa propre pratique. En ceci, elle se situe à mi-chemin des deux modes de connaissance mentionnés ci-dessus: objectiviste, la théorie priétienne l'est dans les faits (dans l'objet qu'elle a construit, c'est-à-dire une théorie du langage et une sémiologie abstractionnistes), praxéologique elle l'est dans l'intention. Notre intention a été, entre autres, à situer le lieu exact du paradoxe. Nous commençons par une brève présentation de la théorie.

1.1. CONNAISSANCE ET STRUCTURE SEMIOTIQUE

Une des définitions les plus larges de l'"acte langagier" ou plus généralement, de l'"acte sémique" est sans doute celle d'acte cognitif dont les sujets sont l'émetteur et le récepteur, et l'objet commun le signal.⁴ Or ce qui fait que la connaissance qu'on a d'un objet est telle connaissance déterminée à l'exclusion de telle autre tient:

- (a) à la façon dont on connaît l'objet, c'est-à-dire à l'identité sous laquelle on le connaît, et
 - (b) à ce d'où résulte la pertinence de cette façon de le connaître.⁵
- Reconnaître une identité à un objet équivaut à reconnaître ce dernier comme membre d'une classe et, en même temps, comme non membre

d'au moins une autre classe. Toute connaissance suppose donc un système de classement dont les classes sont toujours en rapport logique d'exclusion entre elles et dont la somme logique est égale à l'univers du discours (U). Un tel système de classement forme une structure *oppositionnelle*.⁶

Les caractéristiques qui définissent les classes que comporte un système de classement comptant pour l'identité que l'on reconnaît aux objets qu'il concerne ne peuvent s'expliquer par ces mêmes caractéristiques. Celles-ci ne s'expliquent, en fait, que par le point de vue duquel on considère les objets en question, point de vue dont dépend la pertinence du système de classement. Or, le point de vue duquel on considère les classes d'objets d'un U est toujours déterminé par des rapports de réciprocité (pas nécessairement symétriques comme nous le verrons) qui unissent d'une part ces classes d'objets et de l'autre, des classes d'objets appartenant à un autre U. Une structure que caractérise un tel système de rapports est une *structure sémiotique*,⁷ et les rapports bi-universels s'établissant à l'intérieur de cette structure sont des *rapports de signification*. Toute connaissance implique donc nécessairement une structure sémiotique telle qu'elle est définie ci-dessus. De telles structures sémiotiques sont formées par les signifiants et les signifiés des langues ou, plus généralement, par les "opérants" et les "utilités" de tout acte instrumental.⁸

Concernant les systèmes de classement formant une structure sémiotique, il y a lieu de noter deux asymétries:

(1) dans les cas des codes linguistiques, les rapports de réciprocité entre U signifiant et U signifié ne sont pas symétriques. Si les signifiants forment toujours un système de classement unique, les signifiés peuvent former des systèmes multiples: les signifiés des sèmes (entités formées par le seul signifiant que le signal réalise avec le seul signifié que ce signal possède⁹) d'un code non linguistique - un code de signalisation par exemple - se trouvent pratiquement toujours en rapport logique d'exclusion entre eux. Ceux d'un code linguistique, en revanche, peuvent se trouver en rapport autre que la seule exclusion (inclusion et intersection). Ceci a des conséquences fondamentales sur l'économie du langage, qui fait qu'un émetteur peut adapter aux circonstances dans lesquelles l'acte sémiotique a lieu la quantité d'information qu'il fournit au moyen du signal.¹⁰

(2) une autre asymétrie provient du fait que les systèmes de classe-

ment formés par les signifiés supposent un autre système de classement, se référant au même U qu'eux (l'U signifié) auquel ils sont subordonnés et qui les précède logiquement, ce qui n'est pas le cas pour le système de classement unique formé par les signifiants. Ce système de classement peut être appelé *système d'intercompréhension* (SIC).¹¹ Dans la structure sémiotique sur laquelle se fonde un acte sémique, la connaissance des signaux à travers les signifiants suppose celle des sens à travers les signifiés. Or cette dernière connaissance ne suppose pas seulement la connaissance des signaux à travers les signifiants mais également celle des sens à travers les classes composant un SIC, système de classement auquel se réfère l'émetteur pour déterminer ce qu'il "veut dire" indépendamment du code employé. L'existence d'un SIC concerne donc les conditions mêmes de la communication qui suppose la coïncidence préalable entre ce que c'est que de "dire (ou de comprendre) la même chose pour un émetteur et un récepteur"¹² et il y a lieu de parler d'une "double nature du sens", celle linguistique, relative au code, et celle extra-linguistique, indépendante du code utilisé.

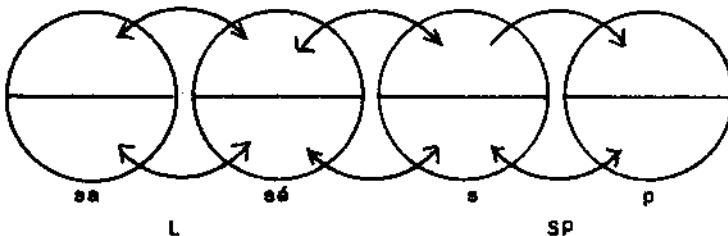
1.2. FONCTION ET PRATIQUE SOCIALE: LA PERTINENCE SOCIALE DU SENS

Au point de vue d'où résulte la pertinence d'une connaissance d'un objet correspond toujours une fonction "pratique" en ce sens que tout acte cognitif possède une fonction autre que celle de la seule connaissance. Ce point de vue, d'autre part, ne dépend jamais de l'objet (sans quoi la connaissance de cet objet serait fondée dans l'objet lui-même) mais se trouve imposé par le sujet qui l'apporte, sujet appartenant toujours à un groupe social, d'où le caractère également social de la pertinence.¹³ Nous en concluons - et en ceci nous ne suivons plus la théorie priétienne - que la structure sémiotique qu'est, par exemple, le langage ou tel et tel code, liée à la fonction, c'est -à-dire à la pratique *spécifique* qu'elle implique, à savoir la communication dont le but est la transmission des sens entre un émetteur et un récepteur, n'est qu'une structure dont la pertinence relève d'une autre structure sémiotique qui la précède logiquement et qui se trouve constituée par la connaissance déterminée par la pratique sociale du sujet, le terme de "social" étant pris ici dans le sens le plus large. Cette pratique n'est donc rien d'autre que ce qui détermine en fin de compte la connaissance qui fournit la pertinence aux

classes du système de classement auquel l'émetteur se remet pour déterminer ce qu'il "veut dire": aux classes du SIC. C'est elle qui définit en dernière analyse le but dans lequel un émetteur emploie un signal, car le système de classement qui détermine "ce pourquoi" un émetteur emploie un signal précède logiquement le système de classement auquel celui-ci se réfère pour déterminer ce qu'il "veut dire" en l'employant.

Pourtant, si le classement qui détermine "ce pourquoi" un émetteur emploie un signal précède logiquement celui auquel se remet l'émetteur pour déterminer ce qu'il "veut dire", celui-là peut également être déterminé par le deuxième. La constatation d'une détermination de la pratique sociale par le code n'est pas nouvelle et nombre de théories en ont tenu compte, d'une façon ou d'une autre. En est un exemple la théorie des "vocabulaires des motifs" de K. Burke et de C. Wright Mills, selon laquelle les motifs, termes déterminants de l'action, "sont des mots", symboles des "situations consécutives" et "substituts des actions qui y conduisent" ¹⁴ et qui participent en tant que stratégies d'actions dans le mécanisme du contrôle social et de l'élaboration de modèles culturels.

La même reconnaissance de la détermination réciproque de ce que "veulent dire" les mots d'une langue et de "ce pourquoi" ils sont dits, de la pertinentisation des sens par la pratique et vice versa se retrouve chez M. Bakhtine (V.N.Volochinov) ¹⁵ qui distingue dans sa philosophie du langage entre *signification*, *thème* et *appréciation*, notions en grande partie comparables, point par point, à la théorie esquissée ci-dessus sur l'enchaînement des structures sémiotiques où s'opposent entre elles la "connaissance des sens à travers les signifiés", celle, "à travers les classes du SIC" et la "connaissance déterminée par la pratique sociale du sujet", dont voici d'ailleurs le schéma:



où L symbolise la langue du sujet (sa = U signifiant, sé = U signifié),

où S symbolise le SIC et où p symbolise la "pratique sociale du sujet" et SP la "connaissance d'un sujet déterminée par la pratique sociale de ce dernier".

Il est à souligner que cet enchaînement de structures se fait dans les deux sens: ce qui rend une quelconque pratique pertinente, ce qui fait que celle-ci soit ressentie, compte, fonctionne dans la vie des individus, ce qui fait que celle-ci ait un sens pour eux, est que cette pratique entre, en tant que classe, dans des rapports d'opposition avec d'autres classes à l'intérieur d'un U - celui des pratiques (p) - et entretient des rapports de signification, de pertinence réciproque, avec d'autres classes appartenant à un autre U - celui des sens (s). Toutes les pratiques ne sont en effet pas pertinentes, toutes n'ont pas un sens, et il y a nombre de pratiques "phénoménalement identiques" mais dont les sens varient selon la situation ou la culture, comme le montre bien l'anthropologie culturelle. La "connaissance d'un sujet déterminée par la pratique sociale de ce dernier (SP)" est donc le monde social et culturel intériorisé par ce sujet, l'ensemble de ce qui est pour ce dernier socialement et culturellement significatif, ensemble qui forme, si l'on veut, son "code culturel".¹⁶

Si parmi les connaissances du sujet il y en a qui sont déterminées par d'autres pratiques que les seules pratiques socio-culturelles, c'est-à-dire différentes de celles qui mettent directement en jeu "les autres", l'ensemble de "ce qui est significatif" pour l'individu se trouve pourtant toujours déterminé indirectement par son insertion dans une société et dans une culture. En dehors de ces dernières, toute construction des sens, les plus individuels soient-ils, est inconcevable. Ce, en raison de l'outil - et du support matériel que cet outil constitue - sans lequel cette construction ne pourrait avoir lieu, à savoir le symbole et en particulier le langage, élaboré lui, en retour, par et dans l'interaction sociale. D'où la "sémioticit ", dans le sens  tymologique du terme, de toute connaissance: l'acte s mique et en g n ral, le symbolique, se trouvent   la base de tout processus de connaissance, malgr  le fait qu'il n'est qu'un cas particulier de l'acte instrumental auquel il sert, en quelque sorte, de mod le.

1.3. L'ACCES A LA REALITE

La limitation du but d'un acte s mique   la seule compr hension, m me li e   la condition qui la rend possible, le SIC, r duit l' tude

de la structure sémiotique qu'implique cet acte à sa seule potentialité, et davantage: elle rend impossible l'accès à l'empirie, à la réalité. Limitée au seul code, une pareille théorie est amenée en définitive, à la naturalisation de son propre objet, à la méconnaissance du fait que toute connaissance - y compris celle d'un objet scientifique - est un processus, une construction (celle de l'identité de l'objet) et que cette connaissance n'est pas fondée dans l'objet lui-même mais dépend d'un point de vue d'où résulte sa pertinence.¹⁷ L'ignorance de la pertinentisation du code et du sens par la pratique sociale dans laquelle ces derniers *se réalisent* amène, en effet, la théorie à chercher d'autres pertinences. Ne pouvant se permettre, au nom de l'"objectivité" de reconnaître que la pertinence de l'objet n'est autre, dans ce cas, que celle qui résulte de son propre point de vue (c'est-à-dire du point de vue apporté par la théorie) cette opération aboutit fatalement à vouloir trouver la pertinence de l'objet dans l'objet lui-même. Cherchant à expliquer le langage par le langage en l'isolant de ce qui le rend pertinent, la théorie priétienne avec d'autres héritières d'un structuralisme réducteur ne fait que figer, réifier son objet et n'aboutit qu'à la construction d'un *artefact*, occultant par la même occasion son propre processus de construction. D'où les unités construites *ad hoc*, les exemples éternellement réfutés ou réfutables, ou, à la limite, toujours les mêmes. D'où encore l'insoluble problème pour la théorie objectiviste du rapport entre théorie et empirie, son impossible accès à la réalité.

1.4. LA PERTINENCE, UNE FONCTION CONTINUE: VARIABILITE ET DIACHRONIE

En raison de la pertinentisation ultime de toute connaissance par l'interaction sociale, la notion même de pertinence ne peut être définie comme "finie". Fonction d'une pratique fondamentalement variable, car temporelle, *historique*, la pertinence est une fonction variable, continue.¹⁸

Le fait de la pertinence sociale et culturelle du code et du SIC implique enfin que la structure sémiotique que forme la langue n'est jamais identique pour une communauté d'"utilisateurs" et varie selon le degré d'intersection des pratiques, une communauté se définissant par le degré des pratiques communes et pertinentes. Chaque "utilisateur" peut donc recourir à "plus d'une structure sémiotique" que constitue la langue qu'il parle, ou, plus exactement, à une structure sémiotique fondamentalement variable dont les rapports d'opposition

et de signification n'obéissent pas à une logique binaire et exclusive de l'absence et de la présence (1:0) mais à celle d'une distribution statistique du 100% au 0%.¹⁹ Ce problème concerne, à part la détermination même des unités linguistiques et la définition du langage qui en est la conséquence, des phénomènes comme l'usage actif et passif de la langue, la connaissance simultanée de plusieurs variétés de langue et le changement de code - ou de variété de code - de la part d'un seul "utilisateur" en fonction d'une situation donnée et, en définitive le problème de la *variation* et de la *diachronie*.

Si la structure sémiotique impliquée par toute connaissance et que forme, par exemple, le langage, est explicable en termes d'un enchaînement d'ensembles, il ne peut s'agir que d'un enchaînement d'*ensembles flous*,²⁰ dont les rapports qui se rapprochent d'une distribution à 100% définissent des "zones de structure rigoureuse" de la langue, où les sujets parlants ne montrent qu'un degré minimum d'hésitation par rapport à tel ou tel fait linguistique, où, en d'autres termes, leur intuition est nette et où il existe un consensus de la part d'un groupe donné de sujets parlants quant au même fait linguistique. Des rapports, en revanche, qui s'éloignent d'une telle distribution, et qui se rapprochent de l'autre pôle (0%), on peut dire qu'ils définissent des "zones de structure lâche" de la langue, où l'hésitation par rapport à tel ou tel fait de langue de la part du sujet coïncide avec une dissension sur le plan de la communauté.²¹

Nous verrons dans l'étude qui suit un exemple d'une pareille distribution en zones "rigoureuses" et "lâches" de la structure linguistique avec leurs correspondances individuelles et collectives (à propos des rapports allocutoires réciproques, non réciproques et indécis). Nous tenterons d'aller au-delà des simples constatations de certitudes ou d'hésitations, consensus ou dissensions pour déterminer leur pertinence sociale.

La reconnaissance, enfin, de la pertinence sociale et culturelle du langage et de son intégration dans un modèle général du comportement sémiologique permet de surmonter la dichotomie saussurienne entre langue et parole, ou de réunir dans un seul corps théorique des concepts aussi opposés que la "compétence linguistique" de type chomskien et la "compétence communicative" dont parlent l'ethnographie de la parole et la sociolinguistique.²²

1.5. ALLOCUTION ET SEMIOLOGIE HISTORIQUE

Si, dans les exemples suivants:

- (1) *Donnez-moi la bouteille de vin*
- (2) *Donne-moi la bouteille de vin*
- (3) *File-moi la bouteille de pinard*

il est un sens qui dépasse la seule "information ou injonction"²³ de l'émetteur au récepteur de donner la bouteille de vin à l'émetteur", ce sens peut être défini le plus généralement par ce qu'on peut appeler le "moi social", concernant aussi bien l'émetteur que le récepteur, "social" étant pris ici, encore une fois, dans son acception la plus large.²⁴ Or c'est un sens qui, même s'il a une existence potentielle, ou mieux, conventionnelle (c'est le "sens du dictionnaire") ne se réalise qu'au moment de son utilisation. Nécessairement présent dans chaque situation communicative dont le but dépasse bien souvent la seule communication, il ne relève toujours que d'un contexte, c'est-à-dire d'une pratique qui lui fournit la pertinence.

Révélatrices de la structure des interactions, les formes d'allocution prennent une place privilégiée dans une étude sémiologique de type historique. Signalant les sens que prend selon les situations le "moi" des interlocuteurs, "moi" de distance, de proximité, d'aversion ou d'affection, de la hiérarchie, de la domination ou de la soumission, de la révolte ou de la capitulation, de l'acceptation ou du rejet d'un privilège, les formes d'allocution fournissent plus que l'histoire d'un paradigme linguistique, plus qu'un simple index de la stratification sociale: elles sont révélatrices d'une dynamique sociale des comportements symboliques, dynamique peu accessible, jusqu'alors, à l'histoire. Produits d'une médiation individuelle largement intuitive (dans le cas présent, celle d'un écrivain) les formes du "rapport avec l'autre" donnent une mesure du système de ces rapports intériorisé par le médiateur et nous font part de la connaissance de la société et de ses mécanismes internes par un "témoin d'époque".

L'intégration, enfin, de l'étude des formes allocutoires dans une approche sémiologique permet une confrontation systématique avec d'autres paradigmes symboliques non linguistiques, dont d'autres domaines de recherche nous révèlent l'existence: anthropologie culturelle, ethnographie, sociologie etc.²⁵

2. *LALKA* (LA POUPEE) DE BOLESŁAW PRUS

2.1. PRESENTATION

Nous nous sommes limités, pour l'instant, à l'étude d'un seul roman dans le but de présenter un exemple de méthodologie (la confrontation à d'autres ouvrages: romans, drames, autobiographies etc., et à d'autres paradigmes non linguistiques sera l'objet d'une publication ultérieure). C'est également la raison pour laquelle nous n'avons tenté aucune interprétation historique et que nous nous sommes contenté tout au plus de la suggestion de certains parallélismes.

Concernant la littérature sur les formes allocutoires, nous renvoyons à Brown et Gilman 1960 (c'est de ces deux auteurs que proviennent les notions de "puissance" et "solidarité"), à Friedrich 1972 (dont on retrouvera la notion de "rupture de code") et à d'autres.²⁶ Pour une présentation générale et sommaire de l'allocution en polonais et dans d'autres langues slaves contemporaines, nous renvoyons à l'article de G. Stone.²⁷

Quelques mots sur l'auteur du roman: Bolesław Prus, de son vrai nom Aleksander Głowacki (1847-1912) est une des figures de proue du positivisme polonais, mouvement littéraire et idéologie ayant marqué la période des années qui suivirent l'insurrection de janvier (1863) jusqu'en 1890, puis une autre période de coexistence pas toujours pacifique avec le néo-romantisme (1890-1914). Humoriste, vulgarisateur scientifique et journaliste (il est l'auteur des fameuses *Chroniques*, "véritable encyclopédie de la vie de Varsovie durant 50 ans"), B. Prus est également homme de lettres, auteur, entre autres, de nouvelles et de romans dans lesquels l'observation de type sociologiste se mêle à la "thèse" et aux mots d'ordre de l'époque: travail organique, instruction "à la base", émancipation des femmes, etc.

Le sujet de *Lalka*²⁸ est le suivant: Stanisław Wokulski, jeune homme aux débuts difficiles (son père appartient à la *szlachta* - la noblesse terrienne - ruinée) mais ambitieux (il est étudiant de la Szkoła Główna pendant un certain temps), patriote (il fait un séjour en Sibérie, allusion à sa participation à l'insurrection de 1863), devient propriétaire d'un magasin de porcelaine, de souliers et autres articles "de fantaisie", grâce à un mariage avec la patronne dont il est veuf peu de temps après. Puis, s'étant fabuleusement enrichi à l'occasion de la guerre Russo-Turque de 1877-78, il ne consacre sa fortune, ses loisirs, sa santé morale et physique qu'à la

conquête de la belle mais froide et frivole Izabela Łęcka, fille de Tomasz Łęcki, de la haute aristocratie, acculé à la ruine et, par conséquent, partisan de la collaboration entre la classe terrienne et la "bourgeoisie éclairée", collaboration que cette dernière, sous l'aspect de Wokulski, accepte avec empressement pour des raisons bien compréhensibles... Le roman finit tragiquement. Se sentant trahi par Izabela qui ne consent à lui donner sa main qu'à contre-cœur et par nécessité, et qui n'a pour ce nouveau-riche que mépris mêlé à de la curiosité, Wokulski rompt avec cette dernière, tente de mettre fin à ses jours, puis, sauvé, tombe dans l'apathie la plus grande. Il quitte Varsovie pour une destination inconnue (il est possible qu'il ira se consacrer à la Science, un vieux rêve de jeunesse..) après avoir vendu son magasin et abandonné la présidence d'une "Association Commerciale avec l'Empire (russe)" aux Juifs.

Telle n'est que l'intrigue principale à laquelle s'ajoute une quantité d'intrigues parallèles ou secondaires avec une multitude d'autres personnages d'origine sociale la plus diverse.

L'analyse qui suit a été menée un peu à la manière d'une enquête sociologique, dans laquelle chaque personnage du roman a été considéré comme un informateur. La première partie de l'enquête cherchait à déterminer la place de ces informateurs au sein de la hiérarchie socio-professionnelle. D'où l'origine du tableau de la stratification socio-professionnelle du roman (table 1). La deuxième partie du questionnaire a concerné les modes allocutoires tels qu'ils fonctionnent entre les informateurs et, partant, entre les groupes sociaux en présence. Nous avons relevé dans ce but l'ensemble des occurrences allocutoires dans le roman, en classant ces dernières selon leur apparition par "interactions", une interaction se référant, dans le sens où nous l'entendons ici, à la totalité des dialogues concernant deux informateurs déterminés qui se parlent à une ou plusieurs reprises au cours de l'action.

N'ont été relevées que les formes adressés à un seul interlocuteur à la fois, et de "vive voix".

2.2. INVENTAIRE DES FORMES ALLOCUTOIRES RENCONTREES (AVEC LEURS SYMBOLES)

T = ty, pronom et verbe de la 2ème pers. sg.; adressé à un seul interlocuteur. Forme usuelle du tutoiement.

V = wy, pronom et verbe de la 2ème pers. pl.; adressé à un seul interlocuteur. Utilisé traditionnellement en zone rurale.

- P = *pan, pani* (Monsieur, Madame, à l'origine "Seigneur") avec verbe à la 3ème pers. sg.; forme usuelle du "vous de politesse" en polonais standard contemporain. *Panna* (Mademoiselle) ne sera pas abrégé.
- P2 = *Pan, Pani* avec verbe à la 2ème pers. sg. La forme peut être à signifiant discontinu. Ainsi "*Panie, jak myślisz?*" ou "*Usiądź, panie*". Forme n'appartenant plus à la "norme" en polonais contemporain.
- PØ = *pan, pani* où la personne du verbe est absente: dans tous les cas où P, P2 ne sont pas en fonction sujet. Exemples: "*Już teraz pana fatygować nie będziemy*" (fonction objet direct); "*dziękuję pana/pani*" (fonction objet indirect); "*rodzice pana/pani*" (fonction complément du nom); "*pański pies* (adjectif); "*niech pan do mnie wstąpi*" (phrase de type exclamatif, après *niech* d'exhortation).
- x(P) = formes assimilées à P (où x peut être un nom de famille, un prénom, un titre, un terme de parenté). Exemple: "*Czy papa jutro przyjdzie?*" : tp. (P)
- x(P2) = formes assimilées à P2. Exemple: "*Wasza Księżęca Mość, raczyłeś...*" : titre (P2)
- x(PØ) = formes assimilées à PØ. Exemple: "*odpowiadałem ojcu, że...*" : tp. (PØ)
- i = infinitif d'ordre. Exemple: "*śniadanie podawać*".

Nous avons retenu un certain nombre de formes allocutoires non grammaticalisées, mais très fréquentes dans le corpus:

Prén. = prénom; N = nom de famille; dim. = forme au diminutif; tp. = terme de parenté (y compris *mąż, żona*).

D'autres formes ont été reproduites telles qu'elles, sans abréviation: titre, ainsi que *jaśnie, wielmożny, dobrodziej*, etc.

Remarque: à ne pas confondre par exemple titre (P), "*komuż to baron wiezie taki prezent?*", avec P titre, "*jestem pewny, że pan baron nie wynajmowałby ziego mieszkania*".

2.3. LES MODALITÉS DE L'ANALYSE

L'analyse a porté sur 191 interactions auxquelles ont participé 93 personnages. Ces chiffres ne concernent pas l'ensemble des interactions et l'ensemble des personnages du roman. Nous avons délibérément écarté les interactions dont les modes d'allocution ou les personnages étaient indéchiffrables, dépourvus d'intérêt ou ne concernaient pas directement la société polonaise de l'époque. C'est le cas, par exemple, des interactions relatives à Wokulski et ses interlocuteurs parisiens pendant son séjour en France, et il en va de même pour Rzecki, lors du passage de ce dernier en Hongrie etc.

D'une façon générale nous n'avons gardé des "mémoires d'un vieux commis" que les interactions contemporaines, choix certes arbitraire, mais dont l'avantage nous a paru indéniable: il nous a permis

de procéder à une "coupe synchronique", de concentrer notre analyse sur la société de Varsovie - avec quelques incursions en province - de la fin des années 70 du XIXe s.

Le principe d'une classification purement dichotomique d'un usage allocutoire, où la "réciprocité" aurait été opposée d'une façon absolue à la "non réciprocité" (types de rapports décrits par Brown et Gilman, op.cit.: à noter que ces auteurs font état d'une période de passage entre le mode allocutoire de puissance et celui de la solidarité) n'a pas résisté à l'analyse détaillée et systématique des interactions. S'il y a existence indéniable de deux pôles, dont l'un fait preuve d'un rapport de réciprocité et l'autre d'un rapport de non réciprocité absolues (T:T ou P:P vs. T:P, par exemple), cette bi-polarisation ne concerne qu'une partie des interactions en cause. Elle ne symbolise - et c'est significatif - que des rapports sociaux également polarisés (aristocratie : domesticité, bourgeoisie : travailleurs manuels ou autres catégories figurant au bas de l'échelle sociale). Entre les deux pôles extrêmes dont l'établissement n'a d'ailleurs pas toujours été chose aisée, les pôles étant eux-mêmes sujets à la variation, se situe un troisième rapport qu'on peut qualifier d'"indécision", rapport plus flou que les deux autres, sorte de zone de passage du reste nullement arbitraire et dénuée de sens. Nous verrons que les formes non grammaticalisées (nom de famille, prénom, titre etc.) jouent un rôle central dans ces zones d'indécision.

Une quatrième catégorie classificatoire relève des interactions dont la structure interdit le classement selon l'un ou l'autre des critères énumérés ci-dessus: il s'agit des interactions à sens unique, dialogues à un seul locuteur mais dialogues tout de même, vu la présence d'un interactant, malgré l'absence de réplique.

Etant donné la combinatoire très élevée des interactions, nous avons procédé par sondages, dégageant à chaque fois des "champs" spécifiques, chaque champ se trouvant constitué par un ensemble d'interactions relatives à un ou plusieurs groupes sociaux donnés. Nous avons successivement examiné le champ autonome de l'aristocratie (en tant que groupe le mieux représenté), le champ ouvert aristocratie : reste de la population, un autre champ autonome défini par l'entourage socio-professionnel direct de Wokulski ("Wokulski et son entreprise"), le dernier champ portant sur Wokulski et son entreprise : reste de la population.

Chaque champ a été considéré sous le triple aspect de la stratifi-

cation socio-professionnelle des interactions, de la quantité des rapports (distribution quantitative des rapports de réciprocité, de non réciprocité, d'indécision etc.) et de leur qualité (analyse du paradigme allocutoire).

L'étude se termine par une brève analyse du phénomène de la "rupture de code" (code switching) et du sens de la forme P2.

2.4. LA STRATIFICATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE *LALKA* (stratification des personnages)

Table 1.

No	nom du groupe	n	%
1	Aristocratie	20	21,5
2	Bourgeoisie	6 (7)*	6,4 (7,5)
3	Fonctionnaires supérieurs d'Etat	1	1,1
4	Avocats	2	2,1
5	Médecins	2	2,1
6	"Gens de plume"	1	1,1
7	Musiciens	1	1,1
8	Etudiants	2	2,1
9	"Intermédiaires"	4	4,3
10	Fonctionnaires inférieurs d'Etat	5	5,3
11	Employés subalternes du secteur privé	14 (15)	15,1 (16,1)
12	Artisans et petits commerçants	4	4,3
13	Domesticité	14	15,1
14	Travailleurs manuels, semi-prolétariat, "mal lotis"	8	8,6
15	Paysans	1	1,1
16	Inclassables	7	7,5
	Total:	93	100

n = chiffres absolus

* = les chiffres entre parenthèses concernent le cas H. Szlangbaum, membre du groupe des employés subalternes du secteur privé dans une première période (pendant laquelle il est commis dans le magasin de Wokulski) et de celui de la bourgeoisie vers la fin du roman (où il rachète le commerce de Wokulski et devient président de l'"Association Commerciale avec l'Empire").

La bourgeoisie est représentée par Wokulski, pani Szperlingowa (qui possède "vers les 100.000 roubles en espèces et une distillerie"), pan Pifke, fabriquant de pain d'épice, un banquier et d'autres. Les catégories suivantes: fonctionnaires supérieurs d'Etat, avocats, médecins, "gens de plume" (en l'occurrence un journaliste), musiciens et étudiants ne se confondent en aucun cas avec la bourgeoisie dans

la réalité polonaise du XIX s., mais constituent un groupe spécifique, celui de l'intelligentsia, d'origine sociale la plus diverse. Ainsi, comme le montrent les travaux de Czepulis-Rastenis, de Leskiewiczowa et de Żurawicka,²⁹ les avocats se recrutent traditionnellement dans la noblesse ou, à la rigueur, dans la bourgeoisie, à l'opposé des médecins qui proviennent pendant longtemps encore de la classe des "hommes nouveaux". Le Dr. Szuman de notre roman est d'origine juive. Le groupe que nous avons appelé par commodité "intermédiaire" concerne des personnages à statut social plutôt ambigu. Si l'origine de pani Meliton (le "détective privé" de Wokulski) reste impénétrable, Helena Stawska et Maruszewicz sont sans doute tous les deux originaires de la *szlachta* déclassée ("*szlachta brukowa*"³⁰) et la première fait certainement partie de l'intelligentsia: H. Stawska donne des leçons privées pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L'unique représentant du groupe des fonctionnaires supérieurs d'Etat appartient à l'appareil judiciaire (le juge), le seul secteur officiel à avoir résisté à la russification: il n'en sentira les effets qu'après 1882.³¹ Les fonctionnaires inférieurs sont exclusivement représentés par des employés des chemins de fer. Il est frappant que c'était également un des rares secteurs "réservés" à la population polonaise.³² Une des catégories les mieux représentées dans notre corpus est celle des employés subalternes du secteur privé: en font partie les commis de Wokulski, pan Szprot, "*agent handlowy*" (représentant commercial), le conseiller Węgrowicz, employé par une société de bienfaisance, etc.

La stratification socio-professionnelle des "interactants" du roman ne rend compte que très fragmentairement de la société varsovienne de l'époque (absence totale, par exemple, d'un prolétariat urbain et industriel). A titre de comparaison nous citerons le schéma classificatoire de S. Kowalska concernant la structure sociale de Varsovie, obtenu à partir de l'analyse d'actes d'état civil (voir ci-dessous). Pourtant la distribution numérique de la stratification du corpus ou, en d'autres termes, le poids de telle ou telle catégorie à l'intérieur du roman n'est pas dénuée de signification sur ce plan. L'histoire sociale nous renseigne qu'à la suite, d'une part, de la russification intensive qui provoqua la fermeture à la population polonaise de la majorité des portes de l'administration officielle et à la suite, d'autre part, des progrès de la société capitaliste (l'"Association Commerciale avec l'Empire" en est un symptôme), le

secteur privé a témoigné d'une dynamique et d'une croissance spectaculaires.³³ Ce n'est donc pas par hasard que les "conflits allocutoires" vont concerner avant tout cette partie-là de la population dont l'importance sera encore confirmée par la quantité des échanges: dans le tableau de la stratification sociale des interactions du champ II (aristocratie: reste de la population, table 3), les employés subalternes viennent en troisième place (17,3%) après la bourgeoisie monopolisée par le héros principal du roman, Wokulski - et la catégorie des domestiques, physiquement les plus proches de l'aristocratie. A la catégorie des travailleurs manuels, semi-prolétariat et "mal lotis" appartiennent Wysocki, le charretier, Magdalenka, fille de mauvaise vie qui retrouve le droit chemin grâce à l'aide de Wokulski (elle deviendra blanchisseuse), un vagabond et d'autres.

Table 2. Schéma de la classification socio-professionnelle de la population de Varsovie sur la base d'actes d'état civil (1845-1861)

No	nom du groupe	remarques
1	Propriétaires terriens	
2	Banquiers et industriels	
3	Fonctionnaires d'Etat et officiers de rang supérieur	
4	Professions libérales	avec appareil judiciaire et professeurs de l'enseignement public supérieur et secondaire
5	Marchands et entrepreneurs	
6	Officialistes des domaines et fermiers	à partir des économistes
7	Fonctionnaires subalternes publics et privés	
8	Vivant de leur propre capital	
9	Diverses professions intellectuelles	professions libérales exclues: font partie de la cat. techniciens, aides-médecins (felczrzy), acteurs, instituteurs de l'enseignement primaire etc. dans l'artisanat et à l'usine
10	Officialistes manuels	
11	Maîtres-artisans	
12	Grossistes et commerçants	
13	Compagnons et ouvriers d'usine	
14	Armée, gendarmerie, police	rangs supérieurs exclus (officiers)
15	Domesticité	
16	Soldats en permission et démissionnaires	si absence d'information sur la profession
17	Journaliers	
18	Paysans propriétaires	
19	Paysans sans terre et gens de service d'un domaine	
20	partie de la famille	

21	autres	
22	professions ménagères féminines	blanchisseuses, couturières, etc.

D'après S. KOWALSKA, *Badania struktury społecznej Warszawy na podstawie akt stanu cywilnego*, in: W. Kula (red.), *Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej*, t. I, p. 332, Warszawa, PWN, 1965.

2.5. LA STRATIFICATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES INTERACTIONS

Vu la très grande homogénéité du champ I (interactions au sein même de l'aristocratie) ce dernier ne s'est pas prêté à une analyse de la stratification socio-professionnelle. Les champs II et IV sont présentés sous forme de tableaux qui, nous semble-t-il, parlent pour eux-mêmes. Le champ III (Wokulski et son entreprise) fait l'objet d'un commentaire à cause de l'intérêt que ce champ représente et de la subtilité de la stratification.

Table 3. Champ II, aristocratie : reste de la population

No	nom du groupe	n	%
1	Bourgeoisie	16 (15)*	30,7 (28,8)
2	Domesticité	9	17,3
3	Employés subalternes du secteur privé	9	17,3
4	"Intermédiaires"	4	7,6
5	Artisans et petits commerçants	4	7,6
6	Avocats	3	5,7
7	Fonctionnaires inférieurs d'Etat	3	5,7
8	Medecins	2	3,8
9	Etudiants	1	1,9
10	Fonctionnaires supérieurs d'Etat	1	1,9
	Total	93	100

* interactions aristocratie : Wokulski

Le partenaire le plus important avec lequel l'aristocratie entre en interaction est donc Wokulski, à la fois héros central du roman et représentant de la classe la plus proche économiquement. Le rang des deux groupes qui suivent - domesticité et employés subalternes - est en accord avec la stratification des personnages (table 1). A remarquer: l'absence totale des catégories du bas de l'échelle sociale, domesticité mise à part.

Champ III, Wokulski et son entreprise:

Il s'agit d'une catégorie où les différences de statut sont d'autant plus importantes et ressenties comme telles, qu'elles tendent vers le bas de l'échelle sociale (menace de prolétarisation) malgré la distance relativement minime entre les statuts en question, Wokulski non compris, évidemment. D'où encore l'importance de l'enjeu sur un plan symbolique: langage, "bonnes manières", habillement et tout ce qui peut entrer dans le domaine d'analyse d'une étude sémiologique. C'est la distance qu'il y a, par exemple, entre un commis "mieux placé" par rapport à un autre "davantage subalterne" et c'est effectivement ce qui se passe à l'intérieur du magasin de Wokulski. Mraczewski, élégant, beau parleur, vendeur incomparable et qui plaît aux dames (le fait d'avoir fait du charme à Izabela Łęcka lui causera bien des ennuis, ce qui ne l'empêchera pas de faire carrière en Russie) s'oppose à un Paweł Klejn, "commis chétif qui se cache derrière la porcelaine", aux idées socialistes (il sera arrêté vers la fin du roman, allusion au démantèlement par la police tsariste du cercle de Ludwik Kulczycki, fondateur du deuxième *Proletariat*³⁴). Entre les deux se situe Lisiecki, "menacé" par un autre commis, Henryk Szlangbaum, d'origine juive, ami du patron (l'amitié remonte à l'insurrection de 1863) et qui reprendra le commerce ainsi que la direction de l'"Association Commerciale avec l'Empire", d'où l'antisémitisme de Lisiecki, etc. Ont été associés à ce champ, outre les autres commis, les domestiques de Wokulski et de Rzecki, au nombre de 2, et le portier du magasin. A noter que les critères de la stratification du champ ont été dans une large mesure ceux de l'allocution.

Table 4. Champ IV, Wokulski et son entreprise: reste de la population

No	nom du groupe	n	%
1	Aristocratie	23 (15)*	31,0 (33,3)
2	"Intermédiaires"	9 (4)	12,1 (8,8)
3	Travailleurs manuels, semi-prolétariat et "mal lotis"	8 (7)	10,8 (15,5)
4	Bourgeoisie	6 (3)	8,1 (6,6)
5	Domesticité	5 (4)	6,7 (8,8)
6	Médecins	4 (1)	5,4 (2,2)
7	Employés subalternes du secteur privé	4 (1)	5,4 (2,2)
8	Artisans et petits commerçants	4 (2)	5,4 (4,4)
9	Avocats	3 (2)	4,1 (4,4)
10	Fonctionnaires inférieurs d'Etat	3 (3)	4,1 (6,6)
11	Fonctionnaires supérieurs d'Etat	2 (1)	2,7 (2,2)
12	"Gens de plume"	1	1,3
13	Musiciens	1 (1)	1,3 (2,2)
14	Paysans	1 (1)	1,3 (2,2)
	Total:	74 (45)	100 (100)

* entre parenthèses: interactions Wokulski : reste de la population (excepté celle qui fait partie du champ III, bien entendu). Le total de ces interactions se chiffre à 60 % du champ.

2.6. QUANTITE ET QUALITE DES RAPPORTS ALLOCUTOIRES

Dans les tableaux qui suivent nous comparons le pourcentage des types d'interactions entre les 4 champs: (a) concerne les rapports non réciproques, (b) les rapports réciproques, (c) les rapports indécis, (d) les interactions à sens unique. A titre de comparaison nous avons calculé 3 "sous-champs" du champ IV, sous-ensembles dont le premier concerne le champ IV sans interactions avec l'aristocratie, le deuxième le champ IV sans Wokulski et le troisième sous-ensemble concerne le champ IV avec la participation ni de l'aristocratie, ni de Wokulski.

Table 5. Comparaison des types d'interactions pour les champs I, II, III et IV.

rapports	I		II		III		IV	
	n	%	n	%	n	%	n	%
a	7	19,4	15	28,8	5	25	14	18,9
b	6	16,6	7	13,4	2	10	11	14,8
c	6	16,6	17	32,6	6	30	28	37,8
d	17	47,2	12	23,1	7	35	21	28,3
total	36	100	52	100	20	100	74	100

Table 6. Comparaison des types d'interactions pour le champ IV et ses sous-ensembles.

rapports	IV		IV 1.		IV 2.		IV 3.	
	n	%	n	%	n	%	n	%
a	14	18,9	9	17,6	3	10,3	2	9,5
b	11	14,8	5	9,8	5	17,2	2	9,5
c	28	37,8	19	37,2	10	34,4	8	38
d	21	28,3	18	35,2	11	37,9	9	42,8
total	74	100	51	100	29	100	21	100

La confrontation des quatre champs démontre que le système allocutoire en vigueur dans le roman de B. Prus obéit à un système parfaitement

cohérent, et ce aux deux niveaux quantitatif et qualitatif.

Le champ I (interactions au sein même de l'aristocratie) se différencie des autres champs par le fait de l'absence quasi totale de différences de statut en termes de classes socio-professionnelles. Les différences sont donc dans une large mesure celles de l'âge, des liens de parenté (autorité parentale), du sexe et de la proximité ou de l'éloignement émotionnels. Les formes de la *solidarité intime* sont T et/ou Prén. réciproques associés éventuellement à tp. souvent au diminutif. Exemples: interactions Wąsowska : Izabela Łęcka, T, Prén. Ø : T, Prén. Ø ou interaction Tomasz Łęcki : hrabina Karolowa, T : T. Les formes de la *solidarité formelle* sont P, P2, tp. (P) et tp. dim. (P2) réciproques. Exemples: interaction Izabela Łęcka : Starski, P, T, tp. (P), tp. dim. (P), T tp. : T, tp. (P), tp. dim. T ou interaction Ochocki : Izabela Łęcka, P, tp. dim. Ø, tp. dim. T : T, T tp., tp. (P), tp. dim. (P2). Ces interactions concernent dans ce cas précis des jeunes gens que rapproche un lien de parenté (ils sont cousins) mais qu'oppose le sexe. Les formes de la *non réciprocité* sont T, Prén., Prén. dim. adressés par les "dominants" (père, tante, grand-mère, personne plus âgée) aux "dominés" (fille, nièce, petit-fils, personne plus jeune) qui leur rendent P, tp. Ø, tp. (P) ainsi que tp. T, tp. dim. T, plus intimes (mais jamais T tout seul). Quant aux *interactions indécises*, elles semblent relever sporadiquement d'une légère différence de statut et d'étiquette, sinon d'une plus grande formalité. Exemples: interaction Wąsowska : baron Dalski, titre Ø : P; interaction baron Krzeszowski : hrabia Liciński, P, P2, titre (P2) : P, P2; Wąsowska : Starski, P, P2, PØN, PØPrén. : P; baron Dalski : E. Janocka (sa fiancée), PØ, Panna Ø Prén. : P.

Ce qui attire l'attention sur le plan quantitatif est le faible pourcentage des interactions indécises et, en général, la distribution très égale des types de rapports pour le champ I: 19,4 %, 16,6 % et 16,6 % pour (a), (b) et (c) (voir table 5). Tous deux sont le symbole, sans doute, d'une structure sociale où les rapports de force sont clairs et si l'on peut dire, réglés d'avance. Si le statut social de l'aristocratie a certes déjà été entamé à cette époque, sa cohésion face aux forces nouvelles de la société reste encore largement intacte, héritage d'une époque où le privilège n'était affaire que de naissance.³⁵

Quant aux champs II, III et IV, le pourcentage des rapports de type *non réciproque* est le plus fort, comme on peut s'y attendre pour le champ II (28,8 %), suivi des champs III (25 %) et IV (18,9 %).

Suivent les sous-ensembles du champ IV: IV 1. (sans aristocratie): 17,6 %, IV 2. (sans Wokulski): 10,3 %, ce qui n'est surprenant qu'à première vue. L'aristocratie n'est que rarement confrontée aux couches les plus basses de la population (voir table 3), excepté la domesticité, qui elle, ne peut pour le champ IV entrer en cause pour ses relations avec l'aristocratie alors que c'est le cas pour ses relations avec Wokulski, d'où le pourcentage moins élevé des rapports de non réciprocité dans le deuxième sous-ensemble. La même logique vaut pour les rapports de *réciprocité*. A l'intérieur du sous-ensemble IV 3. qui met en présence les couches moyennes et inférieures de la population, les rapports de réciprocité et de non réciprocité coïncident (9,5 %) avec, en contrepartie, le pourcentage le plus élevé d'interactions indécisées, dont nous expliquerons la signification plus bas.

Les formes d'allocution présentes dans les champs II, III et IV donnent lieu aux remarques suivantes: la *non réciprocité* est de règle dans les interactions mettant en présence des protagonistes très éloignés les uns des autres dans la hiérarchie sociale (aristocratie : domesticité; bourgeoisie : travailleurs manuels etc.) Les formes sont T, associé éventuellement au prénom et adressé au dominé par un dominant qui reçoit en retour P (et autres formes comme *jaśnie*, *wielmożny*). On rencontre sporadiquement V à connotation rurale de dominant à dominé. Exemples: interaction baron Krzeszowski : kamerdyner Konstanty, T, Prén.Ø : Jaśnie P, P; interaction Izabela Łęcka : Węgielek, V : PØ; interaction Wokulski : Oberman (caissier du magasin), T, TN : PØ; interaction Mraczewski : P.Klejn, T, Prén.T, P2, PØN : P2. On peut donc considérer la forme T non réciproque (V non réciproque) comme la marque de la puissance, et c'est son absence ou sa présence qui ont déterminé dans la plupart des cas de la réciprocité ou de la non réciprocité des interactions. La *réciprocité* allocutoire implique une solidarité (économique, intellectuelle etc.) possible entre les représentants de la classe sociale la plus élevée (aristocratie) et les classes moyennes (bourgeoisie et employés "pas trop subalternes"), ou encore entre représentants d'un même niveau social à condition qu'il y ait absence de rivalité. C'est la raison de la faible réciprocité des rapports chez les employés de Wokulski (voir table 5, champ III). Les formes sont P, P2, PØN, P2N etc. solidaires et formels ou T, Prén. (dim.) solidaires et intimes. Elles sont donc largement comparables aux formes réciproques utilisées dans le champ I, excepté l'occurrence fréquente de N. Exemples: interaction Rzecki :

Ochocki (le premier est commis et ami de Wokulski, le second un jeune aristocrate, passionné de science), P2 : P, P2; interaction Rzecki : H. Szlangbaum, P2, P2N : P, P2, PØN; Starski : Wokulski, P, PØN : P, P2, PØN; Izabela Łęcka : Mraczewski, P : P.

Les *interactions indéciées* font état du pourcentage le plus élevé dans chacun des champs II, III et IV, et ce d'une manière croissante au fur et à mesure où on descend la hiérarchie sociale (tables 5 et 6). La "démocratisation des rapports" observable dans les deux sous-ensembles IV 2 et IV 3 du champ IV, et qui font penser qu'à mesure où l'on descend l'échelle sociale et où les partenaires se trouvent sur un pied d'égalité, le rapport de non réciprocité décroît, est pourtant une illusion. Le fort pourcentage d'indécision qui les caractérise également implique au contraire l'existence d'un malaise dans les rapports, malaise qui se traduit par la dissimulation des rapports de force objectifs ou plutôt, par une *euphémisation* de ces rapports, proportionnelle à la proximité sociale des interactants et au statut précaire de ces derniers (exemple: le magasin de Wokulski et le milieu de ses employés). Au niveau des formes allocutoires, il est significatif que le rapport d'indécision (d'euphémisation) s'exprime à travers des formes autres que P et T seuls, formes trop franches car trop alternatives. Exemples: interaction pan Szprot : Rzecki, P, P2 : P2, PØN; interaction Maruszewicz : Rzecki, P2, PØN : P2; interaction Lisiecki : H. Szlangbaum, P2 : P2, PØN; interaction książę (le prince) : Wokulski, P, P2, PN, szanowny P, szanowny PNØ, P2N : titre (P), titre (P2), mości książę (P); interaction Wokulski : Izabela Łęcka, P, Panna Prén., T : PØN, P (dans cette dernière interaction T n'est pas déterminant, vu sa fréquence extrêmement basse: 3 occurrences sur un total de 119; l'usage du T par Wokulski correspond d'ailleurs à une "rupture de code", voir ci-dessous 2.7.); baron Krzeszowski : Rzecki, P2, szanowny PØN : PØ, PØ titre; baron Krzeszowski : Wokulski, P, P2, P2tp., tp. T (1 seule occurrence sur 35), PØN : P, P2, P2 titre; Rzecki : pani Szperlingowa, PØ dobrodziejka : P, PØN; Wokulski : S. Szlangbaum (le père de Henryk, riche usurier, représentant de la bourgeoisie juive) P2, PØN : P, P2, PØ dobrodziej, PØN; le juge : Wokulski, P : PØ titre; le juge : Rzecki, PN : szanowny titre Ø.

Tout porte à croire que ce type de rapport préfère le jeu plus subtil des noms, prénoms, titres ou autres qualificatifs de l'"autre", combinés savamment mais certes souvent intuitivement à P de formalité ou T d'intimité réciproques. Or qui sait si pareil jeu n'est pas

de règle dans un type de société dont les rapports de force objectifs entre classes se voient progressivement transformés de physiques et d'économiques en "violence symbolique". Pour la société polonaise des années 70 - 80 du XIXe s., telle qu'elle se trouve représentée ici, par un écrivain éminent de son époque, il ne peut s'agir dans tous les cas que d'une lointaine ébauche.

2.7. RUPTURE DE CODE ET P2

Il est un problème que nous n'avons pu aborder pour des raisons inhérentes à notre type d'analyse qui considérerait les interactions sous leur forme synthétique, globale: c'est celui de la rupture de code. P. Friedrich (op.cit.) parmi d'autres a attiré l'attention sur l'importance du "code switching" dans son étude des pronoms d'allocation en Russie du XIXe s.

Ainsi, le passage de P à T alors que P est de règle, ou le contraire, "se démarque" toujours, possède toujours une signification précise (Hymes parle d'un usage "marqué" qui s'oppose à un usage "non marqué", conventionnel³⁶). On peut citer l'interaction Wokulski: Izabela Łęcka (voir ci-dessus) où l'usage du T par le premier, à côté de P, Panna Prén. utilisés pendant tout le reste de l'interaction correspond purement et simplement à une déclaration d'amour. Dans une autre interaction, celle qui met en présence Magdalenka, fille de mauvaise vie - puis blanchisseuse - et Wokulski, ce dernier s'adresse par T à la première, mais poursuivra avec P, Panna Prén. à un moment ultérieur qui coïncide avec la "promotion sociale" de sa protégée.

Un autre type de "rupture", plus subtil et infiniment plus fréquent, concerne le passage de P à P2 ou le contraire. P2, forme du tutoiement entre "Panowie Bracia" (littéralement: Messieurs, ou, Seigneurs Frères), forme donc traditionnelle d'une certaine solidarité de caste, a gardé quelque chose de son ancien usage. Sans aller jusqu'à différencier interactions réciproques et non réciproques (ce qui est dû à la basse fréquence de P et P2 par rapport à PØ), P2 est par rapport à P un signe manifeste de la proximité, de la confiance, de la familiarité ou de la condescendance, selon les situations.³⁷ Les exemples à citer sont innombrables et en voici un: Wokulski demande au vieux S. Szlangbaum, l'usurier, de faire artificiellement monter le prix de l'immeuble des Łęcki à la vente aux enchères. Szlangbaum ne comprend pas le véritable but de la manoeuvre (Wokulski veut acheter l'immeuble à un prix qui soit susceptible de ren-

flouer les Łęcki ..) et il n'en croit pas ses oreilles:

"Jak to? *Pan chce* zapłacić drożej o trzydzieści tysięcy rubli?
... spytał.

- Tak. ..

- Żebym ja pana nie znał...

... Panie Wokulski - dodał biorąc go za rękę - nie *zrób pan* takie głupstwo. Ja pana proszę... Stary Szlangbaum pana prosi.
- *Wiersz mi pan, że dobrze na tym wyjdę...*"

(*LALKA*, t. 1, p. 288; nous soulignons)

C'est le premier P2 de toute la séquence de la part de Szlangbaum à Wokulski, forme dont la familiarité se trouve confirmée par le geste qui la précède ("lui saisissant la main"). A Wokulski il arrive également d'utiliser P2: à un moment de condescendance, par exemple, ou à un moment où il est en péril de "perdre la face" au sens goffmanien du terme,³⁸ immédiatement après les familiarités de Szlangbaum dans l'exemple cité.

CONCLUSION

La compréhension du sens de telle forme opposée à telle autre (de P opposé à P2, P à T ou à V etc.) ne peut se passer de la confrontation avec un contexte qui n'est autre que le point de vue dont relève le sens de la forme en question. Ce contexte est donc la "pratique" déterminée dans laquelle la forme en question se réalise. La connaissance de la structure et de la dynamique interne du système de ces formes contribue par conséquent à la connaissance du contexte (des pratiques) dans lequel ce système s'est formé. Symboles du "rapport avec l'autre", les formes allocutoires contribuent à la connaissance des rapports sociaux, et la dynamique interne de leur système - dont nous avons tenté de dégager des éléments - est source de connaissance d'une dynamique sociale par les processus qu'elle symbolise: processus de formation et de transformation, degré de mobilité sociale, de stabilité etc. L'observation des structures sémiotiques dont relèvent les systèmes symboliques du rapport social peut donc contribuer à une connaissance des "mentalités collectives". Ainsi l'indécision au niveau du paradigme allocutoire utilisé par un groupe social donné était le signe, dans notre corpus, d'une "euphémisation" des rapports de force objectifs, signe évident, à son tour, de la précarité du statut du groupe en question. Le problème de la quantité allocutoire et de sa distribution selon les groupes en présence (stratification des interactions) donnait une mesure du

"poids symbolique" de tel et tel groupe dans l'imaginaire social de l'époque: on sait en effet depuis longtemps que si les classes "communiquent", une partie seulement d'entre elles "a la parole" alors que les autres "sont parlées".

Reste le problème de la médiation littéraire: quelle est la valeur historique de toutes ces informations et de bien d'autres qu'on aurait pu dégager de la source considérée? Il nous semble que seul un élargissement du corpus, à savoir, la considération d'autres oeuvres du même écrivain, d'autres écrivains de la même époque, d'autres types de "littérature", l'analyse diachronique des sources littéraires et la confrontation avec ce qu'on sait déjà de l'histoire peut apporter une réponse à la question.

N o t e s

1. Voir par exemple K. DUNIN-WĄSOWICZ, *Literatura piękna jako źródło historyczne*, in: *Historia Polski*, t.3, 1850/1864-1918, Warszawa, PWN, 1970; E. KACZYŃSKA, *Drobnomieszczaństwo polskie w XIX w.*, in: W. KULĄ, J. LESKIEWICZOWA (red.), *Spółczesność Polska XVIII i XIX wieku, Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej*, Warszawa, PWN, 1972 et G. LUKÁCS, *Balzac et le réalisme français*, Paris, Maspero, 1973.
2. P. BOURDIEU, *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Genève-Paris, Droz, 1972, pp. 162-174.
3. L.J. PRIETO, *Pertinence et pratique. Essai de sémiologie*. Paris, Minuit, 1975.
4. L.J. PRIETO, op.cit., p. 116.
5. Ibid.
6. Ibid., pp. 106-108.
7. Ibid., pp. 105-106.
8. Ibid., p. 64.
9. Ibid., p. 30.
10. Ibid., p. 108, pp. 130-135.
11. Ibid., p. 108.
12. Ibid., pp. 52-54.
13. Ibid., p. 147, p. 151.
14. R. BURKE, *A Grammar of Motives*, Berkeley, University of California Press, 1969; C. Wright MILLS, *Situated actions and vocabularies of motive*, in: *Power, Politics and People. The collected essays of C. Wright MILLS*, New York, Oxford University Press, 1963.
15. M. BAKHTINE (V.N. VOLOCHINOV), *Le marxisme et la philosophie du langage. Essai d'application de la méthode sociologique en linguistique*. Paris, Minuit, 1977 (*Marksizm i filozofija jazyka*, paru sous le nom de Volochinov, Leningrad 1929).

16. La *culture*, comme nous l'entendons ici, peut être définie comme le produit cognitif d'un ensemble de pratiques pertinentes pour une collectivité donnée. A comparer avec la définition de la culture de W. H. GOODENOUGH. Pour celui-ci "culture, being what people have to learn as distinct from their biological heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a most general, if relative, sense of the term. By this definition, we should note that culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating, and otherwise interpreting them". W. H. GOODENOUGH, *Cultural Anthropology and Linguistics*, in: D. HYMES (ed.), *Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology*. New York, Harper & Row, 1960, p. 36. En plus d'une pratique *sociale* on peut donc parler d'une pratique des *sens* pertinents au niveau d'une collectivité donnée: la pratique culturelle. Vu que toute pratique n'est pas nécessairement significative et que toute pratique significative ne l'est pas nécessairement au niveau de la collectivité, la deuxième est subordonnée à la première.
17. D'où l'existence, comme le montre bien la théorie méthodologique de G. P. SHCHEDROVITZKY, de deux sortes d'"objets": l'"objet matériel" et l'"objet de la connaissance", aussi réels l'un que l'autre, mais dont la structure ainsi que l'existence sociale diffèrent entièrement. La naturalisation et plus généralement l'empirisme consistent à confondre ces deux objets au profit d'un seul "objet matériel". L'idéalisme, au contraire, tend à ne reconnaître qu'un "onjet de la connaissance". "The object (=l'"objet matériel", Th.L.) in itself does not contain any "thing" (= "thing known", "objet de la connaissance", Th.L.). But the thing can be singled out as special content by way of practical and cognitive actions upon objects. This content can be fixated in symbols. As soon as this is done, the thing appears and stands before man in a reified form as something existing apart from the object from which it has been abstracted. Its reified "givenness" gives rise to illusions - as if we were dealing with the object itself. The illusory conception of the state of affairs, having arisen already in relatively simple situations, infiltrate next into the higher levels of science and there mixes up everything thoroughly. The only way to understand the nature of the thing is by clarifying the mechanism of its formation and structure ...". G. P. SHCHEDROVITZKY, *Methodological Problems of System Research*, in: *General Systems*, vol. XI, 1966, p. 33.
18. "La pertinence n'est pas une fonction boléenne (un fait serait soit pertinent, soit non pertinent pour une fonction donnée) mais une fonction continue (un fait est plus ou moins pertinent pour une fonction donnée)", R. JOLIVET et al., *Structures rigoureuses et structures lâches. Résultat des enquêtes sur l'adjectif* (sous la direction de M. MAHMOUDIAN), in: *Bulletin de la Section de Linguistique de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne*, 1, 1977.
19. Cette formulation nous a été suggérée par M. MAHMOUDIAN (communication personnelle).
20. "Fuzziness plays an essential role in human cognition because most of the classes encountered in the real world are fuzzy - some only slightly and some markedly so. The pervasiveness of fuzziness in human thought processes suggest that much of the

- logic behind human reasoning is not the traditional two-valued or even multi-valued logic, but a logic with fuzzy truths, fuzzy connectives and fuzzy rules of inference. Indeed, it may be argued that it is the ability of the human brain to manipulate fuzzy concepts that distinguishes human intelligence from machine intelligence ..", L. A. ZADEH, A Fuzzy-set-theoretic Interpretation of Linguistic Hedges, *Journal of Cybernetics*, 1972, 2,3, p. 4.
21. M. MAHMOUDIAN (sous la dir. de), *Pour enseigner le français. Présentation fonctionnelle de la langue*, Paris, PUF, 1976, p. 128; du même auteur: *Rigueur et laxité de structures en syntaxe: aspects théoriques*, in: *Etudes de lettres, Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne*, 1, janvier-mars 1976, p. 68.
 22. D. HYMES, *Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach*, University of Pennsylvania Press, 1974, p. 75.
 23. L. J. PRIETO, op.cit., "Les types de sens", pp. 24-27.
 24. A comparer avec la notion de la "conscience du moi social", avancée par le sociologue polonais J. CHAŁASIŃSKI, et définie par ce dernier comme "la conscience de la place qu'occupe l'individu au sein de la conscience collective des groupes dont il fait partie", conscience qui ne "se conçoit elle-même (que) par le prisme de la position qu'occupe par rapport à elle son environnement social". D'où la définition d'une "hiérarchie des positions sociales", véritable "échelle des sens (nous soulignons) que prennent les divers objets dans la conscience collective". J. CHAŁASIŃSKI, *Drogi awansu społecznego robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników. Prace polskiego instytutu socjologicznego*, Poznań, 1931.
 25. Nous pensons, pour le sujet qui nous occupe, à un travail comme celui de M. BIERNACKA, *Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany*. Wrocław - Warszawa - Kraków, PAN, 1966, ouvrage qui est une mine de renseignements sur la reproduction symbolique de la *szlachta* (noblesse terrienne) polonaise.
 26. R. BROWN, A. GILMAN, *The Pronouns of Power and Solidarity*, in: T. A. SEBEEK (ed.), *Style in Language*, MIT Press, 1960, pp. 253-276; P. FRIEDRICH, *Social Context and Semantic Feature: The Russian Pronominal Usage*, in: J. J. GUMPERZ, D. HYMES (eds.), *Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication*, New York, Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1972; S. ERVIN-TRIPP, *On Sociolinguistic Rules: Alternation and Co-occurrence*, in: J. J. GUMPERZ, D. HYMES, op.cit.; M. SCHOCH, *Problème sociolinguistique des pronoms d'allocution: "tu" et "vous"*, enquête à Lausanne, in: *La Linguistique*, 1978, 1, vol.14, etc.
 27. G. STONE, *Address in the Slavonic Languages*, in: *The Slavonic and East European Review*, vol. LV, No 4, oct. 1977.
 28. Toutes les citations proviennent de l'édition 1977, Warszawa, PWN.
 29. R. CZEPULIS-RASTENIS, "Klasa umysłowa". *Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862*, Warszawa, Książka i Wiedza, 1973; J. LESKIEWICZOWA, *Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, 1864-1870*, Warszawa, PWN, 1961; J. ŻURAWICKA, *Inteligencja warszawska w końcu XIX w.*, Warszawa, PWN, 1978.
 30. A. ZAJĄCZKOWSKI, *Szlachta brukowa ("la noblesse urbaine")*, in: *Kultura i Społeczeństwo*, 4, 1958.

31. R. CZEPULIS-RASTENIS, op. cit., p. 59.
32. H. ROZENOWA, Pochodzenie społeczno-zawodowe funkcjonariuszy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, in: W. KULA (red.), Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t.3, Warszawa, 1968.
33. R. CZEPULIS-RASTENIS, op. cit., p. 59. Une grande partie de la noblesse déclassée et ruinée a notamment trouvé un emploi dans le secteur privé.
34. Voir J. W. BOREJSZA, Rewolucjonista polski - szkic do portretu, in: S. KIENIEWICZ (red.), Polska XIX wieku, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1977.
35. R. CZEPULIS a montré, à la lumière de l'analyse de la littérature, d'autobiographies, lettres etc. concernant déjà l'époque "entre les deux insurrections" (1832-1860) le fossé qu'il y avait, dans la conscience des contemporains, entre l'aristocratie et la *szlachta* "proprement dite", c'est-à-dire les moyens et petits propriétaires terriens, sans parler de la noblesse "non légitimisée". R. CZEPULIS, Uwarstwienie społeczne Królestwa w świadomości współczesnych, in: W. KULA (red.), Społeczeństwo Królestwa Polskiego, op.cit., t.1, 1965.
36. Hymes distingue entre deux types d'usage allocutoire: un usage *marqué* et un usage *non marqué*. La possibilité de choix pour le locuteur entre des modes alternatifs d'allocation implique que la relation entre la forme linguistique et le contexte social n'est pas uniquement un fait de corrélation: lorsque les valeurs des formes d'allocation coïncident avec le contexte social, lorsque l'usage conventionnel, attendu par l'interlocuteur est réalisé, l'usage est dit *non marqué*. Lorsqu'au contraire, ces valeurs ne coïncident pas, lorsque par exemple, un "tu" à valeur conventionnelle de "familiarité" est utilisé dans un contexte formel, l'usage "transgresse la règle de cooccurrence", est dit *marqué*. D. HYMES, Foundation in Sociolinguistics, op.cit., p. 111. Voir également M. SCHOCH, op. cit.
37. Beaucoup moins fréquente dans la langue d'aujourd'hui, la forme de P2 est néanmoins restée vivante avec un statut quelque peu marginal: G. STONE (op.cit.) la définit comme "compromise singular", "nowadays definitively non-standard". P2 est d'ailleurs loin d'être la seule forme "traditionnelle" de *La Poupée*. En est un exemple l'expression *dobrodziej*, *dobrodziejka* qui peut, soit remplacer, soit simplement suivre *pan/pani* (et qui se traduirait un peu comme en allemand "Gnädiger Herr", "Gnädige Frau"). A connotation légèrement désuète à l'époque, semble-t-il, elle est pourtant encore bien utilisée, si l'on en croit le corpus. *Dobrodziej*, *dobrodziejka* étaient la formule consacrée, avec *mości dobrodziej* et d'autres formes, par laquelle on s'adressait la parole entre égaux de la *szlachta*. Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve cette formule dans la bouche d'un Rzecki et d'un Wirski, deux traditionnalistes qui célèbrent leur paradigme allocutoire à la manière d'un rite, dans la bouche d'un Maruszewicz à statut ambigu, dans celle du coiffeur Fitulski ou encore dans celle de l'usurier juif, S. Szlangbaum. L'allocation de type "nobiliaire" n'est en définitive que l'expression d'un privilège perdu il n'y a pas si longtemps ou simple affaire de légitimité culturelle dont des générations entières ne finiront pas de se réclamer, sous une forme ou une autre.
38. E. GOFFMAN, Les rites d'interaction, Paris, Minuit, 1974.

К ПОНЯТИЮ ГЛАГОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Глагольное управление - чрезвычайно сложное понятие, давно и плодотворно изучаемое синтаксической теорией. Не имея возможности предпринять здесь обзор различных, часто конфликтующих точек зрения на его природу, мы коротко представим здесь только одну из них - нашу собственную. Она наиболее близка взглядам, в свое время высказанным Л.В.Щербой.¹

Ключом к понятию глагольного управления является понятие семантической валентности лексемы, которое в свою очередь связано с понятием ее толкования. Не входя в подробности теории лексико-графических толкований², заметим, что под толкованием глагольной лексемы мы будем понимать выполненное на стандартизованном семантическом языке полное и не избыточное описание ситуации, которая ею обозначается. Описать ситуацию исчерпывающим и неизбыточным образом значит назвать всех ее участников и только их, указав все и только свойства каждого участника и отношения между ними.

Рассмотрим в качестве примера лексику *прибивать* I, ср. *Дядя прибил картину к стене, Он прибивал доски топором, Сапожник прибивал подметку деревянными гвоздями и т.п.*

В ситуации прибивания, как можно судить по нашим примерам, имеется пять участников (актантов): 1) тот, кто прибивает (U, субъект); 2) то, что прибивают (W, объект); 3) то, к чему прибивают (X, второй объект и одновременно место - синкретичное выражение одной и той же формой сразу двух валентных значений); 4) то, с помощью чего прибивают (Y, инструмент); 5) то, посредством чего прибивают (Z, средство)

У участников этой ситуации имеются следующие свойства: U - существо или целесообразно действующий автомат; W и X - предметы (материальные тела, имеющие постоянную форму); Y - твердый, достаточно компактный предмет; Z - твердые предметы, достаточно небольшие и острые для того, чтобы проникать внутрь других предметов.

Участники ситуации связаны следующими отношениями: U ударяет Y-ом по Z-у, в результате чего Z проникает насквозь через W и углубляется внутрь X-а, в результате чего W начинает держаться на X-е.

Легко убедиться, что все упомянутые выше участники, все их

свойства и связывающие их отношения действительно необходимы, чтобы можно было бы говорить о ситуации прибивания. Сравним, напр. *прибивать*, *приклеивать*, *прикреплять* и *прилипать* по составу актантов. В ситуации приклеивания, в отличие от ситуации прибивания, принимают участие четыре актанта - субъект, объект, объект-место и средство (скрепляющее вещество типа клея, смолы и т. п.). Хотя в процессе приклеивания мы можем использовать инструмент (например, кисточку), этот актант не является обязательным. Ситуация прикрепления предполагает всего трех обязательных участников - субъект, объект и объект-место. Ни инструмент, ни средство не являются необходимыми. Наконец, в ситуации прилипания участвуют лишь субъект и объект-место, а другие участники не только не обязательны, но совершенно невозможны. На этом фоне становится вполне очевидным, насколько существенны для ситуации прибивания все пять актантов. Если бы в описании этой ситуации мы не упомянули хотя бы одного из них, у нас получилось бы описание другой, может быть, схожей, но не совпадающей с прибиванием ситуации. Те же рассуждения применимы, *mutatis mutandis*, и к глаголам *приклеивать*, *прикреплять* и *прилипать*.

С другой стороны, нетрудно видеть, что названные нами пять актантов *прибивать* достаточны. Действительно, ничто в ситуации прибивания не требует упоминания, например, того, по какой причине, в каком месте и в какое время оно происходило.

Будем считать, что лексема имеет семантическую валентность ('X'), если в толковании этой лексемы упоминается имя X обязательного участника обозначаемой ею ситуации. В рассмотренном выше примере такими семантическими валентностями являются валентности субъекта, объекта, объекта-места, инструмента и средства. Каждой семантической валентности соответствует переменная в толковании лексемы.

По-видимому, валентные свойства слов таких языков, как русский, можно описать в терминах нескольких десятков семантических валентностей. К перечисленным нами пяти валентностям следовало бы добавить валентности контрагента (*защищаться* → *от собаки*), содержания (*думать* → *о прошлом*), адресата (*сообщать* → *собравшимся*), получателя (*давать* → *детям*), посредника (*передать* → *через секретаря*), источника (*брать* → *в кассе взаимопомощи*), места (*находиться* → *в лесу*), начальной точки (*выйти* → *из дома*), конечной точки (*везти* → *в город*), маршрута (*идти* → *по дороге*), способа (*воспринимать* → *как должное*), условия (*соглашаться* → *если*), мотивировки (*награждать* → *за храбрость*), причины (*проистекать* → *из-за отсутст-*

вия информации), результата (превращаться → в лед), цели (стремиться → к общему благу), аспекта (превосходить → по количеству), количества (перевыполнять → на 40 процентов), срока (арендовать → на год), времени (родиться → второго мая) и некоторые другие.

Каждая семантическая валентность в каждом языке имеет одну типичную форму выражения. Так, субъект в русском языке выражается именительным падежом существительного, объект - винительным, адресат и получатель - дательным, инструмент и средство - творительным, место - предложным с локативными предлогами, содержание - винительным и так называемым предложным изъяснительным (о ком-чем-л.), мотивировка - винительным с предлогом за и т.п. Существование таких связей между семантическими валентностями и формами их выражения придает различным видам управления определенную мотивированность и даже позволяет довольно уверенно судить о семантическом классе глагола по свойственным ему видам управления. Не следует, однако, переоценивать этих мотивированных связей между типом семантической валентности и формой ее морфологическо-синтаксического выражения.

Одним из самых любопытных случаев отсутствия мотивированной связи между семантической валентностью и формой ее выражения является принципиальная невыразимость валентностей некоторых слов. В качестве примера можно привести глагол *промахнуться*, описывающий ситуации с числом актантов от двух до четырех; ср. ситуацию стрельбы, в которой участвует субъект (стрелок), объект (цель), инструмент (оружие) и средство (пули, стрелы и т.п.). В идеале глагол *промахнуться*, обозначающий ситуацию неудачной стрельбы, должен был бы иметь те же четыре семантические валентности. Они в действительности у него есть, однако в семантически и стилистически нейтральных утвердительных контекстах нормально выразима только одна из них - валентность субъекта, ср. *Охотник промахнулся, но не ?Охотник промахнулся в тигра, ?Охотник промахнулся из дробовика, ?Охотник промахнулся дробью.*

Отсутствие мотивированной связи между типом семантической валентности и формой ее выражения проявляется, с другой стороны, в поразительном разнообразии морфологическо-синтаксических форм выражения одной и той же валентности в масштабе всего словаря. Это разнообразие имеет два основных источника - синтаксический и лексический. Начнем с первого из них.

В современной синтаксической теории имеется понятие именной группы³, под которой понимается существительное или любое другое слово или группа слов, которые способны выполнять в предложении синтаксические функции существительного. В русском языке к их числу относятся, помимо собственно существительного, а) местоимения типа *я, он, все, всё, кто, что, кто-то, некто, что-нибудь, что-либо* и т.п.; б) так называемые элективные конструкции, главным членом которых может быть не только существительное, но и прилагательное или числительное, ср. *Я видел лучшую из наших спортсменок, Он решил две из тридцати одной проблемы Гильберта*; в) количественные конструкции, ср. *Я прочел пять книг Рассела*; г) так называемые аппроксимативно-количественные конструкции, ср. *Противник сконцентрировал там до роты солдат (от двух до трех батальонов мотопехоты, более пяти танковых дивизий)*; д) конструкции с распределительным *по*, ср. *Я прочел по одной книге каждого из этих авторов*.

Как видим, все перечисленные именные группы, весьма разнообразные по составу частей речи и падежному оформлению, способны реализовывать семантическую валентность объекта, хотя чаще всего она выражается существительным в винительном падеже. Уже эти примеры показывают, что обычное определение управления как такого вида связи, при котором зависимым всегда является существительное, личное местоимение или субстантивированное прилагательное в определенном падеже, требуемом главным словом, не учитывает многих важнейших случаев употребления сильноуправляющих глаголов.

Другим источником разнообразия форм выражения одной и той же семантической валентности является, как было сказано выше, лексический фактор. В качестве примера мы продолжим рассмотрение валентности объекта. Вот приблизительный и, видимо, неполный перечень возможных форм ее выражения при разных лексемах:

Сущ_{род}: *набрать цветов* (ср. *набрать букет цветов*), *касаться кого-л.*; вокруг + Сущ_{род}: *обойти вокруг дома* (ср. *обойти дом*); до + Сущ_{род}: *до-тронуться до чьих-л. волос* (ср. *тронуть волосы*); из + Сущ_{род}: *Из этого отреза выдет два платья, Бензин получается из нефти*; с + Сущ_{род}: *строго спросить (взыскать) с кого-л.* (ср. *наказать кого-л.*); у + Сущ_{род}: *спросить у учителя, выиграть у чемпиона* (ср. *обиграть чемпионка*); Сущ_{дат}: *подражать брату* (ср. *имитировать кого-л.*), *уступить кому-л. в споровке* (ср. *превосходить кого-л.*), *никому не спускать* (ср. *никого не прощать*), *прислуживать гостям* (ср. *обслуживать гостей*), *выговаривать детям за опоздание* (ср. *ругать детей за опоздание*);

к + Сущ_{дат}: прибегнуть к шантажу (ср. использовать шантаж), сводиться к следующему; по + Сущ_{дат}: тосковать по родителям, стрелять по окнам (ср. обстреливать окна); в + Сущ_{вин}: верить в своих детей, попасть в цель (ср. поразить цель); за + Сущ_{вин}: задеть за планку (ср. задеть планку), переживать за кого-л. (ср. переживать чью-л. неудачу); на + Сущ_{вин}: давить на корпус судна (ср. сдавливать корпус судна), влиять на его решение (ср. изменить его решение), смотреть на картину (ср. рассматривать картину), ни на что не рассчитывать; о + Сущ_{вин}: опереться о стену; через + Сущ_{вин}: перепригнуть через ров (ср. перепригнуть ров); Сущ_{тв}: торговать книгами (ср. продавать книги), сорить деньгами (ср. проматывать деньги), двигать посудой по столу (ср. двигать посуду по столу), заниматься биологией (ср. изучать биологию), заведовать отделом, командовать полком (ср. возглавлять отдел), пользоваться цитатами (ср. использовать цитаты)⁴; за + Сущ_{тв}: следить за поведением муравьев (ср. наблюдать поведение муравьев), смотреть за порядком (ср. поддерживать порядок), угаживать за стариком (ср. опекасть старика); над + Сущ_{тв}: смеяться над природными недостатками (ср. высмеивать глупость), работать над диссертацией (ср. писать диссертацию), надругаться над могилами (ср. осквернить могилы); с + Сущ_{тв}: расправиться с шерифом (ср. убить шерифа), Какая беда с ним приключилась (случилась, стряслась)? (ср. Какая беда его постигла?); в + Сущ_{пр}: понимать в музыке (ср. знать музыку); на + Сущ_{пр}: отразиться (сказаться) на здоровье (ср. изменить здоровье); о + Сущ_{пр}: заботиться (думать, беспокоиться) о детях (ср. опекасть детей).

Часто даже при одной и той же лексеме возможны альтернативные и на первый взгляд очень далеко отстоящие друг от друга формы выражения определенной семантической валентности, например, сжимать рукой/в руке маузер, измерять скорость махами/в махах, развернуть роту цепью/в цепь, послать письмо почтой/по почте, обозначить неизвестную величину буквой X/через X. Богатство возможностей настолько велико, что временами трудно отделаться от впечатления (может быть, ложного), что почти любые две взятые наугад формы способны выражать хотя бы при одной лексеме любое наперед заданное валентное значение.

Итак, в общем случае одна и та же семантическая валентность выражается громадным спектром форм⁵, большинство которых семантически никак не мотивировано, "идиоматично", предопределено не типом значения, а преимущественно лексическими свойствами слова.

Установив все эти факты, мы можем охарактеризовать существо управления во всех четырех аспектах - семантическом, лексическом, синтаксическом и морфологическом.⁶ Мы будем говорить, что глагольная лексема *X* управляет непосредственно зависящей от нее единицей *Y* (словом, словосочетанием или предложением), если 1) *X* имеет семантическую валентность *p*, 2) эта валентность насыщается единицей *Y*, 3) *Y* имеет определенное (но не всегда одно и то же во всех случаях употребления *X*-а) морфологическое (падежное), морфолого-синтаксическое (предложно-падежное) или синтаксическое оформление *F* 4) выбор *F* определяется либо лексическими свойствами *X*-а (если *Y* - падежная или предложно-падежная форма слова или беспадешное слово типа наречия, сравнительной степени прилагательного, краткой формы прилагательного), либо значением самого *Y*-а (если *Y* - словосочетание со своей собственной формой или предложением)⁷.

Извлечем некоторые следствия из нашего понимания управления.

1. Управляемыми могут быть не только косвенные падежи существительного и его предложно-падежные формы, но и прямой (именительный) падеж. Действительно, он реализует семантическую валентность глагола; при этом не всякий глагол обладает способностью иметь подлежащее в именительном падеже (ср. *Хлеба жвагает всем* и другие так называемые безличные глаголы русского языка), и, следовательно, способность эта является избирательной, свойственной одним лексемам и не свойственной другим.

2. Управляемыми могут быть не только существительные с предлогами или бес предлогов, но и прилагательные, числительные и даже наречия. О прилагательных и числительных в роли управляемых мы уже говорили. Добавим к этому весьма разнообразные типы управления прилагательными, характерные для связочных глаголов, ср. *Он редко бивал веселым (весел, веселее)*, *Предложения бивают простые и сложные*, *Букем получают(входят) неровные(неровными)*, *На этой фотографии Оля получилась(вшла) намного красивее Зини*, *Сестра выглядела больной(лучше, чем вчера)*, *Небо делается светлым(светлее)*, *Внезапно ему сделалось жутко(хуже)*.

Отдельного упоминания заслуживают глаголы, управляющие наречиями. Сюда относится, прежде всего, большая группа глаголов, одна из семантических валентностей которых реализуется исключительно или преимущественно наречием, ср. *вести себя неприлично*, *поступать плохо*, *отлично выйти(получиться) на фотографии*, *относиться к кому-нибудь плохо*, *жестко обращаться с животными*,

сложиться не вполне удачно, смотреть на вещи просто. Кроме того, наречие является а) вариантом оформления валентности количества при глаголах типа *весить, стоить, продлиться, прождать* и т.п., (ср. *Рыба весит много (килограмм), Я прождал его долго (целый час)*); б) вариантом оформления валентности содержания при глаголах типа *велеть* (ср. *Так он велел - Он велел очистить помещение*), *считать* (ср. *А как вы считаете? - А что вы считаете?*), *звать* (ср. *Как его зовут? - Его зовут Иваном*); в) вариантом оформления валентности места при глаголах местоположения, валентностей начальной и конечной точек при глаголах перемещения (примеры очевидны).

3. Управляемыми могут быть целые предложения, поскольку при многих лексемах они, наравне с некоторыми более простыми синтаксическими единицами, насыщают их семантические валентности. Назовем основные случаи управления предложением: а) придаточное предложение с союзом (ср. *Родители внушали детям, что их ждет блестящая карьера; Говорят, будто вы избегаете общества; Бригадир требовал, чтобы все делалось вовремя; Я погляжу, как будут выполняться мои распоряжения; Мать беспокоилась, если (когда) девочка долго не возвращалась; Из этого следует, что он неправ; Ему снилось, будто он в Африке; Не умещается в сознании, как ты мог сделать такое*) (в последних трех предложениях реализуется первая валентность глагольной лексемы); б) придаточное бессоюзное предложение (ср. *Я думал, вы забыли меня; Слышите, в роще соловей поет; Я вышел на улицу, гляжу - едут наши.*); в) прямая речь (ср. *"Не станет он конфликтовать из-за тебя" - возразил Петр; "Безобразия!" - возмущались прохожие*); г) вопросительное предложение (ср. *Он все еще сомневался, стоит ли ему поступать в институт; Инженер задумался: нельзя ли заменить клепку сваркой?*); д) придаточное предложение с союзным словом (косвенный вопрос) (ср. *Мальчик не слышал, о чем (с кем) говорили его родители; Вспомните, где он назначил вам свидание (когда вы должны были встретиться с ним, куда он уезжал, почему вы не согласились помочь ему)*).

4. Управление нельзя считать преимущественно семантическим, глубинно-синтаксическим или поверхностно-синтаксическим явлением. Если мы хотим сохранить единое понятие управления, мы должны охарактеризовать его сразу со всех этих точек зрения. В противном случае корректнее говорить о разных видах управления - семантическом, глубинно-синтаксическом, поверхностно-синтаксическом.

Управлению глагола посвящена громадная теоретическая и лексикографическая литература. Излишне говорить, что проблема эта не ис-

черпана, и мы, естественно, далеки от мысли, что она будет исчерпана этой краткой статьей. Внимательный читатель мог заметить, сколько важных проблем было затронуто мимоходом, ушло в сноски, спрячано в подтексте или даже вообще не упомянуто. Мы будем удовлетворены, если окажется, что высказанные здесь соображения приближают нас хотя бы на один шаг к пониманию тех глубоких связей между семантическими, лексическими, синтаксическими и морфологическими свойствами слов, которые составляют существо проблемы управления.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Л. В. ЦЕРБА. О второстепенных членах предложения. В кн.: Избранные работы по языкознанию и фонетике, т. 1, Л., 1958, стр. 99.
2. См. Ю. Д. АПРЕСЯН. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. "Наука", М., 1974, стр. 56-163.
3. См. И. А. МЕЛЬЧУК и Н. В. ПЕРЦОВ. Модель английского поверхностного синтаксиса. Перечень синтагм. - Предварительные публикации Института русского языка АН СССР, вып. 64-65, 1975, где описаны все упоминаемые ниже конструкции, кроме последней, отсутствующей в английском языке.
4. Между конструкциями *двигать посудой* - *двигать посуду* имеется следующее различие: творительным падежом перемещаемого объекта управляют глаголы со значением квантованного движения, ср. *мигать (вращать) глазами, шевелить ушами, трепетать крыльями, вертеть хвостом*. Если с таким глаголом возможен и винительный, то глагол имеет значение непрерывного перемещения: *двигать стулья к двери*.
5. Очевидно, с другой стороны, одна и та же форма может выражать весьма различные семантические валентности, так что соответственные "семантические валентности - формы их выражения" неоднозначно в обе стороны. В частности, большинство перечисленных выше форм имеет, помимо значений объекта, еще и значение инструмента, ср. *стрелять из ружья, следить в бинокль (за ходом боя), втирать ноги о половики (неподвижный, фиксированный инструмент); ср. втирать ноги тряпкой - подвижный, свободно манипулируемый инструмент), протереть овощи сквозь сито, просеять муку через решето, резать колбасу ножом, пригаты с парашютом, катать кого-л. в коляске, тереть морковь на терке (тоже неподвижный инструмент). Форма на + Сущ. ср. имеет, помимо значений объекта и инструмента, еще и значение субъекта-места (*выпускается на заводе*), средства (*жарить на масле, висеть на гвозде*), места (*жить на Кавказе*), органа (*лежать на спине*), причины (*сверкать на солнце*) и некоторые другие.*
6. Подчеркнем, что даваемая ниже формулировка - именно характеристика, а не определение, и не только потому, что она касается лишь глагольного управления (это легко поправить), а главным образом потому, что не охватывает одного периферийного, но теоретически исключительно важного случая, когда управляемая глаголом именная группа представляет семантическую валентность одного из актантов глагола, а не его самого, или вытесняется из своей исконной позиции своим семантическим актантом, ср.

У него вскнуло сердце, Мальчик посмотрел волку в глаза, Книга пленила его юмором и т.п.

7. Традиционно считается, что способ оформления Y -а может определяться и грамматическими свойствами X -а, ср. дательный падеж при инфинитиве (*Вить грозе*) и родительный при сравнительной степени прилагательного или наречия. Мы в обоих этих случаях усматриваем другие, отличные от управления явления.

О СЕМАНТИКЕ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ *ВОСПРИНИМАТЬ*, *ОЩУЩАТЬ* И *ЧУВСТВОВАТЬ*

Как известно, одна из актуальных задач современной лингвистической семантики состоит в выявлении инвентаря элементарных смыслов, — таких далее неразложимых смыслов, с помощью которых можно описывать смыслы любых выражений естественных языков. Среди кандидатов в этот инвентарь в ряде работ фигурируют смыслы 'воспринимать' (Апресян 1969:416) и 'чувствовать' (Апресян 1969:416 ; Wierzbicka 1972:16). Однако элементарность этих смыслов гораздо менее очевидна, чем, например, элементарность смысла 'хотеть'. В данной статье предпринята попытка разложить указанные смыслы, т.е. описать их через другие смыслы. Точнее говоря, здесь будут предложены толкования трех русских глаголов — *воспринимать*, *ощущать* и *чувствовать*. При этом мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшие семантические исследования могут отвергнуть самую необходимость некоторых из этих толкований. Дело состоит в следующем.

Смысл названных глаголов описывается здесь с использованием смыслов, соответствующих определенным "компонентам" человека, а именно компонентам 'разум', 'душа', 'тело', 'зрение', 'слух'. При желании разложить эти последние смыслы на более простые мы убеждаемся в том, что это очень не просто, и не исключено, что для некоторых из них это не удастся без использования смыслов 'воспринимать' и 'чувствовать'. В таком случае, чтобы избежать логического круга в толкованиях, придется решать, какие же смыслы считать элементарными — типа 'разум', 'душа' (и тогда 'воспринимать' и 'чувствовать' толковать через них) или типа 'воспринимать', 'чувствовать' (и тогда эти последние использовать в толковании названий компонентов человека). Однако, хотя необходимость толкований рассматриваемых глаголов в некоторых значениях остается проблематичной, тем не менее они полезны для окончательного решения вопроса о том, какие смыслы слов указанного круга являются элементарными, так как эти толкования в явном виде фиксируют, во-первых, наличие разных значений у каждого из этих глаголов (и среди этих значений есть явно неэлементарные) и, во-вторых, интуитивно ощущаемые смысловые связи между словами, обозначающими восприятие или его виды, с одной стороны, и словами, обозначающими компоненты человека, с другой. В частности, наши толкования отражают то, что 'чувствовать' и 'ощущать' есть частные виды 'восприятия' (как и 'видеть', 'слышать', 'осознать'), характеризующиеся определенными воспри-

нимающими компонентами (круг которых у 'ощущать' уже, чем у 'чувствовать', и у обоих этих смыслов шире, чем у 'видеть', 'слышать' и 'осознать').

Данные ниже толкования построены в соответствии с принципами, принятыми в толково-комбинаторном словаре современного русского языка. (Жолковский-Мельчук 1966; Апресян-Mel'čuk-Žolkovskij 1969).

Что касается представленного здесь разграничения значений рассматриваемых глаголов, то, хотя сам факт многозначности этих глаголов не вызывает сомнений, мы не настаиваем на окончательности именно данного разграничения. В некоторых случаях разность значений одного глагола представлялась очевидной (например, в выражениях *чувствовать удар* и *чувствовать страх*). В более трудных случаях предпринимались во внимание синтаксические различия (разное управление), различия в лексической сочетаемости, аналоги со значениями слов того же словообразовательного гнезда, а также предложенный Ю.Д.Апресяном (Апресян: 1967:79-82; Апресян 1974:84,85,186) критерий совместимости при одном и том же глаголе двух контекстов, типичных для гипотетически разных его значений. Указанная совместимость свидетельствует в пользу объединения рассматриваемых употреблений в одно значение (например, наличие предложений типа *И чувствует пупки и силу, и радость* [А.С. Пушкин], доказывающие совместимость выражений типа *чувствовать силу*, где *чувствовать* обозначает физическое состояние, и типа *чувствовать радость*, где *чувствовать* означает эмоциональное состояние, подталкивает к объединению "физического" и "эмоционального" *чувствовать* в одно значение).

х х х

Каждый из трех глаголов представлен здесь во всех своих значениях. Порядок описания каждого значения таков: номер значения, языковые примеры, толкование и пояснения к нему. В том, как нумеруются значения, отражается их иерархия: далекие друг от друга значения нумеруются разными римскими цифрами, близкие значения - разными арабскими цифрами при одной и той же римской. В примерах описываемые глаголы фигурируют и в несовершенном, и в совершенном видах; семантические различия, обусловленные различием видов, игнорируются.

ВОСПРИНИМАТЬ

I. Сначала мы воспринимаем действительность нашими органами чувств. Дети многое воспринимают интуицией, а не разумом. Искусство... - это перераспределение человеком в эстетических целях действительности, воспринимаемой чувствами или разумом [Жд.Джойс]. Я воспринимаю современную музыку с трудом. Поэт воспринимает себя в истори-

ческом контексте. Бывают такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а, оказывается, в кит-то самая радость и была [С. Фицджеральд].

X воспринимает Y Z-ом = 'X получает информацию об Y-е в результате непосредственного воздействия Y-а или связанных с Y-ом фактов на компонент Z X-а или компонент, соответствующий способности Z X-а'.

1) Это толкование очень близко к предложенному А. Вежибицкой толкованию польских слов *ostrzegać* и *receptercja*, обозначающих 'воспринимать' и 'восприятие': 'узнать об Y-е в результате контакта с Y-ом' (Więzbińska 1969:30). Однако мы вводим в смысл 'воспринимать I' еще тот компонент живого существа, на который непосредственно воздействует Y.

2) Z-ом при *воспринимать I* может быть не только компонент существа - часть тела (*воспринимать глазами*) или какая-нибудь духовная система (*воспринимать душой и разумом*), но и некоторая способность живого существа (*воспринимать обонянием, зрением, интуицией*). Этим объясняется наличие в толковании дизъюнкция 'компонент Z X-а или компонент, соответствующий способности Z X-а'.

Важно отметить, что Z-ом для *воспринимать* может быть любой компонент или способность, в том числе разум, зрение, глаза, слух, уши (см. примеры выше), которые невозможны, как будет показано ниже, при *ощущать* и *чувствовать* (кроме *чувствовать I.3*).

3. Дизъюнкция 'Y или связанные с Y-ом факты' введена в связи с выражениями типа *воспринимать время, воспринимать единство мира*. *Время* и *единство мира* - это абстракции и, следовательно, они не могут воздействовать ни на какой компонент живого существа; воздействовать могут только те или иные конкретные появления времени или единства мира, X воспринимает время значит 'X получает информацию о времени в результате непосредственного воздействия фактов, связанных со временем, на какой-то компонент X-а'.

4) Выражения типа *Человеческое [X] ухо [Z] не воспринимает ультразвук [Y]* равнозначны выражениям типа *Человек [X] не воспринимает ультразвук [Y] ухом [Z]* и различаются эти типы только синтаксическими ролями одних и тех же семантических актантов. (Такие различия представляются в толково-комбинаторном словаре как разные синтаксические модификации слова в определенном значении).

II. Она восприняла эту новость слишком горячо (жиднокровно, равнодушно, с абсолютным спокойствием). Он воспринимает события в Чили как личную трагедию.

X воспринимает Y Z-ого = 'X реагирует на воспринятый I им Y Z-ого'.

Различение первого и второго значений подкрепляется тем, что от воспринимать I соответствующее существительное (восприятие) образуется, а от воспринимать II - нет (невозможно, например, * равнодушное восприятие им этой новости).

III. Ребенок быстро воспринимает все хорошее. Они восприняли все ценные традиции классической литературы.

X воспринимает Y = 'X усваивает воспринимаемый I им Y'

ОЩУЩАТЬ

I.1. Он ощущает укол (аромат и сочность яблока). Она ощутила губами нежную шероховатость персика. Я ощутил, как чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Она встала и вышла на веранду, босыми ступнями ощущая тепло неостывшего за ночь камня [С. Фицджеральд]. Тело ощущает холод. Спина сразу же ощутила, как тяжела ноша.

X ощущает Y Z-ом = 'X воспринимает I Y своим телом или компонентом Z своего тела, не являющимся органом зрения или слуха'.

1) То, что про процессы зрительного или слухового восприятия нельзя сказать *ощущать*, доказывается невозможностью выражений типа *ощущать предмет зрительно, *ощущать его голос, *ощущать глазами (зрением, слухом). Предложения типа Она ощущала белизну цветка подтверждают исключение зрения и слуха, так как данное предложение понимается только в том смысле, что речь идет о женщине, которая, по-видимому, будучи слепой, одарена необычайным осязанием, с помощью которого она воспринимает не саму белизну, а присущие ей тактильные свойства. Ср. еще Она слушала [не *ощущала] звуки его голоса, видела [не *ощущала] его лицо и игру выражения, ощущала его руку [Л. Н. Толстой].

Интересно, что в данном случае "наивное", отраженное в семантике представление о различии между обонянием, осязанием и вкусом, с одной стороны, и зрением и слухом, с другой, совпадает с научным представлением: в физиологии зрение и слух считаются наиболее сложными формами физического восприятия. Это различие отражается в языке еще и в направлении метафорических переносов: как отмечает С. Ульман (Ullmann 1951:280-284), для многих естественных языков типично присвоение осязаемых, обоняемых и вкусовых свойств тому, что воспринимается только зрением или слухом, но не наоборот (ср. *теплый/холодный цвет, сладкий голос, кислый вид*).

2) Для *ощущать* I.1. воспринимающий компонент не обязательно является обонянием, осязанием или вкусом; им могут быть, так сказать, "внутренние" органы чувств. См. *На высоте 4 км начинаешь ощущать недо-*

статок кислорода или Все ощутили, что самолет начал набирать высоту (что поезд пошел быстрее).

2. Она спиной ощущала косые взгляды. Я ощущаю какую-то перемену в его настроении. К начинающим поэтам была добра и терпелива, лишь бы ощущала в них... "искру божью" дара [А.Эфрон]. Я ощущала себя сопричастной событиям поэмы - да что там сопричастной! - тем самым "пажем молодым" ощущала я себя, который "уж в бездне пропал" [А.Эфрон].

X ощущает Y Z-ом (W-том) = X воспринимает I Y W-том, как бы ощущает I.1. Y Z-ом'.

1) Данное значение является переносным. Невозможно ощущать I.1., т.е. воспринимать I телом, перемену в настроении какого-то человека или искру божью дара, спиной нельзя воспринимать I косые взгляды и т.д. Все это воспринимается как-то иначе, например, с помощью интуиции или разума, но состояние воспринимающего при этом похоже на его состояние при физическом ощущении им чего-то.

2) Особый интерес представляют фразы, где указывается реальный, а не образный (Z), воспринимающий компонент W (кстати, актанты Z и W одновременно не выражаются). Рассмотрим предложение Я ощущаю мягкость ткани на глазах. Может возникнуть впечатление, что это предложение опровергает правомерность исключения нами зрения из значения ощущать I.1. Однако это неверно. Здесь имеется в виду ситуация, когда человек воспринимает зрением проявления мягкости ткани и благодаря этому как бы ощущает I.1. саму мягкость. Это предложение значит 'Воспринимаемая I проявления мягкости ткани глазами (W), я как бы ощущаю I.1. мягкость'. Аналогично следует трактовать предложение X интуитивно ощущает Y: воспринимаемая I Y интуицией, X как бы ощущает I.1. Y'.

II. Я ощущаю голод (усталость, радость, тревогу, пустоту в душе)

X ощущает Y = X находится в состоянии Y и воспринимает I Y своим телом'.

1) Союз 'и' показывает равноправие связываемых им смысловых компонентов. Отрицание при ощущать II может относиться и к первому и ко второму компоненту. Так, предложение Она работала весь день, но не ощущала усталости может быть понято как '...но она не находилась в состоянии усталости' и как '...но она не воспринимала свою усталость'. Вторая интерпретация (которая может показаться искусственной) становится единственной, например, при следующем продолжении текста: Свою усталость она почувствовала позже, когда вернулась домой.

2) Теперь обратим внимание на компонент 'телом' (...воспринимает I Y телом'). Он введен для описания смыслового отличия выражений типа ощущать страд (ненависть, радость) от имеющих более широкое значение

чувствовать страх (ненависть, радость). Ощущать радость, в отличие от чувствовать радость, значит радоваться и воспринимать "физическое сопровождение" радости, т.е. соответствующие этой эмоции физические реакции.

ЧУВСТВОВАТЬ

1.1. Он чувствует прикосновение (запах, горечь напитка, недостаток кислорода). Почувствовав в руках оружие, он словно стал другим человеком. И вдруг я чувствую твоё дыхание, слезы И влажный поцелуй на пламенном челе [А.С.Пушкин]. Всем своим существом (шестым чувством, интуитивно) он чувствовал, что пора действовать. Умалчивал я только об Эмми, инстинктивно (подсознательно) чувствуя, что та не может быть в ее вкусе. Я всей душой чувствую, что ты замечательно справишься с этой задачей. Она спиной чувствовала сквозняк. Рука до сих пор чувствует удар. Сердце чувствует беду.

X чувствует Y Z-ом = 'X воспринимает Y своим компонентом Z, не являющимся ни разумом, органом зрения или слуха'.

Таким образом, чувствовать I.1. имеет более широкое значение, чем ощущать I.1.: у чувствовать I.1. воспринимающим компонентом могут быть не только компоненты тела (кроме органов зрения или слуха), но и такие "мистические" компоненты, как душа, интуиция, подсознание и инстинкт. С другой стороны, чувствовать I.1. уже по значению, чем воспринимать I.: 'чувствовать I.1.' - это не рациональное, не зрительное и не слуховое восприятие.

1.2. Она спиной чувствовала косые взгляды. Я чувствую мягкость этой ткани на глаз. Он на слух чувствовал, что мотор неисправен. Я просто физически чувствую недостаток книг.

X чувствует Y Z-ом (W-том) = 'X, воспринимая Y W-том, как бы ощущает I.1. Y Z-ом' (точный синоним к ощущать I.2.).

К этому значению мы относим чувствовать в таких предложениях, где воспринимающий компонент (Z) неадекватен воспринимаемому Y: в действительности нельзя воспринять мягкость глазами, взгляд - спиной и недостаток - телом.

Отметим различие трактовки значений глаголов ощущать и чувствовать в предложениях типа Все ощущают эту потерю, Все чувствуют эту потерю, Он интуитивно ощутил перемену в ее настроении, Он интуитивно почувствовал перемену в ее настроении. Поскольку чувствовать I.1. включает в себя "мистическое" восприятие, можно считать, что в указанных предложениях чувствовать выступает в прямом значении, а именно в значении I.1. Что же касается глагола ощущать в данных выше предложениях,

его значение можно трактовать только как переносное (I.2.).

I.3. *Марина тонко чувствует язык (поэзию, красоту). Опытный водитель, он хорошо чувствовал машину. Грех ему не чувствовать Баратинского* [А.С. Пушкин].

X чувствует Y = 'X способен воспринимать I неясные свойства Y-а некоторым своим компонентом, не являющимся разумом',

Ср. бесспорное наличие такого же значения у существительного *чувство*, имеющего в этом значении богатую специфическую сочетаемость (например, *И здесь ей не изменило чувство меры, Он совершенно лишен чувства юмора (ритма), Она обладает врожденным чувством изящного и т.д.*)

II. *Кто чувствовал, того тревожит Призрак невозвратных дней... В младенчестве моем я чувствовать умел... И жить торопится, и чувствовать спешит. Все снова расцвело! Я жизнью трепетал, Природы вновь восторженный свидетель, Живее чувствовал, свободнее дышал* [А.С.Пушкин].

X чувствует = 'X реагирует на воспринимаемое I им окружающее душой.'

1) Отметим различие значений у *чувствовать* в следующих фразах: *Я душой чувствую, что это обман* (значение I.1.: речь идет о восприятии обмана душой) и *В юности мы чувствуем сильнее* (значение II: имеется в виду душевная реакция на воспринимаемое I окружающее, причем то, посредством чего воспринимается I окружающее, не играет никакой роли).

2) Целесообразность выделения этого значения подкрепляется синтаксическими особенностями соответствующих употреблений глагола *чувствовать*: отсутствием характерного для других значений управления вин. и твор. падежами; специфической лексической сочетаемостью (ср. *сильно (живо, глубоко) чувствовать*) и наличием соответствующих значений у производных слов: точно такого же значения у существительного *чувство* (ср. *подчинять чувства разуму, от избытка (полноты) чувств*; *Нет, рано чувства в нем остили;*... *напрасно чувство возбуждал я* [А.С. Пушкин]) и значения 'способный чувствовать II' у прилагательного *чувствительный* (Ф. *Вы слишком чувствительны!*, *чувствительное сердце; Мое ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во времена Ужаса?* [А.С.Пушкин]).

III. *Чувствовать усталость (голод, страх, радость)*.

X чувствует Y = 'X находится в состоянии Y и воспринимает I Y'.

1) Все, что было сказано выше о равенстве компонентов, связываемых союзом 'и', в толковании *ощущать II*, относится и к толкованию *чувствовать III*. Обратим внимание на то, что единственное различие этих толкований состоит в наличии/отсутствии компонента 'телом' при воспринимать I'.

2) Как и в *ощущать II*, мы объединили в *чувствовать III* восприятия

и физических и эмоциональных состояний. На такое объединение накладывают (это уже отмечалось в начале статьи) предложения типа *И чувствует путник и силу, и радость*, где одновременно реализуются и "физический" и "эмоциональный" смыслы. Возможно, правда, следующее возражение. Важность компонента 'воспринимает I свое состояние' очевидна для физических состояний (см. соответствующие примеры к *ощущать II*, заменив *ощущать* на *чувствовать*) и неочевидна для эмоциональных, поскольку свои эмоции человек воспринимает всегда. Другими словами, наличие семантического различия между выражениями *Он устал* и *Он чувствует усталость* более очевидна, чем между выражениями *Он радуется* и *Он чувствует радость* (ср. более явное смысловое различие между выражениями *Он радуется* и *Он ощущает радость*, отраженное благодаря наличию в *ощущать II* компонента 'телом'). Мы предпочитаем, однако, не делить из-за этого *чувствовать III* на "физическое" и "эмоциональное", а считать, что между *Он радуется* и *Он чувствует радость* есть семантическое различие. При переходе же от смысловой записи к более глубокому уровню, уровню непосредственного представления денотата, это различие должно исчезнуть как избыточное - в силу следующей "аксиомы действительности": человек всегда воспринимает любое свое эмоциональное состояние (об "аксиомах действительности" см. в Машинный перевод 1964). Данная ситуация является еще одним примером того, как при учете различия смысловой и энциклопедической информации семантическое описание может быть более экономным.

х х х

Все выделенные значения каждого из трех описанных глаголов имеют один нетривиальный общий элемент - воспринимать I, и это дает возможность рассматривать многозначность каждого глагола как полисемию, а не омонимию.

х х х

Для совершения этой работы очень полезными были обсуждения на заседаниях группы структурной типологии ЛО Института языкознания АН СССР и группы АП Информэлектро. Рукопись данной статьи была прочитана Ю.Д.Апресяном, И.М.Богуславским, А.К.Жолковским и И.А.Мельчуком, высказавшими ряд важных замечаний и предложений. Автор глубоко признателен названным коллективам и лицам.

Литература

- Апресян 1967: Апресян Ю.Д., Экспериментальное исследование русского глагола, Москва, 1967.
Апресян 1969: Апресян Ю.Д., О языке для описания значения слов, "Известия АН СССР, серия литературы и языка", XXVIII, 1969, вып. 5.

- Апресян 1974: Апресян Ю.Д., Лексическая семантика, Москва, 1974.
- Aprésyan-Mel'čuk-Žolkovskiy 1969: Aprésyan Yu.D., Mel'čuk I.A., Žolkovskiy A.K., Semantics and lexicography: towards a new type of unilingual dictionary, "Studies in syntax and semantics", Reidel, Dordrecht, 1969.
- Жолковский-Мельчук 1966: Жолковский А.К., Мельчук И.А., О системе семантического синтеза. I. Структура словаря, "Научно-техническая информация", 1966, № 11.
- Машинный перевод 1964: "Машинный перевод и прикладная лингвистика", 1964, вып. 8.
- Ullmann 1951: Ullmann S., The Principles of Semantics, Glasgow, 1951.
- Wierzbicka 1969: Wierzbicka A., Dociekania semantyczne, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969.
- Wierzbicka 1972: Wierzbicka A., Semantic Primitives, Athenäum Verlag, 1972.

Nils B. THELIN (Oldenburg)

RUSSIAN CONJUGATION: ALTERNATIVE HYPOTHESES AND THEIR EMPIRICAL
VALUE IN THE LIGHT OF A PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT^{*)}

As is well-known, word structure in Slavic languages is characterized by a relatively high degree of syntheticity. The Russian verb with its complex morphological and morphonological structure can here serve as an illustrative example. In this complexity one can also see one of the reasons for those conflicting theoretical conceptions which have up to now existed in descriptions of the conjugation and - intimately connected with it - the stem formation of the Russian verb.

Let us scrutinize here some alternative models of the most common type of the so-called e-conjugation, i.e. the type *čitat'* (cf. Thelin, 1975):

ALTERNATIVE I. This alternative - hitherto the predominant one - has proceeded from the idea of two alternating stem formation suffixes -a- and aj-. The 'two-stem-theory' implicit here has been represented by, for example, Bielfeldt(1952), Vinokur (1959), Vinogradov et.al. (1960), Isačenko (1962), Golianov (1967), Townsend (1968), Worth (1968), Švedova (1970), Lopatin (1975), Lunt (1975). Consider:

- (1) a. 'Infinitive stem' - čit+a- (cf. *čitat'*; *čitaj*, etc.)
b. 'Present stem' - čit+aj- (cf. *čitaju*, *čita(j)eš'*;
čitaj; *čitaja*, etc.)
c. To the 'present stem' one has added the following system of endings:

Sg. 1. -u	Pl. 1. -em
2. -eš	2. -ete
3. -et	3. -ut

In some descriptions (cf. Panov, 1966; Townsend, 1968; Švedova, 1970), in the 2nd and 3rd person singular and the 1st and 2nd person plural we encounter instead the endings:

- (2) -oš, ot and -om, -ote, respectively.

Jakobson (1948) and Halle (1963), who represent a special type of 'one-stem-theory' (compare Alternative IV below), postulate a special present stem element or thematic vowel -o- (alternating with -i- in unstressed position) between the stem formation suffixes and the personal endings:

- | | | |
|-----|---------------|--------------------|
| (3) | Sg. 1. -o/i+u | Pl. 1. -o/i+m |
| | 2. -o/i+š | 2. -o/i+t'e |
| | 3. -o/i+t | 3. -u+t (Jakobson) |
| | | -o/i+ut (Halle) |

In the 3rd person plural Jakobson treats -u- as a thematic vowel. To the thematic element he ascribes generally present meaning but in the 3rd person plural number meaning as well. According to Jakobson the distinction between singular and plural is here expressed by the thematic vowel. Halle does not make such a distinction. Both scholars delete the thematic vowel before vocalic endings with the aid of the so-called vowel truncation rule (consider the 1st person singular and with Halle the 3rd person plural, as well).

For a detailed criticism of the so-called o-solution (which presupposes an $o \rightarrow e$ or $o \rightarrow i$ rule in unstressed position) and a presentation instead of arguments for an e-solution (with a corresponding $e \rightarrow o$ rule for stressed position), see Thelin (1975).

ALTERNATIVE II. If Alternative I can be said to express an 'item-and-arrangement' type of description, Alternative II can be said to represent an 'item-and-process' type of description. The latter alternative, presented in Thelin (1975), proceeds from o n e stem:

- (4) a. One stem: čit+a-
- b. There are postulated further a thematic vowel -e- and an epenthesis rule inserting /j/ between the stem vowel and the thematic vowel:
- $$\text{čit+a+e-} \rightarrow \text{čit+a+j+e-}$$
- c. The system of endings is the same as with Halle (see above); vowel before vowel is deleted in accordance with Jakobson and Halle:
- $$\text{čit+a+j+e+u(t)} \rightarrow \text{čit+a+j+u(t)}$$

The postulation of a /j/-epenthesis rule has some support in the idea that /j/ in the present conjugation fulfills rather a connecting function (*soedinitel'naja funkcija*) between stem and ending (cf. Tichonov, 1970, 192). In a similar way Panov (1966, 69) characterized

this /j/ as an 'interfix'. Maslov (1968) speaks of this /j/ on the one hand as an 'intermediary element' (*promedžutočnyj element*) but tends on the other hand to refer the latter rather to the ending than to the stem (cf. op.cit., 49, 53, 59, 62). For Slovak Horecký (1964, 68) operates with what he calls *interfigovanô morfy* in cases like:

(5) *vracajú, kupujem*

ALTERNATIVE III

(6) a. One stem: čit+a-

b. Personal endings	after vowel:	after consonant:
	(čit+a-) -ju	(lez+Ø-) -u
	-ješ	-eš
	-jet	-et
	-jem	-em
	-jete	-ete
	-jut	-ut

This alternative may appear 'uneconomic' but is evidently supported by Russian orthography: consider -y/-ю, -yт/-ют and the orthographic rule according to which the grapheme *e* after vowels symbolizes the combination of the phonemes /j/+e/. In this alternative, which coincides with the most common type of description in Russian school-grammars, we saw in our monograph on the Russian verb (cf. Thelin, 1975) the best prospects of obtaining support in future psycholinguistic experiments.

It by Maslov (1968), such an interpretation has a correspondence in, for example, Maretić's description of the Serbo-Croat conjugation:

(7) čū-jem, čū-ješ, etc.

The examples of an analogical expansion of /j/ in the 3rd person plural in Slovene adduced by Maslov (1968, 59) add support to such an interpretation; consider, for example:

(8) not only *delajo*, but also *nesejo*, *gorijo* (along with the obsolete *nesô*, *gorê*) and even *kupujejo*.

These three alternative models already raise the question of evaluation and its appropriate criteria. If one holds that empirical verification or evaluation should be confined to the alternative models themselves

and - at best - a general theory of grammar, and that its primary task would be to state which model makes the most far-reaching generalizations, then one would probably prefer Alternative II: this alternative postulates only one stem and one system of endings; the postulation of a special thematic vowel is further motivated by the admittedly restricted but nevertheless frequent athematic type of conjugation:

(9) *dam, daš', dast, (j)em, (j)eš', (j)est*

In Alternative II the appearance of /j/ is predictable between vowels. Now, if one proceeds solely from the criterion of maximal generalization or simplicity, one must in certain cases face solutions which certainly answer to this criterion but at the same time obviously contradict linguistic intuition. This, we hold, is the case with, for example, the following solution:

ALTERNATIVE IV (suggested by Herbert Coats in a discussion).

- (10) a. One stem: $\check{c}it+aj-$
b. Deletion of /j/ before consonant: $\check{c}it+aj+l- \rightarrow \check{c}it+a+l-, etc.$
c. Endings according to Alternative II
d. /e/-epenthesis rule: $\check{c}it+aj+\xi \rightarrow \check{c}it+aj+e+\xi, etc.$

The epenthetical treatment of /e/ has a correspondence with Trubeřzkoy (1934, 14) who called it 'connecting morpheme' ('Verbindungsmorphem'). Alternative IV corresponds in its parts a. and b. to the descriptions suggested by Jakobson (1948) and Halle (1963).

The system-inherent or hermeneutic approach to empirical evaluation is an expression of what has been named "autonomous linguistics". Traditional structuralist linguistics (both in its taxonomic and generative-processual form) has usually confined itself to this sphere. However, if one proceeds from the fact that language is a social, psychical and physical reality, empirical evaluation could and should be given a wider scope. Under these conditions linguistics could also give a real contribution to answering the question how language is actually acquired and used. Paul Kiparsky (1968, 172) has formulated this issue in the following way:

"The process of normal language learning being unconscious, we have absolutely no ideas about the form of grammars, though we have clear ideas about the form of sentences which grammars account for. It is true that the practicing linguist soon acquires ideas about the form of grammars and such concepts as generality. But these

ideas are somehow the result of his work on languages, and we would like to know what the ideas are based on. Nor is the fact that a generalization can be stated enough to show that it is real."

The awareness of the insufficiency of the closed language model (today we would say: formal-logic language model) and the need of experimental work, already expressed by Baudouin de Courtenay (1912) and Ščerba (1931), has lately been accepted by an ever increasing number of linguists. The demand for psychologically verifiable language models and a well-founded criticism of the axiomatic character of the generative transformational grammar has been put forward by, for example, Leont'ev (1967, 1969a, 1969b), Derwing (1971), Frumkina (1974, 1975) and Linell (1974, 1976).

Linell (1976, 84) formulates these lines of thought as follows:

"Empirical research must of course be concerned with something that exists in space and time, and as regards language that would be the actually occurring speech acts and linguistic behaviour as well as the actually existing linguistic capacities of real individuals (not Chomsky's 'idealized speaker')."

This development certainly should not be understood as a turning back to that vulgar psychologizing that has plagued linguistics from time to time. Empirical verification, for example, in the form of a psycholinguistic experiment always presupposes the existence of an elaborate, explicit theory, usually in the form of alternative hypotheses, or, as Bierwisch (1971, 100) has put it:

"...the scientific process is determined by the interplay of observation and experiment on the one hand, and the construction of hypotheses on the other, the interplay being dictated by the theory and checked against the facts."

Linell (1976, 92) accordingly states:

"Thus my conclusion must be that hermeneutics and hypothesis-with-testing-and-observation are complementary, not mutually exclusive."

The same understanding of the relationship between the abstract language system and reality as well as the role of experiments for the empirical verification was expressed 47 years ago by Baudouin's pupil Ščerba (1931, 121). He said:

"Most linguists usually approach living languages in the same way as they approach dead ones, i.e. they collect linguistic material, in other words, they note down texts and then analyze them according to the principles of dead languages. In this way, I maintain, we get dead dictionaries and grammars. An investigator of living languages should act otherwise. Of course, he also has to proceed from the linguistic material understood in one way or another. However, once he has constructed some abstract system out of the facts of this material, he has to check it against new facts, i.e., to find out

whether the facts derived from it correspond to reality. In this way the principle of experiment is introduced into linguistics."

Against this background it was natural that in connection with our previous treatment of the Russian verb (cf. Thelin, 1975) we made it our next object of research to test empirically the alternative models of the Russian conjugation in a psycholinguistic experiment. This experiment was carried out in Moscow with the participation of a total of 182 informants who were native speakers of Russian. They consisted of 55 pupils (two 8th forms) from Middle School Nr. 31 and 127 students of English, German and Swedish from the Maurice Thorez Institute of Foreign Languages and the Philological Faculty of Moscow University. The students were all in their first term and had had no instruction in Russian grammar since school. The experiment was carried out in the normal classes and in the presence of the regular teacher and the experimenter. The informants were completely unprepared and were ignorant of the scientific aim of the investigation.

The experimental material consisted of a form with exercises and instructions. The form was filled in anonymously. The only information requested was year of birth, sex and native tongue. The exercises were divided into three parts:

- (11) A. Free segmentation of verb forms into 'significant parts' (*značimye časti*; the word 'morpheme' was avoided).
- B. Controlled segmentation of verb forms by marking the segments with numbers according to the pattern: 1. basic meaning 2. temporal meaning 3. person meaning.
- C. Multiple-choice selection of alternative solutions of segmentation; the informants were allowed to suggest solutions of their own.

The three parts of the exercise material consisted of 175, 21 and 131 verb forms, respectively. The students worked on average for about 70 minutes. Due to shorter lesson time in the school the task of the pupils was restricted to the multiple-choice part. The pupils worked on average for about 35 minutes.

In the instructions the principle of segmentation into 'significant parts' was illustrated by substantival forms (in Cyrillic), analyzed with the aid of frames, like:

(12)

r	a	b	o	t
---	---	---	---	---

o	j
---	---

r	a	b	o	t
---	---	---	---	---

n	i	k
---	---	---

u

b	e	z
---	---	---

r	a	b	o	t
---	---	---	---	---

i	c	a
---	---	---

It was emphasized that this principle of segmentation had in no way anything to do with syllabification (*razbor po slogam*).

In order to find out whether there was any ground for pre-supposing elements without any specific meaning, i.e. with a solely connecting or intermediary function (consider the hypothesis of /j/-epenthesis or interfixal /j/) composed nouns of the following type were presented:

(13)

p	a	r	o	v	o	z
---	---	---	---	---	---	---

r	a	b	o	t	o	d	a	t	e	l	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

The connecting element -o- was marked with arrows. Similarly the informants were instructed to mark solely connecting elements (vowels or consonants) that might occur in the verb forms to be presented.

In the instructions it was further pointed out that the exercises should not be regarded as an examination; we were interested in the informants' intuitive understanding of their mother tongue rather than their knowledge of grammar. Finally, the informants were asked to work at a steady pace (*beglo*), independently, and not to turn back to exercises already done.

The verb forms were presented in Cyrillic but to make possible the segmentation of /j/ the latter was symbolized by the corresponding Latin letter. This procedure was illustrated by examples like:

(14) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
 ч и т а ю т ч и т а j у т
 = 6 букв (letters) = 7 звуков (sounds)

In this connection we presented the representation scheme in (15) in order to clarify the involved graphemes' function of symbolizing /j/ + vowel in the position after vowels:

(15) ю = jy }
 я = ja }
 е = je } после гласных (after vowels)
 ѣ = jo }

From the extensive experimental material, which covers different types of stem formation (including imperfectivization) as well as the different types of both the e- and i-conjugation, we are now going to present only those parts of the results that are of direct relevance to the alternative models of the most frequent type of the e-conjugation, i.e., *ditat'*, *ditaju*, etc., sketched above.

The complete material will be published in a monograph in preparation.

Before we proceed to analyze the results of the first ever psycholinguistic investigation of the Russian conjugation, we think it appropriate to consider the general structure by which the answers to our questions will probably be characterized. Already the fact that several native speaking linguists have suggested different hypotheses indicates that the analysis, beside system-inherent criteria, is to a certain extent characterized by subjectivity in interpreting linguistic data. In other words, linguistic intuition - to the extent that it is involved here - cannot be regarded as any absolute measure. Therefore, the worst thing that could happen would be a completely uniform picture resulting from the experimental investigation. This would indicate that one theoretical solution, for example, the type of presentation met in school-grammars (see above, p.218f.), had resulted in total conformity. However, this is, as we shall see, not the case. Now, this is not surprising, since language use (*rečevaja dejatel'nost'*) - as is well-known - is characterized by different individual strategies. This is, by the way, one of those factors to which special attention is paid in modern psycholinguistics (cf. Leont'ev, 1974, 331). Ščerba (1934, 114) expressed this important idea in the following way:

"...speech organization of man cannot simply be equated with the sum of speech experience...it is rather a peculiar (individual) adaptation of this experience (*dolžna byt' kakoj-to svoeobrasnoj pererabotkoj ètogo opyta*)."

Thus, it is evident that, for example, the level of abstraction in the intuitive analysis can vary on the one hand between different individuals, on the other hand with the same individual on different occasions according to the degree of redundancy in the given speech situation. As a consequence, there arises the possibility of different degrees of accuracy in morphological segmentation, i.e., a factor of dynamism, or, prognosis in terms of linguistic units of variable size. Another factor, which is necessarily expressed in this form of synchronic investigation, are the tendencies to diachronic changes that we must presuppose at any synchronic cut in the description of languages. (Compare, for example, Kruševskij's, 1880, 23, thesis of 'morphological absorption'.) Baudouin de Courtenay (1912, 105) was well aware of these conditions when he contrasted an etymologically based systematic analysis of morphological units with

the language-carriers' conception of these. He said:

"But this introspective reading does not always give the same result. It is characterized by vacillation and inconstancy. Within a given language community the morphological divisibility of words is not conceived of with the same clarity and definiteness by all individuals. The boundaries between separate morphemes may be rather clear or rather hazy. Some morphemes are so clear, so protrusive, so distinct from others that nobody fails to distinguish them. In distinguishing other morphemes, however, there are found significant individual differences. Besides, even with one and the same person the segmentation of evidently identical words may be different at different times according to the intensity of linguistic reflection at the time."

Thus, in the analyzed material we can see two clear tendencies:

(1) the students tend to make a narrower, more abstract segmentation than the pupils (2) the degree of segmentation with the students increases in the multiple-choice analysis (where all theoretically possible variants are actualized) in comparison to the free segmentation. However, these tendencies do not influence those general tendencies of segmentation which can serve as a measure of the empirical value of the different theoretical alternatives.

Let us first look at the infinitive (see (16) below). The percentage of the informants is given above (students), and below (pupils) the analyzed forms: to the left - the result of the free segmentation (only students), to the right - the result of the multiple-choice analysis. The boundary function of the segmentation frames used by the informants is represented below by the morpheme boundary symbol + , and the Cyrillic letters are transcribed into Latin ones. The results of the controlled segmentation in Part B (see (11) on p.222) are discussed later.

(16)	71,7/79,5%	22,0/12,6%	4,7/7,9%	1,6% -
	a. čit + a + t'	b. čit + at'	c. čita + t'	d. čit + at + '
	46,3%	37,0%	16,7%	-

The general strategy of intuitive morphological segmentation is naturally a more or less conscious process of discrimination, generalization and analogy. For the discrimination or isolation of morphemes (Kruševskij, 1883, 69-70, speaks of *obosoblenie*) contrasting with other word forms or derivatives of the same lexeme and/or paradigmatically corresponding word forms of other lexemes plays a decisive role. Different intuitive analyses can be viewed against this background partly as an expression of different degrees of abstraction or, in other words, different derivational and paradigmatic distances

of association in the given case. In order to be able to isolate, for example, the root *čit-* from the stem-forming element *-a-* (see above) one must be able to associate either with a derivative like *čítka* or here rather with parallel infinitive forms where the root can be clearly isolated from the stem-forming suffix *-a-*, for example, *begat'*, *padat'*, etc. In a similar way the isolation of the infinitive ending *-t'* presupposes an associative-contrastive access to such parallel forms where the infinitive ending appears after other stem-forming suffixes then *-a-*, occasionally after the *-Ø-*suffix: consider *belet'*, *nosit'*, *lest'*, etc. Conceived of as a conscious strategy, this principle is very simple and natural. However, we can already see from the results adduced that the intuitive analysis unconsciously overlooks possibilities of generalization; consider the analyses b. and c. in (16). This condition is in agreement with the dynamic understanding of intuitive morphological segmentation expressed above and assigns to the results of our experiment a relatively high degree of reliability. As we see in (16), the data clearly point to a segmentation of the infinitive form into three morphemes: root, stem-forming suffix and infinitive ending.

Now, there are, as a matter of fact, differences of segmentation which, at least primarily, cannot be explained with reference to different degrees of abstraction and a corresponding broader or narrower segmentation in the sense that a more incisive contrastive analysis would give an unambiguous answer. This is the case with the analysis of /j/ in the present conjugation. The fact that /j/ obviously cannot be assigned the function of carrying any meaning by itself (i.e., the function of a proper morpheme) leads us rather to the question whether it is conceived of as part of a genuine morpheme, and if that is the case, of which one; or, whether it fulfills a specific function outside the morphemes, i.e., rather a connecting or intermediary function. This problem was discussed above in connection with the presentation of the alternative theoretical models.

Let us now examine the present conjugation, more exactly the 1st person singular. (For the sake of clarity, analyses suggested by less than 5 per cent of the informants are omitted from now on.)

(17)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	54, 3/32, 8%	22, 8/31, 2%	14, 1/15, 2%
	a. <i>čit + a + ju</i>	b. <i>čit + a + j + u</i>	c. <i>čit + aj + u</i>
	55, 6%	14, 8%	11, 1%

3,9/11,2%	0,8/4,0%	2,4/5,6%
d. čita + \int + u	e. čita + ju	f. čitaj + u
7,4%	9,3%	1,8%

We can at once establish that the three main alternatives for the description of the Russian conjugation sketched above receive a percentage support that gives them the first three places. Furthermore, it is evident that of these, Alternative III (represented here by the analysis a.) obtains the strongest support in these data, whereas the traditionally predominant alternative description, i.e. Alternative I (represented here by the analysis c.), is chosen by only a minority of informants. It is striking that such a high percentage gives expression to the idea of /j/'s intermediary role represented by Alternative II (consider the analyses b. and d.). The latter interpretation increases clearly as a consequence of the generally stronger tendency to a more abstract analysis in the multiple-choice part (compare the percentage to the right), whereas the analysis a. here correspondingly decreases. Alternative I (represented by the analysis c.), however, in both procedures of segmentation shows an invariably weak support.

In a selective multiple-choice analysis, where (beside individual suggestions) only the three main alternatives appeared, the previous tendencies were further confirmed:

(18)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	- 47,2%	- 37,8%	- 12,6%
	a. čit + a + ju	b. čit + +a + \int + u	c. čit + aj + u
	65,4%	21,1%	13,5%

Now let us scrutinize the analysis data for the 2nd person singular:

(19)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	42,5/20,5%	22,8/26,0%	14,1/11,0%
	a. čit + a + ješ'	b. čit + a + \int + eš'	c. čit + aj + eš'
	36,4%	14,5%	12,7%
	8,6/15,0%	2,4/9,4%	2,4/3,1%
	d. čit + a + je + š'	e. čitaj + eš'	f. čit + a + \int + e + š'
	9,1%	5,5%	7,3%
	2,4/4,0%	0,0/5,5%	
	g. čita + \int + eš'	h. čitaj + e + š'	
	5,5%	1,8%	

The relative order of the analyses a., b. and c. as representing the alternative theoretical models III, II and I, respectively, is on the whole unchanged but the picture is here somewhat complicated by the isolation of a thematic element that takes place in the analyses d., f. and h. If we therefore examine to which extent the analyses d. - h. give support to the analyses a., b. and c., respectively, we get the following extrapolated figures:

(20) 2nd person singular:

(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
a. 51,1/35,5%	b. 27,6/33,1%	c. 16,5/25,9%
45,5%	27,3%	20,0%

In relation to the 1st person singular the analyses b. and c. (i.e., Alternative II and I, respectively) show a relative increase, although the previous tendencies on the whole remain. The selective multiple-choice analyses of the three main alternatives for the 2nd person singular with the students even show a higher percentage in favour of Alternative II than Alternative III:

(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
a. 34,2%	b. 39,0%	c. 20,3%
48,1%	34,6%	17,3%

Thus, it seems as if the intermediary interpretation of /j/ according to Alternative II is an analysis that should be paid serious attention to in the further discussion.

It is interesting that the analysis data in (19) give only a relatively restricted support to postulating a specific thematic element (consider the analyses d., f. and h.). In the analyses d. the thematic vowel is combined with /j/. If we also take into account the analyses below the 5 per cent limit, the numerical support to the alternative thematic elements is distributed as follows:

(22)	9,4/17,3%	6,3/10,5%
	-je-	-e-
	12,7%	10,9%

In order to limit the already considerable extent of the experimental material we had to dispense in certain cases with submitting all forms to the multiple-choice analysis as well. This was the case with, for example, the 3rd person singular *delta(j)et* and the 1st person

plural *číta(j)em* which were considered structurally parallel to the 2nd singular *číta(j)eš*. The free segmentation (carried out by 127 students) did not give us any reason to reconsider this assumption:

(23)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	43,3%	24,4%	16,5%
a.	čit + a + jet	čit + a + $\overset{\curvearrowright}{j}$ + et	čit + aj + et
	7,8%		
d.	čit + a + je + t		
	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	44,8%	25,2%	13,3%
a.	čit + a + jem	čit + a + $\overset{\curvearrowright}{j}$ + em	čit + aj + em
	7,9%		
d.	čit + a + j e + m		

The percentage support in favour of postulating a thematic element in the forms under analysis was as follows:

(24)	7,8%	2,4%
<i>číta(j)et</i> :	-je-	-e-
	7,8%	3,2%
<i>číta(j)em</i> :	-je-	-e-

This percentage agrees with the one for the 2nd person singular in the free segmentation but is - as expected - lower than the one in the corresponding multiple-choice analysis.

The most heterogenous picture we encounter in the analysis of the 2nd person plural *číta(j)ete*:

(25)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	26,4/13,5%	12,8/19,8%	10,4/7,1%
a.	čit + a + jete	čit + a + $\overset{\curvearrowright}{j}$ + ete	čit + aj + ete
	31,5%	1,85%	5,5%
	8,8/16,7%	9,6% -	8,8% -
d.	čit + a + je + te	e. čit + a + $\overset{\curvearrowright}{j}$ + et + e	f. čit + a + jet + e
	9,3%	-	-
	6,4% -	5,6% -	1,6/18,2%
g.	čit + a + je + t + e	h. čit + aj + et + e	i. čit + a + $\overset{\curvearrowright}{j}$ + e + te
	-	-	22,2%
	0,0/5,5%	0,0/1,6%	
j.	čit + aj + e + te	k. číta + je + te	
	9,3%	7,4%	

The relative order of the three competing main alternatives certainly remains unchanged but nevertheless we notice a considerable spread of the percentage in consequence partly of a strongly increasing isolation of a thematic element (consider d., g., i., j., k.), partly of a totally unexpected treatment of the latter phoneme /e/ of the formative part. This /e/ is isolated and at the same time the phoneme /t/ is either isolated, too (consider g.), or referred to the thematic element (consider e., f., h.). As is evident, these solutions were not foreseen in the multiple-choice material. The most plausible explanation of these interesting analyses is obviously a kind of contrasting with the 3rd person singular in such a way that the latter /e/ is conceived of as the carrier of the person meaning of the 2nd person plural. This assumption is confirmed by the analysis data resulting from the controlled segmentation in Part B presented below.

The tendency to isolate a thematic element is, as we can see, very strong in the 2nd person plural. In the multiple-choice analysis one even tends to isolate it more often than to refer it to the ending. This holds especially for the pupils. Consider:

(26)	49,6/40,4%	16,8/42,0%
	a. -ete /-jete	b. -e-/-je-
	38,9%	48,2%

Obviously, at a correspondingly higher degree of abstraction (of the type discussed above) there may appear a narrower segmentation favouring a thematic element. This assumption is supported by the analysis of corresponding forms with other verb-types, for example, verbs with -Ø-stem formation in the present conjugation (the type *brat'*): with the students the predominantly broader analysis of the free segmentation is thus balanced in the multiple-choice analysis by a narrower segmentation, i.e., into thematic elements, of approximately the same extent:

(27)	Free segmentation		Multiple-choice	
<i>berëte</i> :	51,2%	17,3%	54,8%	42,8%
	ber + ëte	ber + ë + te	ber + ëte	ber + ë + te
<i>lezete</i> :	50,4%	18,1%	49,2%	49,2%
	lez + ete	lez + e + te	lez + ete	lez + e + te

A similar though not equally strong tendency in the 2nd person singular:

(28)	Free segmentation		Multiple-choice	
<i>berēš'</i> :	87,4%	10,2%	75,2%	24,0%
	ber + ēš'	ber + ē + š'	ber + ēš'	ber + ē + š'
<i>lezeš'</i> :	88,2%	10,2%	71,2%	28,0%
	lez + eš'	lez + e + š'	lez + eš'	lez + e + š'

These conditions can be interpreted in such a way that the postulation of a thematic element as a potential alternative of analysis has some support.

Let us now examine the 3rd person plural *šitajut*:

(29)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	43,3/33,3%	26,0/37,3%	15,0/7,9%
a.	šit + a + jut	b. šit + a + \int + ut	c. šit + aj + ut
	54,6%	18,1%	7,3%
	7,1/1,6%	3,1/4,8%	2,4/7,9%
d.	šit + a + ju + t	e. šita + \int + ut	f. šitaj + ut
	-	5,5%	3,6%
	0,8/6,4%		
g.	šita + jut		
	10,9%		

These data follow the previous pattern. In the analysis d. there is present a segmentation that reminds us of the one we had of the latter phoneme /e/ in the 2nd person plural (see (25) on p.229). This analysis corresponds in part to the one suggested by Roman Jakobson (see (3) on p.218). The numerical support is here relatively restricted but increases somewhat in the controlled segmentation (see below). Nor was this analysis foreseen in the multiple-choice material but it was added by two informants in the students' group (compare the 1,6 per cent).

The selective multiple-choice analysis of the three main alternatives for the 3rd person plural gave the following result:

(30)	(Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
	33,6%	43,4%	18,9%
a.	šit + a + jut	b. šit + a + \int + ut	c. šit + aj + ut
	45,4%	27,3%	27,3%

As before, one is immediately struck by the strong support for the intermediary interpretation of /j/ according to Alternative II.

The analysis of the imperative forms resulted in the following data:

(31) Singular	50,4/56,5%	44,1/34,7%
	a. Ćit + a + j	b. Ćit + aj
	45,5%	52,7%
Plural:	42,5/55,0%	44,1/30,8%
	a. Ćit + a + j + te	b. Ćit + aj + te
	46,0%	46,0%
	3,9/5,0%	2,4/5,8%
	c. Ćitaj + te	d. Ćita + j + te
	6,0%	0,0%

As is evident, there are present here two relatively equal possibilities: the imperative suffix, thus, can be interpreted as being constituted either by -j- (which is added to the stem; consider a.), or by -aj- (which is added direct to the root; consider b.). The latter solution is similar to the theoretical Alternative I but for the essential difference that -aj- is regarded here as stem-forming suffix and the imperative formation accordingly is considered to be carried out with the aid of a - \emptyset -suffix in the singular and the suffix -te in the plural:

(32) Imperative formation according to Alternative I

Singular: Ćit + aj + \emptyset	Plural: Ćit + aj + te
Stem-forming suffix	

Under these conditions we cannot, of course, answer the question which morpheme actually gives expression to the imperative meaning proper. Therefore, we hold, the analysis data should rather be interpreted in such a way that the suffix -aj- (being isolated in the imperative forms) is not identical with the stem-forming element -aj- (to the extent that the latter obtains psycholinguistic support at all). Isolating an imperative suffix -j- according to a. in (31) is consistent with the theoretical Alternative III. This solution obtains a clear predominance in the selective multiple-choice analysis:

(33)	60,3%	38,1%
	a. Ćit + a + j	b. Ćit + aj
	56,4%	43,6%

Against this background it therefore seems well-founded to postulate in the first place an imperativ suffix -j- (and only in the second place a corresponding suffix -aj-) plus the personal endings -∅ (singular) and -te (plural):

(34) Imperative formation according to the experimental data

In the first place: Sg. čit + a + j + ∅ Pl. čit + a + j + te
 In the second place: Sg. čit + aj + ∅ Pl. čit + aj + te

Imperative suffix

It should be emphasized once again that the suffix -aj- in the second place analysis above should not be conceived of as identical with the stem-forming suffix -aj- according to Alternative I. Consequently, the second place solution presupposes either -∅-stem formation or an amalgamation of the stem-forming function and the imperative meaning in one and the same suffix -aj-.

The previous tendencies are clearly expressed also in the analysis of the present gerund čita^{ja}:

(35) (Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
46,3/43,3%	23,6/29,1%	15,5/10,3%
a. čit + a + ja 58,2%	b. čit + a + \int + a 18,2%	c. čit + aj + a 10,9%
7,3/0,8%	4,0/7,9%	0,8/4,7%
d. čit + aja -	e. čita + \int + a 0,0%	f. čita + ja 10,9%

In the selective multiple-choice analysis these tendencies are further confirmed:

(36) (Alt. III)	(Alt. II)	(Alt. I)
43,6%	39,5%	14,5%
a. čit + a + ja 65,4%	b. čit + a + \int + a 27,3%	c. čit + aj + a 7,3%

Before we proceed to summarize the results of our psycholinguistic experiment we would like to emphasize that the conclusions which can be drawn from them should be evaluated in the light of the fact that the present investigation was based on perception of written language. Although we may assume that perception of written language to a certain extent reflects the conditions involved in perception and

production of speech, the latter should be submitted to principally different types of experiment.

With the above reservation we are now in a position to state that the investigation reported on has not given sufficient psycholinguistic support to the hitherto predominant theoretical description of the Russian conjugation and verb stem formation (exemplified here by the most frequent verb type *čitat'*), i.e., Alternative I and its postulation of two stem-forming suffixes -a- and -aj- (see (1) on p.217). On the contrary, the experimental data give much stronger support in the first place to Alternative III (see (6) on p.219) and in the second place to Alternative II (see (4) on p.218.). As far as the e-conjugation is concerned, the 'one-stem-theory' and - along with it - the intermediary interpretation of /j/ are, thus, factors to be taken into account in future investigations. The postulation of a special thematic element, however, has on the whole obtained relatively limited support. The above conclusions were confirmed by the analysis done in Part B of our investigation, i.e., the controlled segmentation (see (11) on p.222). All forms except the 1st person plural were submitted to this analysis. The following results were obtained:

(37) *čitaju*

1	čit-	83,6%	-a-	70,9%	}	-ju	58,2%	
	čita-	14,6%	-aj-	10,9%		}	-u	40,0%
	čitaj-	1,8%	∅	18,2%		}	-aju	1,8%

čita(j)eš'

1	čit-	95,8%	-a-	78,9%	}	∅	78,9%	-ješ'	40,9%	
	čita-	0,0%	-aj-	16,9%		}	-je-	14,1%	-eš'	38,0%
	čitaj-	4,2%	∅	4,2%		}	-e-	7,0%	-š'	21,1%

čita(j)et

1	čit-	85,2%	-a-	74,1%	}	∅	94,4%	-jet	51,9%	
	čita-	13,0%	-aj-	11,1%		}	-je-	3,7%	-et	42,6%
	čitaj-	1,8%	∅	14,8%		}	-e-	1,9%	-t	5,5%

šita(j)ete

1			2			2+3/3	
šit-	91,1%	-a- 72,4%	} -j- 26,0%	∅	61,9%	-jete	29,3%
šita-	5,7%	-aj- 18,7%		-je-	13,8%	-ete	32,5%
šitaj-	3,2%	∅ 8,9%		-e-	7,3%	-te	18,7%
				-et-	8,9%	-t+e	2,4%
				-jet-	8,1%	-e	17,1%

šitajut

1			2		2+3/3		
šit-	95,7%	-a- 78,6%	} -j- 27,1%	∅	88,6%	-jut	47,2%
šita-	0,0%	-aj- 17,1%		-ju-	4,3%	-ut	41,4%
šitaj-	4,3%	∅ 4,3%		-u-	7,1%	-t	11,4%

This data point to unambiguous conclusions. The statistical preponderance in favour of a stem-forming suffix -a- also in the present conjugation according to Alternative III as opposed to a stem-forming suffix -aj- according to Alternative I is convincing. The intermediary interpretation of /j/ according to Alternative II is constant. The postulation of a special thematic element (under 2) obtains only restricted support. The present meaning is usually conceived of as expressed by the ending together with the person meaning (consider 2+3). The interesting isolation of a pure personal ending -e in the 2nd person plural *šita(j)ete* (17,1 per cent) and -t in the 3rd person plural *šitajut* (11,4 per cent) discussed above should, however, be paid attention to in future investigations, since one cannot exclude the possibility that their distinctive function is still more essential when it comes to perception and production of speech.

Another, more general conclusion that can be drawn from this investigation is that psycholinguistic experiments in the field of morphology have justified themselves as an adequate means of empirical evaluation. In this connection we consider it necessary to clarify briefly our understanding of concepts like 'naturalness', 'psychological realism' and 'psychological reality' (cf. Worth, forthc.; Sussex, 1977): Beside the system-inherent naturalness condition (for example, in phonology), we recognize external criteria of reality. They may be sociological, physiological or psychological. Psychological factors are involved in (1) the linguist's introspective (intuitive) analysis of primary linguistic data (2) the hypotheses of his theory

to the extent that they are accessible to systematic experimental verification by informants (multiplied intuition of non-linguist native speakers). Whenever linguistic intuition is involved (intuition being used here in a non-systematic sense; it could, for example, hold for generalizations based on an incomplete corpus of items or a statistically insufficient number of informants), we hold that it is legitimate that the linguist in the different stages of his work can classify hypotheses in terms of greater or lesser 'psychological realism' (consider, for example, Alternative IV on p.22o). However, basically all verifiable hypotheses should be submitted to systematic empirical testing in the form of psycholinguistic investigations, and not until then - on the basis of representative experimental data - can they be evaluated in terms of relative 'psychological reality'. The latter can in its turn serve as one measure (along with others) of the general degree of probability represented by the given linguistic model. This mode of procedure is a logical consequence of the dynamism and complexity built into the concept of the theoretical grammar model as an instrument, a sensitive system of hypotheses totally dependent on the changing degree of accessibility of external empirical data (cf. Theelin, 1975, 151-55; 1978:2, 241-49).

*) The investigation reported below was carried out in Moscow September - October 1976 with generous support from the University of Uppsala, the Institute of Linguistics - especially its Department of Psycholinguistics and Mass Communication - at the Academy of Sciences of the USSR, the Department of Structural and Applied Linguistics at the Philological Faculty of the University of Moscow and the Russian Department of the Maurice Thorez Institute of Foreign Languages. I am deeply indebted to these organisations and all those pupils and students who made the investigation possible by participating as informants. I wish to convey my warm thanks also to many colleagues for their great help and valuable suggestions. I would like to mention especially R.M. Frumkina, B. Kolesnikov, G.V. Kolšanskij, E.V. Konjukina, A.A. Leont'ev, V.V. Lopatin, E.A. Moskovaja, I.N. Sokolova, J.A. Sorokin, N.J. Švedova, D.S. Svetlysev, E.F. Tarasov, N.V. Ufimceva, I.S. Uluchanov, I.A. Zimnjaja, L.V. Zlatoustova.

The present paper was read in its original version at the University of Uppsala, November 1976, and in a somewhat extended version at the University of Göttingen, January 1977.

Bibliography

- BAUDOIN DE COURTENAY, I.A., 1912, *Ob otnoženii russkago pis'ma k russkomu jazyku*, S.-Peterburg.
- BIELFELDT, H.H., 1952, "Die Klassifizierung der russischen Verben", *Russischunterricht* 5, Heft 9, 393-404.
- BIERWISCH, M., 1971, *Modern Linguistics* (= *Janua Linguarum, Series Minor*, 110), The Hague.
- DERWING, B.L., 1973, *Transformational grammar as a theory of language acquisition*, Cambridge University Press.
- FRUMKINA, R.M., et al., 1974, *Prognoz v rečevoj dejatel'nosti*, Moskva.
- FRUMKINA, R.M., 1975, "Statističeskie metody i strategija lingvističeskogo issledovanija", *Izvestija AN SSSR, Serija literatury i jazyka*, t.XXXIV:2, 129-40.
- GOLANOV, I.G., 1967, *Morfologija sovremennogo russkogo jazyka*, Moskva.
- HALLE, M., 1963, "O pravilach russkogo sprjaženija", *American Contributions to the V. International Congress of Slavists*, Vol.I, The Hague, 363-82.
- HORECKÝ, J., 1964, *Morfematičká štruktúra slovenčiny*, Bratislava.
- ISAČENKO, A.V., 1962, *Die russische Sprache der Gegenwart*, I (= *Formenlehre*), Halle.
- JAKOBSON, R., 1948, "Russian Conjugation", *Word* 4, 155-67.
- KIPARSKY, P., 1968, "Linguistic Universals and Linguistic Change", In: Bach, E., & R.T.Harms (eds), *Universals in Linguistic Theory*, N.Y., 170-202.
- KRUŠEVSKIJ, N.V., 1880, "Lingvističeskie zametki", *Russkij filologičeskij vestnik*.
- KRUŠEVSKIJ, N.V., 1883, *Očerok nauki o jazyke*, Kazan'.
- LEONT'EV, A.A., 1967, *Psicholingvistika*, Leningrad.
- LEONT'EV, A.A., 1969a, *Psicholingvističeskie ediniy i poroždenie rečevogo vykazyvanija*, Moskva.
- LEONT'EV, A.A., 1969b, *Jazyk, reč', rečevaja dejatel'nost'*, Moskva.
- LEONT'EV, A.A., 1974, (ed.), *Osnovy teorii rečevoj dejatel'nosti*, Moskva.
- LINELL, P., 1974, *Problems of psychological reality in generative phonology* (= RUUL 4: Reports from Uppsala University Department of Linguistics, No.4), Uppsala.
- LINELL, P., 1976, "Is linguistics an empirical science? - Some notes on Esa Itkonen's 'Linguistics and Metascience', *Studia Linguistica* 30, 77-94.
- LOPATIN, V.V., 1975, "Glagol'naja osnova i štruktura otglagol'nogo slova v russkom jazyke", *Izvestija AN SSSR, Serija literatury i jazyka*, t.XXXIV:5, 409-17.
- LUNT, H.G., 1975, "Phonological and Morphological Units in Teaching Russian", *SEE J*, Vol.19, No.1, 74-84.

- MASLOV, Ju.S., 1968, "Nekotorye spornye voprosy morfoložičeskoj struktury slavjanskich glagol'nych form", *Sovetskoe slavjano-vedenie* 4, 48-62.
- PANOV, M.V., 1966, "Russkij jazyk", In: Vinogradov, V.V., et al.(eds), *Jazyki narodov SSSR, t.I (Indoevropejskie jazyki)*, Moskva, 55-122.
- ŠČERBA, L.V., 1931, "O trojacom aspekte jazykovych javlenij i ob eksperimente v jazykoznanii", *Izvestija AN SSSR, No.1, VII serija, Otdelente obščestvennyh nauk*, 113-29.
- SUSSEX, R., 1977, Review of Nils B.Thelin, *Notes on general and Russian morphology* (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica, 15), Uppsala 1975; *Towards a theory of verb stem formation and conjugation in modern Russian. With an excursus on so-called e-o alternations and mobile vowels* (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica, 17), Uppsala 1975, *Journal of Linguistics* 13, 287-92.
- SVEDOVA, N.Ju., (ed.), 1970, *Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka*, Moskva.
- THELIN, N.B., 1973, "On Stem Formation, Conjugation and Accentuation of the Russian Verb", *Scando-Slavica* XIX, 83-102.
- THELIN, N.B., 1975, *Towards a Theory of Verb Stem Formation and Conjugation in Modern Russian* (=Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica, 17), Uppsala.
- THELIN, N.B., 1978, "Leskien, Kiparsky and the Russian conjugation", *Wiener Slavistische Almanach*, 1978:2, 241-49.
- TICHONOV, A.N., 1970, "Struktura glagol'noj osnovy v russkom jazyke", *Trudy Samarkandskogo universiteta im. A.Navoi, Novaja serija, vyp.194, Voprosy vostokovedenija i obščego jazykoznanija*, Samarkand.
- TOWNSEND, Ch.E., 1968, *Russian Word-Formation*, N.Y.
- TRUBETZKOY, N., 1934, *Das morphonologische System der russischen Sprache* (= TCLP V:2), Prague.
- VINOGRADOV, V.V., et al. (eds), 1960, *Grammatika russkogo jazyka, I (Fonetika i morfoložija)*, AN SSSR, Moskva.
- VINOKUR, G.O., 1959, "Zametki po russkomu slovoobrazovaniju", *Isbrannye raboty po russkomu jazyku*, Moskva, 419-42.
- WORTH, D.S., 1968, "'Surface Structure' and 'Deep Structure' in Slavic Morphology", *American Contributions to the VI. International Congress of Slavists, Vol. I, The Hague*, 1-33.
- WORTH, D.S., forthc., Comments on Nils B.Thelin, "On stem formation and conjugation of the Russian verb", To appear in *Proceedings of the VII. International Congress of Slavists, Warsaw, August 1973*.

Alfred NOZSICKA (Wien)

BEMERKUNGEN ZUR QUANTIFIKATION, KONJUNKTION UND NEGATION
IM RUSSISCHEN (2. TEIL)

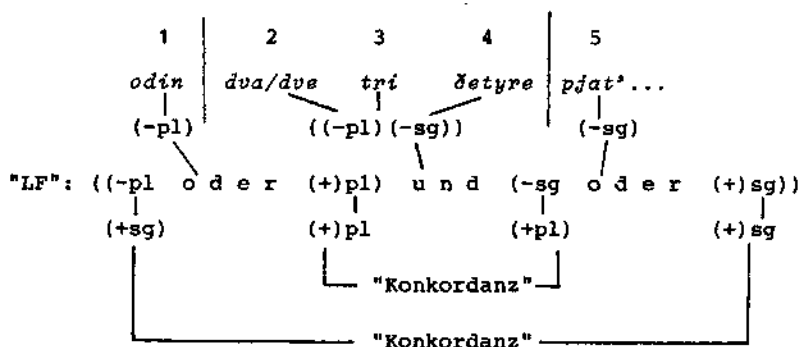
SECHS: Nachbemerkung

Im ersten Teil haben wir versucht, die scheinbar idiosynkratischen Inkongruenzerscheinungen (die wie Ausnahmen zu den allgemeinen Kongruenzregeln aussehen) in der Zahlensyntax des Russischen mit Hilfe eines generellen und (hypothetisch) universalen Regelschemas zu lösen. Wir nannten dieses schematische Prinzip Konkordanz- oder Ausgleichsregel. Ihre Essenz liegt in der adäquaten und vollständigen Definition der Merkmalthaftigkeitrelation (siehe 1. Teil in Wiener Slawistischer Almanach Band 2, 1978, S.209-239 und die Literaturangaben dort, v.a. Jakobson). Demgemäß zeigt das negative (merkmallose) Glied einer grammatischen Korrelation einen Mangel an: es symbolisiert die Negation des positiven Gliedes, sondern den Mangel an Symbolisierung (z.B. in unserem Fall den Mangel an Pluralität). Es gibt nun in der russischen Sprache Phänomene, die - so haben wir angenommen - einen doppelten Mangel indizieren: sie konzentrieren die Negativität beider Korrelationsglieder einer Kategorie (die Negation der Negation der Merkmalthaftigkeit der Pluralität: ((-sg)(-pl))).

Es sei hier gestattet eine Bemerkung nachzutragen, die das Zustandekommen des Merkmalkomplexes ((-sg)(-pl)) für die Zahlwörter 2,3,4 betrifft. Wir haben gesagt, daß dieser gebildet wird aus dem Komplement der positiven Merkmale der übrigen Kardinalzahlwörter. Also aus (+sg), das *odin* und aus (+pl), das alle übrigen Kardinalia ab *pjat'* in einer dekadischen Reihe (außer der Zehnerreihe) charakterisiert. Da aber einerseits *odin* auch pluralisch dekliniert und daher auch Pluralia tanta quantifizieren kann, andererseits die Zahlen ab *pjat'* in der Verbalkongruenz auch den Singular indizieren können (vgl. *V komnatu vošlo* (sg) *pjat' šelovek*, vs. *V komnatu vošli* (pl) *pjat' šelovek*) scheint es adäquater zu sein, die Merkmalkonstellation für die Zahlenreihe so zu revidieren, wie es im Schema (1) unten dargestellt ist. (Die zwei Beispiele sind aus Rozental' und Telenkova (1975); siehe dazu auch die ausführliche Diskussion in D.Crockett (1976, S.314ff)).

Für die (syntaktisch-semantische) Kategorie des Numerus konnten wir daher folgendes Schema konstruieren, das der "logischen Form" ("LF") einer (doppelten) Tautologie entspricht. Dieses Schema läßt sich auf die Zahlwortreihe (Kardinalia) projizieren, welche ihre syntaktischen und semantischen Eigenschaften expliziert.

Schema 1:



Die Subreihe 2,3,4 wird so gewissermaßen durch eine forcierte negative Umgebung doppelt negiert. Wenn auch diese Revision tatsächlich eine adäquatere Formalisierung darstellt, so hat sie doch keinerlei Konsequenzen für unser generelles Regelschema. Auf diese "LF" nimmt das Konkordanzregelschema (K-Schema) bezug. Es unterliegt folgendem Prinzip: Wenn aus einem negativen Merkmalkomplex (+M-Komplex) ein Merkmal gewählt wird, z.B. (-sg), so kann (oder muß) es in einem bestimmten syntaktischen Kontext einen positiven Reflex ergeben (+pl). Nun tritt die eigentliche Konkordanz- oder Ausgleichsregel ein (für "Regel" besser "Bedingung", wie wir sehen werden), die die übrigen Merkmale neutralisiert, d.h. den "schwächeren" Term (+pl) des anderen negativen Merkmals (-pl) in einen positiven verwandelt, und dadurch die Position des anderen disjunktiven Gliedes überlagert. Wird das andere Merkmal (-pl) zuerst gewählt (das durch einen bestimmten syntaktischen Kontext forciert wird), geschieht der seitenverkehrte Ausgleich.

Wie man sieht, steckt in diesem Prinzip, das ja nichts anderes als die Forcierung einer "merkmalhaften Merkmallosigkeit" ist, eine gewisse Trivialität, insofern stets das richtige Resultat herauskommt. Es gleicht dieses Prinzip - wenn man diese Metapher gestattet - einem Spiel, in dem ein Partner - die Sprache - immer gewinnt. Insofern konnten wir es auch das "Prinzip des aufgelösten Widerspruchs" nennen.

Im folgenden werden wir zu zeigen versuchen, daß dieses Prinzip in der Form eines Regel-Schemas eine Anzahl weiterer Inkongruenzphänomene als Konkordanzen aufzulösen imstande ist.

SIEBEN: Probleme mit dem Genus

Normalerweise kongruiert ein attributives oder prädikatives Adjektiv (oder ein Prädikativ) mit dem inhärenten Genus desjenigen Subjektnomens, das im Nominativ (nom) steht. Formal ausgedrückt: das Genusmerkmal des Hauptnomens einer Nominalphrase (NP) wird über die

NP distribuiert und auf die entsprechenden lexikalischen Kategorien (z.B. Adjektiv) kopiert. (Dasselbe gilt im Prinzip für prädikative Verbindungen.)

- (1) *Chorošij* (mask) *otec* (mask) *chorošej* (fem) *učenicy* (fem) * *bol'na*
bolen (mask)
bol'nyj (mask)
- (2) *Chorošaja* (fem) *mat'* (fem) *chorošego* (mask) *učenika* (mask) * *bolen*
bol'na (fem)
bol'naja (fem)

Jede NP hat, wie man sieht, ihre eigene Kongruenzdomäne (im Prinzip). Man kann sich nun an Hand dieser Beispiele leicht vorstellen, daß das Genusmerkmal (neben Kasus und Numerus natürlich) auf die dominierende NP projiziert wird, wodurch dann die sog. Subjekt-Prädikat-Kongruenz erfolgen kann. Wir wollen uns hier aber nicht länger aufhalten, weil diese Regel an und für sich keinerlei Schwierigkeiten bringt, außer in bezug auf das Kasusmerkmal insbesondere im Falle der sog. "unpersönlichen" Satzstrukturen. Da diese momentan für unsere Argumentation nicht von Belang sind, werden wir uns jetzt damit nicht weiter beschäftigen (s. dazu die Bemerkungen weiter unten).

Es gibt im Russischen bekanntlich Klassen von Nomina, die formal, d.h. morphologisch, eine definite Genuscharakteristik aufweisen, das Adjektiv oder Prädikativ jedoch anders als es diese formale Charakteristik indiziert, kongruieren lassen. Man vergleiche folgende Sätze:¹

- (3a) *Étot* (mask) *plaska* (fem) *revel* (mask) *vsju noč'*
(3b) *Éta* (fem) *plaska* (fem) *revela* (fem) *vsju noč'*
(3c) **Étot plaska revela vsju noč'*
(3d) **Éta plaska revel vsju noč'*

Weiters:

- (4a) *Sprosite ljubogo* (mask, gen) *p'janicu* (fem, akk)
(4b) **Sprosite ljubuju* (fem, akk) *p'janicu* (fem, akk)

Merkwürdig ist hier, daß gerade die formale Kongruenz nicht akzeptabel oder gar ungrammatisch ist.

- (5a) *On* (mask) - *izvestnaja* (fem) *lakomka* (fem)
(5b) *On* (mask) - *izvestnyj* (mask) *lakomka* (fem)
(5c) *Ona* (fem) - *izvestnaja* (fem) *lakomka* (fem)
(5d) **Ona* (fem) - *i s v e s t n y j* (mask) *lakomka* (fem)

(Die Klammern symbolisieren den rein formalen Genusindex, ein Asterix bedeutet wie üblich Nicht-Grammatikalität, ein Asterix und ein Fragezeichen eine Schwankung zwischen Nicht-Grammatikalität und semantischer Nicht-Akzeptabilität.)

Die interessanten Fälle sind (4b) bzw. (5d) im Vergleich mit den übrigen.

Wie ist dieses Spiel von Grammatikalität (Akzeptabilität) und Nicht-Grammatikalität (Nicht-Akzeptabilität) zu erklären? Mit Hilfe der Merkmaltheorie sind diese Kongruenzkonstellationen zumindest intuitiv nicht allzu schwer zu erfassen. Was die Sätze unter (3) angeht, so kann man zunächst sagen, daß *plaska* in (a) auf ein männliches und in (b) auf ein weibliches Baby referieren muß. Daher die Ungrammatikalität von (c) und (d). Die Sätze unter (4) sind eigentlich generische Sätze (s.dazu die verstreuten Bemerkungen im 1.Teil). (a) bezieht sich auf Männer und Frauen. Das Adjektiv (*ljuboj*), daß der Index der generischen Interpretation ist, muß die entsprechende maskuline Endung (der Genitiv ist der Index des Merkmals der Belebtheit) aufweisen, sonst ist der Satz nicht akzeptabel (bzw. für manche Sprecher ungrammatisch). Vergleichen wir die Sätze unter (5): (5a) und (5b) haben ein maskulines Pronomen als Subjekt (*on*); es sind beim Adjektiv (*izvestnyj*) in der Prädikatsnominalphase beide Genus - (mask) und (fem) - möglich. Nicht so im Fall von (5c) und (5d): Hier ist nur das Femininum möglich, weil - so nehmen wir vorerst an - das Subjekt (*ona*) selbst ein Femininum ist.

Jakobson (s.v.a.1971) hat gezeigt, daß das Femininum das merkmalfähige Element in der Genuskorrelation ist, das Maskulinum demgegenüber das merkmallose.² Wir schreiben daher jedem der Form nach maskulinen (Pro-)Nomen das Merkmal (-fem) zu, das im Sinne von Jakobson zu interpretieren ist (s.auch das Schema 1, auf das alle folgenden Ausführungen, auch wenn es sich um verschiedene Kategorien handelt, bezogen sind), und nicht in dem Sinne, wie es die generative Grammatik z.B. fast ausschließlich verwendet: nämlich als Negation von (+fem). Nun sind die Nomina der hier in Frage stehenden Klasse formal als Feminina charakterisiert (+fem), d.h. merkmalfähig, können aber dennoch maskuline Kongruenz induzieren (wir sehen hier von der Subjekt-Prädikat-Kongruenz ab und behandeln nur die attributive Kongruenz). Wie läßt sich diese scheinbare Unstimmigkeit lösen? Die Beispiele (besonders (4) und (5)) zeigen, daß es sich hierbei tatsächlich um so etwas wie eine "merkmalfähige Merkmallosigkeit" handelt,

da, wenn wir nur (5) betrachten, das merkmahlafte Femininum nur mit einem merkmallosten Maskulinum kongruieren kann.

Sehen wir zunächst, wie D.Crockett ihre Beispiele zu erklären versucht. Sie schreibt:

What could account for all of the facts above /nämlich in bezug auf dieangeführten Sätze/ is perhaps an assumption that epicenes have neither sex features nor gender features but are labelled as following the Second Declension. (71)

Es gibt also eine Klasse von Nomina, die nur ein "Scheingenus" haben, d.h. durch kein Genusmerkmal, sondern nur durch das Merkmal der 2.Deklination (Decl.II) - also rein formal - und mit dem Merkmal der Belebtheit (+anim(ate)) indiziert sind. Dieses Merkmal ist nur der Auslöser des Genitivs des Adjektivs im Fall (4a). Woher kommt aber die maskuline Endung? Wir werden darauf später zurückkommen. Wie löst Crockett den "einfachsten Fall", nämlich (3)? Ihr Lösungsvorschlag ist für uns äußerst aufschlußreich. Sie schreibt:

According to the account suggested above /s.obiges Zitat/, the noun stem has no sex or gender specifications, and its pertinent features are only (+animate) and Decl II. As shown in (60) /nämlich in Hinsicht auf den Strukturbaum, den wir leicht modifiziert unten als Schema (4) wiedergeben/ the former has been copied onto the N and NP nodes. The negative gender specifications on the NP and VP nodes are the "provisional" ones. The feature combination on the NP node ist anomalous, for the (+animate) specification is generally incompatible with negative gender specifications. One of the gender specifications must therefore become positive; but which one? (73)

Wesentlich ist für uns zunächst die doppelt negative Spezifizierung ((-mas)(-fem)), die sie als "provisional features" statuiert. Was heißt das? Die Autorin nimmt generell an, daß a l l e NP und VP Knoten durch diesen negativen Merkmalkomplex (⁺M-Komplex) subkategorisiert sind. Ihr Hauptargument für diese generelle Subkategorisierung dreht sich, soweit ich sehen kann, um das Phänomen der sogen. unpersönlichen Sätze im Russischen. Ein simples Beispiel soll das erläutern. Warum kann es nur *Stemmel_Q* (Es wurde dunkel) und nicht **Stemmel(a)* heißen? Ihrem Argument gemäß deswegen, weil die einzige Hauptkategorie des Satzes - die VP - nur doppelt negativ markiert sein kann, aus dem einfachen Grund, weil das Verbum kein definites, inhärentes Genus besitzt.

When an attributive modifier is not associated with any noun, or the noun with which it is associated has no inherent gender, then it receives the negative gender specifications of the dominating NP, and these specifications are manifested as neuter. A verbal predicate receives the negative gender specifications of the dominating VP under similar conditions. (33)

M.E. trifft dieses Argument nicht die Struktur der unpersönlichen Sätze und ist zumindest über die ganze Klasse dieser Sätze nicht generalisierbar, ja es würde zu unrichtigen Resultaten führen. Man vergleiche folgende Sätze:

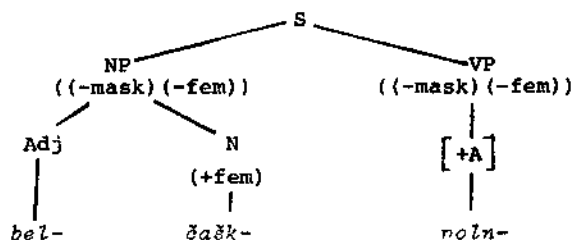
- (6a) *Leď* (mask) *skoval* (mask) *reku*
- (6b) *Reka* (fem) *skovana* (fem) *l'dom* (mask, instrumental)
- (6c) *Reku* (fem) *skoval_o* ((-fem)(-mask)) *l'dom* (mask, instr)
- (7a) *Moemu* (mask, dativ) *bratu* (mask, dat) *segodnja ne spalos'* ((-mask)(-fem))
- (7b) *Mojej* (fem, dat) *sestre* (fem, dat) *segodnja ne spalos'* ((-mask)(-fem))

Die Sätze in (6) hängen insofern strukturell zusammen als (6b) das Passiv von (6a) ist und der "unpersönliche Satz" (6c) als "Pseudopassiv" angesehen werden kann. Das Verb im Passivsatz kongruiert regelrecht mit dem formalen Subjekt, im "Pseudopassiv" hingegen scheint es überhaupt kein formales Subjekt zu geben, sodaß das Verbum die neutrale Form annehmen muß. Das würde die Annahme von "provisional features" voraussagen. Wie steht es aber mit Sätzen wie (7a) und (7b)? Ein formales Subjekt ist hier vorhanden, nämlich eines im Dativ, das normal mit dem Pronomen kongruiert. Wenn man dieser NP den Subjektstatus abstreitet, müßte man dies auch bei Sätzen wie (8b) im Gegensatz zu (8a) tun, was äußerst unangenehm wäre.

- (8a) *On ne byl sdes'*
- (8b) *Ego ne bylo sdes'*

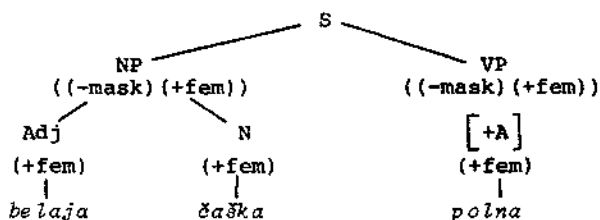
Nun besitzen alle diese Nomina ein inhärentes Genusmerkmal, das nach der Annahme von Crockett mit den "provisional features" des höchsten NP-Knotens in Widerspruch gerät. Dieser Widerspruch muß nun aber auftreten, um die normale Kongruenz zu ermöglichen. Diese kommt folgendermaßen zustande: Wenn ein Nomen ein Genusmerkmal aufweist, dann wird dieses auf den NP-Knoten, der die "provisional features" trägt, projiziert. Nun muß es zu einer Unvereinbarkeit der Merkmale kommen: das projizierte positive Merkmal überlagert das negative, das nun ebenfalls an das positive angeglichen wird. Jetzt erst kann die Subjekt-Prädikat-Kongruenz erfolgen. Wir geben dies schematisch wieder:

Schema 2: (s.Crockett (34))



Nun findet die Projektion statt, was folgende Konfiguration ergibt:
(Details bleiben unberücksichtigt)

Schema 3: (s.Crockett (35))

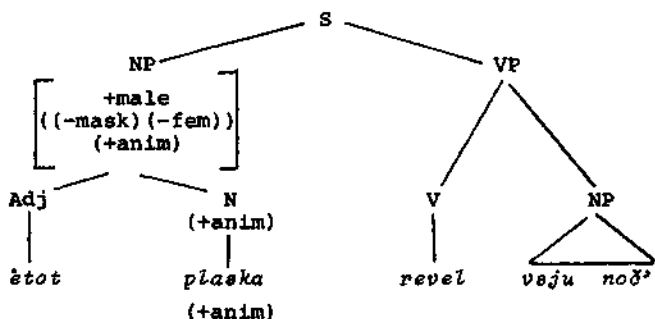


Aufgrund der normalen Kongruenzregel ist es aber nun nicht möglich, die Struktur der unpersönlichen Sätze zu erklären, weil es hier ebenfalls zu einem Widerspruch der "provisional features" und der inhärenten Genusmerkmale kommen muß. Es ist klar, daß die neutrale Form des Verbs in solchen Sätzen in Beziehung steht mit der Kasusmarkierung des Subjekts oder mit dem Nicht-Vorhandensein eines Oberflächensubjekts bzw. mit dem Vorhandensein eines "Null-Subjekts".³ Ganz abgesehen davon, daß die "provisional features" für Hauptkategorien (NP, VP) äußerst künstlich erscheinen, versagt der oben beschriebene Mechanismus, wenn es sich um Maskulina handelt, die, wie wir gesehen haben, durch das Merkmal (-fem) zu indizieren sind (dies aus vielen, von diesem Problem unabhängigen Gründen). Denn dann gibt es **k e i n** positives Merkmal, das die negativen überlagern könnte. Es müßte daher eine neutrale Verbal-Kongruenz auftreten.

Kehren wir zu unserem ersten Beispiel zurück. Im Fall von (3a) muß der Referent männlich, im Fall (3b) weiblich sein, daher sind

(3c) und (3d) nicht möglich. Da *plaska* belebt ist (+anim), ergibt dies, wie schon erwähnt, eine Unvereinbarkeit mit den "provisional features", da belebte Nomina gewöhnlich ein Genus haben müssen. Es muß daher ein positives Merkmal geben, das die "provisional features" überlagert. Dieses kann aber nicht aus der lexikalischen Kategorie selbst herkommen. Crockett führt deshalb eine "contextual sex specification" ein - symbolisch $\{^+male\}$ - die dann, wenn das positive durch die spezifische Referenz determiniert ist, die negativen Merkmale überlagert.

Schema 4: (S.Crockett (60))



Die Frage bleibt hier wiederum, was geschieht, wenn das Kontextmerkmal nicht positiv ist. Wir kommen darauf später zurück. Wie steht es nun mit den Sätzen (4a) und (4b)?

(4a) *Spræite ljubogo (mask) p'janicu (fem)*

(4b) ? **Sprosite ljubuju (fem) p'janicu (fem)*

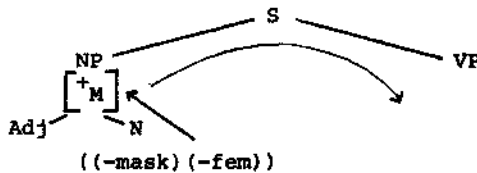
Im grammatischen (a)-Satz hat die NP keinen spezifischen Referenten, anders als es die Form des Nomens vermuten läßt, d.h. nach der Annahme von Crockett, keine "contextual sex specification". Daher muß der negative Merkmalkomplex (^+M -Komplex) so umgewandelt werden, daß der merkmallose Term (mask) positiv (+mask) wird und (-fem) mit diesem nun quasi kongruieren kann, d.h. ebenfalls positiv wird. Crockett nennt diese Regel "Unmarked Animate Gender Rule" (UAGR):

The feature combination (-Masculine, -Feminine, +Animate) cannot be resolved by a switch to contextual sex /anders wie im Schema (4), and it therefore undergoes an elementary rule which converts its (-Masculine) feature to (+Masculine). (74, meine Hervorhebung)

Wir haben oben in aller Kürze gezeigt, daß die generelle Annahme der "provisional features" (und wenn man dies tut, dann muß man sie generell annehmen), eine große Klasse von Sätzen im Stich läßt, für die diese scheinbar ein Hauptargument waren. Wir möchten nun zeigen, (a) daß diese Annahme überflüssig ist, (b) die Indizierung bestimmter Klassen von Nomina nur durch ihre Deklinationsform, z.B. (Decl II) zu idiosynkratisch, und deswegen wahrscheinlich vermeidbar und (c) daß diese "elementary rule", nämlich die UAGR ein Spezialfall ist, der im Konkordanz-Regelschema (K-Schema) impliziert ist.

Da die in Frage stehende Klasse von Substantiven nur ein Scheingenus besitzt, das nur morphologisch eindeutig ist, nicht aber semantisch, was hier natürlich für die Syntax ausschlaggebend ist, können wir die Lexikoneinträge der betreffenden Substantive einfach durch die "provisional features" belegen. Diese sind, wie schon gezeigt wurde, mit unserem ^+M -Komplex identisch. Die verschiedenen Kongruenzrelationen können nun prinzipiell durch die doppelte Anwendung der Konkordanzregel erzeugt werden. Wir haben nun folgende Struktur:

Schema 5:



Jeder ^+M -Komplex muß der Konkordanzregel unterliegen (s. Kap. Sechs und 1. Teil). Wir erhalten dadurch beide Sätze (3a) und (3b), nicht aber (3c) und (3d). Die Operation der Regel ist trivial, sodaß ich sie nicht mehr im Detail zu beschreiben brauche.

Die Sätze unter (4) sind auf den ersten Blick problematisch, da wir durch unsere Regel prinzipiell beide Möglichkeiten bekommen. Wie schon erwähnt, ist aber der Status der Grammatikalität des (b)-Satzes sehr vage, sodaß man eher von einer semantischen Abweichung als von Nicht-Grammatikalität sprechen sollte und zwar deswegen, weil er generisch sein müßte, sich aber nur auf weibliche Referenten bezieht. (Es ist hier wesentlich zwischen den grammatikalischen Bedingungen

von variablen Möglichkeiten - den Optionen - und deren Interpretierbarkeit zu unterscheiden. Es müssen daher eher interpretative Regeln - im Sinne von Chomsky, Dougherty, Jackendoff, May u.a. - jene Optionen ausschließen, die die rein syntaktischen nicht verhindern können. (Wir werden auf das Problem der interpretativen Regeln in Beziehung zum Konkordanzprinzip noch zu sprechen kommen.) Dies hat ja Crockett eigentlich getan, als sie "contextual sex features" angenommen hat. Es ist aber wichtig zu sehen, daß der Status dieser Merkmale ein völlig anderer als derjenige des ⁺M-Komplexes ist. Diese sind semanto-syntaktische, jene referentielle.

Wir werden nun die Probe aufs Exempel machen und zu zeigen versuchen, daß wir in der Syntax tatsächlich ohne diese Merkmale auskommen können und daß die UAGR ein Spezialfall der Konkordanzregel ist. Betrachten wir die übrigen Sätze, die wir hier wiederholen:

- (5a) *On - izvestnaja lakomka*
- (5b) *On - izvestnyj lakomka*
- (5c) *Ona - izvestnaja lakomka*
- (5d) **Ona - izvestnyj lakomka*

Was das Satzpaar (5c) und (5d) angeht, so schreibt Crockett:

The unacceptability of a masculine attributive for *lakomka* 'gourmand' indicates that the Unmarked Animate Gender Rule is inapplicable; the attributive must have a feminine ending in this sentence. This feminine ending can only be accounted for as determined by the sex of the referent of the subject phrase, for predicate nouns can have no referent of their own; their function is always to characterize the referent of the subject phrase (76)

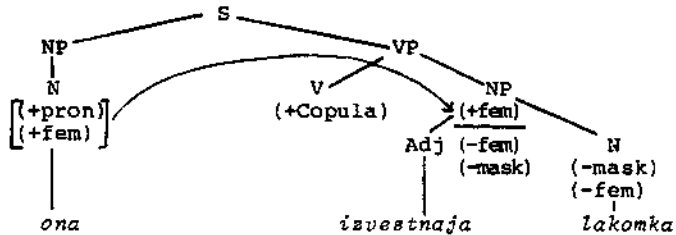
Dies ist natürlich richtig. Wir lesen weiter:

The Unmarked Animate Gender Rule cannot apply to the feature combination on the predicate NP node in this structure even though there is no contextual sex specification on the node. A switch to the contextual sex specification on the subject NP must take place, and this switch resolves the gender of the predicate NP as feminine (77)

Mit dieser Annahme löst sie diesen Fall. Das Kontextmerkmal ist hier allerdings überflüssig. Der Satz (5a) ist allerdings problematisch, weil die feminine Form des Adjektivs nur durch ein entsprechendes Kontextmerkmal {-male} manifest werden könnte, welches aber hier nicht präsent sein kann. Nun kann man zeigen, daß die Konkordanzregel alle diese Fälle lösen kann ohne Kontextmerkmale.

Beginnen wir mit dem Satzpaar (5c)-(5d). Hier wird das Merkmal des pronominalen Subjekts (*ona*)=(+fem) durch eine normale Kongruenzregel auf die Prädikatsnominalphrase kopiert, der ⁺M-Komplex auf diese NP projiziert und von dort aus auf das Adjektiv übertragen. Durch die Kopierung + Projizierung entsteht folgender ⁺M-Komplex: ((+fem) (-fem) (-mask))_{NP}. Da ein positiver Zusatzterm (+fem) in diesem Komplex besteht, kann die Konkordanzregel sozusagen nur mehr von einem Punkt aus operieren, insofern schon ein Quasiresultat (+fem) vorhanden ist, durch die die negativen Merkmale ausgeglichen werden (s.1.Teil, S.229)

Schema 6:



Es ist leicht zu sehen, daß dieser Teil der Konkordanzregel dem Gegenteil der UAGR analog ist: der merkmalfhafte Term überlagert das negative Merkmal (-fem), wobei dann durch Konkordanz das Merkmal (-mask) zu (+fem) wird. Wenn wir diese Regel aus dem K-Schema abstrahieren wollen, könnten wir sie "marked gender rule" (MGR) nennen. Die einseitige Funktion der K-Regel läßt nun den Satz (5d) nicht entstehen. Er ist ungrammatisch. Durch diese Regel können wir also die richtige Voraussage treffen.

Der für Crockett schwierig zu lösende Fall (5b) vs. (5a) ist für das K-Schema prinzipiell unproblematisch, weil das Merkmal des pronominalen Subjekts (*on* (-fem)) keine Veränderung im ⁺M-Komplex bewirken kann (dieses Merkmal ist sozusagen redundant), sodaß die "beidseitige" Ausgleichsregel in Kraft tritt, die beide Möglichkeiten (5a) und (5b) zuläßt. Es ist leicht zu sehen, daß die UAGR ein Teil der K-Regel ist. Daß der Satz (5a) semantisch etwas abweichend, (wenn nicht für manche Sprecher überhaupt unakzeptabel) ist (ähnlich wie (4b)), war für unsere Argumentation bis jetzt nicht wesentlich (s.die Bemerkungen oben). Wir werden aber gleich sehen, daß man dem

K-Prinzip bestimmte signifikante Beschränkungen auferlegen kann, die auch semantische Abweichungen zu indizieren vermögen.

Zum Schluß dieses Abschnitts noch einige Bemerkungen zu einer Subklasse von Substantiven des I. Deklinationstyps; wir meinen solche Substantiva wie *agronom*, *direktor*, *vrač* u.ä. Sie lassen ebenfalls formale Genusinkongruenzen zu; diese sind aber gegenüber derjenigen Klasse des II. Deklinationstyps wesentlich eingeschränkter. Generell läßt sich behaupten, daß hier feminine Attribute vermieden werden (s. Crockett 97). Man vergleiche folgende Sätze:⁴

(9a) *Ona* (fem) - *ohorošij* (mask) *vrač* (mask)

(9b) ?**Ona* (fem) - *ohorošaja* (fem) *vrač* (mask)

(9c) *On* (mask) - *ohorošij* (mask) *vrač* (mask)

(9d) **On* (mask) - *ohorošaja* (fem) *vrač* (mask)

Weiters scheinen feminine Adjektiva ausgeschlossen, wenn sich die NP in einem obliquen Kasus befindet:

(10a) *My* *govorili s vašim* (mask) *sekretarem* (mask)

(10b) **My* *govorili s vašej* (fem) *sekretarem* (mask)

Diese wenigen Beispiele lassen schon erkennen, daß diese Klasse von Nomina denen der II. Deklination in bezug auf die Kongruenzeigenschaften nicht vollständig analog ist. Andererseits gibt es jedoch auch hier analoge Erscheinungen:⁵

(11a) *U nas byla očen' ohorošaja* (fem) *subnoj* (mask) *vrač* (mask)

(11b) **U nas byla očen' ohorošij* (mask) *zubnaja* (fem) *vrač* (mask)

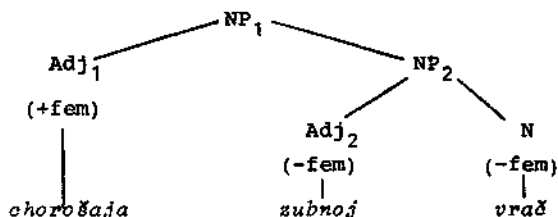
Wenn wir diese Klasse von Substantiven mit einem ⁺M-Komplex indizieren, würde unser Regelschema die falschen Resultate liefern (für die Sätze unter (9) und (10) zumindest).

Betrachten wir zunächst die Sätze unter (9) genauer. Die Konkordanzregel würde hier analog zu den Sätzen unter (5) operieren und genau die falschen Kongruenzen erzeugen, d.h., jeweils (9b) und (9d) zulassen. Wie ist dieser Fall zu lösen? Müssen wir doch auf das eher unnatürliche Deklinationsmerkmal zurückgreifen? Die Beispielsätze deuten darauf hin, daß diese Nomina durch keinen ⁺M-Komplex, sondern einfach als (-fem) zu indizieren sind.

Wie kommt es aber zu einer Kongruenzkonfiguration wie (11a)? Daß ein Adjektiv eine feminine Endung und das andere eine maskuline Endung aufweist, ist vielleicht rein strukturell (und tentativ) so zu erklä-

ren, daß man beide von verschiedenen NPs dominieren läßt (wir folgen hier im großen und ganzen der Analyse Crocketts):

Schema 7: (s.Crockett (81))



Crockett löst diesen Schließelfall wiederum dadurch, daß sie dem NP₁-Knoten das Kontextmerkmal {-male} zuschreibt, das auf das Adj₁ kopiert wird, weil der NP₂-Knoten die wiederholte Anwendung der Kongruenzregel blockiert (jede NP hat ihre eigene Kongruenzdomäne). Nun, woher nehmen wir das Merkmal (+fem), das im linken Adjektiv realisiert ist?

Wir haben uns schon mehrfach auf die Genustheorie Jakobsons bezogen, die besagt, daß das Femininum das merkmahlafte Glied innerhalb dieser Kategorie ist. D.h. anders ausgedrückt, daß das Femininum eine spezifische Referenz auszeichnet (s.Beispiel (4)), wo trotz des formalen femininen Genus von *p'janica* das kongruierende Adjektiv nicht feminin sein muß (oder kann).

Die Besonderheit eines ⁺M-Komplexes in Hinsicht auf die Merkmalhaftigkeit seiner Terme besteht darin, daß **k e i n** Term eigentlich **m e r k m a l h a f t** ist, sondern nur der Komplex als ganzer. **M e r k m a l l o s** ist jedoch auf jeden Fall (-fem).

Wir wollen daher annehmen, daß die Auflösung eines ⁺M-Komplexes prinzipiell vom merkmallosen Glied ausgeht, wenn nicht besondere Bedingungen vorliegen (solche Bedingungen sind u.a. dann gegeben, wenn ein merkmalhafter Term kopiert wird (s. (5c)-(5d)). Dies erklärt auch die semantische Abweichung bzw. Unmöglichkeit von (4b) und die Marginalität von (5a) (dazu siehe auch die Bemerkung von Crockett (77)).

Wir werden diese Regel analog zur UAGR "Unmarked Gender Rule" UGR nennen oder besser als eine **B e d i n g u n g** über die Konkordanzregel ansehen und sie **" P r ä v a l e n z b e d i n g u n g**

der Merkmalllosigkeit" nennen. Diese expliziert auch den scheinbar paradoxen Ausdruck "merkmalhafte Merkmalllosigkeit". Diese Bedingung erklärt auch, so glaube ich, das Schlüsselbeispiel (4) im Rahmen des K-Prinzips und darüber hinaus wie gesagt, den Fall (5). Nun ist m.E. endgültig deutlich geworden, daß die UAGR, deren Motivationsbasis die Autorin nicht expliziert, wenn sie sie als "elementary rule" anspricht, als Bedingung über das Konkordanzprinzip formuliert werden kann.

Wie können wir damit den Fall (11) lösen? Wir wollen also auch dieser Klasse von Substantiven prinzipiell (denn hier sind Ausnahmen wahrscheinlicher, schon auf grund der Wortbildung) einen ⁺M-Komplex in bezug auf das Genus zuschreiben und wenden die "Prävalenzbedingung" an. (Wir betonten nochmals, daß die Merkmale eines ⁺M-Komplexes weder rein morphologische noch rein semantisch-referentielle sein können). Genauer: der ⁺M-Komplex wird auf die NP₂ projiziert und darauf die Prävalenzbedingung angewendet. Das ergibt: ((-mask) (-fem)) → (+mask). Dieses Merkmal wird innerhalb des NP₂-Knoten distribuiert. Bleibt (-mask) übrig, das nun auf den höheren NP₁-Knoten projiziert und dann auf das von diesem dominierte Adjektiv (*chorošaja*) kopiert wird. Da trivialerweise jedes realisierte negative Merkmal umgepolt ist, bekommt (-mask) den positiven Wert (+fem). Das ergibt die richtige Konstellation. Wir werden hier nicht mehr weiter gehen, müssen aber anmerken, daß etliche Probleme natürlich bestehen bleiben. So z.B. die Sätze (9a) und (9b). Es sind hier natürlich auch rein semantische Faktoren involviert, die zu explizieren auf einer anderen Analyseebene liegt. Diese Tatsache macht ja einen Großteil der hier auftretenden Schwierigkeiten aus, denn das, was man leichtfertig "semantische Kongruenz" nennt, muß ja grundsätzlich, soll sie in einer Syntaxtheorie Platz haben, einer formalen Behandlung tzungänglich sein.

Nebenbei bemerkt läßt die Prävalenzbedingung auch eine bemerkenswerte Parallele zu der Zahlensyntax erkennen. Wenn die durch die Zahlen 2-4 quantifizierte NP in einem obliquen Kasus steht oder durch eine angenommene Topikalisierung vom Zahlquantor wegbewegt wurde (s.1. Teil, S.235f), dann steht die gesamte NP im Plural. Der Plural, so haben wir argumentiert, ist im syntaktischen Kontext der (Zahl-) Quantifikation merkmalllos. Ebenso scheint dies mit dem Genusmerkmal in Sätzen wie (10) zu geschehen. Ob diese Phänomene nur scheinbare

Parallelen sind, können natürlich nur genauere Analysen aufhellen (s. aber auch die Fälle im folgenden Kapitel).

**ACHT: Probleme der Kongruenz
in koordinierten NP-Strukturen**

In bestimmten NP-Strukturen kommt es (A) einerseits zu einer formalen Inkongruenz zwischen zwei oder mehreren koordinierten Adjektiven und dem Nomen und (B) andererseits zwischen zwei oder mehreren koordinierten Nomen und dem diese Kordination modifizierenden Adjektiv.

Im ersten Fall steht das Nomen gewöhnlich im Plural und die koordinierten Adjektive im Singular, im zweiten Fall stehen die koordinierten Nomina im Singular, das Adjektiv aber im Plural. Hier sind einige Beispiele⁶ für den ersten Fall (A):

- (1) *On uđilsja russkomu (sg) i nemeckomu (sg) jazykam (pl)*
- (2) *Sojuzy među glavnym (sg) i pridatočnym (sg) predloženijam (pl)*
- (3) *Geografičeskij (sg) i istoričeskij (sg) fakul'tety (pl)*
- (4) *biologičeskij (sg) i chimičeskij (sg) metody (pl)*
- (5) *pervoe (sg) i vtoroe (sg) sklonenija (pl)*
- (6) *pervaja (sg) i vtoraja (sg) mirovye (pl) vojnny (pl)*
- (7) *tret'e (sg), četvertoe (sg) i pjatoe (sg) mesta (pl)*

Nun Beispiele für den zweiten Fall (B):

- (8) *rodnye (pl) brat (sg) i sestra (sg)*
- (9) *sposobnye (pl) uđenik (sg) i uđenica (sg)*
- (10) *postroit' kamennye (pl) dom (sg) i garaž (sg)*
- (11) *On osobenno gorditsja staršimi (pl) synom (sg) i dođer'ju (sg)*

Wir müssen uns nun die Frage stellen, woher das Pluralmorphem im Nomen bzw. im Adjektiv kommt. Intuitiv scheint dies evident zu sein: von der Konjunktion *i* (und). Dies ist grundsätzlich richtig, nur müssen wir uns fragen, wie das vor sich gehen kann. Man spricht in diesem Zusammenhang vielfach davon, daß diese spezifischen Inkongruenzen "logisch" determiniert seien.

Damit will man sagen, daß in der ersten Reihe von Beispielen (A) der Plural des Nomens anzeigt, daß es sich hier eigentlich um eine Art Quantifikation handelt, wobei durch die Koordinierung der Adjektive allein nicht eindeutig bestimmt ist, daß das Nomen auf zwei (oder mehrere) Referenten verweist. Wenn man z.B. sagt: *ja uđilsja russkomu*

i nemeckomu jazykam so handelt es sich natürlich um zwei verschiedene Sprachen, sodaß hier, semantisch gesehen, eine Quantifikation vorliegt, anders als im Satz: *ja izučal étot trudnyj i složnyj jazyk / *jazyki*. Hier ist selbstverständlich nur eine Sprache gemeint im Gegensatz zu *ja izučal éti trudnye i složnye jazyki*. Die Koordination der Adjektive kann also einerseits Pluralität, andererseits nicht-Pluralität beim Nomen induzieren. Ähnliches läßt sich natürlich auch vom Fall (B) behaupten, nur ist hier der kategoriale Rahmen ausgewechselt. Dies alles hat aber wenig mit der Logik zu tun, weil es im Russischen auch Fälle gibt, wo Plural und Singular des Nomens alternieren können (s. die Beispiele (2) und (2a) unten), obwohl in diesen NPs das entsprechende Nomen semantisch pluralisch ist. Weiters zeigen die meisten (indoeuropäischen) Sprachen diese Eigenheiten des Russischen nicht. So sind z.B. im Deutschen folgende Koordinationsmöglichkeiten ausgeschlossen:

- (12) *Ich lernte (studierte) die russische (sg) und (die) deutsche (sg) Sprachen (pl)
- (13) *die biologische (sg) und (die) chemische (sg) Methoden (pl)
- (14) *der erste und (der) zweite (sg) Weltkriege (pl)
- (15) *Er ist besonders stolz auf seine älteren (pl) Bruder (sg) und Schwester (sg)

Die ungrammatischen Sätze bzw. Phrasen (12), (13), (14) und (15) entsprechen in etwa den grammatischen russischen Sätzen (1), (4), (6) und (11) respektive.

Wenn im Deutschen ein Attribut vor zwei oder mehreren koordinierten Nomen steht, kann es zu einer Ambiguität kommen, wobei die An- oder Abwesenheit eines Artikels oder irgendeines pronominalen Determinators die entscheidende Rolle in bezug auf die Ambivalenz des Skopus des Adjektivs zu spielen scheint. Der Determinator blockiert, so scheint es, das Eindringen des Skopus in das zweite Nomen:

(16a) der begabte Sohn und Vater

Die einzige Lesart für dieses Syntagma ist diejenige, die in (16a) unzweideutig zum Ausdruck kommt:

(16a) der begabte Sohn und der begabte Vater

Man vergl. aber:

(16b) der begabte Sohn und der / sein Vater

(16b) ist grundsätzlich ambig, wobei die dominante Lesart diejenige ist, in der sich das Attribut nur auf das erste Nomen bezieht. Nomina mit verschiedenem Genus können in diesem Kontext nicht wie im Russischen koordiniert werden. Vgl. (9) mit (17):

- (17) *der begabte Schüler und Schülerin
(17a) der begabte Schüler und die Schülerin
(17b) *die begabten Schüler und Schülerin

Wie man sieht, müssen im Deutschen sämtliche Elemente der NP kongruieren. (17a) kann nur eine Interpretation haben; das Attribut bezieht sich **n u r** auf das erste Nomen. Dieser Satz ist also nicht ambig.

Obwohl der Plural des Nomens (im Falle ()) im Russischen der Normalfall zu sein scheint, gibt es auch, wie erwähnt, Parallelkonstruktionen mit dem Singular (also vollständige formale Kongruenz). Man vgl. (2) mit (2a):

- (2) *Sojuzy meždu glavnyj (sg) i pridatočnyj (sg) predloženijsami (pl)*
(2a) *Sojuzy meždu glavnyj (sg) i pridatočnyj (sg) predloženiem (sg)*

Weiters (18) und (18a):

- (18) *pervyj (sg) i vtoroj (sg) ètaži (pl)*
(18a) *meždu pervym (sg,instr) i vtorym (sg,instr) ètažom (sg,instr)*

Das letzte Satzpaar deutet darauf hin, daß auch hier wiederum die Kasusform eine gewisse Rolle zu spielen scheint (s. die Schlußbemerkung im Kap. Sieben). Das nehmen jedenfalls Rozental' und Telenkova an, ohne weitere Hinweise dafür zu geben (Man vgl. aber (19) und (19a)).

Für die zweite Serie von Sätzen (B) wollen wir folgende Satzpaare mit jeweils verschiedenem Kongruenzmuster angeben:

- (19) *On osobenno gorditsja talantlivymi (pl) synom i dočer'ju (sg)*
(19a) *On osobenno gorditsja talantlivym (sg) synom i dočer'ju (sg)*

Crockett (1976), von wo diese letzten Sätze stammen, gibt dafür eine syntaktisch-semantische Erklärung folgender Art:

In general, an attributive which precedes or succeeds two or more such nouns connected by *i* 'and' must be pluralized, unless it only applies to the nearest noun and that noun has a singular ending, and unless the conjoined nouns have a single referent,

und weiter unten:

The plural attributives in the sentences above represent proper, correct usage and their plural number is mandatory in the standard language. In casual discourse, however, attributives in such contexts are not necessarily pluralized. They generally have singular endings and manifest the gender of the nearest nouns. Consequently, while the singular attributive in a sentence such as (4 = (19a)), for example, would be interpreted in standard discourse as applicable just to the nearest noun, i.e., as only qualifying the son, in casual discourse the same attributive would be likely to be interpreted as applicable to both nouns," (164-65)

Der Kern dieser Erklärung liegt also darin, daß sich das Adjektiv im Singular nur auf das nächste Nomen bezieht, das Adjektiv im Plural aber auf beide Nomina (wenn man zunächst einmal von den Sprachschichten absieht, die nebst der Referenzstruktur die Optionen bzw. Obligationen determinieren (?) können).

Wenn dies stimmt, wie kann man sich dann folgende Ausdrücke bzw. Sätze⁷ erklären?

- (8) *rodnye* (pl) *brat* (sg) *i sestra* (sg)
- (20) *u moego* (pl) *brata* (sg) *i sestry* (sg)
- (21) *Možno predstavit' sebe, kakim gromovym udarom razrazilos' èto pis'mo nad moim* (sg) *otcom* (sg) *i mater'ju*
- (22) *Zdes' žili moi* (pl) *otec* (sg) *i mat'* (sg)

In diesen Sätzen beziehen sich das Adjektiv und die adjektivischen Pronomina auf beide Substantive, also auch diejenigen, die im Singular stehen (20) und (21). (Man beachte hier wiederum die Kasusopposition Nominativ vs. Nicht-Nominativ) Nebenbei bemerkt: Rozental' und Telenkova geben unter anderem für dieses Skopusphänomen gerade die entgegengesetzte Erklärung von Crockett, wenn sie schreiben:

Das Attribut steht im Singular, wenn es dem Inhalt nach klar ist, daß sich das Attribut nicht nur auf das nächste Substantiv, sondern auch auf die darauffolgenden Substantive bezieht". (301)

Nun ist diese Erklärung sehr vage, noch dazu wenn man die Beispiele ansieht, die sie dieser Erklärung folgen lassen:

- (23) *uličnyj* (sg) *žum* (sg) *i grochot* (sg)
- (24) *sozdanie novoj* (sg) *opery* (sg) *i baleta* (sg)

Offenbar verleitet sie zu dieser Erklärung die semantische Ähnlichkeit der Substantive. Wenn dies so ist, steht sie im Widerspruch mit den obigen Sätzen (8) und (20) bis (22).

Für den Plural in diesen Positionen gibt das Handbuch von Rozental'/Telenkova folgende intuitiven Hinweis:

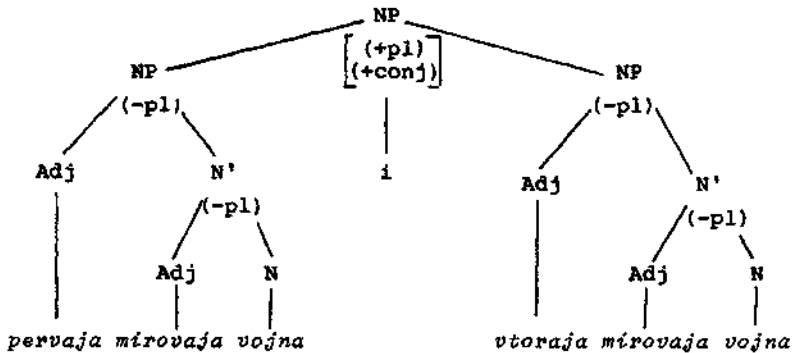
Das Attribut steht im Plural, wenn man aus der Singularform des Attributs nicht darauf schließen kann, ob es sich nur auf das nächste Substantiv oder auf die ganze Reihe gleichartiger Satzglieder bezieht. (302)

Darauf folgen die Beispiele, die wir unter (9) und (10) gebracht haben. Um diese etwas verwirrenden Erklärungsversuche auf einen Nenner zu bringen: es besteht gewissermaßen eine zur erwähnten "logischen" Option verkehrte Alternation: Singular des Adjektivs dann, wenn es sich auf die Pluralität der koordinierten Nomina bezieht; Plural dann, wenn sich das Adjektiv auf die ganze Koordination nicht beziehen muß. Für Crockett geht das Argument, global betrachtet, umgekehrt: Singular des Adjektivs dann, wenn es sich auf die Koordination selbst nicht beziehen muß, Plural dann, wenn es dies tut. Crockett schränkt dieses Argument aber - dies wurde schon angedeutet - auf die sogen. Standardsprache ein. (Wir wollen diese Problematik hier außer acht lassen, und uns nur darum kümmern, wie das Pluralmorphem in das Adjektiv bzw. Nomen gelangen kann. Es geht uns hier wiederum nur um die "Bedingung einer Möglichkeit". Eine ausführliche Beschreibung des angeschnittenen Problems findet man in Crockett (1976, S.162ff). Wir werden darauf noch kurz zurückkommen.)

Wie man sieht ist die Sachlage ziemlich verwickelt. Wir versuchen nun diese zu entwirren, und fragen uns nochmals, von wo und wie der Plural auf das Adjektiv bzw. Nomen in den entsprechenden syntaktischen Kontexten kommt. Wir haben, so glaube ich, deutlich gemacht, daß dieses Phänomen eigentlich mit "Logik" oder "Unlogik" (im engeren Sinn zumindest) nicht viel zu tun hat.

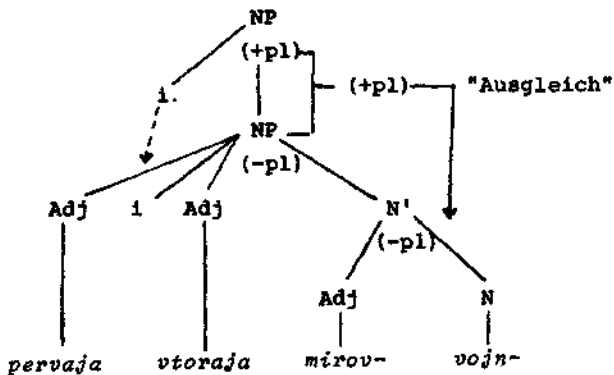
Daher müssen wir uns genauer fragen, ob es reingrammatikalische, d.h. syntaktische Prozesse gibt, die diese formale Inkongruenz auslösen. Für die erste Serie von Sätzen (A) wollen wir folgenden Lösungsvorschlag formulieren. Zunächst nehmen wir dem Standardmodell der Transformationsgrammatik entsprechend, konkret für die Konstruktion (6) und analog dazu für alle anderen Sätze von (1) bis (7) folgende zugrundeliegende Struktur an (Details bleiben unberücksichtigt):

Schema 8:



Wir haben also der NP, die die Konjunktion unmittelbar dominiert, das Merkmal (+pl) zugeschrieben (neben dem provisorischen Merkmal (+conj), das einfach die Art der Konjunktion anzeigt). Die übrigen Nominalphrasen (NP und N') haben das Merkmal (-pl). Die niedrigsten NPs (=N') sind identisch, sodaß eine nach einer wohlformulierten Tilgungsregel getilgt werden kann. Das eine Adjektiv (*pervaja*) hängt nach dieser Tilgung am mittleren NP-Knoten, der sich nun nicht mehr verzweigt. Analog zur "tree pruning convention" ("Baumstutzung") formuliert von Ross (1966), kann man annehmen, daß ein NP-Knoten, der sich nicht verzweigt und nur ein Adjektiv dominiert: "NP — Adj (+A), nicht "tragfähig" ist und daher (in unserem Fall) mit dem anderen mittleren NP-Knoten zusammenfällt, sodaß wir nun ungefähr folgende Struktur haben:

Schema 9:



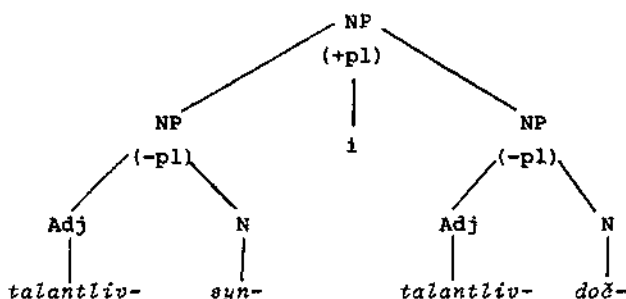
Die Kongruenz wird nun vom Hauptglied dieser NP, nämlich von N' ausgelöst, indem das Merkmal (-pl) auf die mittlere NP projiziert und von dort aus auf die höheren Adjektive (*pervaja, vtoraja*) distribuiert wird (durch eine normale Kongruenzregel also). Wie kommt es nun aber zum Plural innerhalb von N'? Wie man sieht (Schema 9), hat diese Struktur eine NP (die höchste) mit dem Merkmal (+pl), die die andere mit dem Merkmal (-pl) unmittelbar dominiert, ohne daß sich die erste NP verzweigt. Eine derartige Dominanzrelation identischer Kategorien ist strukturell redundant, so daß sie auf *e i n e n* Kategorienknoten reduziert werden muß; allgemein: NP — NP — NP → NP. Speziell in unserem Fall: NP (+pl) — NP (-pl) → NP((+pl)(-pl)). Nun entsteht durch diesen Prozeß ein Merkmalwiderspruch, der sich innerhalb *e i n e s* Kategorienknotens konzentriert. Dieser Widerspruch löst sich in die formale Inkongruenz auf, indem die Ausgleichsregel des K-Schemas das negative Merkmal in das positive umwandelt. (Die Regel kann hier wiederum sozusagen nur von einem Punkt aus operieren.) Dieses positive Merkmal wird nun auf den N'-Knoten kopiert und von dort aus auf das Adjektiv und Nomen distribuiert. Wenn wir annehmen - und das haben wir ja getan -, daß die normale Kongruenzregel schon das Singularmorphem realisiert hat, so muß nun eine "Umdeutung" innerhalb des N'-Knotens stattfinden: der Singularreflex wird in den Plural verwandelt. Ein alternativer Vorschlag innerhalb des Rahmens der transformationellen Lösung könnte dahingehend lauten, daß der Merkmalkomplex ((+pl)(-pl)) noch vor der normalen Kongruenzregel entsteht und durch die disjunktive Distribution so geteilt wird, daß (-pl) als (+sg) auf die koordinierten Adjektive und (+pl) auf die N'-Struktur verteilt wird (siehe dazu I. Teil, S.223ff).

Wir haben hier also die Wahl zwischen der disjunktiven Distribution kontradiktorischer Merkmale und der normalen Distribution (Kopierung) und der Ausgleichsregel (s. I. Teil, S.229f).

Die zweite Reihe von Sätzen bzw. Nominalphrasen (B)=(8) bis (11) und (19) kann auf ähnliche Art und Weise gelöst werden. Wir wollen den Lösungsvorschlag hier nur kurz skizzieren, indem wir im großen und ganzen Crockett folgen (1976, S.162ff). Crockett nimmt z.B. für beide Sätze (19) und (19a) eine identische zugrundeliegende Struktur an. (Wir betrachten dabei nur die uns interessierende

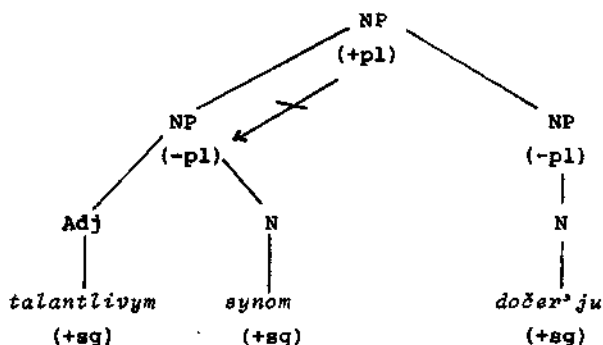
NP-Struktur, Details bleiben unberücksichtigt.) Ähnliches gilt natürlich auch für die anderen Sätze dieses Typs.

Schema 10 (s.Crockett (6), 165):



Nun wird das zweite identische Adjektiv getilgt, wodurch folgende Struktur entsteht (auf die Details dieses Prozesses wollen wir auch hier nicht näher eingehen, weil sie für unsere Argumentation nicht wesentlich sind):

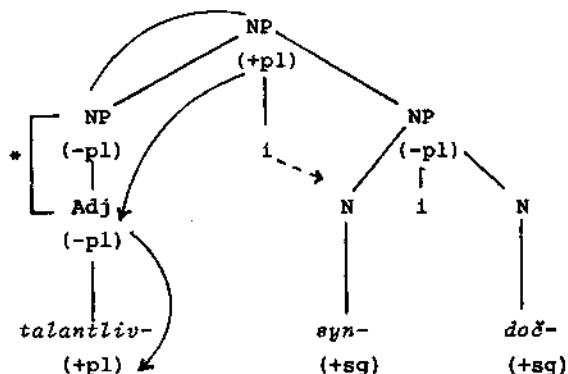
Schema 11:



Dieser Prozeß ergibt den Satz (19a), also den mit einem singularischen Adjektiv, das nur das erste Nomen modifiziert, bzw. das zweite Nomen nicht modifizieren muß. Die Prozesse, die Sätze wie (19) entstehen lassen, sind komplizierter. Etwas abweichend von Crockett wollen wir annehmen, daß nach einer "Regruppierung" der beiden identischen Adjektive und der Tilgung eines dieser Adjektive eine Struktur

entsteht, die wiederum zwei unmittelbar dominierende NPs aufweist, die zusammenfallen, sodaß nun auch hier eine "konzentrierte" Merkmal-Kontradiktion auftritt, wobei jetzt eben das nicht-koordinierte Adjektiv das Pluralmerkmal erhält.

Schema 12:



Diese Lösungsvorschläge sehen sehr plausibel aus. Es geht in ihnen - um es kurz zu wiederholen - darum, daß durch bestimmte Tilgungs- und Umstellungstransformationen syntaktische Konfigurationen entstehen, die einen konzentrierten Widerspruch von Merkmalen aufweisen, der nun durch Teilregeln des Konkordanzschemas aufgelöst wird.

Es gibt dabei allerdings Probleme, von denen wir hier kurz die wichtigsten der Reihe nach durchgehen möchten.

Wir haben bis jetzt eine syntaktische Konfiguration nicht gelöst, nämlich die des Syntagmas (2a):

(2a) *Sojuzy meždu glavnyĭm (sg) i pridatočnyĭm (sg) predloženiĭm (sg)*

Wir müssen uns daher fragen, ob man analog zum Argumentationsgang der in den Schemata (10), (11) und (12) niedergelegt ist, und der für beide Alternativkonstruktionen (19) und (19a) eine zugrundeliegende Struktur vorsieht, auch so für die Beispiele des Typs (2) und (2a) vorgehen kann; d.h., haben NP-Strukturen wie (2) und (2a) dieselbe Tiefenstruktur, deren verschiedene im Numerus des Nomens manifestierte Oberflächenstruktur Resultat auch verschiedener Transformationsprozesse ist? Dieses eher technische Problem scheint sehr schwer (oder kaum) lösbar zu sein, denn, so

weit ich sehe, kommt es bei Tilgung identischer Nominalphrasen (oder Nomina) in diesem syntaktischen Kontext stets zu einer Struktur wie im Schema (9) dargestellt ist, die dann der eigentliche Auslöser der Ausgleichsregel ist. (Daß wir hier immer dasselbe Resultat bei der Tilgung erhalten, hat seinen Grund darin, daß ein Adjektiv eine Kategorisierung erfährt, die strukturell nicht möglich ist (s. Bemerkung oben) und daher eine Regruppierung des Adjektivs obligat wird.)

Wenn auch der Plural in diesem syntaktischen Rahmen dominiert, gibt es doch eine Reihe von Sätzen, in denen das Nomen den Singular aufweist, wie z.B.:

- (25) *Atomnoe i vodorodnoe oružie* (sg) *dolžno* (sg) *byt' uničtoženo* (sg)
- (26) *Opisatel'naja i istoričeskaja fonetika* (sg) *imejut* (pl)
svoim ob'ektom otdel'nyj konkretnyj jazyk
- (27) *opernoe i baletnoe iskusstvo* (sg)
- (28) *auščestvitel'nye* (pl) *mužskogo* (sg), *ženskogo* (sg) i
srednogo (sg) *roda* (sg)

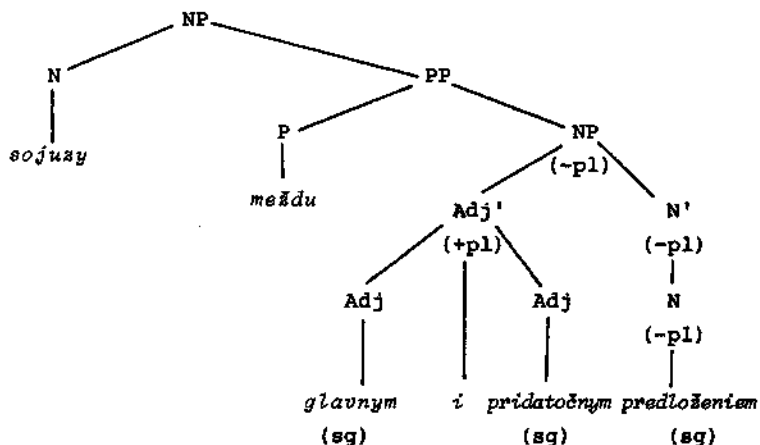
Rozental' und Telenkova, aus deren Handbuch die Sätze entnommen sind, zählen wiederum verschiedene Kriterien der Wahl des Singulars auf, deren wichtigstes (außer rein morphologisch bedingten, wenn z.B. das entsprechende Nomen keinen Plural hat oder der Plural aus semantischen Gründen ungebräuchlich ist) dahingehend lautet, daß der Singular dann steht, "falls die aufgezählten Abarten von Gegenständen oder Erscheinungen sinngemäß miteinander eng verbunden sind." (299). Dies kann und will aber nur eine Faustregel sein, weil dieses Kriterium auch für Sätze gelten kann, wo das entsprechende Nomen im Plural aufscheint, wie dies die weiter oben angeführten Beispiele demonstrieren.

Weiters sehe ich keinen Bedeutungsunterschied zwischen (2) und (2a); es handelt sich hier im wesentlichen um synonyme Konstruktionen (s. auch das Satzpaar (18) und (18a), wo nur der Kasus die determinierende Rolle, die zwischen Sing. und Pl. entscheidet, zu spielen scheint).

Das eher technische Problem der Tilgungsprozesse, die in diesen NP-Strukturen wirksam werden müssen, impliziert ein theoretisches. Wenn wir nun durch diese Überlegungen gezwungen würden, für koordinierte Konstruktionen des Typs (2) und (2a) verschiedene Tiefenstrukturen anzunehmen, deren Oberflächenstrukturen außer dem Numerus des nicht-koordinierten Nomens identisch sind, dann ist

diese Annahme äußerst unwillkommen, weil sie einerseits "unelegant" und explanativ eher schwach ist und andererseits den Sätzen des ersten Typs (A) und denen des zweiten Typs (B) eine völlig verschiedene theoretische Basis gibt. Weshalb in dem einen Fall (A) das Merkmal des Plurals der Konjunktion (vgl. Sätze wie (2) vs. (2a)) in das Nomen (N') eindringen kann und im anderen Fall (2a) nicht, würde eben allein die syntaktische Konstellation ausmachen. Im ersten Fall haben wir einen "konzentrierten" Widerspruch von Merkmalen und im anderen Fall - was? Sehen wir uns die mögliche Tiefenstruktur des Satzes (2a) an:

Schema 13:



Irgendwie ist hier die Pluralität an die Adjektiv-Koordination gebunden, sodaß sie von dort nicht auf das Nomen kommen kann.

Mit dieser Argumentation, die wir hier nur andeuten konnten, verbindet sich eine weitere theoretische Frage. Wenn, wie man wohl annehmen muß, in allen Sprachen, wo Tilgungsprozesse überhaupt möglich sind, derartige syntaktische Konfigurationen entstehen, warum gibt es dann in allen diesen Sprachen (oder in den meisten) nicht auch dieselben Inkongruenzen? Für das Deutsche (u.a. Sprachen natürlich) könnte man vielleicht behaupten, daß das Determinatorensystem diese Möglichkeit formaler Inkongruenz blockiert (vgl. z.B. die angeführten deutschen Phrasen).

Da rein syntaktische Prozesse nicht die (alleinigen) Auslöser

dieser Phänomene sein dürften (dies ist ja intuitiv meist als selbstverständlich angesehen worden, ohne über die grammatischen Prozesse auch nur annähernd Bescheid zu wissen), müßten wir noch andere Tatsachen in Betracht ziehen.

Bis jetzt haben wir nur die spezifischen Koordinationsstrukturen mit der Konjunktion *i* besprochen. Im folgenden werden wir kurz noch einen Blick auf die Konjunktion *ili* werfen. Wir haben scheinbar zu Recht der NP, die die Konjunktion *i* unmittelbar dominiert und die Koordination sozus. zusammenhält mit dem Merkmal (+pl) indiziert. In Rozental'/Telenkova lesen wir, daß der Singular dann steht, "wenn die Substantive durch eine disjunktive (ausschließende) Konjunktion verbunden sind." (302) Als Beispiele führen die Autoren an:

- (29) *latinskij ili gotičeskij šrift* (sg)
- (30) *napisat' interesnyj (sg) roman ili povest'*
- (31) *kupit' igrušičnyj (sg) avtomobil' ili parovoz*
- (32) *Malejšaja (sg,fem) iskra (sg,fem) ili peregriv (sg,mask)*⁸

Crockett z.B. erklärt sich Sätze wie (30 bis (32) dadurch, daß sie annimmt, daß hier nur Tilgung unter Identität der Adjektiva, nicht aber die erwähnte Regruppierung der Adjektive - die die Basis der Pluralisierung darstellt - möglich ist, obwohl sich die Adjektive auf die gesamte koordinierte NP-Struktur beziehen, wie das v.a. (31) zeigt, denn es dürfte wohl eine sehr eigenartige Alternative sein, ein Spielzeugauto oder eine echte Lokomotive (für ein Kind z.B.) zu kaufen. Crockett findet auch Sätze belegt, wo das entsprechende Adjektiv, das die durch die disjunktive Konjunktion verbundenen Substantive dominiert, im Plural steht (Crockett, 200ff).

- (33) *U telefona-avtomata oni iščut v karmane dve kopejki, a ne davno isčeznuvšie* (pl) *pjatialtynnyj* (sg) *ili semišnik* (sg)
- (34) *Semantičeskie vozmožnosti soglasovanija ograničivajutsja vyraženiem togo, kakomu predmetu prižadležat oboznačemye* (pl) *podčinennym slovom priznak* (sg) *ili dejstvie* (sg) u.a.

Ihr Erklärungsversuch lautet folgendermaßen:

In the derivation of sentences under ((50) = (33), (34)), the writers can be assumed to have applied Regrouping rather than Identity Deletion regardless of the nature of the connective. Regrouping of N nodes apparently always involves their attachment to a higher N node marked (+Plural) and attributives associated with regrouped nouns must therefore always be pluralized regardless of the connective (201-202)

Die Pluralität im Kontext von *ili* scheint doch marginal zu sein, nichtsdestoweniger aber bemerkenswert. In diesem Zusammenhang muß auch erwähnt werden, daß in der Subjekt-Prädikat-Kongruenz mit einer durch *i* koordinierten Subjektstruktur im Prädikat (Verb) nicht immer der Plural folgen muß. Man vergleiche folgende Sätze:

- (35) *Molodaja ženščina i malen'kij mal'šik vošli (pl) v komnatu*
(35a) *V komnatu vošla (sg,fem) molodaja ženščina (sg) i malen'kij mal'šik*
(35b) *V komnatu vošli (pl) molodaja ženščina i malen'kij mal'šik*

Die Singularität bzw. Pluralität des Prädikats hängt von mehreren Faktoren ab, deren Beschreibung uns hier zu weit führen würde. Kurz gesagt handelt es sich vornehmlich um die spezifische Referenzstruktur der Koordination in Beziehung auf das Prädikat; d.h. (35) ist nicht viel mehr, um hier nur das wenigste zu sagen, als die Behauptung des Aktes des Eintretens zweier Personen, während (35a) darüberhinaus die Betonung der eintretenden Personen selbst enthält. (Über diese schwierige Frage der Wortordnung und der Referenz: Crockett 239 ff.)

Für uns ist es momentan nur wichtig, daß die aufgezeigten Kongruenzphänomene darauf hindeuten, daß das Merkmal der "und"-Konjunktion im Russischen nicht absolut positiv pluralisch ist. Darüberhinaus kann man die "und"-Konjunktion nicht durch + oder -pl zureichend von der "oder"-Konjunktion unterscheiden, weil sonst Sätze des Typs (33), (34) schwer zu erklären wären.

Wir revidieren daher die Merkmalszuschreibung und indizieren die NP, die *i* dominiert mit (-sg) (und einem Zusatzmerkmal - eher eine Etikette, die vielleicht einen Merkmalkomplex vertritt (+conj) und diejenige, die *iž* dominiert mit (-pl) und dem Zusatzmerkmal (+disj(unktiv)) bzw. (-conj).

Weiters wollen wir mit R.C.Dougherty (1970)⁹ tentativ annehmen, daß **a l l e** Koordinationen basisgeneriert sind, d.h., nicht durch die sogen. Konjunktionsreduktion (Tilgungs- und Umstellungs-transformation, wie gezeigt) zustandekommen. Die Basisregeln enthalten u.a. folgende Hauptregeln:

- $$\begin{array}{l} S \longrightarrow S^{(n)} \\ S \longrightarrow NP^{(n)} VP^{(n)} \\ NP \longrightarrow Adj^{(n)} N^{(n)} \\ \text{Schema: } X' \longrightarrow X^{(n)} \\ \quad (M) \end{array}$$

(Wobei das superskribierte (n) die Rekursionsmöglichkeit der entsprechenden Kategorien ausdrückt, X eine beliebige Kategorie und (M) einen Merkmalkomplex darstellt, der in unserem Fall die Koordination signalisiert).

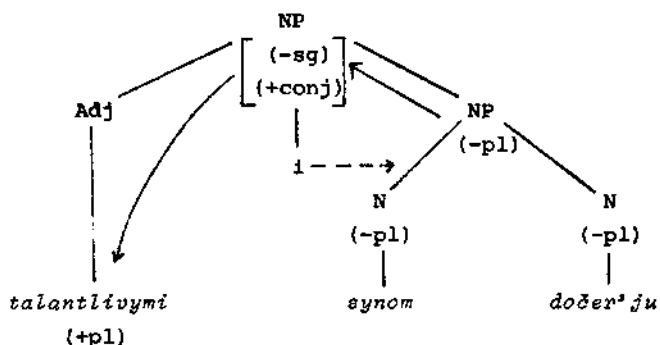
Durch dieses Regelschema erhält man die gewünschten Basisstrukturen der jeweiligen Koordinationstypen. Nehmen wir als Beispiel wiederum die Sätze (19) und (19a):

(19) *On osobenno gorditsja talantlivymi (pl) synom i doš'erju (sg)*

(19a) *On osobenno gorditsja talantlivym (sg) synom i doš'er'ju (sg)*

Sie haben eine Basisstruktur, die identisch ist mit ihrer Oberflächenstruktur (wenn man von der morphologischen Komponente zunächst einmal absieht; sie ist auch identisch mit der Oberflächenstruktur des Satzes (19) in der Version von Crockett).

Schema 14:



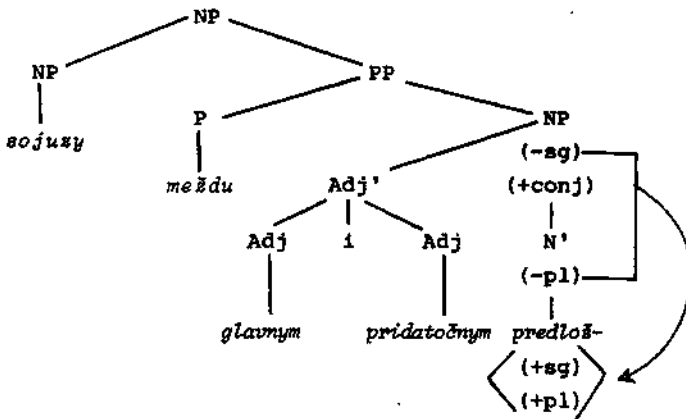
Durch die schon wiederholt beschriebenen Prozesse entsteht in der höchsten NP folgender ⁺M-Komplex: ((-pl) (-sg)) (+conj). Nun muß das K-Prinzip in Kraft treten, daß entweder (-pl) oder (-sg) als Ausgangspunkt wählt und die beschriebenen Mechanismen auslöst. Die Wahl wird freilich von semantischen Faktoren mitbestimmt, d.h., daß es sich hier eigentlich um eine interpretative Regel handelt (im Sinne von Chomsky, Dougherty, Jackendoff, May u.a.). Das Interessante dabei ist, daß das Russische genügend Evidenz zu bieten scheint, um annehmen zu dürfen, daß semantische Regeln auch morphologische Veränderungen bewirken können. (Wir werden im 3. Teil dieser Arbeit weitere Evidenzen dafür liefern, wollen jetzt aber nicht mehr zum Problem des grammatischen "Ortes" einer Regel sagen).

Die Basisregeln erzeugen also zugrundeliegende Strukturen, die im wesentlichen identisch mit den Oberflächenstrukturen sind. Über diese operieren die Kongruenz- und Konkordanzregeln, und zwar so, daß die Forcierung eines positiven Merkmals durch interpretative Regeln geschieht, das stets auf den Knoten kopiert wird, der die Konjunktion nicht aufweist. Ein Hauptargument für dieses Verfahren liegt darin, daß der Singular bzw. Plural kein eindeutiger Indikator des Skopus des Adjektivs ist, d.h. daß durch eine rein strukturelle Konfiguration der Modifikationsbereich des Adjektivs - ob er nur das erste oder auch das zweite Nomen betrifft - nicht eindeutig bestimmt werden kann (s.dazu die Bemerkungen Crocketts und Rozental'/Telenkova's (Zitate oben)).

Da die "oder"-Konjunktion mit dem Merkmal {-pl} ausgezeichnet ist, wodurch ein ⁺M-Komplex wie bei der "und"-Konjunktion nicht entstehen kann, können wir auch die Marginalität des Plurals im Falle von *ili* deuten. Dieser kann vielleicht nur durch "starke" semantische Faktoren ausgelöst werden.

Parallelförmigkeiten wie (2), (2a) klären sich durch diese Annahme ebenfalls einfacher auf (wir haben gesagt, daß sie synonym sind). (2) und (2a) haben dementsprechend eine gemeinsame Basisstruktur, die zugleich deren gemeinsame Oberflächenstruktur ist, mit Ausnahme des Wechsels zwischen Plural und Singular im Nomen:

Schema 15:



Nun treten wieder 1) die normale Kongruenzregel und 2) die Konkordanz bzw. Ausgleichsregel in Kraft. Wenn keine anderen semantischen Indikatoren vorhanden sind, ergibt das Konkordanzprinzip wiederum

beide Möglichkeiten. Im Falle der Wahl des Plurals übernimmt sozusagen das Nomen die syntaktische Last der gesamten koordinierten Struktur, da es zu einer Interferenz von semantisch-syntaktischen und morphologischen Regeln kommt. Wenn man die theoretische Annahme zuläßt, daß der Plural im Falle der Koordination mit *i* grundsätzlich merkmallos ist und der Singular merkmalhaft (was die Beobachtungen zur Subjekt-Prädikat-Kongruenz beweisen; s.z.B. das statistische Wörterbuch von Graudina u.a. (1976), wo ein Prozentsatz von 96,02 (Plural des vorangestellten Prädikats) zu 3,98 (Singular des vorangestellten Prädikats) angegeben wird (31), dann ist man, so glaube ich, berechtigt, eine Version der Prävalenzbedingung über das K-Prinzip anzunehmen, welche besagt, daß der Ausgleich nach dem merkmallosen Term eines ⁺M-Komplexes forciert wird, wenn nicht andere Faktoren (wie die spezifische Referenz) interferieren. Wir sehen hier wiederum, daß sich die Merkmalhaftigkeitsrelation in bestimmten syntaktischen Kontexten umkehren kann (s. auch die Bemerkungen im 1. Teil, 278).

Wir haben nun die wichtigsten Phänomene in bezug auf bestimmte formale Inkongruenzen bei zwei Typen von Konjunktionen skizziert. Es erübrigt sich zu sagen, daß damit bei weitem nicht alle Probleme berührt, geschweige denn gelöst sind. Wir glauben aber, daß wir zumindest einen minimalen Schritt getan haben, der es erlaubt, eine adäquate theoretische Lösung zu erhalten. Als bemerkenswertes Nebenprodukt sozusagen, ist uns aufgefallen, daß es interpretative Regeln geben muß, die morphologische Veränderungen herbeiführen können. (Man hat dies von alters her natürlich schon eingesehen - ohne formale Regeln auch nur andeuten zu können - wenn man an den Begriff der "semantischen Kongruenz" (Constructio kata synesin) denkt).

**NEUN: Ein bemerkenswerte Fall von
präpositionaler Konjunktion**

Zum Schluß möchten wir noch einen flüchtigen Blick auf eine andere Art von Konjunktion werfen, die ein interessantes interpretatives Problem aufwirft. Wir meinen die subordinierende Konjunktion mit der Präposition *s* (mit):¹⁰⁾

(36) *Brat (sg) s sestroj (sg) uechalj (pl) v derevnju*

(36a) *Brat (sg) s sestroj (sg) uechal (sg) v derevnju*

Wir sehen, daß, obwohl das Subjekt, das aus zwei Substantiven im Singular und einer präpositionalen Konjunktion zusammengesetzt ist, das Verbum einmal im Singular und das andere Mal im Plural steht. Für dieses Phänomen gibt das Handbuch von Rozentals' und Telenkova zwei grundsätzliche Erklärungen, die besagen, daß die Pluralform des Prädikats darauf hindeutet, daß "die ganze Gruppe als Subjekt fungiert, d.h., daß zwei Personen in gleichem Maße Träger der Handlung sind" und "die Singularform des Prädikats darauf hindeutet, daß nur das erste Substantiv (im Nominativ) als Subjekt fungiert, während das zweite (im Instrumentalis) als Objekt betrachtet wird und eine Person bezeichnet, die den Träger der Handlung begleitet" (283). Als Beispiele für den zweiten Fall geben sie folgende Sätze an:

(37) *Mat' s rebenkom pošla (sg) v detskuju polikliniku*

(38) *Brat s sestrenkoj uechal (sg) v derevnju*

In (37) und (38) müssen beide Verben im Singular kongruieren, weil die lexikalische Bedeutung von *rebenok* und *sestrenka* darauf verweist, daß die Handlung nicht kollektiv ausgeführt wird, sondern daß die durch *s* subordinierten Substantiva eigentlich Objekte (der Handlung) sind. Wir könnten daher versuchen, aus dieser knappen semantischen Charakteristik heraus, Sätzen wie (36a), (37) und (38) folgende (informale) Basisstrukturen zuzuordnen:

(36a') *Brat uechal (s sestroj) v derevnju*

(37') *Mat' pošla (s rebenkom) v detskuju polikliniku*

(38') *Brat uechal (s sestrenkoj) v derevnju*

(Wir ersparen uns hier die Strukturen und Transformationen anzugeben).

Was die Pluralform des Verbs angeht, so könnte man sie vorderhand so erklären, daß diesen Sätzen eine Basisstruktur zukommt, die identisch ist mit derjenigen für die "und"-Koordination.

(36') *Brat (sg) i sestra (sg) uechalj (pl) v derevnju*

Das heißt nun, daß wir es in einem Fall mit einer echten präpositionalen Struktur zu tun haben (36a), (37), (38) und im anderen Fall

(36) wäre diese Präposition nur ein Reflex der *i*-Konjunktion. Dies sind sehr einleuchtende Erklärungen, die für eine transformationelle Lösung sprechen. Es gibt aber, wie schon angedeutet, interessante semantische Phänomene, wenn das Hauptglied in der Subjektsphrase ein Personalpronomen (v.a. in der 1. und 2. Person) ist. Man vergleiche folgende Sätze:

(39) *Ja* (sg) *i Boris rešili vse zadači*

(40) *My* (pl) *s Borisom rešili vse zadači*

Im Gegensatz dazu:

(41) *Ty* (2.pers.sg) *so mnoj uže govoril* (sg) *ob etom*

(42) *Ja* (1.pers.sg) *s Borisom pošel na katok*

(39) und (40) sind im wesentlichen synonym, was bedeutet, daß das Pronomen *my* (wir) in (40) singularisch gedeutet werden muß, denn der Satz bedeutet nicht, daß wir (z.B. eine Gruppe von Leuten) und Boris alle Aufgaben gelöst haben, sondern, daß ich und Boris alle Aufgaben gelöst haben. D.h., ein Personalpronomen im Plural wird in diesem Kontext als Singular gedeutet, obwohl es die Pluralform aufweist. Wir bemerken hier also wiederum eine Art Widerspruch zwischen einer Form und ihrer Bedeutung. Wenn ein Personalpronomen im Singular steht (vgl. Sätze (41) und (42)), dann heißt das, daß wir es nicht mit einer zugrundeliegenden Koordination zu tun haben, daher muß das Verb im Singular kongruieren.

Nun betrifft dieses interpretatorische Phänomen nur die Personalpronomen und nicht die gewöhnlichen Nomen, wie die Sätze oben zeigen: ein Plural *s t a t t* des Singulars wäre in Sätzen wie (36) unmöglich.

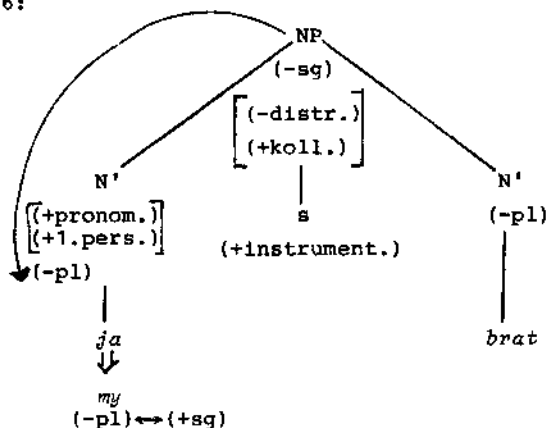
Alle diese Tatsachen scheinen für eine Lösung zu sprechen, die wir nun kurz skizzieren möchten. Wenn Sätze wie (39) und (40) tatsächlich eine gemeinsame strukturelle Basis haben und sich signifikant von Sätzen wie (41) und (42) unterscheiden, dann können wir analog zu unseren Vorschlägen für die Strukturierung der Koordination mit der Konjunktion *i*, der die Konjunktion dominierenden NP dasjenige Merkmal zuschreiben, das wir eben dieser Konjunktion gegeben haben, nämlich (-sg). Dann erhalten wir folgende "Gleichung":

$$ja \text{ (-pl) } i \text{ (-sg) } N' \text{ ((-pl)) } = my \text{ (+pl) } s \text{ (x) } N' \text{ ((-pl))}$$

Wir geben daher der in Frage kommenden NP, die die Konjunktions-

struktur dominiert, das Zusatzmerkmal, sagen wir (-distributiv, +kollektiv). So können wir folgende Struktur zeichnen:

Schema 16:



Die Merkmalkombination, die die höchste NP enthält, wird als die subordinierende Konjunktion *s* interpretiert. Eine Rektionsregel kopiert das Merkmal (+instrumental) auf das Nomen. (Durch diese Kasusmarkierung wird diese N' eigentlich zu einer Präpositionalphrase, die das Eindringen weiterer Prozesse blockiert; allerdings ist dieser Vorgang, zumindest was die technische Seite der hier involvierten Regeln angeht, etwas undurchsichtig, für unsere Argumentation aber nicht sehr wesentlich). Nun entsteht durch die Kopierung des Merkmals (-sg) im pronominalen N'-Knoten ein ⁺M-Komplex ((-sg)(-pl)). Wenn wir analog zu den früheren Betrachtungen auch jetzt die "Prävalenzbedingung der Merkmallosigkeit" statuieren (das können wir, weil diese Strukturen ja eine identische Basis mit der *i*-Konjunktionsstruktur haben), so bekommt man letztendlich das gewünschte Resultat: *my* (pl), das nun aber singularisch interpretiert wird. Wir sehen also hier wiederum den interessanten Fall, daß ein bestimmtes morphologisches Resultat (+pl) eine entgegengesetzte Deutung (+sg) erfährt. Die Ähnlichkeiten zu den vorhin beschriebenen Prozessen und Konfigurationen sind hier, so glaube ich, nicht zu übersehen.

Eine nicht unwesentliche Indikation dafür, daß die *i*-Konjunktion und die *s*-Konjunktion dieselbe zugrundeliegende Struktur auf-

weisen, stellen folgende Varianten dar:

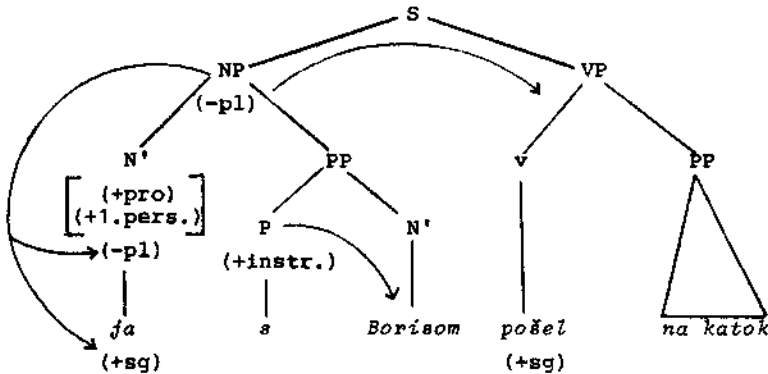
(43) *Moj* (sg) *otec* (sg) *s mater^oju uechali* (pl) *v derevnju*

(44) *Moi* (pl) *otec* (sg) *s mater^oju uechali v derevnju*

Man vergleiche dazu die Koordinationsstrukturen mit singularischem vs. pluralischen Adjektiven (Serie (b)). Es können also auch hier der Singular und der Plural eines Adjektivs bzw. Pronomens alternieren.

Sätze wie (41) und (42) entstehen dann auf die beschriebene Art und Weise, nämlich aus einer Verschiebung der Objekt-PP (*so mnoj, s Borisom*) in die Subjekt-NP. Eine andere Möglichkeit wäre die, daß in diesen Sätzen eine "echte" Präpositionalphrase in der Subjekt-NP-Basis generiert wird:

Schema 17:



Wie man leicht sieht, kann in dieser Struktur kein ⁺M-Komplex entstehen, weil hier nur das Merkmal (-pl) auftritt. Für unsere Argumentation ist die Wahl zwischen beiden Möglichkeiten wiederum nicht sehr entscheidend.

Diese Arbeit stellt den Versuch dar, die Theorie der Merkmalhaftigkeitsrelation als Theorie des (doppelten) Mangels zunächst in Teilbereichen der Syntax anzuwenden. Daß es dabei zu so etwas wie einer Paradoxie der "merkmalhaften Merkmallosigkeit" kommen kann, wurde aufgezeigt. Diese stellt die prinzipielle Schwierigkeit bei der Implementation dieser Theorie in der Syntax dar.

Wir haben, so hoffe ich, zeigen können, daß das Konkordanzprinzip, das die formale Kongruenz überlagern kann, über anscheinend disparate Phänomene, wie die spezifische Numerusinkongruenz, die durch gewisse Zahlwörter und die spezifische Genusinkongruenz, die durch bestimmte Klassen von Substantiven ausgelöst wird, generalisierbar ist. Insofern erweist sich dieses Regelschema genereller und prädiktabler als die "Unmarked Animate Gender Rule" D.B.Crocketts und, was die Syntax der besprochenen Numeralia angeht, (s. Teil 1) auch genereller als die Regeln, die G.G.Corbett (1978 a,b; sowie Referenz im 1. Teil) jüngst vorgeschlagen hat.¹¹ Weiters sind Inkongruenzerscheinungen bei bestimmten Koordinationsstrukturen durch die Konkordanz- bzw. Ausgleichsregel lösbar. Eine mögliche Generalisierung betraf letztendlich auch das Zusammenspiel von semantischer Interpretation und morphologischer Realisierung in einer subordinierenden Konstruktion. Das hat allgemein das Problem der durch Interpretationsregeln bedingten morphologischen Veränderbarkeit aufgeworfen.

A n m e r k u n g e n

1. Die folgenden Sätze sind dem Buche Dina B.CROCKETT'S (1976) entnommen (S.69ff). Wir werden uns auf diese bemerkenswert klare und äußerst umfangreiche Analyse der Kongruenzphänomene im Russischen die ganze Arbeit hindurch mehr oder minder explizit beziehen.
2. Siehe dazu auch 1. Teil, S.230-31 und allgemein zur Merkmaltheorie 1. Teil, S.216ff.; s.auch die Einleitung (Sechs) zum zweiten Teil. Für eine Übersicht über die Merkmaltheorien s.v.a.: G.HENRICI (1975), M.A.SELJAKIN (1977).
3. Es würde hier zu weit führen, über die Struktur dieser Sätze weiter abzuhandeln. Wir hoffen, dies in einer eigenen Arbeit bald tun zu können.
4. Sie sind CROCKETT (1976) entnommen.
5. Die Beispiele, auf die wir uns hier beziehen, stammen ebenfalls aus CROCKETT (s.ihre Erklärungsversuche, die sich auf der Linie halten, die wir soeben kritisch beleuchtet haben. S.v.a. 92ff).
6. Beispiele aus ROZENTAL'/TELENKOVA (298ff), Beispiel (11) aus CROCKETT.
7. Die folgenden Sätze sind aus ROZENTAL'/TELENKOVA.
8. Dieser Satz ist aus CROCKETT.

9. R.C.DOUGHERTY hat in seiner bahnbrechenden Untersuchung zu Koordinationsstrukturen im Englischen allerdings diejenigen Konjunktionskonfigurationen, die Gegenstand unserer Untersuchungen sind, nicht behandelt. Seine "Base-Feature-Hypothesis" scheint jedoch auch für diese Fälle von grundlegender Signifikanz zu sein. Wir wollen und können hier aber keine gültige Entscheidung für oder gegen die eine oder andere Theorie treffen. In gewissem Sinn ist unsere Hypothese demgegenüber neutral.
10. Die folgenden Sätze sind aus ROZENTAL'/TELENKOVA.
11. Ich möchte hier eine kurze Anmerkung nachholen, die sich eigentlich auf den 1. Teil der Arbeit bezieht. CORBETT'S Regeln haben große deskriptive Vorzüge, die Argumentationen, die die Regeln etablieren, zeigen aber soweit ich das seinen Arbeiten entnehmen kann, m.E. einige explanative Schwachstellen.
- (1) muß er mit dem Dual als rein syntaktisches Merkmal operieren (das nichts anderes als eine "Etikette" sein kann), um die M-Kombination (+sg, +gen) im Nomen, das durch 2-4 quantifiziert wird, zu erhalten. Wenn man ein unnatürliches Merkmal vermeiden kann, stellt dies m.E. den ersten Schritt zu einer Explanation - und nicht nur Deskription - dar. Das glauben wir geleistet zu haben, weil sich "M-Komplexe an verschiedenen grammatikalischen "Orten" zeigen, anders als der "Dual", der gerade nur für die Zahlensyntax als Ausnahmmerkmal spezifisch ist.
- (2) bürdet er der Kategorisierung der Numeralia als "Squish" (s.Bemerkung im 1. Teil, 232) eine zu große explanative Last auf, weil formale Inkongruenzphänomene, wie wir gesehen haben, verschiedenen Ursprungs sein können. Allerdings ist nicht zu bestreiten, daß die Squish-Kategorie eine gewisse Rolle spielt.
- (3) Die Genitiv-Insertion in der vom Zahlquantor dominierten NP ist für ihn eine "Tidyng-up rule", um "an unwellcome combination of two nominative cases" (CORBETT, 1978 a, 261) zu vermeiden. Die Genitivinsertion hängt also ab vom "Wert" des Squish: maximal "nouny" (z.B.: *million*), dann erfolgt stets Genitivierung, "not-nouny" (z.B.: *odin*), dann erfolgt keine. Bei "mittleren Werten" (2-4) operiert die Genitiv-Regel nur, um eben die "unwellcome structures" zu vermeiden. Ich kann hier auf die Regelprozedur selbst nicht eingehen, sie ist, um es kurz zu machen, in n e r h a l b seiner Annahmen optimal. Dieser Standpunkt läßt aber eine weitreichende Generalisierung vermischen: wenn die Genitivierung hier diesen Bedingungen unterliegt, ist schwer zu erklären, warum die Quantifikation und auch die Negation mit der Genitivierung unmittelbar zusammenhängen (s. 1. Teil, 220).

L i t e r a t u r h i n w e i s e

(sofern sie nicht schon im 1. Teil erfolgten)

- CORBETT G.G. 1978a: *Apposition Involving dva, tri, žetyre in Russian - A Solution to Worth's Riddle*; in: *Quinquereme - New Studies in Modern Languages* (Bath, GB) vol.1 (1978), no.2, 258-264.

- CORBETT G.G. 1978b: Numerous Squishes and Squishy Numerals in Slavonic; in: International Review of Slavic Linguistics, vol.3, no.1-2, 1978, 43-73.
- CROCKETT Dina B. 1976: Agreement in Contemporary Standard Russian, Slavica Publishers, Inc.
- DOUGHERTY Ray C. 1970: A Grammar of Coordinate Conjoined Structures, I und II, in: Language 46 und 47.
- GRAUDINA A.K., ICKOVIČ V.A., KATLINSKAJA A.P. 1976: Grammatičeskaja pravil'nost' russkoj reči (Opyt častotno-stilističeskogo slovarja variantov), Moskva.
- NAPOLI Donna J. 1975: A Global Agreement Phenomenon, in: Linguistic Inquiry, vol.VI, no.3, 1975, 413-435.
- ROSS J.R. 1966a: Adjectives As Noun Phrases; in: Reibel D.A. and Shane S.A.: Modern Studies in English (Readings in Transformational Grammar, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1969.
- 1966b: A Proposed Rule of Tree-Pruning, ebenfalls in: Reibel/Shane 1969.
- ŠELJAKIN M.A. 1977: K voprosu o metodologičeskich osnovach sistemno-strukturnogo opisanija grammatičeskich kategorij (1). Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii, XXIX, Serija lingvističeskaja, Tartu.

(Der Teil III dieses Beitrags folgt in Band 4, 1979)

DAS STIMMLOSE J UND DAS MOUILLIERTE X IM RUSSISCHEN

O. In der heutigen russischen Literatursprache kann man oft ein *j* am Wortende vor einer Pause stimmlos (etwa als [ç]) realisiert hören. Als Beispiele können v.a. die Adjektiva in der Langform des N sg.m. dienen (z.B. [t'ɔmnɔç], [s'itnɔç]), aber auch Substantiva (z.B. [ɕ'äç], [kra'ç]), Imperative (z. B. [ʌtkrɔ'ç], [du'ç]) u.a. In dieser Position wechseln *j* und *ç* von Sprecher zu Sprecher, aber auch (mir unbekannt, ob alle) diejenigen, die *ç* verwenden, sprechen in dieser Position manchmal auch das stimmhafte *j*.

Diese phonetische Erscheinung wurde schon z.B. von L.L. Bulanin¹⁾ und M.V. Panov²⁾ beschrieben. Panovs Ansicht, bei der Aussprache [ç] handle es sich um eine "gesteigert emotionelle"³⁾, scheint den heutigen Gegebenheiten nicht mehr zu entsprechen, vielmehr dürfte diese Aussprache auch in einer stilistisch merkmallosen, nüchternen Sprache möglich sein; das bestätigen auch die Sprechmuster auf den zu Avanesovs Buch⁴⁾ gehörigen Schallplatten (der Sprecher verwendet nur *j*, die Sprecherin daneben auch *ç*). Auf Platten, die die richtige Aussprache demonstrieren sollen, wird niemand eine emotionell gefärbte Sprache erwarten. Bulanin schreibt nichts über eine solche emotionelle Färbung in der Aussprache [ç]. Es handelt sich bei *j* und *ç* vor einer Pause also um gleichberechtigte, fakultative Varianten.

1. Der (fakultative) Wandel *j* > *ç* vor einer Pause schließt sich der im Russischen in dieser Position üblichen Neutralisierung der Stimmbeteiligungskorrelation an, die allerdings bei den Obstruen-

1) s. L.L. Bulanin, Fonetika sovremennogo russkogo jazyka, Moskva 1970, 125.

2) s. M.V. Panov, Russkaja fonetika, Moskva 1967, 36.

3) s. ibidem

4) R.I. Avanesov, Russkoe literaturnoe proiznošenie, Moskva ⁵1972.

ten darüber hinaus an jedem Wortende stattfindet, bei *j* jedoch nur vor einer Pause. Wenn man von diesem Unterschied absieht, reiht sich also *j* zumindest in dieser Beziehung in das System der Obstruenten ein. Auffallend ist die Parallelität dieser Entwicklung des *j* zu der des *v*: auch der bilabiale Sonant *w* wurde (durch seinen Übergang zur labiodentalen Artikulation) zum Obstruenten und konnte daher an der Stimmbeteiligungskorrelation und deren Neutralisierung vor einer Pause (dann auch an jedem Wortende) teilnehmen. Diese Parallelität zwischen *j* und *v* verwundert nicht angesichts ihrer vielen gemeinsamen Entwicklungen im Laufe der Sprachgeschichte (z.B. ihrer silbischen Realisierungen *i* und *u* als indogermanische Schwundstufe, ihrer Behandlung in der urslawischen Monophthongierung und ihres Fungierens als Hiatusstilger).

2. Artikulatorisch ist das [ç] dem mouillierten [x'] sehr ähnlich. Der minimale Unterschied zwischen ihnen dürfte - wenn man von der Stimmbeteiligung absieht - derselbe sein wie der zwischen [j] und [x']: bei [x'] berührt die Zunge nicht nur den mittleren Teil des Gaumens wie bei [j], sondern auch dessen hinteren Teil⁵⁾; beide, [j] (und somit auch [ç]) und [x'] werden phonetisch als mediopalatale Laute eingestuft⁶⁾, und es ist fraglich, ob der oben geschilderte Unterschied unter normalen Umständen überhaupt wahrgenommen wird.

3. Nach herkömmlicher Interpretation wird [ç] als fakultative Positionsvariante von /j/ (vor einer Pause), [x'] aber als obligatorische Positionsvariante von /x/ (vor vorderen Vokalen und mouillierten Konsonanten) aufgefaßt.

Man könnte aber theoretisch [ç] und [x'] aufgrund ihrer fast identischen Artikulation zu einem eigenen, selbständigen Phonem /x'/ vereinigen, welches vor vorderen Vokalen und mouillierten Konsonanten als [x'], vor einer Pause aber als [ç] realisiert würde. Die Laute [x'] und [ç] wären also komplementär verteilte Positionsvarianten des Phonems /x'/, welches nun sowohl zu /j/ als auch zu /x/ in phonologischer Opposition stünde. Diese Interpretation könnte man auch durch Minimalpaare untermauern:

5) vgl. Panov, Russkaja fonetika, 36, Ris. 4.

6) vgl. ibidem, 33; auch Bulanin, Fonetika 69 f., Fußnote 1 stuft mit besonderem Nachdruck [x'] als artikulatorisch mediopalatal ein.

/x' / ≠ /x/ :	/dóbryx' / = N sg.m.	/mox' / = "mein"
	/dóbryx / = G pl.	/mox / = "Moos"
	/dux' / = 2.sg.imp.von dut' "blasen"	
	/dux / = "Geist"	
/x' / ≠ /j/ :	/páx' i / = P sg.von paz "Geruch"	
	/páji / = P sg.von paj "Anteil"	
	/padvóx' i / = P sg.von podvoz "Streich", "Betrug"	
	/padvóji / = P sg.von podvoj "Hülle"	
	/máx' i / = P sg.von max "Schwung"	
	/máji / = P sg.von maj "Mai".	

Anmerkungen.

1. Die Ansicht, x' sei ohnehin ein Phonem, weil es in Fremdwörtern auch vor hinteren Vokalen vorkommt, wird hier nicht berücksichtigt.
2. Ein Einwand, in z.B. *moj* sei auch bei einer Aussprache mit [ɟ] dieses nicht zur Gänze stimmlos, sondern beginne als stimmhaftes *j*, sodaß das stimmlose Ende unphonematisch sei, ist deshalb nicht stichhältig, weil es zu subtil wäre, auch in einer Folge *-iq* (auch *-eq*, *-uq*?) diese Beobachtung machen zu wollen. Da also von daher nichts im Wege liegt, ein Phonem /x'/ anzusetzen, kann man den stimmhaften Beginn des /x'/, sofern er vorhanden ist, als unphonologisch betrachten oder aber die Erscheinung als das Aufeinanderfolgen der beiden Phoneme /j/ und /x'/ interpretieren.

Der Ansatz eines Phonems /x'/ würde das Postulat der phonetischen Ähnlichkeit von Allophonen besser erfüllen, weil [ɟ] und [x'] in der üblichen Einteilung der Laute nach Artikulationsstelle, -modus und Stimmbeteiligung in dieselbe Klasse fallen (nämlich als stimmlose mediopalatale Frikative), während sich [j] von [ɟ] durch die Stimmbeteiligung, [x'] von [x] durch die Mouillierung unterscheidet, zwei Kriterien, die sonst im Russischen gewöhnlich **Phoneme** unterscheiden und überhaupt das Fundament des russischen Konsonantensystems darstellen. Außerdem würde ein Phonem /x'/ 1. die Lücke eines mouillierten *x*, 2. die Lücke eines stimmlosen *j* im Phonemsystem ausfüllen und 3. in seiner Eigenschaft als mouillierter Laut auch seinem stimmhaften Korrelationspartner *j* den Wert eines in phonologischer Hinsicht mouillierten Lautes, wie es deren im Russischen viele gibt, verleihen⁷⁾ und ihm den Wert des einzigen phonologisch mediopalatalen Konsonanten nehmen. Ein Phonem /x'/ würde also der "Systemstrebigkeit" des russischen Phonem-inventars um einige Schritte weiterhelfen.

7) das entsprechende nicht mouillierte Phonem /ɣ/ fehlt in der Literatursprache. Zur Möglichkeit, *j* als mouillierten Velaren aufzufassen, vgl. die Diskussion, ob in russischen Dialekten [ɣ] mit [j] identisch ist oder nicht, s. R.I.Avanesov, Russkaja literaturnaja i dialektnaja fonetika, Moskva 1974, 180 ff.

4. Ein gewisses Problem für eine Interpretation des x' als Phonem liegt darin, daß x' in der einzigen Position, wo es in phonologischer Opposition zu x steht und somit seinen Phonemcharakter unter Beweis stellen könnte (nämlich vor einer Pause), bloß fakultativ verwendet wird. Die Bedingung für den Ansatz eines Phonems $/x'/$ ist also nur fakultativ erfüllt; in einem solchen Fall wäre es vielleicht angebracht, von einem "fakultativen Phonem" zu sprechen. Dieses ist zwar kein Phonem im vollen Umfang, weil es in jeder russischen Äußerung nach Belieben phonologisch entlastet werden kann (durch die Aussprache [j] statt [ɣ] vor einer Pause). Man kann ihm aber dennoch nicht einen gewissen Phonemcharakter absprechen, denn wenn es vor einer Pause (als [ɣ] realisiert) gesprochen wird, ist es nun einmal bedeutungsunterscheidend (s. die Minimalpaare in 3.). - Da beide Aussprachemöglichkeiten gleichberechtigt sind, müssen sie beide bei einer phonologischen Auswertung des russischen Lautinventars berücksichtigt werden, auch wenn die Ergebnisse einander widersprechen; der Ansatz eines fakultativen Phonems ermöglicht, diese Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen.

5. Diese Schwierigkeiten kann man natürlich umgehen, wenn man das "fakultative Phonem" $/x'/$ in [ɣ] als Positionsvariante zu $/j/$ und in [x'] als Positionsvariante zu $/x/$ aufspaltet, sich also an die herkömmliche Interpretation hält (s. 3.). Allerdings muß man dabei auf die in 3. (letzter Absatz) beschriebenen Vorteile verzichten. Wenn man aber den Lautwandel $j > ɣ$ einer "Systemstrebigkeit" zuschreiben und annehmen will, daß er deswegen eintritt, damit das $/j/$ einen stimmlosen und das $/x/$ einen mouillierten Korrelationspartner bekommt, dann ist es überhaupt unmöglich, dem $/x'/$ den Charakter eines (wenn auch einstweilen bloß fakultativen) Phonems abzusprechen.

6. Da jedes Lautgesetz eine gewisse Zeit braucht, bis es alle Sprecher und Sprechsituationen erfaßt, gibt es, wenn das Lautgesetz eine Änderung des phonologischen Systems herbeiführt, eine Übergangsperiode, in der das alte und das neue Phonemsystem koexistieren und konkurrieren.⁸⁾ Fakultative Phoneme sind nun Laute, die während einer solchen Übergangsperiode vom Standpunkt des neuen Systems Phoneme sind, nicht jedoch für das alte System, oder umgekehrt. - Das russi-

⁸⁾ vgl. C.C. Fries - K.L. Pike, Coexistent Phonemic Systems, Language 25 (1949), 41.

sche Phonemsystem befindet sich jetzt in einem solchen Übergangsstadium: solange vor einer Pause φ nicht möglich war, gab es kein Phonem / x' /; falls sich einmal der Wandel $j \rightarrow \varphi$ vor einer Pause tatsächlich allgemein durchsetzen sollte, wird man ein Phonem / x' / ansetzen können; da zur Zeit φ bloß fakultativ gesprochen wird, ist x' als Phonem ebenfalls nur fakultativ.

ZUR ÄLTESTEN TSCHECHISCHEN GEISTLICHEN LYRIK

1. *Hospodine pomiluj ny*

Das älteste erhaltene tschechische Lied *Hospodine pomiluj ny* steht zweifellos in der kirchenslavischen Tradition.¹ Es hat sich immer schon die Frage gestellt, wie zu erklären ist, daß dieses Lied das Verbot der slavischen Liturgie überlebt hat und in mannigfachem offiziellem Gebrauch außerhalb des kirchlichen Gottesdienstes geblieben ist - so beim Antrittsritual der böhmischen Herrscher.

Das achtzeilige Lied entwickelt den Ruf *Hospodine pomiluj ny*, der selbstverständlich die slavische Wiedergabe der Formel *Kyrie eleison* ist. Dieselbe Formel erscheint in anderer Gestalt im dreiteiligen *Krleš* der letzten Zeile. Die Formel *Krleš* dürfte nicht unmittelbar auf das griechische *Kyrie eleison* zurückgehen, sondern auf die deutsche Umformung *Kirleis* (mit *š* für *s*). In einer rein kirchenslavischen Rekonstruktion des Liedes hat die überlieferte achte Zeile keinen Platz.

Wir wissen, daß die christliche Mission stets bemüht war, dem Missionsvolk sogleich die Formel *Kyrie eleison* als christliches Losungswort beizubringen. Es ist aus Thietmar von Merseburg bekannt, wie der Bischof Boso damit bei seinen Wenden ankam, welche die Formel zum Hohn verdrehten. Aus dem deutschen Bereich wird über die Verwendung dieser Formel bei vielen profanen Anlässen berichtet: beim Austreiben des Viehs, beim Antritt einer Fahrt, zu Beginn der Schlacht. Im Ludwigslied heißt es, daß im Angesicht des Feindes *ther kuning...sang lioth frāno, / ioh alle saman sungun Kyrie eleison*. Es heißt also, "sie sangen alle", nicht "sie riefen". In den Kapitularien Karls des Großen und Ludwigs des Frommen wird angeordnet, daß sich das Volk zur Kirche begeben und auf dem Hin- und Rückweg statt weltlicher Gesänge *Kyrie eleison* anstimmen solle. Sollte immer nur derselbe Ruf wiederholt werden oder ist hier an eine Prozessionslitanei zu denken? Ein Salzburger Synodalbeschuß enthält die Bestimmung, das Volk solle lernen, sein *Kyrie eleison* nicht bäurisch, sondern besser zu singen, d.h. offenbar nach der sog. "süßen Weise"

des Kirchengesanges. Die griechische Formel - zu *Kirleis* abgewandelt - wurde auch durch das deutsche *Kriste ginado* ersetzt und der Ruf gestreckt. Aber ein deutsches Lied, das dem tschechischen *Hospodine pomiluj ny* entspricht, ist uns nicht bekannt.

Wenn in den alten Quellen auf *Hospodine pomiluj ny* angespielt wird, so ist nicht immer klar, ob damit der Ruf oder das Lied (die "cantilena dulcis" bei Kosmas?) gemeint ist. Dieses Lied hat einen "wohlgeformten Aufbau": Es ist dreiteilig, jeder Abschnitt umfaßt einen Großsatz, in welchem je einmal das Wort *Hospodine* vorkommt - 1. die formelhafte Anrufung mit der globalen Bitte (Vers 1-2), 2. die Einleitung der eigentlichen Bitte (3-5), 3. die explizite Bitte selbst (6-7), d.h. zwei Verse am Anfang, zwei Verse am Schluß und drei Verse in der Mitte. Während die zwei Verse am Anfang in zwei parallele Einheiten zerfallen, bilden die beiden Schlußverse eine übergreifende Einheit. Parallelismen, Wort-, Form- und Lautwiederholungen verstärken die geschlossene Struktur des reimlosen, doch ursprünglich wohl isosyllabischen Gebildes. Man hat auch darauf hingewiesen, daß dieses Lied noch nicht von theologischer Spekulation, von Vorstellungen eines überirdischen Gottesreiches berührt ist. Man kann sagen, daß dieser Ruf ein Heilspruch, das Lied ein Heilsgebet sei. Wenn nämlich von der Mission das Wort *pomilovati* als Übersetzung von griechisch *ἐλεεῖν* oder *ὀνειδέειν* eingeführt wurde, so war diese Bedeutung rein kirchenslavisch, während in den Volkssprachen *milò* nur "lieb, geneigt" bedeutet. So mußte die Formel *pomiluj ny* von der Menge nicht im Sinne von "habe Mitleid mit uns Sündern" verstanden worden sein, nicht als Bitte um *commiseratio*, sondern um Gunst, um Geneigtheit.²

Wie die Anrufung nicht erst nachträglich vom Volk aus der kirchlichen Liturgie übernommen wurde, so konnte auch das Lied schon von der Mission (ausschließlich?) für den öffentlichen Gebrauch außerhalb der Kirche bestimmt gewesen sein. Dann konnte das Verbot der slavischen Liturgie, die allgemeine Durchsetzung des lateinischen Gottesdienstes in der Kirche sowohl an dem Ruf als auch an dem Lied *Hospodine pomiluj ny* vorbeigehen.

2. *Svatý Vdolv*

Die drei (möglicherweise) ursprünglichen Strophen des Wenzelsliedes sagen nicht viel aus. Man sollte meinen, daß die Botschaft des Liedes heute wie ehemals allgemein verständlich ist. Das letzte Wort der Literaturgeschichte über dieses Lied lautet etwa so³:

Es ist aus dem gesungenen Kyrie entstanden, vielleicht schon im 12. Jahrhundert; auch hängt seine Entstehung mit der Entwicklung des Nationalbewußtseins zusammen. Es stellt sich dar (bzw. "ist stilisiert") als Gebet des böhmischen Volkes um die Fürbitte des böhmischen Landespatrons bei der heiligen Dreifaltigkeit. In der zweiten Strophe wird ein "leichter Hauch" von Mystizismus wahrgenommen (das ewige Leben, das lichte Feuer des heiligen Geistes). Es wird die ausgeprägtere künstlerische Struktur des Wenzelsliedes gegenüber dem *Hospodine pomiluj ny* festgestellt.

Daß dieses Lied aus dem Kyrie hervorgegangen ist, kann kaum als sicher gelten. Es war gewiß von oben für den Gemeindegesang bestimmt, aber das bedeutet noch nicht, daß es bei der Meßfeier in der Kirche seinen ursprünglichen oder eigentlichen Platz hatte. Anstelle der Annahme seiner Entstehung im 12. Jahrhundert wurde zumeist eine spätere Entstehungszeit angenommen, wobei an die Periode nationaler Bedrängnis während der Minderjährigkeit Wenzels II, der Auflehnung gegen die brandenburgische Herrschaft gedacht wurde. Für eben diese Vermutung spricht zweierlei: 1. wird im Lied der bereits zum Landespatron erhobene heilige Wenzel zuerst pathetisch mit seinem historischen Titel "Herzog der böhmischen Erde" apostrophiert, sodann aber als "unser Fürst"; diese Bezeichnung setzt ihn nicht ab von einem gleichzeitigen *princeps carnalis*, den es damals wohl nicht gegeben hat; 2. weist das Wort von der "schönen himmlischen Hofhaltung" bereits in die höfische Epoche.

Der böhmische Landespatron wird in diesem Lied gebeten, nicht bei der Heiligen Dreifaltigkeit, sondern bei Gott-Heiliggeist Fürbitte einzulegen. Die Erwähnung des lichten Feuers des Heiligen Geistes ist durchaus nichts Ungewöhnliches und weist auf keine besondere Richtung hin: denn als vornehmste Erscheinung des Heiligen Geistes galt jene im Pfingstwunder in Gestalt von feurigen Zungen. Feuerrot war die Farbe des Heiligen Geistes (und des Pfingstfestes). Bei Dante heißt es daher vom Heiligen Geist: *para fuoco*. Aber auch der Himmel, der Sitz des ewigen Lebens, in welchem der dreieinige Gott und die Seligen wohnen, ist nach der gängigen Auffassung der Licht- und Feuerhimmel, *caelum empyreum*. Indessen bleibt die Frage offen, warum sich das Gebet um Fürbitte gerade an den Heiligen Geist richtet. Liegt in der Hinwendung zum Heiligen Geist ein besonderer Sinn? Es scheint so: Der Heilige Geist ist gemäß der Bibel sowohl Feuer als auch Tröster, *paracletus-advocatus*⁴, er hat vom Pfingstwunder her auch die Zunge als Attribut, *jazyk* bedeutet altschechisch

auch das "Volk".

Der Form nach ist das Wenzelslied mehr künstlerisch als das *Hospodine pomiluj ny* gebaut, insofern hier alle drei Strophen in sich gegliedert sind, doch haben sie keinen symmetrischen Aufbau: die erste Strophe unterscheidet sich von den zwei folgenden, die einen annähernd gleichen Bau aufweisen. Ist diese Ungleichheit ein hinreichendes Argument für die Vermutung, daß die zweite und dritte Strophe erst nachträglich zu der ersten hinzugefügt wurden? Wenn alle Strophen mit Einschluß des Refrains als sechszeilig angesetzt werden, so stehen in der zweiten und dritten Strophe Zeile 1 und 2 als Langzeilen den Zeilen 3 und 4 als untereinander gleichartige Kurzzeilen gegenüber, denen die um eine Silbe längere Zeile 5 folgt. In der ersten Strophe fehlt diese Dreiteilung. Der Auffassung der 3. Zeile als fünfsilbige: *země, kněže náš* widerspricht ganz schroff die syntaktische Gliederung. Der nicht völlig durchgehende einsilbige Reim, d.h. die Gleichheit je zweier Vokale am Zeilenende, ist stellenweise durch reichere Reime ersetzt. Die Euphonie im Liedanfang erscheint markant - wenn auch vorgegeben.

3. Slovo do světa stvoření

Man lehrt, daß das Ostrower Lied *Slovo do světa stvoření* nichts anderes sei als ein auf vier kurze Strophen zusammengedrückter Abriss des Erlösungswerkes Christi, wobei die erste Strophe die Einleitung des Johannesevangeliums paraphrasiert. Ist die Logosidee dieses Gedichtes voll identisch mit jener bei Johannes I,1 ? Vorerst ist zu bemerken, daß in diesem Lied für Christus durchwegs "das Wort" steht, der Christus-Name nur in verschlüsselter Form vorkommt. Die beiden ersten Zeilen des Liedes lauten: "Das Wort [war] bis zur Schöpfung der Welt in der Gottheit verborgen". Was bis zur Weltschöpfung in Gott verborgen, also bei der Schöpfung erst aus Gott herausgetreten war, ist offenbar nicht bloß das Schöpferwort, sondern die Schöpfung selbst, d.h. die Welt ist die Verkörperung des göttlichen Weltgedankens. Nach dem Johannesevangelium ist "alles durch das Wort entstanden". Wenn nun das Ostrower Lied die Identität von Wort und Welt andeutet, so wird damit die Logosidee des Johannesevangeliums abgewandelt. Da war nicht wie bei Johannes das Wort, sondern das Wort war in Gott und das erste Wort Gottes war die Welt, das zweite der Erlöser der Welt.

A n m e r k u n g e n

1. A. ŠKARKA, *Nejstarší česká duchovní lyrika*. Praha 1949. Dazu R. JAKOBSON in: *Slavistična revija III/Ljubljana 1950*, 267f. Umfassende Information im Brünner Sammelband "Magna Moravia" (Praha 1963), besonders die Beiträge von J. Racek und J. Fukač.
2. Zu den im Lied verwendeten Kirchenwörtern *spas* und *spasti* ist zu sagen, daß alttschechisch *spdsti* sicher eine Übernahme des kirchenslavischen Terminus darstellt, denn *spdsti* und *svpsti* sind keine banalen Übereinstimmungen und ein Wort für Erlösen muß bereits in der Frühzeit des Christentums in Böhmen eingeführt worden sein. Dieses Wort ist daher ein Argument für die angezweifelte These von der großmährisch-böhmischen Kontinuität. Andere Kirchenwörter sind dies weit weniger, obwohl *blahoslaviti* mit *blagosloviti* wohl näher zu εὐλογεῖν steht als zu *benedictare* (vgl. *blahořečiti*) und *milosrdo* näher zu εὐπλαγῆς als zu *misericors* (vgl. ahd. *armherzi*). Zur Frage, ob das Lied *Hospodine pomiluj ny* auch selbst für die Kontinuität der großmährischen Kultur in Böhmen von Bedeutung ist, läßt sich mit größerer Sicherheit wenigstens soviel sagen, daß die nachmals offizielle Stellung des Liedes dessen Herkunft aus der Peripherie, dem Sázava-Kloster, ausschließt.
3. ŠKARKA a.a.O. und HAVRÁNEK-HRABÁK (Hsg.), *Výbor z české literatury*. Praha 1956, 108.
4. Anrufung des Heiligen Geistes als *paracletus* und *ignis* im Hymnus "Veni creator spiritus".
5. Wenn in den vier Strophen des Ostrower Liedes in seinen acht Sätzen, die alle ein Verbalabstraktum zum Subjekt und das passive Partizip zum Prädikat haben, die Kopula nur ein einziges Mal auftritt, so ist das nicht ein sprachhistorisches Zeugnis für den allmählichen Übergang vom Nominal- zum Verbalsatz (Trávníček), sondern ein stilistisches Merkmal, ein Zug des "sybillinischen Stils" dieses Liedes.
6. In diesem Zusammenhang bleibt die Stellung des Heiligen Geistes offen, doch ist wahrscheinlich, daß er nicht von Gottvater und Gottsohn ausgeht, sondern der Sohn von ihm, wie bei Mt. I, 18 und Luc. I, 35. Im Übrigen hält sich dieses Lied an die maßgebende Lehre vom zeitlichen Weltanfang. Zeitlich ist die Welt als gesetzte Substanz, als Idee, d.h. als Wort Gottes mag sie als ewig gelten.
7. Vgl. F. W. MAREŠ, *An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin*, München 1979, 13 (§ 0.2.); ders., *Hospodine pomiluj ny* (eine Monographie im Druck bei: "Slavica Publishers"), § 9.2. (zum Schluß).

Gerhard BIRKFELLNER (WIEN)

ANMERKUNGEN ZU SLAVISTISCHEN EDITIONSPROBLEMEN

Angesichts der übermächtigen Partikularisierung der slavistischen Wissenschaftsdisziplinen der Gegenwart und der damit Hand in Hand gehenden drohenden Ideenflucht und angesichts der auffallenden Armut an zugänglichen, kritisch edierten Texten ist es ein überaus dringliches Desideratum der slavischen Philologie, die Grundsätze der editorischen Techniken theoretisch und praktisch zu kodifizieren. Der gegenwärtige methodologische Pluralismus und die Orientierungslosigkeit der Textkritik in der Slavistik ist ein schlechthin untragbarer Zustand, den benachbarte philologische Disziplinen seit langer Zeit überwunden haben. Auf dem letzten Slavistenkongreß (Aggram 1978) haben sich immerhin drei Beiträger mit dem Problem der Herausgabe vor allem älterer slavischer Texte auseinandergesetzt (Angiolo DANTI¹, Biserka GRABAR² und der Autor³). Den angezeigten wenig ersprießlichen Zustand zu bereinigen und die Editionstechnik zunächst zu diskutieren, daraufhin zu standardisieren und sodann in der Kommission für Textkritik (Textologie) und Edition des Internationalen Slavistenkomitees als verbindliche Empfehlung zu formulieren sollte die wichtigste Aufgabe dieser Kommission sein: das offensichtlich mangelnde Problembewußtsein hinsichtlich der angesprochenen Sache führte letztlich zu der Situation, in der sich die slavische Altphilologie im besonderen heute befindet und die gekennzeichnet ist von einer weitgehenden materialen Verarmung der Altslavistik, d. h. von einem empfindlichen Mangel an kritisch edierten Texten.

Die gegenwärtige Lage präsentiert sich dergestalten, daß selbst eine Reihe der ältesten kirchenslavischen Schriftdenkmäler als in mittlerweile unzureichender und vollkommen veralteter Weise herausgegeben angesehen werden müssen. Dies ist umso bedauerlicher, als die Gesamtentwicklung und Geschichte der slavischen Philologie untrennbar mit der nach und nach erfolgten Auffindung und allmählichen Herausgabe der sogenannten kanonischen Texte des kirchenslavischen Schrifttums verbunden ist. Den spiritus rectores der slavischen Philologie zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, etwa

Václav Fortunat DURYCH und Josef DOBROVSKÝ, war von den ältesten Denkmälern der slavischen Schriftkultur lediglich der Codex Assemani bekannt; abgesehen von den beiden älteren Ausgaben dieses Denkmals (Franjo RAČKI⁴ und Ivan ČRNČIČ⁵) hält auch die neuere Ausgabe (Josef KURŽ⁶) kaum oder nur sehr bedingt den Anforderungen moderner Textkritik (geschweige denn jenen der biblischen Textkritik, die allerdings auch ihre Probleme hat) stand, ebenso wenig wie die zu ihrer Zeit epochemachenden Ausgaben der Codices Zographensis und Marianus Vatroslav JAGIČs in ihrer diplomatisch-paläographischen Konzeption.⁷ Von den großen glagolitischen Codices scheint lediglich das Euchologium Sinaiticum - wohl in erster Linie ob seines textlichen Interesses - in der Ausgabe von Rajko NAHTIGAL⁸, gediegener aber noch in der Edition Jan FRČEKs,⁹ die in der hervorragenden Tradition der Patrologia Orientalis René GRAFFINS steht, seiner großen Bedeutung gemäß würdig herausgegeben. Das Psalterium Sinaiticum verlangt dringend nach einer Neuedition.¹⁰ Der Glagolita Clozianus ist - wohl nicht zuletzt aufgrund seines geringen Umfangs - wiederholt und zuletzt auf ausgezeichnete Art und Weise (überreich) dokumentiert worden (Antonín DOSTÁL¹¹). Von den beiden grossen kyrillisch geschriebenen altkirchenslavischen Denkmälern erfährt zur Zeit der Codex Suprasliensis eine Neuauflage, die zu den besten Hoffnungen Anlaß gibt,¹² das Evangelienlektionar des Presbyters Savva wäre längst einer Neuedition würdig.¹³ (Die verdienstvollen Grazer Nachdrucke schließen lediglich die Lücken jüngerer slavistischer Bibliotheken.)

Als günstiger ist die Lage hinsichtlich der kleineren glagolitischen und kyrillischen Denkmäler des altkirchenslavischen Schrifttums zu beurteilen: Eine Neuedition dieser von ihrem Inhalt her teilweise außergewöhnlichen Denkmäler der älteren slavischen Literatur- und Übersetzungsgeschichte, nach identischen Kriterien ausgerichtet und als Gesamtcorpus der weniger umfangreichen, fragmentarisch überlieferten Bruchstücke ist jedoch ebenfalls als eine Zukunftsaufgabe der Altslavistik anzusehen.

Kritisch besehen umfassen also die editorischen Desiderata selbst einen Gutteil der ältesten Texte des slavischen Schrifttums, ganz abgesehen von der reichen Übersetzungs- und Originalliteratur des 13. bis 15. (16.) Jahrhunderts, im besonderen der überreichen Hesychastenliteratur, die den Höhepunkt des mittelalterlichen sla-

vischen Schrifttums und der mittelalterlichen slavischen Spiritualität darstellt und die letztlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts besonders im ostslavischen Raum wirksam geblieben ist.

Es ist nicht einfach zu beurteilen, welche Umstände es waren, die die slavische Altphilologie in diese Lage geführt haben: die allgemeine Entwicklung der slavischen Philologie, die schrittweise, in jüngerer Zeit aber umso stärker von der materiellen Basis jeder Sprachwissenschaft, den T e x t e n, weggeführt hat einerseits, andererseits hat aber auch mit großer Bestimmtheit die allgemeine Aporie, in der sich die slavistische Editionsmethodologie befindet, ihren Anteil daran.

"Das besondere Niveau, auf dem eine Philologie in einem bestimmten Punkte ihrer Entwicklung steht, kann teilweise aus der Beschaffenheit der A u s g a b e n abgelesen werden, die sie dem Schrifttum, das in ihren Bereich fällt, angedeihen läßt. ... Da hält nun aber die gesamte slavische Philologie einer strengen Prüfung überhaupt nicht stand." H. F. SCHMID und R. TRAUTMANN¹⁴ haben bei dieser Bemerkung im besonderen die seinerzeit letzte und aus ihrer Sicht jüngste Edition eines altkirchenslavischen Textes, des Codex Supra-liensis, im Auge. Trotz dieses früh vorhandenen Problembewußtseins - A. MAZON regte die Normierung der slavistischen editorischen Methoden schon während des I. Slavistenkongresses an¹⁵ und trotz späterer Bemühungen um eine Anpassung der Editionen älterer slavischer Texte an die Gepflogenheiten und editorischen Leistungen der klassischen Philologie¹⁶ und der ungewöhnlich stark historisierenden, ganz auf der Linie der diplomatischen, paläographischen ("originalgetreuen") Editionstechnik liegenden Regeln der sowjetischen Akademie der Wissenschaften¹⁷ bleibt die Standardisierung der Textedition für den Bereich der slavischen Altphilologie eine der vorrangigsten Aufgaben dieser Disziplin.

Der Autor legt ein von den Editionsregeln der der slavischen Philologie nächstverwandten Disziplin, der byzantinischen Philologie, abgeleitetes Editionsmodell vor¹⁸ und stellt es an die Seite der von Dm. BOGDANOVIĆ initiierten "Pravila za kritička izdanja starih srpskih pisaca"¹⁹

A n m e r k u n g e n

1. A. DANTI, On a dynamic conception of critical texts. VIII Medunarodni slavistički kongres Zagreb-Ljubljana. Knjiga referata-zažeci. Zagreb 1978, 166.
2. B. GRABAR, Problemi kritičkog izdavanja hrvatskoglagoljskih tekstova. *Ebenda*, 276.
3. G. BIRKPELLNER, Slavistische Editionstechnik. *Wiener slavistisches Jahrbuch* (=Beiträge Österreichischer Slavisten zum VIII. Internationalen Slavistenkongress Zagreb-Ljubljana 1978) 24 (1978) 22-32.
4. Assemanov ili Vatikanski Evangelistar (ed. F. RAČKI). Zagreb 1865, in glagolitischer Schrift - eine echte Spätblüte des Illyrismus!
5. Assemanovo izborno Evangelje (ed. I. ČRNČIĆ). Rom 1878.
6. Evangeliarium Assemani. Codex Vaticanus 3 slavicus glagoliticus II (ed. J. KURZ). Prag 1955.
7. Quattuor Evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus (ed. V. JAGIĆ). Berlin 1879 (Nachdruck Graz 1954) und Quattuor Evangeliorum versionis palaeoslovenicae Codex Marianus glagoliticus characteribus cyrillicis transcriptum (ed. V. JAGIĆ). Berlin-St. Petersburg 1883 (Nachdruck Graz 1960).
8. Editio princeps: Euchologium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda (Djela Jugoslovenske Akademije Znanosti i Umjetnosti 2, ed. L. GEITLER). Zagreb 1882. Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslavenski glagolski spomenik (Akademija Znanosti in Umetnosti v Ljubljani. Filozofsko-Filološko-Historični Razred. Dela 1-2, ed. R. NAHTIGAL). Ljubljana 1941-1942.
9. Euchologium Sinaiticum. Texte vieux slave avec sources grecques et traduction française (PO 24/5, ed. Jean PRČEK). Paris 1933.
10. Editio princeps: Psalterium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda (Djela Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umjetnosti 3, ed. L. GEITLER). Zagreb 1883; danach: Синайская псалтырь. Глаголический памятник XI века (Памятники старославянского языка 4, ed. С. СЕВЕРЬЯНОВ). Petrograd 1922 (Nachdruck Graz 1954). Eine Neuedition ersetzt naturgemäß auch die jüngste Faksimile-Ausgabe nicht: Psalterium Sinaiticum. An 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine's Monastery, Mt. Sinai (ed. M. ALTBAUER). Skopje 1971.
11. Zuerst: Glagolita Clozianus, id est codicis glagoliticici inter suos facile antiquissimi, olim, dum integer erat Veglae in thesauro Frangepaniano, ... (ed. B. KOPITAR). Wien 1836, der Innsbrucker Teil erschien später: Zum Glagolita Clozianus (Denkschriften d. kais. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. K. 10, ed. F. MIKLOSICH), Wien 1860; beide Texte gab in der Folge И.И. СРЕЗНЕВСКИЙ (nach

den Texten von KOPITAR und MIKLOSICH) heraus (Древние памятники сравнительно с памятниками кириллицы. St. Petersburg 1866, 163-206). Vgl. weiter: Glagolita Clozûv (ed. V. VONDRÁK). Prag 1893 und zuletzt: Clozianus. Codex palaeoslovenicus glagoliticus (ed. A. DOSTÁL). Prag 1959.

12. Editio princeps: Monumenta linguae palaeoslovenicae e Codice Suprasliensi (ed. F. MIKLOSICH). Wien 1851. Keinen wesentlichen Fortschritt stellt die Neuedition dar: Супрасльская рукопись. (Памятники старославянского языка 2/1, ed. С. СЕВЕРЬЯНОВ). St. Petersburg 1904. Eine Neuedition wird gegenwärtig von M. CAPALDO und Я. Займов vorbereitet.
13. Саввина книга (Памятники старославянского языка 1/2, ed. В. ЦЕПКИН). St. Petersburg 1903 (Nachdruck Graz 1959).
14. Wesen und Aufgaben der deutschen Slavistik. Leipzig 1927, 29.
15. A. MEILLET-A. VAILLANT, Communication sur l'opportunité de publier des éditions critiques des textes vieux-slaves, in: Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, II, 594-598.
16. A. DOSTÁL, K ediční metodice staroslověnských textů. *Slavia* 19 (1949-1950) 28-53.
17. Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности. Moskau 1961.
18. Règles pour la publication des textes dans le *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*, in: *Bulletin d'Information et de Communication de l'A.I.E.B.* 4 (1968) 24-31. Vgl. dazu auch Anm. 3.
19. Erschienen in: *Zbornik Matice srpske za književnost i jezik* 22/1 (1974) 1-6.

REZENSIONEN

Das Leidener russisch-deutsche Gesprächswörterbuch von ca. 1730 ("Christian Gottlieb Wolf-Lexikon"). Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae Msc. LTK 584. Mit einer Einleitung herausgegeben von Harm KLUETTING. Amsterdam 1978 (Verlag Adolf M. Hakkert, SFr. 70.-)

Daß manche Bücher lieber nicht geschrieben worden wären, ist eine sattsam bekannte Tatsache; wenn solche Bücher dann einem Rezensenten vorliegen, könnte man unter Umständen der Meinung sein, daß wiederum eine Beurteilung in solchen Fällen überflüssig ist. In jedem Fall aber bedarf jedoch eine eventuelle Besprechung einer ebenso gründlichen Rechtfertigung wie die Behauptung, daß es sich bei der vorgelegten Publikation um eine solche handelt, die weder ihrem Autor, noch dem Publikum Freude machen dürfte.

Der störendste Mangel dieser Publikation ist der Verlust der europäischen kulturhistorischen Dimension; Jan Amos Komenský (Comenius) wurde am 28. März 1592 in Nivnice, Uherský Brod (Mähren) geboren. Sein ungewöhnlich wechselhaftes Geschick und sein von Verfolgung, Flucht und Kriegsgeschehen geprägter Lebensweg führte ihn nach Polen, England, Schweden, Ungarn, Deutschland und schließlich nach den Niederlanden, wo er am 15. November 1670 in Naarden starb. "Begründer des neuzeitlichen Schulwesens" nennt ihn stolz die tschechische Nationalenzyklopädie (Ottův slovník naučný 14, Prag 1899, S. 618-633) und tatsächlich war kein pädagogischer Autor des 17. Jhs. und danach populärer als Comenius: mit absoluter Sicherheit jedenfalls läßt sich sagen, daß der "Orbis sensualium pictus" das "verbreitetste und erfolgreichste Lehrbuch überhaupt" gewesen war (Kindlers Literatur Lexikon 5, Zürich 1969, Sp. 1038-1039); das Latein- und Übrige Fremdsprachenstudium geradezu jedes einzelnen Anwärters auf eine höhere Bildung wurde bestimmt von dem pansophisch-idealistischen Weltbild des "Orbis pictus". Und das in ganz Europa.

Die "Bibliografie české historie" (ed. Č. ZÍBRT) 5, Prag 1912 zitiert diese Schrift in einem 200 Nummern umfassenden Artikel (bis 1912 !), der gründlichste Kenner des Gegenstandes aber ist H. JARNÍK, der Betreuer der kritischen Ausgabe des "Orbis pictus" im Rahmen der "Veškeré spisy Jana Amosa Komenského" (X. [8.]), der Säkularausgabe der Werke Komenskýs, Brünn 1929. In der Einleitung zu dieser Ausgabe registriert der Herausgeber die folgenden tatsächlich erschienenen Versionen (neben einigen projektierten, letztlich aber ungedruckt gebliebenen) - tschechisch alphabetisiert stehen an der Spitze die englischen Ausgaben (1659 zuerst, zuletzt 1887, ein Nachdruck der zwölften englischen Ausgabe, New York), sodann die tschechischen (1685-1914, eine Jubiläumsausgabe anlässlich des 300-ten Jahrestages der Erstausgabe erschien 1958), eine dänische (1672-1721), die französischen (1666-1914), eine nicht publizierte hebräische (1766), eine holländische (1673), die "illyrischen"-serbokroatischen, ein zunächst nicht verwirklichtes Projekt (1819), dann 1842-1914 (auch eine Ausgabe in Blindenschrift !), eine nur-lateinische (1785-1802),

eine *litauische* (1682), eine *lausitzisch-sorbische*, die allerdings auch nicht gedruckt wurde, die *magyarischen* (1669-1958), eine *kleinrussisch-ukrainische* (1852), die *deutschen* (1658 - de facto 1958, vgl. die oben erwähnte Jubiläumsausgabe), eine *persische* (1851 - nicht veröffentlicht), die zahlreichen *polnischen* (1667-1861), die *griechischen* (1682 - nicht veröffentlicht bis 1820), die *rumänische* (1819 - nicht gedruckt, dann 1851), die *slovakische* (1870-1877), die *slovenische* (1711 - nicht gedruckt, dann 1847), eine *altkirchenslavische* (1851 - nicht gedruckt), die *schwedischen* (1684-1796) und die *italienischen* Bearbeitungen (1666-1842). In der Jubiläumsausgabe von 1958 ist noch von einer *japanischen* Version die Rede.

Zweisprache Konzeptionen existieren einundzwanzig (überdies noch mit dem lateinischen Text versehen) aus dem Zeitraum von 1669-1877, polyglotte, mindestens dreisprachige (der lateinische Text versteht sich von selbst) Ausgaben weitere zwanzig (1666-1958).

Dem Rezensenten ist überdies eine zweisprachige Handschrift des Prager Nationalmuseums (Cod. Sign. IX E 41) bekannt, die eine *russische* Bearbeitung des "Orbis pictus" tradiert, offensichtlich eine Parallelhandschrift zu dem von KLUETTING herausgegebenen Batavensis, den er trotz eines vorhandenen, in monumentaler Auszeichnungsschrift geschriebenen klaren Titels (СѢТЬ ВЪНУШЪ ЗЕМЛИ), den er nicht zu interpretieren weiß, nicht als eine russische Version des Comenianischen "Orbis pictus" erkennt. Über die Prager Handschrift vgl. J. VAŠICA-J. VAJS, *Soupis staroslovanských rukopisů národního musea v Praze*, Prag 1957, No. 94 - S. 165-166, daneben Literaturangaben im besonderen über das Geschick und die russischen Bearbeitungen des "Orbis pictus". Bekannt ist weiters eine handschriftlich überlieferte russische Version des auch im weiteren literaturgeschichtlichen Kontext der petrinischen Epoche bekannten livländischen Pastors Ernst Glück, der den Text für die Moskauer Höhere Schule einrichtete, die allerdings nie im Druck erschienen ist (aufbewahrt in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Leningrad).

Darüber hinaus erlebte der "Orbis pictus" allein während des 18. Jhs. sieben Druckausgaben, die eine russische Textversion tradieren:

1. Ян Амос Коменский. Орбис пиктус. Orbis pictus. Moskau 1757 (russisch-lateinisch; über diese Ausgabe existiert lediglich eine Vorankündigung in den *Moskovskie ведомости*, Dezember 1756, 64, 65, 66, in der eine Auflage des Buchs von 400 Exemplaren angekündigt wird; das weitere Schicksal dieser Edition ist unbekannt). Vgl. *Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века 1725-1800. Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения*. Moskau 1975, Nr. 531.
2. Иоанна Амоса Комения Видимый свет на латинском, российском, немецком, италянском и французском языках... Moskau 1768. Vgl. *Сводный каталог...* 2, Moskau 1964, Nr. 3069.
3. Иоанна Амоса Комения Видимый мир на латинском, российском, немецком, италянском и французском языках... Moskau 1788. A. O. 3070.
4. Зрелище вселенныя, на латинском, российском и немецком языках, ... St. Petersburg 1788. A. O. Nr. 3071 (in einer Auflage von 5000 Exemplaren !).
5. Dasselbe in einer zweiten Auflage, St. Petersburg 1793. A. O. Nr. 3072 (Auflage: 2750 Exemplare).

6. Зрелище вселення, на французском, российском и немецком языках. St. Petersburg 1788. A. O. Nr. 3073 (Auflage: 5000 Exemplare).

7. Dasselbe in einer zweiten Auflage, St. Petersburg 1793. A. O. Nr. 3074 (Auflage: 2750 Exemplare).

In späterer Zeit wurde die Schrift in einer russisch-polnischen Version herausgebracht: Rosyjsko-polski Komeniusz, Warschau 1841 und 1843, daneben ist eine russische Bearbeitung in "Die Welt in Bildern von J. A. Komenius", Wien 1847 enthalten. Darüber hinaus bestanden im Laufe des 19. Jhs. einige weitere Publikationsprojekte, die ebenfalls das Russische berücksichtigten, letztendlich aber nicht verwirklicht wurden. Über die russische Sekundärliteratur über das Problem "Comenius in Rußland" informiert uns die "История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Ленинград 1968, im besonderen die Nummern 183, 1647, 1664, 1698, 1701, 1740, 1741 und 1742.

Daß der Herausgeber den Text nicht erkannte, ist nicht allein sein Versehen: den Ausführungen Ton van den BAARS - an die KLUETING anknüpft - anlässlich des VI. Internationalen Slavistenkongresses in Prag (The Christian Wolf Russian-German Manuscript Lexicon, in: Dutch Contributions to the Sixth International Congress of Slavists [Slavistic Printings and Reprintings 86], Den Haag-Paris 1968, S. 12-32) kann man noch kollegiale Toleranz im Bewusstsein eigener Lückenhaftigkeit und möglicher irrtümlicher Verstrickungen entgegenbringen; diese Arbeit ist offensichtlich als unzureichend ausgeleuchteter Verlegenheitsartikel unter dem Zugzwang eines bevorstehenden Kongresses entstanden. Es erhebt sich in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ob faktographische Beiträge dieser Art auf großen Kongressen überhaupt Platz haben sollen. Die Folgen seines dilettantischen Umgangs mit dieser Handschrift führen - wie man sieht - dann doch an die Grenzen wissenschaftlicher Verantwortlichkeit. Dem Herausgeber des vorgelegten Bandes wäre - eigene Mindestsorgfalt vorausgesetzt - die Peinlichkeit von siebzig Seiten Einleitung erspart geblieben, hätte nicht van den BAAR schon vor zehn Jahren dieselben Fehler gemacht, die nunmehr wiederholt wurden ("Wichtiger war mir - neben dem Nachweis der ursprünglichen Teile der Handschrift und der späteren Zutaten - die Klärung des Problems der Aufschrift auf dem vorderen Innendeckel und vor allem die Feststellung des von dem unbekanntem Lexikographen intendierten Zwecks des Gesprächswörterbuchs. Diesen sehe ich in dem eines Lehrbuchs des Deutschen für Russen". - S. VII, Vorwort). Van den BAAR wiederum hätte sich die zahlreichen schulmeisterlichen "Berichtigungen" seitens des Herausgebers erspart, hätte er seinen Prager Beitrag überlegter präsentiert. Eine weitere Besprechung der einleitenden Kapitel erübrigt sich, die nachfolgende Edition eines oftmals gedruckten Textes macht endlich auch keine Freude mehr.

Man mag über das "Hineinhorchen", das "Klingenlassen" eines zunächst noch nicht identifizierten handschriftlich überlieferten Textes urteilen wie man will - der Rezensent drückt mit diesen Hilfsbegriffen lediglich seine Erfahrungen im langjährigen Umgang mit Handschriften aus. Der mechanistische Zugang zu Text und Problem verleitet den Herausgeber zu einem Musterbeispiel akribischer philologischer Mystifikation mit umgekehrtem Vorzeichen. Vor allem hätte ihm im langen Verlauf seiner Beschäftigung mit dem Text das ungemein klare Konzept des Ordnungszusammenhangs der Einzeltexte auffallen müssen.

Im Übrigen ist es vielleicht noch von Notwendigkeit, daß der

Rezensent seine Affinität zum Gegenstand erklärt (ohne die er diese Besprechung natürlich nicht geschrieben hätte): In diesen Tagen hat er nämlich das Manuskript einer kritischen Ausgabe jenes "Teutschen, Undt Reussischen Dictionariums" abgeschlossen, das KLUETING auf S. XLVII (und Anm. 59) seiner Einleitung als verschollen bezeichnet ("das heute verschollene, früher im Minoritenkloster in Wien aufbewahrte Werk vom Ende des 17. Jhs. mit dem Titel "Teutscher und Reussischer Dictionarium"). Gegenwärtig werden die umfangreichen russischen Register, die einleitende Abhandlung und der kritische Apparat dieses ungewöhnlich reichen, ca. 24.000 lexikalische und phraseologische Einheiten umfassenden, vom Kirchenslavischen weitestgehend unabhängigen, monumentalen Lexikons bearbeitet. Der Band soll in absehbarer Zeit erscheinen. Vgl. dazu auch den kurzen Arbeitsbericht "Zum russischen Wortschatz im 17. Jahrhundert", den der Rezensent im Wiener Slavistischen Jahrbuch 18 (1973) S. 128-132 veröffentlicht hat. Im Übrigen war die Handschrift aus der Zentralbibliothek des Wiener Minoritenkonvents tatsächlich zu keiner Zeit verschollen (Cod. Sign. XVI).

Abschließend an den Verlag: Der Preis für das im Billigstverfahren produzierte Buch (Maschinschrift des Autors, photochemische Wiedergabe, broschürt) ist ungewöhnlich hoch angesetzt. Curiosa werden eben teuer gehandelt.

Gerhard Birkfellner (Wien)

A. LAMPRECHT, D. ŠLOSAR, J. BAUER, Historický vývoj češtiny.
Praha 1977. 310 S. + 2 Karten.

Die neueste kompakte historische Grammatik des Tschechischen analysiert und beschreibt die Entwicklungslinien (bis zum modernen Zustand) auf drei Sprachebenen - Lautlehre (A. Lamprecht), Formenlehre (D. Šlosar) und Syntax (J. Bauer, † 1969); der Wortschatz wird nicht behandelt.

Das Hochschullehrbuch der drei Brüner Slavisten ist auf den Prinzipien der Prager strukturell-funktionalen Schule aufgebaut. Das wichtigste über die allgemein geltenden Grundsätze der Sprachentwicklung und über die Methodologie der diachronen Spracherforschung wird im einführenden Kapitel (S. 5-14) zusammengefaßt. Schon der erste Satz im Buch würde aber gleich nachher und nicht erst einige Seiten weiter eine Präzisierung und Beschränkung benötigen: "Die Sprache entwickelt und ändert sich hauptsächlich deswegen, weil auch die Gesellschaft, die sich ihrer als Verständigungsinstrument bedient, einer Entwicklung unterliegt". Genauer wird diese Äußerung erst auf der S. 10-11 umformuliert: "Die Gesellschaftsentwicklung ist am engsten mit den Wortschatzänderungen verknüpft, die Syntax ist nur indirekt - vom Fortschritt des Denkens - abhängig und die Entwicklung des Laut- und Formensystems wird durch ihre Funktion im Gesamtsprachsystem vorbestimmt". Denn sonst muß die an den ersten Satz angeschlossene (m.E. zu kategorisch formulierte) Feststellung mißverstanden werden: "...die einzelnen Sprachebenen (Lautlehre, Morphologie, Syntax, Wortschatz) richten sich bei ihrer Entwicklung nach ihren eigenen, spezifischen Gesetzmäßigkeiten" (S.5).

Die Entwicklungsfaktoren im phonologischen System werden in zwei Gruppen eingeteilt - die phonetischen (bes. die Inertion der Sprechorgane) und die phonologischen (bes. die distinktive Funktion und die Systemsymmetrie), die Lautänderungen sind dann als Ergebnisse des Zusammenwirkens beider Faktorengruppen zu erörtern. Bei den phonologischen Beschreibungen sollte man aber m.E. mit den phonologischen Prinzipien auskommen. Als Beispiel zu der an sich annehmbaren Behauptung, daß als Brennpunkt und Ausgangspunkt der Änderungen die Systemperipherie funktioniert, wird eine in der bisherigen tschechischen historischen Grammatik unorthodoxe (in der Reihenfolge der ersten zwei Glieder) Änderungskette angeführt - 1. 'a > ě, 'o > ě, 'u > i (als 'frühe' rané ! alttschechische Vokaländerungen charakterisiert) → 2. Depalatalisierung der Konsonanten (=Abbau der konsonantischen Mouillierungskorrelation) → 3. die Diphthongierungen (wie schon bisher üblich). Sehr richtig wird als Nebenfaktor der Einfluß einer fremdsprachigen Phonetik eingestuft, "die sich nur dann durchsetzt, wenn dies nicht den Bedürfnissen des phonologischen Systems widerspricht" (S.7).

Der Absatz über die morphologischen Entwicklungsfaktoren beginnt mit einer sehr kurzen, aber durchdachten funktionalen Aufgliederung der Morpheme auf die grammatikalischen und wortbildenden, die durch (Laut)morphe realisiert werden. Die Lautänderungen führen oft zur Beeinträchtigung der Funktion der Morpheme und in der Folge zu einer morphologischen Änderung (z.B. Entstehung des ursl. Gen.-Akk., der Abbau der Kategorie des Stammes in der Deklination, u.ä.). Die morphologische Entwicklung wird als Ergebnis einer Konfrontation der Lautentwicklung mit den Bedürfnissen des syntaktischen (grammatikalische Morpheme) und des lexikalischen (wortbildende Morpheme) Systems definiert. Als Nebenfaktoren funktionieren die Unifizierungstendenz

der Allomorphe und die Tendenz zur Eliminierung von nichtfunktionalen Wortbasialternierungen (z.B. *prošu, prošč...*, *vizu, viděš...*). Wichtig ist die Feststellung, daß die Morphologie den fremdsprachigen Einflüssen fast unzugänglich ist (S.8).

Erst am Anfang des Absatzes über die Syntax finden wir die erste Einschränkung des kritisierten ersten Satzes (vgl. oben): "Zum Unterschied zu beiden obgenannten Sprachebenen hängt die Entwicklung der Syntaxebene mit dem menschlichen Denken zusammen" (S.8), nämlich mit der Entwicklung zu einer immer höheren Abstraktionsstufe. Als Beispiel wird die Entstehung des alttschechischen Konditionalsatzes aus alten Temporalätzen angeführt. Der Bereich der Syntax ist für die fremdsprachigen Einwirkungen relativ offen.

Die lexikalischen Änderungen reflektieren am schnellsten die sich ändernde außersprachliche Realität. Warum aber sollte das lexikalische System "rangmäßig auf einem niedrigeren Niveau als das phonologische oder morphologische System" (S.9) stehen? Weil die paradigmatische Eingliederung eines Lexems in eine semantische und/oder worthilfende Kategorie einer anderen, schwieriger erforschbaren, deswegen aber nicht vageren Art ist als die Systemposition eines Phonems oder Morphems?

Nur die ortschechische Entwicklungsphase (Ende des X. - Mitte des XII. Jhs.) muß mit Hilfe der Rekonstruktion (komparatistische Analyse des akal., tschech., poln., slowak. Sprachmaterials) erleuchtet werden, die jüngere Zeit ist durch schriftliche Quellen belegt (Namenaufzeichnungen, Glossen, alttschechische Handschriften). Als zweiter wichtiger Quellenbereich wird eingehend das Mundartenmaterial analysiert und beigezogen (die Dialekte stellen für die Autoren eine Raumprojektion der Sprachentwicklung dar, die sich in der Zeit abspielte). Die zentralen Dialekte beinhalten mehr Innovationen, die peripheren mehr Archaismen. Unter den zentralen Mundarten werden auch bei den drei mährischen Autoren nur die zentralböhmischen verstanden, obwohl m.E. wenigstens für einige der älteren Entwicklungsphasen auch mit einem sekundären mährischen Sprachzentrum zu rechnen wäre.¹

Das Einführungskapitel wird (sowie auch die meisten im ganzen Buch) durch eine nicht umfangreiche, aber gut getroffene Auswahl der wichtigsten bibliographischen Daten ergänzt. Die allgemeine Einführung wurde hier ausführlicher besprochen, weil es bestimmt auch für die Nicht-Slavisten und -Bohemisten von Interesse sein wird, wie die namhaften Autoren die Sprachdiachronie und die Methodologie ihrer Erforschung auffassen.

Die **L a u t l e h r e** (S.16-111). Die diachrone Beschreibung des tschechischen phonologischen Systems beginnt auch hier traditionell - mit der Aufzählung der westslavischen Lauterscheinungen innerhalb des Späturslavischen und der tschechoslowakischen Lautbesonderheiten innerhalb des Westslavischen, sowie letzten Endes der Änderungen, durch die sich das Tschechische vom Polnischen, Sorbischen und Slowakischen abgesondert hat (betreffende Isoglossen auf der Karte 1); neu wird zu dieser üblichen Übersicht auch die Kurzdarstellung der mundartlichen Differenzierung des Tschechischen im XIV.-XVII. Jh. beigelegt (sprachgeographisch auf Karte 2).² Die Periodisierung der Lautentwicklung ist anders als bisher³: a) bis zum Ende des X. Jhs. b) zum Ende des XIV. Jhs. c) zum Ende des XVI. Jhs. Ich selber würde der üblichen, auf Gebauer basierenden Komárek-Periodisierung mit der Wende zur dritten Periode schon um das Jahr 1300 Vorrang geben, weil die besonders im Konsonantismus ausgeprägt ist (durch den Abbau der Mouillierungskorrelation; den datiert allerdings Lamprecht an-

ders). Der Vokalismus und Konsonantismus wird in jeder Periode getrennt behandelt. Die Rekonstruktion des urchtschechischen vokalischen Teilsystems im X. Jh. geht vom späturnslavischen aus (und entspricht den Mareš-Ergebnissen⁴); als wichtiges Novum muß hervorgehoben werden, daß der Autor in Modellen konsequent auch mit den vokalischen Varianten als phonologische Entwicklung mitbeeinflussenden Faktoren arbeitet. Im Absatz über die Mouillierungskorrelation wird m.E. unkonsequenterweise dasselbe graphische Zeichen, ein 'r, sowohl für die palatalen als auch für die mouillierten (palatalisierten) Phoneme verwendet.⁵ Die Mouillierungskorrelation wird sehr breit aufgefaßt (vgl. S. 72-80); sie erstreckt sich bei Lamprecht über die Frikative (δ , δ , δ , δ) sogar auf δ , δ l, was nicht allgemein gutgeheissen wird.⁶ Als Folgerung von dieser Auffassung des Konsonantismus wird auch die Beschreibung der vokalischen Entwicklung im XIV. Jh. modifiziert: die sog. Umlaute 'o > δ , 'u > δ fanden vor der Beseitigung der Mouillierungskorrelation statt, über den Abbau der Jotierung ($\delta > e$) wird gar nicht gesprochen (denn der Vorgang wird als Depalatalisierung des vorangehenden Konsonanten beschrieben). In diesem Zusammenhang könnte man mehrere Fragen stellen, ich beschränke mich auf nur zwei: Gab es dann (wenn die Palatalisierung nicht ein Merkmal des Vokals [e], sondern des vorangehenden Konsonanten [C'] war) überhaupt noch das Phonem δ/δ ? Sind die Erklärungen über die "tonal erhöhten" (=mouillierten) Laute (S.74ff.) voll berechtigt? Der Lamprecht-Darstellung der alttschechischen Lautentwicklung muß man allerdings ein hohes Maß an Konsequenz im Hinblick auf den Systemaufbau zubilligen, viel Lob verdienen nicht nur die übersichtlichen und aufklärenden Modelle und die Ausdehnung der Beschreibung auf die Mundartenerscheinungen, sondern auch die Anführung der absoluten Chronologie bei Einzeländerungen.

Die Formenlehre (S. 113-227) ist Morphologie im klassischen Sinne. Die Paradigmatik des Nomens und des Verbums wird getrennt behandelt; die Morphologie, ev. Derivationslehre bleiben ausgeklammert.

Am Anfang der Abteilung über die Deklination (S. 113-173) werden die grammatikalischen Kategorien des Nomens aus der diachronen Sicht kurz erläutert. Der Kasus als Relationsform wird in ein Subsystem von bindären relevanten und irrelevanten Kasusrelationen eingebaut (z.B.: N. - A., N. - D., N. - I., usw.). Der Numerus besaß in Alttschechischen noch die Dualformen, die sich formalisierende Kategorie des Genus ersetzt die alte allmählich jeden semantischen Hinterhalt verlierende Kategorie des Stammes. Der Untergang der alten Stamm-Deklinationstypen und der Umbau der alttschechischen Paradigmen nach Genusprinzip stellt die Hauptentwicklungslinie der Deklination dar. Mit der Stärkung der Kategorie der Belebtheit kommt es zur Ausbildung der Gen.-Akk.-Form und zur weiteren Differenzierung der Kasusformen besonders im Plural (Akk.-Nom. bei den Unanimata, also *potoky* Nom.Pl. anstatt des älteren *potoci*, u.a.). Die Deklination wird vom Autor traditionell auf substantivische, pronominale und zusammengesetzte, die substantivische dann weiter nach einzelnen Stämmen in paradigmatische Typen eingeteilt (logischer wäre vielleicht schon die Unterteilung nur nach Genusprinzip, vgl. oben, die Stamm-Aufgliederung hat allerdings im Hochschullehrbuch einen nicht unübersehbaren didaktischen Wert). Eine gute Übersicht der Entwicklung von einzelnen Typen bis ins Neutschechische bietet die Tafel auf der S. 123, ausführlichere Beschreibungen mit stetiger Berücksichtigung der Integrationsvorgänge zwischen den Einzeltypen und den mundartlichen Entwicklungen sind nach jedem Deklinationstyp zu finden (wünschenswert wäre eine übersichtlichere graphische Gliederung der Anmerkungen zu den Einzelkasus, Dialektformen und Interferenzen). Alle Paradigmen aller Deklinationstypen wurden auf urchtschechische Lautformen zurückgeführt (vor

'a > ě, also ins XI. Jh.), was doch ungewöhnlich wirkt (Gebauer und Vážený bedienen sich nur altschechischer, belegter Formen); diese archaischen Formen stellen hier und da nicht nur den Benutzer sondern auch den Autor vor gewisse Probleme (z.B. *mor's* vs. altsch. *moře*, *košt'*, *gošt'* vs. *kost*, *host*, u.a.), also graphische Gleichsetzung eines palatalen und eines mouillierten Phonems; dagegen aber auf der S. 150 unkonsequent, nicht zurückgeführt, nur *den* anstatt *deň*).

Die **K o n j u g a t i o n** (S. 174-227). Zu den grammatikalischen Kategorien des Verbums wird neben der Person, dem Numerus, Tempus, Modus und Genus verbi auch der Aspekt gezählt. Interessant ist die Behauptung im einführenden Absatz über Numerus, daß die verbalen Dualformen genetisch jünger als die nominalen sind (S.175), fraglicher schon die (vorsichtig formulierte) Aussage über die Existenz des Futurum exactum (*budu zvolal*) - ich würde diese Form eher als Kond. Fut. bezeichnen.⁷ Wichtig ist die Betonung der Aspektfunktion der einfachen Zeiten der Vergangenheit (Aor., Impf.) und die Rolle des Aspekts bei dem Abbau dieser Zeiten. Für die Erklärung der Kategorie des Aspekts wird die Némec-Theorie⁸ der Determiniertheit der verbalen Handlung übernommen und es wird festgestellt, daß die Opposition pf. - ipf. im XIV.-XV. Jh. grammatikalisiert wurde, die Iterativa erst ab dem XVI. Jh. Vor allem die Lautänderungen führen zu den Verschiebungen der Konjugationstypen zwischen den alten und den altschechischen Verbklassen; die meisten gab es zwischen der 3. aksl. Klasse und der 5. altsch., später auch zwischen der unproduktiven 1. und den produktiven 2. und 5. Klasse (sehr gute Übersicht vgl. Tafel S. 184). Im Text werden die Einzelparadigmen nicht auf die ortschechische Basis zurückgeführt (wie bei der Deklination), sondern in altsch. Formen angeführt. In den Anmerkungen zu den einzelnen Formen (Ind., Imper., Part., usw., S. 215-227) wird die Entwicklungslinie kurz auch über die Dialekte bis zum heutigen Tschechischen verfolgt.

Die **S y n t a x** (S.229-293) bietet das erste kurze Gesamtbild der syntaktischen Entwicklung des Tschechischen, bearbeitet nach den Methoden der modernen Linguistik. In blendend geschriebener Abkürzung werden nach einführenden Worten über die Entwicklung im Urslavischen die Hauptfaktoren aufgezählt - die Entstehung der tschechischen Schriftsprache, der Einfluß der lateinischen, weniger der deutschen syntaktischen Konstruktionen (z.B. Modalkonstruktionen mit *drbítí*, *mučítí*). Die Periodisierung der syntaktischen Entwicklung in acht Epochen geht bis ins XX. Jh. und deckt sich meist, besonders in den ältesten Phasen, mit der üblichen Periodisierung für andere Sprachebenen - z.B. für die Lautentwicklung (nicht aber mit der Lamprecht-Periodisierung). Gut beschrieben sind die Modal- und Infinitivkonstruktionen und -sätze, bei den Partizipialkonstruktionen muß allerdings die im Buch nötige Kürze einige Fragen nur flüchtig berühren (z.B. die Übersetzungsmodi der lateinischen Part.). Zum Absatz über die Wortfolge kann man bemerken, daß besonders die Darstellung der Satzwortfolge stark vereinfachend wirkt.⁹ Präzise formuliert, gut dokumentiert und *cum grano salis* auch für die ältesten Entwicklungsphasen der Syntax in anderen slavischen Sprachen geltend sind die Ausführungen über die Entstehung des Satzgefüges aus der Juxtaposition und über die maßgebende Rolle der Frage- und Rufsätze in diesen Prozessen. In den ersten Jahrhunderten der tschechischen Schriftsprache herrschte große Mannigfaltigkeit, die Satztypen waren nicht stabilisiert, die Bindewörter noch nicht grammatikalisiert - die relative Stabilität und das Herauskristallisieren der Satztypen mit entsprechenden Bindepartikeln kommt langsam erst seit dem XVI. Jahrhundert.

Das Hochschullehrbuch der historischen Entwicklung des Tschechischen entspricht auch hohen wissenschaftlichen Anforderungen, bringt

eine gute Gesamtübersicht, aber auch eriginelle Lösungen und Ergebnisse der Forschungsarbeit der Autoren, besonders im Abschnitt über die Syntax und die Lautlehre. Der dargebotene Einblick in die Diachronie des tschechischen Sprachsystems wirkt ausgewogen, aber zwei wichtige Gebiete bleiben vollkommen unberücksichtigt - wie übrigens auch in den bisherigen historischen Grammatiken des Tschechischen - nämlich die Wortbildung und der Wortschatz. Der Autor des morphologischen Teils, D. Šlosar, wäre m.E. schon auf Grund seiner Veröffentlichungen und der in Brünn schon geleisteten Vorarbeiten dazu prädestiniert, in der nächsten Ausgabe die altschechische Wortbildung wenigstens in Umrissen darzustellen; für den Wortschatz könnte man das Autorenkollektiv um einen der Prager Lexikologen (Němec, Michálek) erweitern. Noch drei kleinere Desiderata: 1. Das Buch ist gut und für den Benutzer praktisch ausgestattet (nach jedem Kapitel kommen die wichtigsten Literaturangaben, in einem Anhang auf S.298-301 wird die Auswahl der wichtigsten Fachliteratur präsentiert). Am besten, was die Anzahl der bibliographischen Posten anbelangt, kommt die Lautlehre heraus (obwohl einige neuere Arbeiten fehlen - von Komárek, Maraš, Vachek), sehr dürftig dagegen im Anhang die Literatur zur Syntax (nur drei Posten, obwohl sie schon im Text des Syntexteiles umfangreicher und mit den neuesten Werken vertreten ist!). 2. In einem Nachschlagwerk sollte ein Sachregister nicht fehlen. 3. In einer hoffentlich folgenden erweiterten Ausgabe sollten alle angeführten Belege durch genaue Zitation verifizierbar sein.

Zusammenfassend kann man das vorliegende Werk dreier hochqualifizierter Linguisten nur bejahen - es ist eine wertvolle Übersicht der tschechischen Sprachentwicklung über zehn Jahrhunderte, nicht nur für die pädagogische Hochschulpaxis ausreichend und gut geeignet, sondern auch für die gesamt-slavische diachrone Sprachforschung informativ und anregend.

A n m e r k u n g e n

1. J. VINTR, Die altschechischen Monophthongierungen und Diphthongierungen, ihre Chronologie und Systemverankerung. Wiener Slavistisches Jahrbuch 24 (1978) 262-277.
2. Die Stadt Píerov (Prerau) liegt auf der Karte 2 genau dort, wo sich in der Wirklichkeit Prostějov (Proßnitz) befindet; - zur Lauterscheinung Nr. 4, Karte 1, im Text S. 17 (ě vs. dispal. a) möchte ich beifügen, daß die regionale Differenzierung (von i über ě, ev. ä) in Mähren und Nordböhmen sicher breiter gefächert war als es die Isoglosse wiedergibt.
3. M. KOMÁREK, Historická mluvnice česká I, Hláskosloví², Praha 1962.
4. F. V. MAREŠ, Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen. (Reihe: Slavistische Beiträge, Bd. 40), München 1969, 14-15, 86-88.
5. Komárek, Maraš u.a. bezeichnen die Mouillierten mit ' (also ě', ž', usw.), Lamprecht dagegen schreibt s', s'.
6. Z.B.: M. KOMÁREK, Zur Entwicklung der konsonantischen Mouillierungskorrelation im Tschechischen. In: Travaux ling. de Prague 4 (1971) 25-36. Ich schließe mich der Komárek-Meinung an, vgl. J. VINTR, Die ältesten tschechischen Evangeliiare - Edition, Text- und Sprachanalyse. (Reihe: Slav. Beiträge, Bd. 107), München 1977, 123, 128-129.
7. J. VINTR, Die ältesten... (Anm.6), 105-108.
8. I. NĚMEC, Genese slovenského systému vidového. Praha 1958.
9. Vgl. J. LEVÝ, České teorie překladu. Praha 1957.

Milan MOGUŠ, Čakavsko narječje. Fonologija. Zagreb: Školska knjiga 1977, VII + 104 S., 1 Faltkarte.

Auf die allgemein linguistische und besonders die slawistische Bedeutung des Čak. Dialektes braucht hier nicht näher eingegangen zu werden: sie ist hinlänglich bekannt. Obwohl zahlreiche Monographien, Abhandlungen und Aufsätze zu Einzelmundarten oder zu Mundartgruppen bestehen, ausserdem in fast allen slawistisch-komparativistischen und auch vielen slawistisch-typologischen Arbeiten immer wieder auf "das" Čakavische zurückgegriffen wird und dieses zur Illustration dienen soll, ist es schwer zu sagen, was man eigentlich unter "dem" Čak. zu verstehen hat. Die Erfassung des Čak. als eine Dialektinheit, die gleichberechtigt dem Štokavischen, Kajkavischen und Torlakischen gegenübersteht, erfolgt meist mehr oder weniger intuitiv.

Der Versuch, eine Synthese der bisherigen Literatur zum Čak. zu verfassen, kann - wenn man die Heterogenität des vorhandenen Materials sowohl nach Methode als auch nach zeitlichem Unterschied der Aufzeichnungen berücksichtigt - nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Vf. beschränkt sich in seinem Buch auf die phonologische Seite, während die anderen sprachlichen Ebenen späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben sollen (*Predgovor*). Die Behauptung, dass sein Buch das erste Buch über den Čak. Dialekt sei, muss dahingehend eingeschränkt werden, dass es das erste *gedruckte* Buch über den Čak. Dialekt ist, denn eine hektographierte Darstellung des Čak. in Buchform (die auch morphologische, lexikalische und syntaktische Erscheinungen mit einschliesst) besteht schon seit etlichen Jahren.¹

Zunächst befasst sich der Vf. kurz mit der genetischen Stellung des Čak. im Rahmen der südslawischen Sprachen (1-3) und dann mit der geographischen Lage der Mundarten, die dem Čak. Dialekt zugeordnet werden können (4-9). Was die in der skr. Dialektologie nicht einhellig betrachteten Übergangsdialekte betrifft, so wird ganz Istrien einschliesslich des Dialekts von Buzet, aber mit Ausnahme des südlichsten Teiles der Halbinsel, zum Čak. Gebiet gezählt. Čak. in seiner Basis ist auch Karlovac samt dem anschliessenden Gebiet an der Kupa und Korana. Der Vf. diskutiert auch die Frage der ehemaligen Verbreitung des Čak. und kommt aufgrund der Toponyme, die die Vertretung des schwachen Halb vokals als *a* in *malin* und Ableitungen ("čakavski specifikum") beinhalten, zum Schluss, dass sich das Čak. einst bis an die Flüsse Sana, Vrba und Bosna erstreckt habe. Diese Frage müsste vielleicht doch etwas vorsichtiger gesehen werden, denn beispielsweise haben sowohl Čak. als auch Štok. Dialekte des Burgenlandes zwar *malin*, andererseits aber *mlinar*.² In letzter Zeit wurde auch die Meinung vertreten, dass das Čak. östlich des Flusses Una niemals autochthon gewesen ist.³ Dieser Fragenkomplex steht vor allem damit in Zusammenhang, wie man die Stellung des Ščakavischen als Bindeglied zwischen Čak. und Štok. wertet; er wird vom Vf. nicht behandelt. Als (seit kurzem erst) dem Čak. verlorengegangenes Gebiet ausserhalb Jugoslawiens könnte man die Čak. Mundarten in Niederösterreich und in Südmähren nachtragen.

Der Autor geht dann zur eigentlichen Thematik des Buches über. Das wichtigste ist die Festlegung der Kriterien, die für die Zuordnung zu einem bestimmten Dialekt ausschlaggebend sind (13-19). Die bisherige Erforschung der skr. Dialektologie hat gezeigt, dass so-

wohl genetische als auch strukturelle Merkmale zu beachten sind. Es folgt eine Diskussion der čak. Besonderheiten aus historischer Sicht (A. Mažuranić, Juraž Križanić; Vuk Karadžić wird nur am Rande erwähnt, dafür wird Rešetars Meinung über Vuk ausführlicher besprochen) und dann kommt eine ausführliche Stellungnahme zur Ansicht von Pavle IVIĆ, der behauptet, dass sich das Čak. durch das "fast völlige Fehlen einer genetischen Individualität" auszeichne.⁴ Moğuš hält dem Merkmale wie den Vokalismus ("jaka vokalnost"), das Jat und besonders die Akzentuation entgegen (18).

Die im einzelnen besprochenen čak. Merkmale sind folgende:

1. Das Fragepronomen *đa* (20-23). Čak. ist die Entwicklung eines Vollvokals in **ǰa*, wobei es sich um dieselbe Tendenz handle, die auch in Beispielen wie *va*, *vazeti*, *vavĕk*, *kadĕ*, *maĭn* usw. zum Ausdruck kommt. Die Form *đa* selbst muss in den Mundarten gar nicht vorhanden sein, sie kann auch durch *što* oder *kaj* ersetzt sein. Dagegen ist charakteristisch, dass die Verbindung Präp.+*đa* in Formen wie *sađ*, *pođ*, *vađ* erhalten bleibt.

2. Das Vokalinventar (23-25). Das Vokalinventar in den čak. Dialekten kann laut Vf. bis auf neun Phoneme (z.B. Buzet) erhöht werden. Man muss hier aber doch beachten, dass es bei Erweiterung der Zahl der segmentalen Phoneme gewöhnlich zu einer Reduzierung der Zahl der suprasegmentalen Möglichkeiten kommt. Nicht zustimmen kann ich dem Vf., wenn z.B. folgender Vokalismus als 8-phonemig vorgestellt wird:

kratki nenaglašeni	i	u	e	a	o			
kratki naglašeni	ī	ū	ē	ā	ō			
dugi nenaglašeni	ī	ū	-	-	-	ē	ā	ō
dugi silazni	ī	ū	-	-	-	ē	ā	ō
dugi uzlazni	ī	ū	-	-	-	ē	ā	ō

Hier handelt es sich doch um einen klassischen Fall komplementärer Distribution und daher um nicht mehr als fünf segmentale Phoneme.

3. Die Diphthongierung (25-29). Die Diphthongierung erfasst gewöhnlich die langen Vokale mittlerer Zungenhebung *e o* → *ie uo*, ausserdem kann dazu auch noch *a* → *ao/o* kommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei oft die Qualität der Silbe. Die Zahl der Phoneme wird durch die Diphthongierung nicht erhöht, weil die Diphthonge gewöhnlich mit den Monophthongen in komplementärer Distribution stehen und in manchen Mundarten auch mit diesen frei alternieren können.

Ich möchte dem Verfasser recht geben, wenn er meint, dass die Diphthongierung ein altes, ursprünglich čak. Merkmal sei, da die Diphthonge - wenn auch nicht immer nach denselben Kriterien - in allen čak. Mundarten des Burgenlandes vertreten sind (und daher schon im 16. Jh. ausgebildet gewesen sein müssen).

4. Das vokalische *r* (30-34). Für viele čak. Mundarten ist die Entwicklung eines Begleitvokals charakteristisch (*ar*, *er*, *or*), welcher in Resten auch in Mundarten mit reinem *r* erscheinen kann. Mundarten mit Quantitätsopposition *r̄:r* in betonter Position sind relativ selten, Mundarten mit unbetonten Quantitätsoppositionen scheinen im heutigen Kroatien nicht vorzukommen. Dies dürfte jedoch eine jüngere Erscheinung sein, da in čak. Mundarten des Burgenlandes mit alter Akzentuation Beispiele vom Typ *đat̄t̄āk*, *křm̄iti* gut vertreten sind.

5. Der Nasalvokal *ǰ* (35f.). Hier handelt es sich um die bekannten Beispiele vom Typ *ǰafa*, *ǰaxik* usw. Die Zahl der davon betroffenen

Lexeme ist gering, dennoch ist die Erscheinung für die genetische Individualität des Čak. wichtig.

6. Die Reflexe des Jat (37-44). Das Čak. ist in dieser Beziehung keineswegs einheitlich (*e, i, i/e, je*). Ausschliesslich Čak. ist die Vertretung des Jat als *i/e* in den bekannten Positionen, die übrigen Reflexe treten mit einer Konsequenz (auch in den grammatischen Morphemen), die sonst im Skr. nicht zu beobachten ist, auf.

7. Die Akzentuation (44-63). Zuerst versucht der Vf. Belić' akzentologische Einteilung in Nord- und SüdČak. einer kritischen Analyse zu unterziehen und kommt, völlig zu recht, zur Ansicht, dass seine These aufgrund neuerer Daten nicht haltbar ist, ebenso wenig die Thesen der Übergangsakzentuationen.

Die heutigen Akzentsysteme sind zu klassifizieren als

- a) alt (Bewahrung der Akzentstelle und Intonationsoppositionen),
- b) älter (keine Relevanz der Intonationsoppositionen),
- c) neuer (partielle Akzentverlagerung),
- d) neu (konsequente Akzentverlagerung).

Das Čak. Ausgangssystem besitzt Intonationsoppositionen auf langen Silben. Die drei "Akzente" werden als "brzi", "silazni" und "zavinuti" bezeichnet (ich würde betont : unbetont, Zirkumflex : Akut vorziehen). Der Čak. Akut besitzt eine vom neuštok. steigenden Akzent verschiedene Natur, zu deren Veranschaulichung Ivšić' (ohrenphonetische) Beschreibung aus dem Jahre 1911 zitiert wird. Neuere (instrumentalphonetische) Untersuchungen an posavinischem und Čak. Material haben teilweise andere Ergebnisse gebracht.⁵

Einige Aufmerksamkeit wird auch der Frage des Übergangs vom 3-Akzentsystem in ein Zweiersystem gewidmet, wobei Moguš die Thesen vom äusseren, štok. Einfluss zurückweist. Damit hat der Vf. für das Čak. vermutlich grösstenteils recht, doch darf die grundsätzliche Möglichkeit der Umgestaltung eines prosodischen Systems durch eine andere Sprache oder einen anderen Dialekt nicht ausgeschlossen werden (vgl. die Akzentuation mancher Čakaver des Burgenlandes, die Akzentuation der Stadtmundart von Zagreb, Fehlen von Intonationsoppositionen bei Kärntner Slowenen, die nicht Mundartsprecher sind, usw.). Ein anderer (ausserlinguistischer) Faktor ist in diesem Zusammenhang noch nie betrachtet worden: die Frage der absoluten Sprechgeschwindigkeit.⁶ Damit phonologische Intonationsoppositionen überhaupt bestehen können, müssen sie auch perzipierbar sein. Ein Akzenttyp, bei dem es tatsächlich innerhalb der betonten Silben zu relevanten Tonverlaufsunterschieden kommt, verlangt eine viel grössere Dauer der betonten Silben als ein Typ, bei dem die relative Tonhöhe aufeinanderfolgender Silben (wie im Neuštok.) relevant ist. Ist die allgemeine Sprechgeschwindigkeit relativ gross (und diesen Eindruck gewinnt man von vielen Čak. Dialekten), neigt die Wortintonation zur Monotonie. Diese Frage müsste aber noch genauer untersucht werden.

8. Konsonantismus (63-91). Besondere Aufmerksamkeit verdient das Čak. *č* [tʃ], das vielfach mit dem russ. oder tschech. *tʃ* verglichen wird. Seine Artikulation wird auf S.65 beschrieben. Die Formulierung "u tvorbi okluzije i tjesnaca" lässt auf eine Affrikate schliessen. Schade, dass keine Messung der Dauer der spirantischen Phase vorgenommen worden ist. Im Burgenland ist *tʃ* dort, wo es bewahrt ist, stets Plosiv und nicht Affrikate. Die Auffassung des *č* als Plosiv würde auch der Čak. Tendenz der Reduzierung der Zahl der Affrikaten im Phonemsystem entgegenkommen.

Eine bisher ungelöste Frage ist die Entstehung des Čakavismus. Im Rahmen der bestehenden Literatur werden vom Vf. hauptsächlich die Meinungen Mačekis und Hamms gegeneinander abgewogen (ersterer erklärt den Čakavismus durch romanischen Einfluss, letzterer aber aus dem System heraus). Der Klärung der phonetischen Seite des Phänomens dienen die Palatogramme der Reihen $c - \check{c} - \check{z}$, $s - \check{s} - \check{z}$, $z - \check{z} - \check{z}$ auf S.77 und ein Schmalband-Sonogramm der Reihe $s - \check{s} - \check{z}$ (leider nicht $c - \check{c} - \check{z}$) auf S.78. Der Vf. geht von der im Čak. bestehenden Opposition $c - \check{c} - \check{z}$ aus. Da im Čak. auch die Phoneme $s - \check{s}$, $z - \check{z}$ bestünden, könne man eine proportionale Reihe $s - \check{s} / \check{z} - \check{z}$ und $z - \check{z} / \check{z} - \check{z}$ aufstellen. Die Phoneme $/\check{s}/$ und $/\check{z}/$ seien demgemäss innerhalb des Čak. Systems vorhanden gewesen. Der Vf. zieht daraus den Schluss: "a) da je bilo praznih mjesta izmedju $s - \check{s}$ i $z - \check{z}$ i b) da su baš \check{s} i \check{z} popunili ta prazna mjesta. Time je, držim, dokazano čakavsko porijeklo glasova \check{s} i \check{z} ." (78). Der Ausgangspunkt, nämlich, dass es im Phonemsystem Leerstellen gab, steht und fällt mit der Interpretation des \check{c} . Wenn dieses ein Plosiv ist, so gab es keine Leerstellen, denn die entsprechenden Oppositionen lauten dann $c - \check{c}$ und andererseits $t - t'$. Ist aber der Ausgangspunkt richtig (\check{c} = Affrikate), so ist zwar die Existenz von \check{s} und \check{z} mit Engebildung wie bei \check{c} phonetisch durch Proportion zu erklären, nicht aber, warum s und z , s und z als \check{s} \check{z} neutralisiert werden sollen,⁷ dagegen c und \check{c} aber nicht mit \check{c} zusammenfallen. Das Resultat der Neutralisierungen ist ja c (nicht \check{c} , denn dieses steht weiterhin in Opposition zu c), \check{s} , \check{z} .

Zustimmen kann man diesem Schluss: überall, wo es zum Čakavismus kam, haben wir eine Čak. Mundart vor uns.

Als ein bereits von A. MAŽURANIĆ als Čak. angesehenes Merkmal gilt der Übergang $m \rightarrow n$ in den bekannten Positionen im Wortaustausch. Der Vf. vertritt die Meinung, dass es sich dabei um romanischen Einfluss handle. Was das Gebiet der Erscheinung betrifft, könnte man noch hinzufügen, dass auch die slowenischen Dialekte des Küstenlandes und sogar bis hinein ins Residual von derselben Erscheinung betroffen werden. Besondere Beachtung verdient der Übergang $m \rightarrow n$ in einer Reihe von kroatischen Mundarten des Burgenlandes. Wenn diese Erscheinung im Burgenland alt ist, so muss sie im 16. Jh. bereits ausgeprägt gewesen sein und weit in das Landesinnere Kroatiens gereicht haben. Wenn sich aber $m \rightarrow n$ im Burgenland unabhängig entwickelt hat, worauf einiges hinweist,⁸ so handelt es sich hier um eine spontane innere Assimilationserscheinung. In den Küstenmundarten kann freilich der Anstoss von aussen gekommen sein.

Bezüglich der übrigen konsonantischen Besonderheiten sei nur auf $\check{t}j \rightarrow \check{j}$ eingegangen. Dieser Übergang sei "gemeinčakavisch". Wenn diese Erscheinung auch charakteristisch und weit verbreitet ist, so kann sie im Čak. nicht alt sein. Die Auswanderermundarten des 16. Jh. sind von ihr grösstenteils nicht betroffen.⁹

Unter den Erscheinungen, die häufig als für das Čak. charakteristisch bezeichnet werden, vermisst man in dem Buch z.B. $g \rightarrow \check{g}$ (vgl. aber Anm. 63, wo die Erscheinung für Susak konstatiert wird), die Bewahrung des Phonems $/h/$, im Vokalismus die Formen *vrebac*, *resti*, *krest*, *greb* u.a.

Als Anhang an den Text und das Literaturverzeichnis (Auswahlbibliographie) folgt eine Karte des Čak. Dialekts, die gemeinsam mit B. FINKA ausgearbeitet wurde. Diese Karte stellt ein Novum in der skr. Dialektologie dar und ist aus folgenden Gründen sehr zu begrüssen:

Es werden nicht Flächen als čak. bezeichnet sondern Punkte (Ortschaften) und ausserdem kann man aus ihr drei Grade der "Čakavität" erkennen. Auf diese Weise wird das Bestehen nichtčak. Oasen auf čak. Gebiet nicht ausgeschlossen und die Karte kann ausserdem jederzeit nach unserer wachsenden Kenntnis der skr. Dialektologie mit neuen Punkten aufgefüllt werden. Streng genommen sollte jede Dialektkarte auf diese Weise gearbeitet werden, doch ist dies aus begreiflichen Gründen nicht immer möglich und die traditionellen Dialektkarten sind daher nicht überholt.

Zusammenfassend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass jeder Versuch einer dialektologischen Synthese eine äusserst schwierige Aufgabe darstellt. Sie ist von Milan MOGUŠ mit guter Sachkenntnis in Angriff genommen worden. Dass der Rezensent nicht in allen Fragen mit dem Autor übereinstimmt, ist bei einer derartigen Arbeit zu erwarten.

Gerhard Neweklowsky (Heidelberg und Wien)

A n m e r k u n g e n

1. B.FINKA, Čakavsko narječje. Der čakavische Dialekt der serbokroatischen Sprache (Ruhr-Universität Bochum. Veröffentlichungen des Seminars für Slavistik.2).
2. Vgl. G.NEWEKLOWSKY, Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete. Wien:Österr.Akademie der Wissenschaften 1978,SS.146,181.
3. A.PECO, Ikavskočakavski govori zapadne Bosne, *Bosanskohercegovački dijalektološki sbornik*, 1(1975), 1-264, bes.45ff.
4. O klasifikaciji srpskohrvatskih dijalekata, *Književnost i jezik*, 1 (1963), S.31. Ivič betont übrigens auch die viel nähere Verwandtschaft des Čakavischen mit dem Štokavischen als mit dem Kajkavischen (ebd., S.30).
5. Für Dialekte der Posavina siehe I.MAHNKEN und J.MATEŠIĆ, Zum 5-Akzentsystem der slawonischen Mundarten des Štokavischen, *Proceedings Sixth Intern.Congr.Phon.Sci., Prague 1967*, Prague 1970, 593-596, I.LEHISTE und P.IVIČ, Fonetska analiza jedne slavonske akcentuacije, *Naučni sastanak u Vukove dane*, 6/1 (1977), 67-84, für das Čakavische I.LEHISTE und P.IVIČ, Akustički opis akcenatskog sistema jednog čakavskog govora, *Naučni sastanak u Vukove dane*, 3 (1974), 159-170, G.NEWEKLOWSKY, Die Toneme in einer čakavischen Mundart des Burgenlandes, *Opuscula slavica et linguistica. FS für A.Issatschenko*, Klagenfurt 1976, 269-280.
6. Vgl. aber B.JURIŠIĆ, Rječnik govora otoka Vrgade I, Zagreb 1966, S.60: "Ritam govora na o. Vrgadi bio je prije po stoljeća polaganiji i mirniji nego danas. Svaki glas i svaki akcent jasno se distvingirao, svaka dužina bila je izrazito duga ... Tu nije bilo mjesta kolebanju, pripada li govor o. Vrgade medju govore s dvoakcenatskim ili troakcenatskim sistemom."
7. *ě* - *ž*, *ě* - *ž* standen im Čakavischen, im Gegensatz zu einer Reihe von Štokavischen Dialekten, nicht in phonologischer Opposition!

8. Vgl. H.KOSCHAT, Die čakavische Mundart von Baumgarten im Burgenland. Wien: Österr.Akademie der Wissenschaften 1978, S.59. Sie spricht von "Schwächung der Endkonsonanten". In manchen Dörfern kann man beobachten, dass ältere Sprecher *-m* bewahren, während jüngere es durch *-n* ersetzen.
9. Bei den burgenländischen Čakavern ist *l'* auf einem grossen Teil des Gebietes gut bewahrt. Wo dies nicht der Fall ist, ist der Übergang *l' → j* ganz jungen Ursprungs und durch Interferenz mit anderen Sprachen (deutsch, ungarisch) bedingt, was leicht nachweisbar ist (vgl. NEWEKLOWSKY, Die kroatischen Dialekte, 37ff., ders., Über die Klassifizierung von Auswandererndialekten, *WSLJb* 18 (1973), 180-183).

Gerhard NEWEKLOWSKY, Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften 1978 (=Schriften d. Balkankomm., Ling. Abt., 25)

Prve, skromne podatke o govoru gradišćanskih Hrvata, točnije o njemačko-hrvatskoj interferenciji u Gradišću, dobili smo relativno rano, već 1829. godine (J. v. Csaplovics, *Croaten und Wenden in Ungern*), međutim trebalo je dugo čekati i na njihovo znanstveno, dijalektološko proučavanje. Prije toga proučavanja, ali čak pedesetak godina nakon prvih obavijesti, pojavljuju se 1871. godine primjeri gradišćanskoga govora, zbirka narodnih pjesama, koja je, istina, nastala dvadesetak godina ranije (1846. i 1848.). To su poznate *Jačke ili narodne pjsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah šopronskoj, možonjskoj i željeznoj na Ugrih Frana Kurelca*. Nešto podataka daju Kuhač 1879. god. (*Medju ugarskimi Hrvatii*) i Herben 1882. godine (*Třel chorvatské osady na Moravě*). Korisne je podatke dao I. Milčetić 1898. godine (*Medju Hrvatima Donje Austrije i Zapadne Ugarske, O moravskim Hrvatima*), posebno o govoru južnomoravskih Hrvata.

Tek dvadesetih godina ovoga stoljeća nastali su prvi pravi i opširniji dijalektološki radovi o govorima tzv. podunavskih Hrvata, Hrvata u dijaspori, i to zaslugom poznatoga slovačkog slaviste V. Vážnoga. On je ispitao i opisao govore dvaju hrvatskih sela u Slovačkoj, Hrvatskoga Groba (Chorvátsky Grob) i Novoga Sela (Devínska Nová Ves). (Od šest radova o tome glavni su oni po naslovima *O chorvatském "kajkavském" ndřešt Horvatského Grěbu* (u A. Václavik: *Podunajská dedina v Československu, Bratislava*) 1925. i *Čakavské ndřešt v slovenském Podunajst* (Sbornik Fil. fak. univ. Komenského, Bratislava) 1927.) Prije II. svjetskoga rata pozabavili su se govorima Hrvata iseljenih na sjever još Isačenko i Ivšić, ali je Ivšić, na žalost, tada objavio samo sažetak svojih istraživanja i rezultata. (Ostavštinu koja se odnosi na taj rad uredio je, odnosno obradio, B. Finka a objavljena je u S. Ivšić, *Isabrana djela iz slavenske akcentuacije*, München 1971 kao 96. svezak "Slavische Propyläen".) Ponovo je trebalo proći tridesetak godina do novih istraživanja pedesetih i šezdesetih godina koja su tek omogućila da dobijemo cjelovitiju sliku o govoru ovih Hrvata. Na prvome mjestu potrebno je tu spomenuti rad I. Brabeca, npr. *Govori podunavskih Hrvata u Austriji* (Hrvatski dijalektološki zbornik 2, 1966). Sada se pojavljuju i prvi radovi G. Neweklowskoga, koji se bave tom problematikom, a pišu još B. Finka, P. Ivić i J. Knobloch (nešto ranije: 1953). Gradišćanske je govore istraživala tada i H. Koschat, ali je rad objavljen tek 1978. (*Die čakavske Mundart von Baumgarten im Burgenland*. Neobjavljen je ostao i rad H. Dihanicha *Das Verbum im Burgenländisch-Kroatischen* iz 1954. godine.) Sedamdesetih godina objavljuju radove o hrvatskim gradišćanskim govorima G. Neweklowsky, I. Brabec i B. Finka (*O čakavskom dijalektu gradišćanekih Hrvata, Čakavska rič* 1976.). Za Općeslavenski lingvistički atlas ispitana su u Gradišću tri punkta a u Mađarskoj jedan.

Ne možemo ovdje zaobići rad L. Hadrovicsa koji se odnosi na jezik gradišćanskih Hrvata, iako ne na govoreni jezik, već na književni, odnosno jezik književnosti (*Adverbien als Verbalpräfixe in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten*, *Studia slavica* 4 i opsežna knjiga *Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert*, Wien-Budapest 1974). U okviru međudržavnoga jugoslavensko-austrijskog projekta (Zavod za jezik, Zagreb i Institut für slawische Philologie der Univ. Wien, pod vodstvom Josipa Hamal) izrađuju se trodjelni rječnik, gradišćanskohrvatski-njemački-književnohrvatski,

i gramatika gradišćanskohrvatskog književnog jezika.

Knjiga *Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete* sinteza je dosadašnjih proučavanja govora tih Hrvata, u kojima je doprinos autora knjige posebno značajan, sinteza "die ich als eine Verpflichtung der österreichischen Slawistik gegenüber den Burgenländer Kroaten betrachte," kako kaže sam autor u predgovoru. Ovom je knjigom G. Neweklowsky postao najplodniji istraživač južnoslavenskih govora u Austriji, naime, to mu je druga knjiga a prva, *Slowenische Akzentstudien. Akustische und linguistische Untersuchungen am Material slowenischer Mundarten aus Kärnten*, Wien 1973, kako se iz naslova vidi, posvećena je slovenskim govorima u Austriji.

Pod nazivom "podunavski Hrvati" misli se na Hrvate u Gradišću (Burgenland) u Austriji, u zapadnoj Mađjarskoj uz austrijsku granicu, u Slovačkoj nedaleko Bratislave i u južnoj Moravskoj. Danas su to ostaci bjegunaca iz 16. stoljeća, kojih je bilo oko 100 000 u oko 200 sela. Tako, na primjer, u tri južnomoravska sela kojih je govor opisao Milčetić danas Hrvata više nema, iseljeni su nakon II. svjetskoga rata. U Donjoj Austriji (Niederösterreich) takodjer ih više nema. Najbrojnija su hrvatska naselja u Gradišću. Područje koje nastanjuju nije kompaktno - hrvatska sela tvore više otoka koji su razbacani po cijelome Gradišću. Medjutim, teško je i danas dobiti pravu sliku bilo o broju Hrvata, bilo o služenju hrvatskim jezikom. Naime, u običnim okolnostima najmjerodavniji pokazatelj - službena statistika - o tome ili uopće ne govori ili daje iskrivljenu sliku zbog krivo usmjerenih pitanja, pa tako i G. N. kaže: "Da bei den Volkszählungen in Österreich immer nur nach der Umgangssprache und nicht nach der Muttersprache gefragt wurde, ist es erklärlich, dass in dieser Arbeit so manche Ortschaft als kroatisch bezeichnet wird, in der nach der offiziellen Statistik kein einziger Sprecher mit kroatischer Umgangssprache ausgewiesen wird." (21)

Autor navodi u predgovoru da se proučavanju gradišćanskih hrvatskih govora može prići sa sedam značajnih gledišta: višejezičnosti, sociolingvistike, jezične tipologije, povijesti hrvatskoga ili srpskoga jezika, povijesne dijalektologije i dijalektalne geografije hrvatskoga ili srpskoga jezika, lingvističke geografije te dijalektologije kao pomoćne znanosti za povijest dolaska gradišćanskih Hrvata. U ovoj knjizi autor se nije posebno bavio sociolingvističkim pitanjima.

Autor je svoj opis temeljio na vlastitim terenskim istraživanjima, posebno pri opisu govora južnoga i srednjega Gradišća, zajedničkim istraživanjima s J. Hammom govora u Mađjarskoj, kojega se rezultati objavljuju prvi put u ovoj knjizi, i služio se postojećom literaturom o pojedinim govorima.

Prvi dio knjige posvećen je pitanjima koja su u fenomenu kao što je jezik gradišćanskih i susjednih hrvatskih govora posebno značajna - pitanjima višejezičnosti, upravo jezičnoj interferenciji u uvjetima višejezičnosti. Hrvatski su govori bili ovdje u dodiru čak s četiri jezika: njemačkim, mađjarskim, slovačkim i češkim. U samome Gradišću, koje je do 1921. godine pripadalo Mađjarskoj, starija je generacija, koja je polazila mađjarsku školu, trojezična, tako da, kako navodi autor "nach eigener Aussage der Informanten - das Ungarische oft noch besser beherrscht wird als das Deutsche" (25). Mladja generacija uopće više na zna mađjarski, ali zato dobro njemački. Djeca u početku govore njemački standard (Hochdeutsch), kasnije većinom njemački dijalekat sredine. Slično je i u Mađjarskoj, samo što su tamo uloge njemačkoga i mađjarskoga jezika izmijenjene. U Chorvátskom Grobu govore svi Hrvati slovački a u Devínskoj Novoj Vesi neki su Hrvati bili čak četverojezični, govorili su hrvatski, slovački, mađjarski

i njemački. U južnoj Moravskoj govorili su češki i njemački pored materinskog jezika.

Hrvatski je najviše interferirao s njemačkim jezikom. Mladje su generacije izložene interferenciji više nego što su to bile starije, i to, prema autoru, na svim jezičnim razinama osim u morfologiji. Izražene su i socialne diferencijacije u stupnju interferencije. U nekim mjestima hrvatski govori samo dio stanovništva, pa je ponegdje prestao biti redovno sredstvo međusobne komunikacije mještana. Oni se mogu njim služiti, ali se služe rijetko. Redovno je sredstvo komunikacije još uvijek u većini hrvatskih sela srednjega Gradišća. Zbog tako složena stanja autor se ogradjuje s obzirom na rezultate svojih istraživanja. Gotovo je nemoguće u potpunosti ispitati sve pojedine brojne kombinacije interferencije u pojedinim mjestima, tj. bilo bi potrebno ispitati većinu govornika pojedinih mjesta da bi se dobila potpuna slika. Autor se zato ograničio na stariju generaciju i dopušta da drugi istraživač od drugih informanata u istom mjestu dobije drukčije podatke. Čini mi se da su autorovi podaci, usprkos njegovim ogradama, toliko pouzdani da se na temelju njih mogu izvoditi relevantni zaključci.

Opisane su najznačajnije pojave interferencije na svim razinama. U dijelu *Phonetische Interferenzenerscheinungen* nije najsretnije riješeno pitanje transkripcije (ne mislim ovdje na neusklađenost transkripcije kada se preuzima način pisanja različitih autora), npr. /selo/ → [sölo] (29), *krá:ž* → [krà:ž] (32). Formulacija o silaznim dvoglasima (Da diese Erscheinungen ansonsten den kroatischen Mundarten fremd ist, 31) nije dovoljno precizna, jer takve dvoglase susrećemo u nekim hrvatskim govorima, npr. u čakavskim govorima, u gorskokotarskim, u zagorskim kajkavskim govorima.

Tako se može uzeti da pri gubitku intonacije "das Deutsche bzw. Ungarische oder Slowakische (...) eine Rolle gespielt haben können," (31) potrebno je ukazati da u nizu govora u dijalektnom kontinuumu hrvatskih govora opreke po intonaciji nema. Što se tiče postojanja nepostojanja te opreke u južnom Gradišću, tu bismo se ipak priklonili opažanjima Ivšića i Brabeca, tj. da ona postoji, a mora se priznati da i ovdje autor donosi svoje mišljenje s ogradom. Kratko otvoreno e (tako ga bilježi G. N.) ne mora biti rezultat interferencije s mađjarskim jer je to u kajkavskim govorima redovna vrijednost za kajkavsko e ← e=ę, a susrećemo je i u onim kajkavskim govorima u kojima su izjednačene kontinuanta poluglasa i jata s kontinuantom starog e i nazalnoga ę.

Najveći dio knjige zauzimaju fonetika/fonologija po govornim grupama. Kao što i autor ističe - to je rezultat i naravi gradišćanskih govora, njihove diferencijacije. Autor je podijelio sve navedene govore u sedam grupa, i to četiri čakavske, jednu čakavskoškotskavsku, jednu štokavsku i jednu kajkavsku. Najveću grupu čine čakavski ikavsko-ekavski govori s djelomičnim regresivnim pomakom naglasaka. Ti govori obuhvaćaju cijelo sjeverno i srednje Gradišće, s podskupinama Haci i Poljanci, Dolinci, Devínska Nová Ves i južnomoravski Hrvati. Slijede dvije skupine čakavskih ikavsko-ekavskih govora od kojih svaka obuhvaća samo po jedno mjesto: Hrvatski Grob i Bajngrob (Weingraben). U prvom govoru naglasak se pomiče po drugim pravilima nego u ostalim govorima i ukinuta je opreka po intonaciji. U drugom je govoru naglasak fiksiran na dvama zadnjim slogovima riječi, kao što je to i u podravskome kajkavskom dijalektu (usp. Fancev, Ivšić, Lončarić) i kako za polapski uzimaju Trubeckoj i Olesch, s tom razlikom što u Bajngrobu nisu niti intonacija niti kvantiteta fonološki relevantne.

Petu skupinu G. N. naziva *Štoji*. Formirao ju je nešto drukčije, negoli što je to učinjeno prije kada su se Štojima nazivali svi govori sa *što* koji ne pripadaju skupini Vlahi. Autor dio govora sa *što* broji u čakavske govore a za njega su Štoji čakavskoštokavski govori koji se od čakavskih govora diferenciraju izoglossom *štīli-tīli*, s kojom se poklapaju još i neke druge izoglose. Čini se da je takav postupak u redu, samo što se time ne dobija mnogo jer, kako kaže i sam autor, "Das Čakavische geht aber darüber hinaus und geht allmählich in das Štojische über" (153). Šesta su skupina *Vlahi*, kako sami sebe nazivaju Hrvati iz 12 sela južnoga Gradišća. To su štokavski, točnije: šćakavski, govori, koji se jasno odjeljuju od ostalih gradišćanskih hrvatskih govora.

Kajkavska skupina obuhvaća samo dva sela, Vedešin (Hidegség) i Umok (Fertőhomok) na jugu Nežiderskoga jezera nedaleko Sopronja. Autor ih naziva kajkavskima, ali se odmah od toga ogradjuje, štoviše - mogli bismo reći da im niječe pripadnost kajkavštini: "Für die beiden kajkavischen Dörfer Hidegség und Fertőhomok ist charakteristisch, dass in ihrer Mundart wesentliche kajkavische Merkmale nicht vertreten sind." Mislím da takva ograda nije potrebna. Tvrdnja da ti govori nemaju "wesentliche kajkavische Merkmale" temelji se, u prvom redu na činjenici da refleksi jata nije u svim pozicijama izjednačen s refleksom poluglasa, tj. nenaglašen ima kontinuantu *i*, iako može ("gelegentlich") imati istu vrijednost kao i refleksi poluglasa, tj. *e* i *ě*. (Podaci su kod Ivšića, u navedenom izdanju, nešto drukčiji.) Mislím da treba pretpostaviti da je s obzirom na navedenu osobinu govor tih mjesta u vrijeme doseljenja bio tipično kajkavski, a i danas ga kontinuanta izjednačenih poluglasa određuje jednoznačno kao kajkavski - ni u jednom drugom južnoslavenskom dijalektu nemamo kao refleks poluglasa glas tipa *e*. Teško je još sada reći kako smo dobili vrijednost *i* u nenaglašenom položaju kao refleks jata, ali to će svakako biti u vezi s ikavskim gradišćanskim govorima. S time u vezi može se ukazati na čakavske ikavske govore koji su migracijom dospjeli među kajkavce, nedaleko Zagreba a danas imaju na mjestu jata glas tipa *e*, obično kao dubletu uz *i*, što je ponekad takodjer regulirano pozicijom u riječi.

Iz kraćega dijela o morfologiji, koja je dana u pregledu, sumarno, ne o pojedinim govornim tipovima, osvrnut ćemo se samo na postupak s imenicama i iznijeti neke zanimljive pojave. Imenice su obrađene u tri točke: stare razlike, nove razlike i ostaci starijih tipova deklinacije. Vrijedne su pažnje neke inovacije. Nastavci osnovi prodiru u sustave nastavaka drugih osnovi, napr. NAPl srednjega roda može glasiti *dr'í:vi*, *s'e:dít*, Gpl. *srooy*, *arí:kfoy*, *kr'a:vof* itd. U Dpl. uz čuvanje starih nastavaka dolazi i do izjednačavanja. U nekim je govorima generaliziran nastavak *-om* (Bajngrob), u drugina *-am* (Vlahi).

Deset stranica posvećeno je tvorbi riječi, što je potrebno istaknuti jer se u hrvatskoj dijalektologiji toj problematici još uvijek ne poklanja dovoljno pažnje. Dan je pregled sufiksa u imenica (40) i u pridjeva (27). Kako je tvorba glagola u slavenskim jezicima posebno teško poglavlje, tako i G. N. uz dobra rješenja ima i pogleda s kojima se ne možemo složiti. Glagoli su po tvorbi podijeljeni najprije na denominativne i deverbativne. Tvorba deverbativnih glagola podijeljena je u tri odjeljka: prefiksacija, tvorba akcenatskih parova i tvorba trenutnih glagola. Autor je u pravu kada, pozivajući se na Isačenka i Maslova, uzima da se prefiksacijom ne mijenja samo vid glagola, ali ne možemo se složiti s tvrdnjom da sufiksacija služi samo "reine Aspektpaare ohne Unterschied der Grundbedeutung zu bilden." U većini primjera stvarno je tako, ali nije uvijek.

Iz istoga razloga kao i pri tvorbi riječi, ali još više, potrebno je istaći da se autor, na dvadesetak stranica, pozabavio i sintaksom. Autoru je bio olakšan posao time što je obradjena sintaksa gradišćansko-hrvatskoga književnoga jezika (Hadrovics), te je tako mogao uspoređivati stanje u suvremenim govorima s onim u pisanom jeziku. Prema G. N. većina sintaktičkih pojava u dijalektima postoji i u jeziku književnosti.

Raspravljajući u posebnom poglavlju o rječniku, autor pravilno zaključuje da se leksemi karakteristični za kajkavsko narječje, koji se u znatnoj mjeri nalaze u svim gradišćanskim hrvatskim govorima, mogu razumjeti iz činjenice što ti govori potječu iz područja dijalektne tromeđe, što ne isključuje kasnija preuzimanja. Kasnija preuzimanja, po mojemu mišljenju, vrlo su vjerojatna, i to zbog toga što se u različita područja doseljavalo i kajkavsko stanovništvo, ali u manjem broju. Ono je čakavizirano, odnosno štokavizirano, ako nije germanizirano. Moglo je ostaviti traga u kajkavizmima jer, kao što je poznato, leksičke su jedinice onaj element jezika koji se najlakše i najprije posudjuje. Autor donosi, dalje, primjere onih hrvatskih riječi koje su rasprostranjene u svim govornim skupinama i onih koje dolaze samo u nekim govorima. Slijede primjeri posudjenica iz drugih jezika. Na prvom su mjestu, naravno, riječi iz njemačkoga jezika, uz koje se postavlja i pravilo za razlikovanje mladih od starijih posudjenica. Dosta je primjera posudjenica iz romanskih jezika, dok se na kraju donosi po nekoliko riječi iz orijentalnih jezika, slovačkoga i češkoga.

U posebnom poglavlju raspravlja se o porijeklu pojedinih gradišćanskih govora. Slažući se uglavnom sa svojim prethodnicima, autor dokumentirano precizira područja iz kojih mogu govori potjecati.

U dodatku nalazimo tri veoma vrijedna priloga. Prvi su kratki ogledi govora iz 35 mjesta, kojima slijedi rječnik od oko 2 000 riječi koje se na nekoj jezičnoj razini - fonetskoj, morfološkoj, semantičkoj - razlikuju od odgovarajućih riječi u hrvatskom književnom jeziku. Posebna su vrijednost knjige 52 dijalektološke karte, što je također slaba strana hrvatske dijalektologije. Od njih se 28 karata odnosi na fonetske/fonološke pojave, 5 na morfologiju, 18 na leksik i jedna na sintaksu.

Knjiga je popraćena izborom literature i indeksom riječi najopsežnijega dijela, tj. *Phonetik der Mundartgruppen*.

Zaključno možemo reći sa zadovoljstvom da smo ovom knjigom dobili djelo veoma značajno za hrvatsku dijalektologiju, za slavistiku i da je Gerhard Neweklowsky u potpunosti ispunio obavezu koju si je sam postavio i koja, prelazeći lingvističke, znanstvene okvire, pridonosi boljem poznavanju među narodima, što je jedan od najvažnijih uvjeta za međusobno zблиžavanje i prijateljstvo.

Mijo Lončarić (Zagreb)

D I S K U S S I O N

Aage A. HANSEN-LÖVE (Wien)

NACHGETRAGENE THESEN ZU WOLF S C H M I D , DER ÄSTHETISCHE INHALT. *

Zunächst eine Vorbemerkung zur Gattungsbestimmung dieses Beitrags: Die akademische Rezension ist ein Diskurstyp, der den Autor zu einer sehr unpersönlichen Argumentationsweise zwingt, die seinem "Opfer" ebenso wie ihm selbst bisweilen gar nicht so unbequem ist, motiviert sie doch eine ver- und gedeckte Vorgangsweise, eine der äsopischen Vieldeutigkeit unter Verzicht auf das, was die Engländer den "personal view" nennen. Besser als Rezensionen des akademisch-monologischen Typs vermitteln aber dialogisch orientierte Diskussionsbeiträge das wünschenswerte Bild einer im Fluß befindlichen Entwicklung der Wissenschaft. Analog zur Literatur- und Kunstkritik als eigene feuilletonistische Gattung müßte es doch auch (wieder) den wissenschaftskritischen Essay oder Brief geben, der gleichzeitig zur Sache und zur Person spricht, der Fragen stellt - und auf Antwort hofft. Für den Verfasser eines solchen kritischen "Sendeschreibens" bietet diese Form zudem den Vorwand zu einer impliziten, verkürzten Schreibweise, die sich vertrauens- und andeutungsvoll auf das Vorwissen des eingeweihten Adressaten bzw. impliziten Lesers berufen kann; gleichzeitig zwingt dieser offene Stil zum selbstkritischen Eingeständnis des hypothetischen Charakters der eigenen theoretischen Position, deren Einbekenntnis keine Schande - und deren Verlassen keine Schmach sein muß.

Die russischen Formalisten - um allmählich zum Thema Überzuleiten - rechneten es sich geradezu zur Ehre an, Standpunkte, die ihren Zweck als theoretische "Trittflächen" erfüllt hatten, nicht zu zementieren. Dem Rekurs auf die fakt(ograph)ische Objektivität hält Viktor Šklovskij - wie immer hyperbolisch formulierend - entgegen: "Fakten gibt es im Übrigen nicht. Wenn die Fakten die Theorie zerstören - umso besser für die Theorie. Sie ist aus ihnen gebildet und uns nicht zur Konservierung anvertraut."¹ Bei Ejchenbaum finden wir: "...jede Theorie ist eine Arbeitshypothese, die vom Interesse an den Fakten selbst bestimmt wird."² Das Prinzip der "Auswahl und Bearbeitung der Fakten" wird - so weiter Ejchenbaum - vom "Interesse der *souremennost'* diktiert", d.h. der literaturwissenschaftliche Diskurs ist gleichzeitig *B e s t a n d t e i l* des zeitgenössischen Kunstbetriebes (der *literaturnaja souremennost'*) - als solcher hat er einen der Literaturkritik verwandten Status - und eine (hypothetisch) festgesetzte *e x t e r n e P o s i t i o n*, von der aus der aktuelle ästhetische Prozeß als synchrones *S y s t e m* in die überschaubare Evolution eingegliedert wird. Aus dieser Sicht macht sich der wissenschaftliche Diskurs *s e l b s t* zum Gegenstand der Reflexion und Darstellung. Den Formalisten ist es gelungen, Diskurse zu formulieren, in denen *b e i d e* Perspektiven (die abstrakt-wissenschaftliche und die konkret-kritische, ins Geschehen eingreifende) gleichzeitig (oszillierend) präsent sind. In diesem Sinne beschäftigten sie sich mit der Frage, warum ein Brief in einer bestimmten Periode eine private Mitteilung - in einer anderen Epoche ein öffentliches Schreiben sein kann (ein und derselbe Brief und/oder das epistolographische Genre allgemein). Die aus diesen Überlegungen stammenden Schlüsse sowie die oben erwähnten Zweifel am Genos der Buchbesprechung geben mir den Mut, (nach Rücksprache mit dem Adressaten) folgende

Passagen aus meinem Schreiben vom 12.12.1978 vorzubringen. Die einigermaßen umständlich entwickelten Gründe für eine solche Vorgangsweise haben nicht zuletzt den Zweck, den nachfolgenden Argumenten zu ersparen, auf die Goldwaage gelegt zu werden. Im Gegensatz zum Rezensenten darf sich der Briefschreiber erlauben, das behandelte Buch (bzw. das, wovon in diesem die Rede ist) als bekannt vorauszusetzen; in gleicher Weise sind alle Bezüge auf mein eigenes Buch, auf das ich bisweilen anspiele, zu verstehen.

Mein Schreiben beginnt (nach einleitenden Begrüßungen etc.) mit einer vielleicht übertrieben kritischen Bemerkung zur unklaren und lückenhaften Formalismus-Rezeption bei Mukařovský, den ich im "Verdacht" habe, in Sachen Formalismus mehr zu wissen als zu sagen. Da nun die Studie von Wolf Schmid, um die es hier ja geht, im wesentlichen ihre Basis im Denken Mukařovskýs hat, meine eigenen Interessen jedoch lange Zeit mit dem Formalismus verbunden waren, erklärt sich das Engagement in dieser Frage - und relativiert es gleichzeitig. Nun zum Brief selbst:

"...Ich bin überzeugt davon, daß Übereinstimmung herrscht in der Ablehnung einer (absichtlich-polemischen oder unabsichtlichen) Reduktion des russischen Formalismus (RF) auf seine Frühphase, die mit dem Ganzen seiner theoretischen Entfaltung gleichgesetzt wird. Die ausgedehnten Studien des RF zur poetischen Semantik (schon im 1. Entwicklungsstadium, v.a. aber dann in der Verssemantik Tynjanovs) und darüber hinaus die literatursoziologischen Konzepte und wichtige semiotische Ansätze - all das wurde von Mukařovský nur sehr oberflächlich rezipiert, was den theoretischen und interpretatorischen Stand des tschechischen (literaturwissenschaftlichen) Strukturalismus der 30er Jahre hinter jenen des RF der 20er Jahre zurückwirft (sieht man vom verfeinerten linguistischen Instrumentarium v.a. in der Verstheorie ab, wo sich die Erkenntnisse der Phonologie und allgemein des linguistischen Funktionalismus des PLK sehr fruchtbar auswirkten!).

Nun zu einzelnen Thesen Ihrer Studie:

1. Ihre Auseinandersetzung mit der Form-Inhalt-Dichotomie deckt sich weitgehend mit meinen eigenen Vorstellungen, wenngleich ich den RF nicht auf einen *F o r m b e g r i f f* festlegen würde, tritt dieser Terminus doch immer nur in einer metonymischen Bedeutung auf (anstelle von: *kompozicija, konstrukcija, postroenie* etc.) - oder als Objekt der Kritik (Ablehnung der "Form" als Attribut, als "Einband", als "Schmuck", der ersetzbar und modifizierbar ist). Ebenso war der "Thematismus" zunächst einer der Hauptangriffspunkte des RF, der (im Sinne Belyjs) gerne von der *soderžatel'nost' formy*, d.h. der Semantisierung der Struktur sprach. Die Ersetzung des Form-Inhalt-Dualismus durch die *material-priem*-Relation gehört zu den wesentlichsten Leistungen des frühen RF, wobei im Laufe der methodologischen Entfaltung der *material*-Begriff ebenso differenziert und aktiviert wurde wie jener des *priem* (der im *FII*=Syntagmatisches Funktionsmodell des RF zum "konstruktiven Prinzip" wird). Jedenfalls rechnen auch Sie das, was bei Ihnen "thematischer Inhalt" heißt, "zu den Elementen der ästhetischen Zeichenmaterie" (SCHMID, 16). - Besonders unterstützen möchte ich Ihnen in der Anmerkung 7 (S.17) "versteckten" Angriff gegen den "in der gegenwärtigen 'Rezeptionsästhetik' vorherrschenden Relativismus", der sich z.B. erst gar nicht mit der Frage nach einer Unterscheidung in künstlerischen und nichtkünstlerischen Text (auf der Basis der Werkstruktur und der intentionalen Signale) auseinandersetzen will. Überhaupt möchte ich sagen: Wenn eine fragwürdige "Wissenschaftlichkeit" erkaufte wird um den Preis, daß Kernfragen (Fragen nach dem Wesen) ausgeschlossen werden, dann bin ich gerne "unwissenschaftlich". Ihre Abgrenzung zwischen "thematischem und ästhetischem Inhalt" entspricht durchaus der formalistischen Position, die im übrigen durchaus auch über den Begriff des "ästhetischen Ob-

jekts verfügt (ästhetisches Objekt= Projektion der Artefaktstruktur im Rezipienten). Die von Ihnen (S.21) getroffene Unterscheidung in "außerkünstlerische Substanz" und "Signifikant" deckt sich genau mit der formalistischen Trennung von außerkünstlerischem *material I* und werkimmanentem *material II*. Aus dieser Sicht gliedert sich das Signifikat seinerseits in einen primären und einen sekundären Rezeptionsaspekt, eine *ustanovka I* (die dem Signifikanten zugeordnet ist) und eine *ustanovka II* (die vermittelt des Signifikats den ästhetischen Inhalt bildet bzw. "auslöst"). Hinzu kommt, daß im Falle intertextueller Bezüge (v.a. im *parodirovanie* = *ustanovka na dušoj tekst*) das strukturierte *material II* eines Werkes (bzw. Werk-corpus) für das parodierende Werk den Status von *material I* einnimmt - bei gleichzeitiger Reflexion seiner *uslovnost*.

Ihre Auffassung, die Formalisten hätten sich "ausschließlich auf das Artefakt konzentriert" und dessen "Wirkungskorrelat außerhalb ihres Fragehorizonts gelassen" (S.22), trifft nur sehr bedingt für den frühen RF zu: Wahr ist, daß die Formalisten nicht alle konstitutiv möglichen Wirkungskorrelate (also z.B. die fiktiv-imaginären, von denen unten noch die Rede sein wird) einbezogen haben. Weiters glaube ich widerlegt zu haben, daß die Formalisten unter "Motiv" die kleinsten Einheiten des "Themas" ansahen: Dies entspricht zwar der Definition Tomaševskijs (in seiner "Teorija literary"), die Sie ja auch an dieser Stelle zitieren (S.23), nicht aber der genuin formalistischen Sujeettotheorie, wo als Motiv die kleinste Einheit der *S u j e t*-Struktur (also der Syntagmatik) bestimmt wird - das "Thema" dagegen die kleinste Einheit der *fabula* darstellt. Ob diese Auffassung "wahr" ist, tut hier nichts zur Sache; "richtig" ist sie jedenfalls im Rahmen des RF, was sich nicht unbedingt mit meiner eigenen Meinung decken muß.

2. Sie schreiben, daß die Formalismus-Rezeption Mukařovskýs in den 30er Jahren "die Fragen der Formalisten..in der Sprache der Dichtungs-Semantik" umformuliert hat. Ich habe mich in meiner Darstellung bemüht zu zeigen, daß - v.a. in der Theorie der "Realisierung" (poetische Etymologie, Metamorphose, *razvertyanie metaforj, smyslovoj sdvig*, Personifizierung etc.) - eine bis heute noch nicht voll ausgeschöpfte poetische Semantik im RF entwickelt wurde, die zudem den Vorteil hat, mit jener der synchronen poetologischen Systeme koordiniert zu sein..In diesem Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, daß eine Untersuchung über die Wechselwirkung von zeitgenössischer Poetik und wissenschaftlicher Theoriebildung für die tschechische Situation der Zwischenkriegszeit noch aussteht. Wesentlich ist dabei ein Unterschied zum engen Praxisbezug des RF: im Gegensatz zu diesem war der Prager Strukturalismus einerseits (zu) eng an die linguistische Theoriebildung gebunden, andererseits eher an einer allgemein ästhetischen Axiologie denn einer Poetologie interessiert. Mit einem Wort: der kommunikative Status der Wissenschaft war ein anderer als im RF!

3. Zum schwierigen Kapitel Formalismus-Phänomenologie möchte ich hier nur erwähnen, daß der frühe RF eher eine "phänomenalistische" Komponente hat - und nicht (wie etwa E.Holenstein in Anlehnung an R.Jakobson behauptet) eine "phänomenologische", deren "eidetische Wesensschau" dem RF völlig fremd ist. Ich entnehme Ihrer Mukařovský-Lektüre eine - wenn auch nicht voll eingestandene - "Öffnung" zu den Problemen des "Wesens", des "Essentiellen"..Es ist im heutigen Strukturalismus-Dogmatismus offenbar nicht opportun, den essentialistischen Aspekt dem relationistischen entgegenzustellen..

4. In Ihrer Abhandlung über die "Klangwiederholung" (S.39ff.) finde ich die Tendenz, das Prinzip der Wiederholung (*povtor*, Äquivalenzbildung) mit jenem des Rhythmus zu vermengen. Das *povtor*-Prinzip des frühen RF (Brik u.a.) war seriell, das Prinzip von *edinstvo-tenota* in der Versologie Tynjanovs ist "gestalthaft". Ihr Hinweis auf die "nationalen Präferenzen" (S.46ff.) in der Einschätzung bestimmter (konstitutiver) Verfahren - wie z.B. auch der "Klangmuster und Reimtechniken" - ist insbesondere auf die Bedeutung des Kalauers (*kalambur*) auszudehnen, der in der deutschsprachigen Literatur (Lyrik) eine extrem herabgeminderte, abschätzigste Wertung erfährt, wogegen er im slavischen Raum (aber auch in der englischen Literatur!) weitgehend "entkomisiert", ästhetisch konstitutiv auftritt. Für mich ist die Kalauertheorie (im weiteren Sinn die der semantischen Realisierung) die eigentliche "Entdeckung" des RF (z.T. in Verbindung mit der symbolistischen Poetik Belyjs, dessen Spätwerk *Masterstvo Gogolja* noch einer echten Würdigung harrt!). Das Kalauer-Prinzip steht meiner Meinung nach dem Problembereich des *chudožestvennoe myšlenie* weitaus näher - als etwa die Metapherntheorie. Hierher gehört das, was Sie mit dem Begriff "kognitive Inhaltsseite" (der Klangwiederholungen) umschreiben. Ihre Abneigung gegen "Lautsymbolik" und "Onomatopöie" (S.50f.) kann ich nur insoferne teilen, als Sie damit gegen den (auch unter Dichtern) weit verbreiteten intuitivistischen Laut-Mystizismus und seine Auswüchse auftreten. Auf der anderen Seite möchte ich doch zu bedenken geben, welche zentrale Bedeutung die semantische Lautvorstellung für Dichter wie Chlebnikov hatte, eine Bedeutung, die auch dadurch nicht vermindert wird, daß ihre (vom Dichter stammende) theoretische Untermauerung nicht den wissenschaftlichen Kriterien (der Linguistik) gehorcht! Aus der Sicht der linguistisch geschulten Literaturwissenschaft erscheint die Lautsemantik tatsächlich als ein "nicht-kognitiver Teil des ästhetischen Inhalts" (S.51) - aus der Sicht des *slivotvorec* ist das Gegenteil der Fall: hier determinieren die spezifischen Lautvorstellungen in einer Weise das Werk, daß man sie einfach nicht ignorieren kann - oder gegen die wissenschaftliche Phonologie etc. ausspielen soll. Dies gilt auch für den kognitiven Charakter der Klangwiederholung (vgl. auch hier Belyjs semantische *povtor*-Theorie mit jener Chlebnikovs).. Ich finde, daß die literaturwissenschaftlichen Poetologen bei den Dichter-Poetologen durchaus etwas "lernen" könnten; man muß hier parawissenschaftliche und pseudowissenschaftliche Modelle unterscheiden: erstere können wissenschaftlich "falsch", - aber "wahr" sein, letztere sind sowohl falsch als auch unwahr. Besonders deutlich ist der Zusammenhang zwischen den Sprachvorstellungen der russischen *zaumniki* mit den Anfängen der modernen Linguistik - auch wenn Baudouin de Courtenay die linguistischen "Fehler" der Futuristen gerne kritisierte.

5. Bevor ich auf das Problem der Ganzheits- und Gestalttheorie eingehe, möchte ich folgende Unterscheidung treffen, die ich hier natürlich nur apodiktisch hinstellen kann: Man sollte zwischen "positiver" und "negativer Ästhetik" unterscheiden, zwischen einer Ästhetik der harmonikalen, k o n s t i t u t i v e n, naturhaften ("kosmischen" im Sinne Pythagoras') Ordnungen - und einer Ästhetik der deformativen, k o n s t r u k t i v e n, k u l t u r - und epochenspezifischen (An-)Ordnungen. Jedes Kunstwerk verbindet im Prinzip b e i d e Ästhetiken: es hat einen negativ-verfremdenden Aspekt, um Bedeutung zu aktualisieren, Interesse und Aufmerksamkeit zu provozieren, zu appellieren - und es hat ein konstitutives Stratum, das nicht der historischen oder periodischen (un-)Wertung unterliegt. In den Bereich der negativen Ästhetik gehören die aktualisierende Ausrichtung auf den kommunikativen Kontext, der diachrone Hintergrundbezug, die Rezeptionsästhetische Kalkulation des Effekts; die

Ordnung der positiven Ästhetik basiert einerseits auf psycho-physischen Grundgesetzen (Ganzheit, goldener Schnitt, Proportionalismus, Perspektivik, Metrik etc.), andererseits auf archaischen Denkstrukturen und archetypischen Urerfahrungen. Man sollte diese Unterscheidung in positive und negative Ebenen nicht unbedingt mit Lotmans Kulturtypologie gleichsetzen, obwohl im affirmativen Typ sicher die positive Ästhetik dominiert - im Typ der "Nichtidentität" (der Verfremdung) dagegen die negative. Im RF ist die positive Ästhetik ersetzt durch eine ausgeprägt vitalistische Basis und verbunden mit der Totalisierung eines Periodentyps, der mit der anthropologischen Ordnung überhaupt gleichgesetzt wird. In Mukařovskýs Rückgriff auf die konstitutiven Ordnungen sehe ich daher auch einen der wesentlichsten Fortschritte gegenüber dem RF; dennoch blieb bei ihm auch die Verbindung beider Ästhetiken eine "synthetische", kompromisshaft..

Daß die Formalisten - vor allem Tynjanov (aber auch die Vertreter der *formal'no-filosofskaja škola*) - der Gestaltpsychologie näher standen als der Ganzheitstheorie, liegt auf der Hand: Wichtig ist hier die Argumentation des RF (v.a. Tynjanovs) gegen den Teleologismus etwa in der hermeneutischen Stilistik und Kompositionstheorie, die freilich eine Nebenlinie des RF bilden.

6. Nun zum Problem der "distinktiven Qualität des Ästhetischen Inhalts", wo ich uneingeschränkt beipflichten möchte. Nur das sei erwähnt: Wie schon häufig behauptet, tendieren theoretische Modelle zu einer gewissen "Visualisierung", d.h. zu einer Darstellungsweise, die sukzessiv-akkumulative Prozesse zu einem simultan-überschaubaren Bild schrumpfen läßt. Dies ist so lange legitim, als man bereit ist, das theoretische Modell nicht mit dem Konstrukt und dieses nicht mit dem Artefakt und Ästhetischen Objekt gleichzusetzen. Im Bereich des Poetischen im engeren Sinn (Lyrik, Kurzprosa etc.) ist tatsächlich das Prinzip der Simultaneität dominant - n i c h t aber in den Formen der narrativen Prosa! Die linguistische Poetik hat sich bisher (ausgehend von Jakobson) ausschließlich mit den Wortkunstwerken im oben genannten engen Sinn beschäftigt (was zunächst viele neue Erkenntnisse brachte), ist dann aber dazu übergegangen, auch die narrativ-sukzessiven Strukturen aus dieser Sicht darzustellen. Bei den Formalisten führte das anfangs zu einer fruchtbaren Neuerung der Prosa (vgl. die frühe *skas*-Theorie); das Wesen des Erzählerischen (nämlich das Imaginative) wurde dagegen völlig vernachlässigt! Ansätze dazu finden sich am ehesten noch in den Konzeptionen der Erzählperspektivik.

Prinzipiell könnte man sagen: der "innere Kreis", der genetisch gesehen "archaische Kern" der Literatur - die Wortkunst (dominant im Lyrischen) - ist zweifellos das adäquate Objekt einer "linguistischen Poetik" (im Sinne Jakobsons oder Lotmans). Die Projektion der Grundgesetze und Wesenszüge dieses Kerns auf die Gesamtheit der Dichtung und Literatur wurzelt zweifellos in der Prosauffassung des Symbolismus oder Futurismus, totalisiert aber damit nur eine spezifische, periodengebundene Situation zu einer universellen Gegebenheit. Verdrängt, tabuisiert, ja "verteufelt" blieben alle Aspekte der F i k t i v i t ä t, des I m a g i n a t i v e n, die mit einer verdächtigen Aggressivität nur unter dem Blickwinkel der lügnerischen, manipulativen Illusionierung gesehen wurden. Damit bedrückt bis heute ein verderblicher Reduktionismus die Erzähltheorie (und auch Erzählperspektivik) - was in der deutschen Prosa z.B. verheerende Folgen hatte.. Die Analyse der Erzählperspektivik, der Raum- und Zeitemiotik - all das ist ungeheuer wichtig und zählt zu den Hoffungsgebieten der neuen Literaturwissenschaft - und dennoch machen diese Analysen alle Halt vor dem Eigentlichen des Erzählens, das nicht selten in die Trivial- und Unterhaltungsliteratur abgeschoben wird. Die psychischen Folgen einer solchen permanenten Berührungs-

angst auch für den Literaturwissenschaftler wären einer eigenen Untersuchung wert. Sicherlich hat diese Verweigerung etwas zu tun mit der Angst, sich überhaupt mit etwas zu identifizieren, sich selbst aus dem kontrollierenden Blick der Reflexion zu verlieren..

Ich möchte nun unterscheiden zwischen dem F i k t i v e n und dem I m a g i n ä t i v e n (bzw. Imaginären bei Sartre): das eine basiert sicherlich - und dies war ja die große kritische Leistung der Moderne samt ihrer Theorie - weitgehend auf schablonisierten Identifikationsmechanismen (mit "falschem ästhetischen Bewußtsein"). Hierher gehört die bedeutsame formalistische Kritik am Widerspielgelenkungskonzept des Realismus. Im Gegensatz zum Fiktiven ist das Imaginative nicht psychologisch, nicht konventionell, nicht mimetisch - sondern existentiell, personal(istisch), unmittelbar..Es ist der Ort einer adäquaten, wesensverwandten Konkretisierung (bei Ihnen S.68ff.), wo wir - wie Sie schreiben - "mit den Denotaten wie mit anschauungshaft gegebenen realen Gegenständen umgehen"(Ibid.). Wenn man diesen Gedanken mutig weiterdenkt, muß man doch dazu kommen, für diese "Anschaulichkeit" (damit umschreiben Sie wohl das, was ich mit dem Imaginativen meine) eine Interpretationsweise zu akzeptieren, die auf dem Boden (irgendeiner wie auch immer gearteten) Hermeneutik steht - ohne freilich auf dem Wege vager Intuitivismen die konstruktiven Erkenntnisse der linguistischen Poetik, der Raum-und Zeitsemiotik und der Perspektivik über Bord zu werfen. Hier frage ich nun, warum Sie den Begriff des Imaginativen durch den nur im Rahmen der Phänomenologie starken (außerhalb dieser aber sehr blassen) Begriff der "Ansichten" (S.69) ersetzen?

Das, was Sie nun - ausgehend von Husserl - über die "Bedeutungsakkumulation" schreiben (S.70f.), wäre meiner Meinung nach zu ergänzen um eine ausgearbeitete "Perspektivologie", in der die transformierende Instanz des Trägers der Perspektive(n) und ihre Hierarchie eine Entsprechung in den unterschiedlichen Rezeptionshaltungen des Lesers findet, die ihrerseits den Status der ein-und ausschließenden Imaginationshaltungen festlegen. Ansatzweise beschäftigt haben sich damit die RF, als sie die Problematik des (Handlungs-) Wissens der Helden und der Leser untersuchten. Die Metamorphosen einer Erzähl-und Handlungsperspektive sind aber nicht nur eine Frage des "Wissens" (Sujet-Wissen), nicht nur eine der progressiven und regressiven Bedeutungsakkumulation: Diese Akkumulation narrativer Informationen und ihre perspektivische Filterung (sowie das wesentliche Phänomen des selektiven "Vergessens" von Elementen!) resultiert in einer "Erlebniskurve", deren kathartische Struktur vorbildlich in Vygotskijs Kunstpsychologie analysiert worden ist. Hier wäre fortzufahren.."

An dieser kritischen Stelle möchte ich mein Briefzitat beschließen. Es ist mir bewußt, daß ich eine ganze Reihe von Fragen gestellt habe, die ich beileibe selbst nicht beantworten kann..Einige von ihnen sind "ewige" Fragen - sie gehören somit in den Bereich der "positiven Ästhetik",- einige von ihnen sind "zeitliche", ihre Beantwortung erfolgt "periodisch", d.h. gleichfalls vorläufig..

A n m e r k u n g e n

* Wolf SCHMID, Der ästhetische Inhalt. Lisse 1977.

1. A. H.-L., Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien 1978, 398.
2. Ibid., 399.

TEXTE / BILDENDE KUNST

ИЗ "КНИГИ СИНЕГО"

МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

"Книга Синего" - Книга Детства. Книга воспоминаний о детстве, о детстве у моря. Но Синее - это не только море; Синее - это солнце; Синее - это день; Синее - это свет; Синее - это цвет: цвет сияющего дня. А море - это свобода Синего; это свободная надежда на беспредельное будущее; на будущее, равно поделенное между всеми морями мира, всеми странами света, всеми портами, беспредельная свобода будущего. Синее - блеск и сияние Будущего. Синее - круги за волной, незамкнутый круг горизонта за волнами. Корабль уходит за круг. "На синих волнах океана" - корабль уходит за круг. "Меж базальтовых скал и жемчужных" - корабль уходит за круг. Кто родился у моря, знает цвет свободы, цвет всех морей мира.

Ночью Синее уходит из жизни людей. Синее - цвет Солнца - стирается ночью. Цвет свободы, свет, исчезает из жизни людей. Но тогда является звук. Ночь поет для того, кто слышит, кто хочет слышать. Поет голосом маленького Божества: Моцарт - маленький Бог звуков. Его звуки поют маленькими серебряными голосами снеговой ночью в далеких Альпах. Колыбельные песни Моцарту и о Моцарте. Они звучат голосами маленьких серебряных рогов. Они тоже поют о Будущем: когда-то Альпы, серебряный свет или снег, заменит краски моря, цвет Синего. Когда? Об этом не говорится. "Колыбельные Моцарту" - далекое пророчество Матери. Прежде чем оно сбудется, нужно пережить царство Серого, царство Трупов. "Колыбельные Сморщенным" - близкое пророчество Матери.

Ночью Синее, цвет, исчезает из жизни людей. В жизнь вползает Серое. Жизнь мертвеет под властью Серого, властью Трупов. Будущий человек сморщен. Детство под властью Серого. Страшное Детство под властью Серых Трупов поет свои Колыбельные, "Колыбельные Сморщенным".

"КНИГА СИНЕГО". ПРОЛОГ (в двух частях). "ПЕСНИ МЕРТВЫХ МОРЕЙ"

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

моряна помнит у моей могилы
морями полдни у морей помилуй!
у моей
помни
полдень
могила полднем у моей моряны полднем
помнит
полдни
светлы
моряна светит у моей могилы
(помилуй!)
светит
светлым
- - - - -
- - - - -
- - - - - !

2

СВЕТЛАЯ МОРЯНА
СВЯТАЯ
светло помилуй нам!
светло помоги нас!
просветлая!
пресвятая
могила,
помилуй!
СВЕТЛАЯ МОРЯНА
ПОМИЛУЙ
НАМ!
помилуй
помилуй
помини
помолчи
молчи
моли
НАС!
- - - - -
- - - - - !

3

моряна морями молчи нас
молчи!
моли!
пресвятая! молчи, молчи
светлую девочку
в синей шапочке
в синем капоре
в синем тротуаре
МОЛЧИ!
тротуарами
бульварами
МОЛЧИ!
большими морскими
морскими
МОЛЧИ!
СВЯТАЯ МОРЯНА СОХРАНИ НАМ!

---'---'---'!
-'-'-'-!
-'-'-'-!

4

моряна помолчи нас и помилуй!
помилуй
нам
могилой
там
нам
светло
помилуй
могилой!
моряна помни над моей могилой!
-'-'-'-'-'-'-'
светлая моряна, помолчи нас!
святая моряна, помилуй нам!
моряна
морена
могилой
плачь, плачь, моряна, плачь,
светленькую девочку в святом платье, плачь!
светленькую девочку в святом платье:
ведь ей не встанется!
ведь ей не станется!
ведь ей не встретится!
ведь ей не светится!
светлая моряна,
молчи, молчи
синюю девочку
в рваном платье
в разном платье
тротуарами
бульварами
морскими
большими
молчи, молчи

светлую девочку

в святом
платъице
в смятом
капоре
синем

МОЛЧИ!

морями полдни у моей могилы

МОЛЧИ!

5

морями светлыми

моряна светлая:

ей не встанется!
не воротится!
ей не верится!
ей не видится!

моряна, моряна,

молчи девочку, молчи, плачь, моряна!

моряна, моряна,

молчи девочку в ярком утрице

на

большой невинной улице

в синем утрице

плачь

молчи

девочку

плачь

моли

девочку в синем платъице

девочку

в синем плаче

в синем солнце

плачь, плачь,

моряна морями морена

морскими солнцами

морскими соснами

морскими синими солеными

плачьте

синенькую девочку

мертвых морей

плачьте

плачьте, о,

плачьте

оплачьте!

18-23.07.72

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

моряна знает над моей могилой
знает
НА СИНИХ МОРЯХ ОКЕАНА
ЛИШЬ ЗВЕЗДЫ ЛИШЬ ЛИШЬ
ЛИШЬ ЗВЕЗДЫ ЛИШЬ
НА СИНИХ ЗВЕЗДАХ от моряны лишь звезды лишь мерзнут лишь
меркнут лишь смолкнут лишь лишь лишь
волны лишь молви смолкни -
МОЛЧИ! ПЛАЧЬ!
лишь волны солоно лишь солнце лишь лишь
на синих синих на синих
морях океана
морях морях моряна звезды на моей могиле
НА СИНИХ ВОЛНАХ ОКЕАНА
на на на синих песках аравийской земли земли звезды
звезды воды воды волны
на синих водах воды воды земли
на синих скалах океана
океана на на а на лишь лишь лишь
на синих звездах на полярных
морях и на южных на на на
южных
- жемчужных -
шелестят шелестят кораблей
меж базальтовых скал и жемчужных меж меж меж
морями
моряна
морями
гибнет
на
моей
унылой
меж базальтовых скал и жемчужных чужных чуждых южных
на южных волнах океана волнах волнах ах ах ах
плачьте! ах волнах ах ах
гибни!
морскую девочку
в мертвом
платьице:
не оплатится!
ей не плачется!
не встанется!
не вскрикнется!
не откликнется!
гибни мертвую девочку в сером платьице:
ей не всплачется!
на синих песках океана
на синих звездах
на синих синих сиянии
в морском платьице:
ей не встанется!
не оплатится!
не ответится!

на синих звездах на синих на синих я с ними
моряна

гибнет

мою

могилу

моряна

гибни

мою

на синих морях на с ними морях на волнах на водах
моряна

помнит

у

моей

могилы

о моей о, моя

моей к моей на моей на на на

на синих гребнях океана на на на о, к моей, о моей о о о
кеана а на на на

твердых волнах океана на темных на на на

на синих водах волнах ветрах на на на синих гребнях на

синих гробах океана лишь океана ли

океана лишь океана ли

на синих гребнях

на синих гробах

на синих горах

океана плачьте плачьте на синих гробах

на синих горах

- плачьте! -

океана о - на на на на

на синих горах

на синих лесах

на синих садах садах

океана лишь звезды лишь гроздьи лишь розы лишь лозы лишь
лишь ли

на синих звездах океана на на на синих глазах на синих

синих

синих

лишь звезды лишь слезы лишь лишь грозы грозы на синих
грозах

океана лишь звезды

на синих слезах

парусах

одинокий корабль

на синих слезах

океана

плачьте мертвую девочку в мертвом

плачьте

плачьте

плачьте

2

МЕЖ БАЗАЛЬТОВЫХ СКАЛ И ЖЕМЧУЖНЫХ

лишь лишь лишь звезды лишь звезды

взойдут в небесах

взойдут в парусах

взойдут в полосах

взойдут в полясах

НА ПОЛЯРНЫХ МОРЯХ И НА ЮЖНЫХ на на на ОКЕАНА южных
шеlestят паруса кораблей
шеlestят шelestят кораблей лей лей
на полярных морях на на на
синих морях океана
на синих волнах на на на на
синих вратах океана ПРОВАРИЕТСЯ ГРУЗ КОРАБЛЕЙ
морьяна помолись над синим над полярным на полярных
морьяна помолись пробирается грусть кораблей
морьяна помолчи над моей могилой морьяна молись помолись
морьяна
помилуй помолись помани нас!
морьяна!

3

светлая морьяна! святая морьяна!
помолись
помолчи
помилуй
морьяна морьяна морена молись
нам
морена молчи
нам
морена
помилуй
нам
морьяна морьяна светлая морьяна
помолись
нас
помилуй
нас
помолчи
нас
плачь нас, морьяна, плачь!
морьяна плачь над полярным на полярных на южных
паруса паруса кораблей
морьяна, плачь!
морьяна, пой!
меж базальтовых скал и жемчужных пой морьяна пой
пробирается лес кораблей
кораблес кораблей лей пой пой моя морьяна
пробирается лес лес пробирается лес лей пой моя морьяна
плачь моя морьяна:
плачь мертвую девочку моря,
моя морьяна, плачь!
пробирается лес кораблей
пробирается груз кораблей
пробирается грусть кораблей

14 августа 1972

"КНИГА СИНЕГО"

Первая часть: КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МОЦАРТУ

Примечание к этой части: "продольные флейты" (Blockflöte, Flauto, Längsflöte) - старинные натуральные флейты (в Европе примерно с XIV в., наиболее употребит. в Barockmusik), по форме напоминают пастушью дудочку.

Под "параллельными флейтами" в этой части подразумеваются, во-первых "поперечные флейты" (Querflöte, Flauto traverso), современный тип инструмента. Этот тип флейты при игре придерживается в горизонтальном положении, параллельно губам музыканта. Оба вида флейты употреблялись Моцартом. Дуэт 2-х флейт см. во 2-ой части A-dur'ного фортепианного концерта (KV 488). Колыбельные Моцарту - как бы воспоминание или попытка описания этой музыки.

"КНИГА СИНЕГО"

Первая часть: КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МОЦАРТУ

Две продольные флейты
параллельно смерти:

- Продолжайте длиной до ближайшего гроба!
- Провожайте волной до ближайшего неба!

Две продольные смерти
параллельно флейте:

- Провожайте луной до ближайшего света!
- Провожайте лучом до нижайшего свода!

Две продольные флейты
параллельно светят
параллельно вертят
параллельно ветру

продольно
вольно

дольного света
волны

вольно:

- Протекайте лучи до ближайшего свода!
- Свободно

Параллельно флейты
продольному ветру
параллельно ветры
умирают ветры
вертят

Над Моцартом смерти
Погребальные флейты

ПЕРВАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Процессия в горах, ночью. Маленький гроб, узкая дорога. Дорога вверх. Дорога вьется и блещит под луной как свет или смерть или снег. Маленькие люди несут маленький гроб. Маленький гроб в маленьком гробу. Его серебряная шага блещит как маленькое серебро. Ночь. Процессия в горах. Все это поют флейты.

Дорога вверх

Долго дрогам дороги
Погребальные долго
светят флейты дороги:

- Осталось не больно!
- Осталось не больно!
- Осталось недолго!
- Дорогу!

- Дорогу!

- До

Дорога всех

гроба дальней дороги
дольней дальней
долго
 продрогли
 дроги
дрогами гроба
 долго долго:
 - Устилайте пути до ближайшего неба!
 - Умирайте пути до дальнейшего свода!
 - Свободно! -

ВТОРАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Процессия маленьких людей в горах. Ночь. Снег блестит на
руках маленьких людей. Альпийский свет или снег. Все это
поют смерти

Дороги свет

Светят флейтам дороги
погребальные дроги
 долго:
 - Уложите до гроба до ближайшего свода!
 - Свободно! -

светят флейты
светят смерти
светят
 вольно
 невольно:
 - Уложите до гроба дорогу до Бога!
 - Свободно!

Погребальные флейты
вест смерти
светят смерти моцарту
 смертят:
 - Мне осталось недолго!
 - Мне осталось небыло!
 - Уложите продольно! продольно!
 продрогли

ТРЕТЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ночь. Альпийский снег или свет. Снег блестит и маленькая дорога.
Все это поют флейты.

Дольняя дорога

долго долго дороги
 до гроба
долго дольней дорогой до гроба
 - продольно -
 - прощально -
продольные дроги
 - вьюгой
прощальные дроги

- вьются -
долго

Вьига дороги

беспредельные флейты
- продольно -
беспросветные ленты
- дороги -
беспечальные флейты
- надолго -
надолго
надолго
в дорогу

Дороги вьиги вьются

Долго
две продольные смерти
Долго
моцарту флейты
Долго Долго Долго:

- Продолжайте Дороги Бога!
- Продольно!
дольно!
- Волнами света
вольно!
- Вольно Дольно Долго -
- Продольно!
- Предельно!
- Пребольно!

Беспредельные флейты смерти
Моцарту смерти
Моцарту света
Моцарту века
Две безмолвные смерти
Две безмолвные флейты
Светят века моцарту:
- Волнами света!
- Гулко!
- Волнами света
Долго!

Безмолвно Гулко Вольно Больно

ветрами дольно
волнами долго

ветрами светят
вольно
дольно
- продольно -

ветрами небольно
ветрами недолго

-- осталось недолго!
- долго! -
- осталось небольно!
- больно! -
- уложите продольно
вольно больно вечно
- мне осталось недолго
- до Бога

- мне осталось немного
- дорогу! дорогу дорогу до
гроба до неба до бога до свода

Долго моцарту века
Беспредельные флейты
Светят волнами света
Столетия

вольно долго довольно

ЧЕТВЕРТАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

ВОЛНАМИ ЛЕТЫ

На прогалинах Смерти
Беспредельные Флейты
Вспробудные Леты
Века моцарту светят

вольно
больно
звоном
белого
тона
долго:

- Беспредельна дорога гроба!
- Продолжайте нас долго долго долго долго
привольно!
- Провожайте нас смерти подобно!
- Погребение жизнью смертельно!
- Продолжайте моцарта смерти долго моцарта
смерти бога долго
- Провожайте нас долго волнами света водами Леты
летейской волною вольно
привольно!
- Продолжайте нас дол дол делайте долго нас долго
долго
- Продолжайте продолжно пропойте пойте долго плачьте
флейтами моцарта долго вольно до
гроба до бога до неба до века волнами века волнами света неба
неба неба неба
волною неба вольной
волнами лета лета леты волною
долго долго гулкой волною неба неба неба
неба
неба
волною гулко гулкой гулко грома грома громом
гулко
громом небесным
неба громом
гулко гулко долго
неба небесным громомгромом громом неба
неба
неба
громом небесным неба
неба
неба
долго
- Беспредельна дорога гроба!

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ СМОРЩЕННЫМ

МАТЬ поздним вечером баюкает ДОЧЬ. КОЛЫБЕЛЬЮ дочери служит старое кресло-качалка. ДОЧЬ не спит: жесткие подлокотники старого кресла больно бьют ее по ногам при каждом движении матери. Но МАТЬ не замечает этого, а ДОЧЬ не умеет сказать, она еще слишком мала. В комнате очень темно, большое окно раскрыто, на улице - летняя ночь.

КОЛЫБЕЛЬ У ОБОЧИНЫ

колыбель не наточена
колыбель не постелена
колыбельным не велено
колыбельная по ДОЧЕРИ

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ТОЧНЫЕ

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ВРЕМЕНИ

колыбельная по СМОРЩЕННЫМ
ДОЧЕРИ
МАТЕРИ

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЛАКАЛИ

у обочины
колыбельные по ДОЧЕРИ
колыбельные строчками

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ВРЕМЕНИ

темной ножкою
теменью

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ СМОРЩЕННЫМ МЕРТВЕНЬКИМ

МЕРТВОМУ
МЕРТВОЕ

ПЕНИЕ МАТЕРИ

Баю - бай - дочку мамину

Баю - бай - дочку намертво

Баю-бай

Баю - бай - дочку ножкою

Баю - бай - дочку ножкою

Баю-бай

Мертвой ножкою

Молча ножкою

Баю-бай

Темным временем

Немеряным

Баю-бай

Тяжким временем

Темным временем

Баю-бай

ПЕНИЕ ВРЕМЕНИ

колыбельная времени
колыбельным не велено
колыбель у обочины
колыбель не наточена
колыбелька тесовая
колыбельная новая
тесная
темная
ровная
долгая
тесная
темная
ровная
четвероугольная
черная
черная
черная

ПЕНИЕ МАТЕРИ

Баю - бай - ночеваньице
Баю бай - дочку намертво
Баю-бай
Колыбельки край
Неотмеренный
Непромеренный
Ненаточенный
тесно
срезанный
сточенный
отточенный
намертво
точно ножкою
ночеваньице
темное
намертво

ПЕНИЕ ВРЕМЕНИ

колыбельные темные
тесные
колыбельные
(баю-бай дочку намертво)
(баю-бай ножку на море)
теснота колыбельная
колыбельная времени
теснота непробудная
колыбельная трудная
блудная

ПЕНИЕ МАТЕРИ

Баю - бай - дочь сужденная
Баю - бай - дочь отижденная

- Умерщвленная - Баю - бай
ночкой мертвою
черной
смертною
- Ночь бессмертная
- Баю - бай
Дочь

ПЕНИЕ ВРЕМЕНИ

колыбель
у обочины
тесно сложена
сколочена
колыбельная времени
времени
больно
скрещена
неотмерена
непромерена
тесно сложена не по мерке
сколочена
точена
точная
колыбельная
бессрочная

ПЕНИЕ МАТЕРИ

Спи, дитя ненаглядное
колыбель неогладная
Спи, дитя неприкайное
колыбелька бескрайняя
Спи, дитя нераскайное
колыбель нескончаемая
Спи нескончаемо
вечно

ПЕНИЕ ВРЕМЕНИ

колыбель у обочины
ножки больно наточены
колыбельная ношеньки
по длине ножки точены
так - по мерке - сколочены
так - по ножке - отмерены
три шага - сажень темная
колыбельная ровная

Из книги:

BEIMTO DEZU GAST

усмер тив гостях

№ 33

ЛЮБОВНОЕ

а я думала
думала так
будет мы любовно
вдвоем вдвоемцу
маламы
ты вдвоем любовно
будет мы я ты думала
ах я так я так
думала
вдвоем вдвоем вдвоемдумала
вдвое
думададу
мала
мала
думалавд
водем
думалавдвоемвд
ооо о я так я так
думаламылюб
двоелюбволюб
новдвоелюб
овнодвоевд
волюб
oioioi

№ 34

ЛЮБОВНЫЙ РОМАНС

ах в ожидании худших бед стояла
смотрела сумерки да сумерки смотрела
водой текла водою
до станций "Метровбе"
текла водой текла до станций
"Ветровбе поле"
текла до станций диких во все
"Косит ветер"
текла водою
над станцией
"Ветровая вода"
текла рекой рекою текла
до станции

тихая вода дикая вода
ранняя вода раненая вода
смотрела мокрые потемки видела темно
темно
видела
мокрых потемок в окне полустранные тени ловила
лови
попробуй
качнулся бровями да и нету
мокрой жизни блестяли тени чужие окном разливались
темно
желтелось
река рекою звала качалась окном качала по краям качалась
желтела
мостами виделась
в ожидании много напастей мостами качалась
над
мостом
качаюсь

(20 июля 1971)

№ 35

СМИРЕННЫЙ РОМАНС

напев смиренной гостью
деревьями косит
деревьями вертит
мотив смиренный светит:
о продлите продлите меня
протяните
длиннее!
напев священной гостью
неузнанной с вами
неузнаваемой
гостью
вашей
мелодия тайная:
о продлите меня протяните по небу длиною луной!
нараспев
под мостами
качаюсьраспухшим
напевом
протяните продлите по небу полосой света!
я
встану
для
вас
послушной звездой
вашей
протянулась пальцами пальцами в млечный путь звезды упираюсь

о продлите продлите меня головою распухшей до неба!
я стану я
когда
высохну сморщусь
маленькой желтой
луною
поплушной
вашей

№ 36

такая-то была я
 грустная
в такой-то поледний
 свой день
своего
 последнего
 солнцестояния -
 такая-то
 грустная!
в последний свой
 срок
 денек
 своих сороковин
 своих именин
 такая
 грустная!
да еще
с каким-то
 из вас
 было
 выпало
мне тогда
 расстояние -
это в день-то посмертного
 именования!
и еще мне ли выпало тогда ли да ли
 ликование ли
 лик
 о
 ван
 и
ее да ли да ли
 ко
 ва
 ние да да
 возда
яние да
 яние да
даянида
 возда
яние да да да че
 резразраз
 раз
 через раз
 раз
 стре
 ля
 ние

Е. А. МНАЦАКАНОВА

CURRICULUM VITAE

- 1922 31 мая родилась в России
- 1945- училась на филологическом факультете Московского университета
1947
- 1945- училась в Московской консерватории по специальностям форте-
1949 пиано и теории музыки
- 1950 окончание Московской консерватории
- 1953 окончание аспирантуры при Московской консерватории
- 1946- первые "самодельные" (от руки написанные и иллюстрированные,
1948 в собственном графическом оформлении) книги стихов. Начиная с этого времени - постоянная систематическая творческая работа: стихи, проза, очерки о литературе. Все это - без намерения и желания опубликовать, напротив, при ясно осознанном желании скрыть и изолировать свое творчество. Заработки "на жизнь" при помощи педагогической и музыковедческой работы. Статьи и книги о русской музыке, о венском симфонизме, о Моцарте, Брамсе, Малере, Шостаковиче, Прокофьеве и т.д. в разное время публиковались в музык. издательствах Москвы. Что касается моих стихов и других литературных работ, то есть дела моей ж и з и и, то ни единая строка из этого на территории СССР - с 1945 года я жила постоянно в Москве - мною не публиковалась, ничего из моих литературных работ не было известно. Живя и работая в обстановке абсолютного вакуума, я и не рассчитывала на интерес к своему творчеству, и не желала его.
- 1965 Первые попытки соединить два текста: графический, шрифтовой и живописный. К сожалению, мне ничего не было тогда известно о подобных же опытах европейских поэтов. Лишь приехав в 1975 году в Европу, я получила возможность познакомиться с работами этого рода и завязать личные творческие связи с их авторами.
- 1966- Переводы из немецкой и австрийской поэзии: Трахль, Рильке,
1975 Голль, Целан, Вахманн, Артманн, Рюм, Бобровски, Новалис, Арп. Кое-что из этого - Вахманн, Бобровски - было напечатано в Москве и в Армении.
- 1968- Первые книги-альбомы: "a daydream's book", "книга моря",
1974 "ночь как море", "книга молчания", "антиграмматика", "бред или облако". Книги стихов (только тексты): "das buch Sabeth", "Книга Синего", "Русский реквием". "Beimto dezu gast".
- 1975 22 апреля эмиграция из России. Приезд в Вену. 10 мая начало службы в Вене в качестве школьной учительницы (русский язык, фортепиано).
- 1976 2-9 ноября: участие в художественной выставке "La peinture vivante contemporaine", Paris, Palais des Congrès.
- 1976- Сочинения: "Маленький реквием" на текст старинного русского
1977 погребального псалма "Аме не побояся зла"; цикл стихотворений "великое тихое море"; книга-альбом "ландшафты страны А."

- 1977 Участие в издании альманаха "Аполлон 77" (поэма "Осень в лазарете Невинных Сестер", маленький прозаический текст "Антон Чехов. Un essai." Поэма иллюстрирована художником Михаилом Шемякиным). Иллюстрации Михаила Шемякина к некоторым стихотворениям (одна из них - в книге: Mihail Chemiakin. St.Petersbourg).
- 1978 11 апреля - 20 мая участие в выставке "Nonkonformistische russische Kunst der Gegenwart", Galerie PRISMA, Wien.
- 1978 Апрель встреча и знакомство с поэтом Хансом К. Артманном. 18 апреля в галерее "PRISMA" вечер совместного с ним чтения его стихов: немецкий оригинал (в чтении Артманна), русский перевод (в моем чтении).
- 1978 Публикация переводов стихотворений Артманна и Целана в издающемся в Париже русском журнале "Эко"; публикация цикла "великое тихое море" в издающемся в Париже русском журнале "Ковчег"; публикация статьи "Искусство и предрассудки" по поводу критики на альманах "Аполлон" в русском журнале "Время и мы". Публикации в двуязычном альманахе "NRL" (Новая русская литература).
- Первые книги на немецком языке: "Anja Karenina, a fesches Mädl aus Wien - Nietzsche", "das buch des blauen", книга-альбом, выставленная в галерее "PRISMA"
- Август: работа над переводом стихотворений поэта Александера (Эрнст Гербек). Работа над книгой стихотворений по текстам старинных русских псалмов. Книга-альбом "нынче летом в Бургенланде...". Книга-альбом "моя прекрасная Австрия".

СПИСОК МУЗЫКОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ

- Сергей Прокофьев. Опера "Война и мир". Брошюра. М. 1959
- Сергей Прокофьев. Опера "Обручение в монастыре". М. 1962
- Прокофьев и Толстой: опера "Война и мир". Эссе. М. 1966
- Достоевский и Прокофьев: "Игрок" - роман и опера. Эссе. М. 1965
- Дмитрий Шостакович, 24 прелюдии и фуги. Эссе. М. 1966
- Густав Малер. Жизнь и творчество. М. 1967
- Девятая симфония Густава Малера. Маленький очерк. М. 1967
- "Сон в летнюю ночь." Статья к 400 юбилею Шекспира. М. 1965
- О драматургии оперы П.И.Чайковского "Пиковая дама". Исследование. Не опубликовано.
- Маленькая энциклопедия музыки. Не опубликовано.
- Многочисленные статьи, очерки и рецензии в музыкальной периодике Москвы. Очерки о И.С.Бахе, Р.Шумане, Малере, Брукнере и Шостаковиче. Публиковались в течение 1955-1975 гг.

1861
MAY 10
MAY 10
MAY 10
MAY 10
MAY 10

Handwritten scribbles at the top of the page.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.

Handwritten text, possibly a list or series of entries, appearing as dark, overlapping strokes.



Karl EIMERMACHER

ZWEI INTERVIEWS MIT VADIM SIDUR

Vorbemerkung zu Vadim Sidur: Selbstanzeige

Die Exklusivität des Sidurschen Werks habe ich auf dem Hintergrund der zeitgenössischen bildenden Kunst in der Sowjetunion vor kurzem in einer Monographie versucht darzustellen (K.E., VADIM SIDUR. Skulpturen, Graphik. Konstanz, "Universitätsverlag" 1978). Dabei stand insbesondere der funktionale Aspekt im Vordergrund, den die Arbeiten für die Herausbildung des spezifisch Sidurschen Weltbildes haben. Die Wahl gerade dieses Gesichtspunktes lag nahe, da es zunächst nicht nur darum ging, den biographischen und zeitgeschichtlichen Kontext aufzuzeigen, in dem Sidurs Kunst steht, sondern weil Sidur selbst immer wieder betont, daß es ihm nicht in erster Linie darum gehe, einen besonders markanten eigenen Stil zu entwickeln, sondern daß ein Betrachter seiner Werke ihn an der Art seiner Welt erkenne. Wenn diese Bemerkung auch zutrifft, so scheint es trotzdem in gleicher Weise vordringlich zu sein, das große Spektrum an formalen Gestaltungsprinzipien der Sidurschen Werke systematisch auf ihre innere Poetik hin zu untersuchen, - ein Gesichtspunkt, zu dem ich in Kürze eine Studie vorlegen werde.

Bis zum Erscheinen dieser weiteren "Interpretation von außen" soll Sidur nun Gelegenheit gegeben werden, sich selbst darzustellen. Die beiden abgedruckten Interviews ergänzen - von geringfügigen Überschneidungen abgesehen - einander. Sie erfolgten beide russisch. Im Unterschied zum Interview vom Frühjahr 1977 hat Sidur im Herbst 1977 auf alle ihm gestellten Fragen "in einem Zuge" geantwortet - und zwar so, daß auf den Abdruck der Fragen im nachhinein verzichtet werden konnte; das Herbst-Interview wurde schließlich im Januar 1979 von ihm geringfügig überarbeitet.

Konstanz, im Februar 1979

Karl Eimermacher

INTERVIEW MIT VADIM SIDUR - FRÜHJAHR 1977

Vadim Sidur, welche Ereignisse Ihres Lebens hatten für Sie die größte Bedeutung und welche Probleme halten Sie für die wesentlichsten in Ihrer oder besser in unserer Gesellschaft?

Es besteht kein Zweifel, die schwerste Erschütterung in meinem Leben stellt der Krieg dar. Als weiteres sehr tragisches Ereignis sehe ich den Tod meiner Eltern an. In der heutigen Gesellschaft beunruhigt mich - ich würde sogar sagen, bedrückt mich - am meisten die nicht enden wollende Anwendung von Gewalt, und zwar in ihren verschiedensten Erscheinungsformen: Gefängnisse, Konzentrationslager, Folterungen und Todesstrafe. Für überaus gefährlich halte ich auch die vielen sozialen und wissenschaftlichen Experimente, deren Folgen man nicht voraussehen kann, die nicht voraussagbar sind.

Daher betrachte ich als wichtigstes Prinzip meines Schaffens, in meinen Werken die Wahrheit zu sagen und hierfür die jeweils ausdrucksstärkste Form in einer der Zeit angemessenen Sprache zu finden.

In welche Phasen und nach welchen Kriterien würden Sie Ihren Lebens- und Schaffensweg seit Beginn der 50er Jahre gliedern?

Ich würde nicht mit den 50er Jahren, sondern mit der Kindheit beginnen. Die erste Phase wäre geprägt durch umfassende Freiheit kindlichen Schaffens; daß die Kunst mein späterer Beruf sein könnte, kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Die zweite Phase könnte bereits mit meiner Verwundung im Krieg angesetzt werden. Der Wunsch, einmal Bildhauer zu werden, führt zu Versuchen, wie ein professioneller Künstler zu arbeiten. Die dritte Phase wäre meine Lehrzeit im Institut für Monumental-Künstler im Bereich der Architektur. In dieser Zeit begeisterte ich mich für das Leningrader Empire mit seinen Fanfaren, Eichenlaubkränzen und Sieges-Quadrigen. Die vierte Phase entwickelte sich dann innerhalb und noch vor Abschluß der dritten. Charakteristisch ist jetzt der Wunsch, meine unmittelbare Umgebung festzuhalten: Mädchen am Strand, Liebespaare, die Familie. Gegen Ende dieser Phase, etwa im Jahre 1957, entwickelt sich meine mir damals noch nicht bis ins Letzte bewußte, heutige plastische Sprache als Ausdrucksmittel; im Laufe der Zeit unterlag sie freilich gewissen Modifikationen. Sie beginnt, als mir immer klarer wurde, daß ein Stein mit einem kleinen Loch bereits eine Skulptur darstellt. Man könnte sagen, daß der Zyklus "Köpfe aus Stein" und etwa die Skulpturen "Die sich selbst erzeugende Maschine", "Die Familie Gorškov", "Die fliegenden Untertassen" die vierte Phase abschließen, während gleichzeitig die fünfte Phase einsetzt. Sie folgt einer schweren Herzattacke, einem Infarkt, den ich im Jahre 1961 erlitt. Damals wurde mir bewußt, daß ich vielleicht nicht mehr genug Zeit haben könnte, nachdem ich zweimal dem Tode sehr nahe war (das erste Mal wurde ich an der Front schwer verletzt) - und daß ich ein drittes Mal möglicherweise nicht mehr ins Leben zurückkehren würde. Seit dieser Zeit beschäftige ich mich ernsthaft (auch) mit Graphik und Malerei. In meinem plastischen Schaffen entstanden die Zyklen "Nach dem Kriege", "Invaliden", "Köpfe von Zeitgenossen" usw., d.h. fast all das, was meines Erachtens wert wäre, ausgestellt zu werden. Die fünfte Phase geht bis heute und wird vorerst durch die Gruppe "Propheten aus Eisen", Basreliefs zu "Themen aus der Bibel" und durch eine Richtung beendet, die ich als "SARG-ART" (russ.: *Grob-Art*) bezeichne.

Welche der Phasen halten Sie für die wichtigste?

Die fünfte Phase. Allerdings darf man nicht vergessen, daß sie die vier anderen Phasen voraussetzt.

Die thematische Einheitlichkeit bei gleichzeitiger Verschiedenheit im Formalen sowie die Zyklusbildung innerhalb Ihres Schaffens verweisen nun aber trotz der Phasenhaftigkeit Ihrer Entwicklung auch auf ein anderes, zusätzliches und vielleicht charakteristischeres Gliederungsprinzip.

Ich halte die Einteilung in zeitliche Phasen nur unter bestimmten Voraussetzungen für angemessen. Alles, was ich geschaffen habe, empfinde ich selbst als ein einheitliches Ganzes, das in sich nahezu nahtlos verflochten ist. Würde ich nämlich mein Schaffen nach problemorientierten Kriterien gliedern, so würden sich nur zwei Phasen ergeben: Die erste Phase bis 1961, d.h. bis zum Herzinfarkt, und die zweite danach, nämlich als für mich das Problem von Leben und Tod Bedeutung gewinnt und in aller Klarheit zum Durchbruch kommt, als also die Themen des menschlichen Leidens und der Qual vor dem Tode in den Vordergrund treten. Gerade damals entstehen die Denkmäler "Den Opfern der Gewalt", "Den Opfern der Bomben", "Den Opfern der Liebe", "Den toten Kindern", die Zyklen "Präparate", "Nach Experimenten", "Leidensweg Christi". Ich selbst würde es jedenfalls vorziehen, meine Arbeit nach problemorientierten Kriterien zu betrachten.

Vadim Sidur, wie würden Sie ihre eigenen Ansichten der 50er und 60er Jahre sowie deren Entwicklungstendenz im nachhinein, also aus Ihrer heutigen Situation heraus, bewerten?

Die allgemeinen Themen und Ziele meiner Arbeit stellen für mich einen Reflex des Lebens in allen seinen Erscheinungsformen dar; in diesem Sinne ist auch der Tod, organisch gesehen, eine Erscheinungsform des Lebens. Re-interpretiere ich einmal meine früheren Ansichten und gehe ich von der allgemeinen Unzulänglichkeit des menschlichen Seins aus, so kann ich nur sagen, daß sie in vielem wesentlich pessimistischer geworden sind, gleichzeitig aber auch irgendwo optimistischere Züge als damals aufweisen. Obwohl ich die Fünfzig bereits überschritten habe und obwohl ich viel Leid und Unglück erleben mußte, fühle ich mich trotz allem auch glücklich.

Kommen wir zur Frage nach den Einflüssen, und zwar nicht den Einflüssen des Lebens oder der Gesellschaft auf die Kunst, sondern den Einflüssen im künstlerischen Sinne. Bekanntlich handelt es sich dabei um eine sehr äusserliche und daher auch sehr oberflächliche

Frage. Denn jeder weisse, daes man beim Schaffensprozesse nur schwer eigene Ideen von denen anderer unterscheiden kann, dass keine volle Klarheit darüber besteht, was originell ist, was bewusst oder unbewusst von irgendwoher übernommen wird, was fragmentarisch, modifiziert oder aufgrund einer schöpferischen Auseinandersetzung in das Schaffen eingeht. Aber trotz der hier bestehenden Problematik lassen sich gewöhnlich doch irgendwelche Dominanten ausmachen. Wie beurteilen Sie diese Frage in bezug auf Ihr Schaffen?

Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich betonen, daß für mich ein echter Künstler, Schriftsteller oder Komponist nur der genannt werden kann, der in der Lage ist, mit ausschließlich künstlerischen Verfahren anderen Menschen Grundprobleme des Seins bzw. des Lebens zu vermitteln, und der dabei von seinen eigenen tiefen Lebenserfahrungen ausgeht bzw. seine Erfahrungen in einer Weise weitergibt, daß sie insbesondere auf die Gefühle anderer Menschen einwirken. Sofern dies nicht der Fall ist, sondern ein Künstler nichts hat, was er anderen mitteilen kann, bedeutet dies, daß er sich als Künstler noch nicht gefunden hat bzw. daß er sich im Stadium eines Schülers befindet. Ich glaube, daß ich im Sinne des eben Gesagten erst nach dem erlittenen Herzinfarkt ein Künstler geworden bin, obwohl natürlich auch diese Feststellung nur mit gewissen Einschränkungen zutrifft. Zur Phase, in der ich selbst Einflüssen unterlag, würde ich die Zeit meiner eigentlichen Lehre, also die Zeit zählen, in der ich das Institut für Kunst besuchte. Eine solche Lehre halte ich auf jeden Fall für unerlässlich. Ein Künstler muß professionell richtig ausgebildet sein, um seine Mission in der Welt erfüllen zu können. Das Amateurkünstlertum, das sich in letzter Zeit geradezu epidemieartig ausbreitet, das Fehlen einer professionellen Ausbildung, schadet - so scheint mir - der Kunst. Ich glaube, daß der Einfluß anderer in dem Moment aufhört, wo ein Künstler eine gewisse Reife erreicht, sich voll entfaltet und gefunden hat, d.h. die Wirksamkeit von Einflüssen hat etwa mit der Lehrphase ein Ende.

Vadim Sidur, es ist bekannt, dass Sie in der Mehrzahl der Fälle immer allein ausgestellt waren und dass Sie keiner irgendwie begrenzten Gruppe von Künstlern angehören. Worauf ist dies zurückzuführen?

Ihnen ist sicher aufgefallen, daß ich den Begriff "Schaffensprozeß" beständig vermeide und durch die Ausdrücke "Arbeit", "das, was ich geschaffen habe" u.ä. ersetze. Für mich ist dieser Prozeß mehr als

intim. Will man die Wahrheit zum Ausdruck bringen, und nichts als die Wahrheit, so kann man nicht anders als seine Seele entblößen, sie gleichsam nach außen kehren. Ich bin davon überzeugt, daß man das nur als Einzelner kann. Dies habe ich erst begriffen, als ich merkte, daß Kunst - so wie ich sie verstehe - nur immer ein Einzelner schaffen kann; hier handelt es sich nämlich gerade um jenen Bereich menschlicher Tätigkeit, wo kollektives Schaffen ausgeschlossen ist, weil es dem eigentlichen Wesen der Kunst widerspricht. Versteht man seine Werke als Teilchen, die sich von der Seele abgespalten haben, so muß man sie auch als Fragmente einer ganzheitlichen Weltanschauung betrachten, als einzelne Instrumente innerhalb eines Orchesters, das die Symphonie der eigenen Seele spielt. Ist es da vorstellbar, daß in ein und demselben Saal noch ein zweites Orchester oder sogar gleich mehrere Orchester untergebracht sind? Vielleicht ist diese Ansicht über das Schaffen und zur Frage einer Ausstellung auf meine Lebenserfahrungen zurückzuführen; vielleicht ist sie aber auch Ausdruck meines spezifischen Charakters, denn schon im Kindergarten mochte ich keine Kollektivspiele.

INTERVIEW MIT VADIM SIDUR - OKTOBER 1977

Двадцать один год назад я впервые спустился вниз по семнадцати ступенькам и очутился в своем Подвале. Если бы я не говорил эти слова, а писал, то обязательно написал бы Подвал с большой буквы, такое значение приобрело в моей жизни это Подземелье... Тогда, двадцать лет назад, большой серый жилой дом, расположившийся над моим Подвалом, выходил одним из своих фасадов на улицу, которая называлась Чудовка. На противоположной стороне этой старой узкой московской улицы стояли совсем древние двухэтажные дома, а на углу находилась церковь Николая в Хамовниках, ежегодно ремонтируемая, всегда свежeverкрашенная. Эта небольшая церковка семнадцатого века и сейчас стоит на своем месте, радуя глаз яркостью расцветки.

Когда ветхие деревянные дома на Чудовке снесли, получилась новая широкая улица, которая теперь называется Комсомольский проспект. При этом церковь на Чудовке немного потеснили, сократив площадь окружающего ее двора. Часть церковной ограды сделалась таким образом ненужной и некоторое количество известняковых блоков,

из которых она была сооружена, я перетащил к себе в Подвал...

И вот именно с этих камней, из которых я вырубил по какой-то степени неожиданно для самого себя несколько скульптур, совершенно отличающихся от того, что я делал перед этим, и можно вести отсчет, считая их НАЧАЛОМ...

В самой большой комнате моего Подвала, в самой большой комнате моей мастерской выставлены те скульптуры, старые и новые, которые я считаю ОСНОВНЫМИ в своей работе и от которых не отказываюсь, независимо от того, когда они сделаны...Головы и фигуры, высеченные мною из камней церковной ограды, находятся среди них...

1. Сначала мне хотелось рассказать об одном из более чем семи тысяч дней, проведенных мной в Подвале, но все дни сливаются в один огромный бесконечный день...Это даже не день в прямом смысле слова, так как в Подвале всегда горит электрический свет...Это само ВРЕМЯ, превратившееся в ПРОСТРАНСТВО, спрессовавшееся во множество скульптур, целиком заполнивших за эти годы мое Подземелье... Это мой мир, в котором я провожу большую часть моей жизни. Но иногда я чувствую себя непричастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам-с собой из НИЧЕГО и не имеющий ко мне почти никакого отношения...

2. Наверно именно поэтому мне всегда так трудно говорить о своей работе, а тем более толковать смысл отдельных произведений или циклов...До каменных скульптур, вырубленных из блоков церковной ограды, было множество керамических фигурок, являвшихся непосредственной реакцией на окружающую жизнь.

3. "Девушки на пляже", "Люди, отдыхающие на парковой скамейке", "Влюбленные", "Матери с детьми" и многое из того, что является открытием для человека, которого в институте учили монументальному искусству, понимая под монументальностью ленинградский ампи́р с его фанфарнопобедным звучанием...

4. Но уже в то время среди небольших терракотовых композиций появились "Слепые" - группа слепых музыкантов, увеличенные головы которых вскоре были вырублены из церковного камня, "Любовники" - безногий и безрукий инвалид, слившийся с женщиной в единое странное существо...

5. Их я считаю прологом того, чем я занимаюсь до настоящего времени. Отражение "сикминутных" жанровых сюжетов, трактованных большей частью весьма декоративно, сменяется постепенно темами, накопившимися за годы войны, которые можно назвать моим главным

жизненным опытом... "Страшной войны", говорили в те времена, когда хотели передать что-то невыразимо жуткое.

6. Категории временные стали перерастать во вневременные, сиюминутное превращается в вечное... ВРЕМЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВО.. Запечатлеть "вечную тему" НАВЕЧНО можно только, заключив ПРОСТРАНСТВО в неразрушимую оболочку, найдя для него ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНУЮ ФОРМУ, загадочную в своей простоте или сложности, но обязательно современную... Когда я говорю о поисках современного языка в искусстве, я имею в виду язык-форму, на котором я обращаюсь к человечеству как к таковому, независимо от расы, веры, страны проживания и, как это ни парадоксально, от времени...

Примерами такого современно-вневременного языка в своей работе можно считать, как мне кажется, скульптуру "Связи" ("Нежность"), цикл памятников, включающий: "Памятник современному состоянию", "Памятник погибшим от насилия", "Памятник погибшим от бомб", "Памятник погибшим от любви", "Треблинку" и многие другие произведения, такие как "Железные Пророки", "Барельефы на Библейские темы", графические циклы "Мутации", "Олимпийские игры"...

7. Уже двадцать лет назад появилось в моей работе несколько направлений, не исключających одно другое, а развивающихся параллельно и дополняющих друг друга. Почти одновременно с каменными головами и "Троллями" возникла "Самовоспроизводящаяся машина" и "Семья горшков". Серьезность их появления в моем "Подвале" я сам осознал не сразу, а только через некоторое время, когда они превратились в начало целого направления.

8. Я не случайно заговорил о нескольких направлениях, развивающихся параллельно и одновременно. Дело в том, что многие художники, найдя так называемую "собственную манеру", пользуются ею всю остальную жизнь... Такой подход к своей работе вполне законен, тем более, что зритель, оценивший "собственную манеру" художника, испытывает каждый раз, когда встречается с произведениями, выполненными в этой манере, радость узнавания, что, безусловно, нельзя недооценивать. Я же в своей работе к сожалению или к счастью следую совершенно другому принципу: МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ УЗНАВАЛ НЕ "МОЮ МАНЕРУ", А МОЙ МИР... и даже не этого мне хочется, потому что в момент созидания я меньше всего думаю о зрителе, а весь поглощен тем, чтобы как можно полнее и острее выразить себя... Это не означает пренебрежение к зрителю. Я даже уверен, что так для зрителя лучше... Лучше и для зрителя и для произведения. Ибо то, что сделано специ-

ально для зрителя, ВСЕГДА ХУЖЕ.

9. Конечно, нельзя объять необъятного, иногда одно развивается за счет другого. Не всегда можно определить, что в данный момент важнее. Тут приходится целиком доверять своему чувству... До сих пор я жалею, что не получил дальнейшего развития цикл "Торсы", олицетворяющий для меня ЧИСТУЮ СКУЛЬПТУРУ, совершенно лишенную литературности... Возможно, я еще вернусь к "Торсам". Может быть мне удастся когда-нибудь осуществить скульптуру, которую я про себя называю "главным торсом", считая ее лучшей в этом цикле... Я представляю ее огромной и не одну, а три... ТРИ ОГРОМНЫХ ОДИНАКОВЫХ ТОРСА, СТОЯЩИХ ОДИН ЗА ДРУГИМ...

10. Тут необходимо затронуть еще одну, чрезвычайно важную для меня проблему ц и к л и ч н о с т и. Почти все мои работы не одиночны, почти всегда они превращаются в большие или меньшие по объему циклы... Я не буду возвращаться к тем, о которых уже говорил, назову другие: "Головы современников", "Препараты", "Женское начало" и наконец "Гробы". Эти циклы насчитывают по пять-десять скульптур, а некоторые циклы, особенно графические, разрастаются до сотен листов. Такие, например, как "101", гравюра.

Как возникает цикл? Каковы его границы? Что можно считать циклом? Честно говоря, я как-то не задумывался над точными определениями, могущими служить ответом на эти вопросы. Я в своей работе почти всегда полагаюсь в этом отношении на чувство... Три скульптуры, рисунка, гравюры, объединенные единой концепцией (формальной, тематической), для меня уже является циклом, в то время как два произведения с теми же признаками это просто два сходных между собой рисунка или скульптуры... Возможно, цикличность является проявлением особенности моего мышления. Начиная размышлять над проблемой или над отдельным произведением, возникшим в моей мастерской, или только в моем сознании, я почти всегда прихожу к выводу, что отдельное произведение не исчерпывает всех возможностей, которые появились в результате формального открытия, и что отдельное произведение почти никогда не может полностью исчерпать тему или дать ответ на возникающую проблему. Еще раз хочу подчеркнуть, что все это весьма субъективно.

Границы цикла в большинстве случаев трудно определить с самого начала. Первоначально возникает то, что я бы назвал КОНЦЕПЦИЕЙ ЦИКЛА. В то же время, когда цикл завершен, то в некоторых случаях (например, цикл гравюр "101") я не могу не только продлить, но даже нарушить его, заменяя уже имеющиеся листы новыми, не могу изменить

расположение листов внутри цикла, НАСТОЛЬКО ЭТОТ ЦИКЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ МНЕ ЕДИНЫМ ОРГАНИЗМОМ. Опять же напоминаю, что я говорю о СВОЕМ чувстве... В таком большом произведении как цикл "101", безусловно, не все листы равноценны в смысле своей "весомости", но, возможно, именно это является причиной гармонии и "незаменяемости".

11. Другой, пока еще не заверченный цикл "ГРОБЫ" возник после "ЖЕЛЕЗНЫХ ПРОРОКОВ" и "БАРЕЛЬЕФОВ НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ". Этот цикл, состоящий из семи композиций, можно считать законченным и в то же время ОТКРЫТЫМ для продолжения. Чувствую, что "ГРОБЫ" могут превратиться и уже превращаются в нечто большее, чем цикл, и становятся для меня целым направлением, которое я называю "ГРОБ-АРТ".

12. Когда я замыслил цикл "ГРОБЫ", я представил фантастическую для себя картину большой выставки из горизонтально расположенных в огромном зале СКУЛЬПТУР-ГРОБОВ: "Гроб-мужчина", "Гроб-женщина", "Гроб-дитя" - целый НАРОД ГРОБОВ. Я считаю "Гроб-Арт" ИСКУССТВОМ ЭПОХИ РАВНОВЕСИЯ СТРАХА, эпохи, когда государства большие и малые достигли апогея в запугивании друг друга сверхъестественным по разрушительной силе оружием. Мне много приходилось и приходится размышлять над проблемами зла, над проблемами насилия, которое я считаю основным содержанием зла. И вот постепенно я пришел к убеждению, что зло возникает и распространяется от непонимания людьми КОНЕЧНОСТИ своего существования, от неверия людей в свою СМЕРТНОСТЬ. "Гроб-Арт" должен помочь человечеству осознать неизбежность КОНЦА. Каждый из нас мог не родиться, но умереть должны все, и это может произойти каждую минуту из-за нарушения чрезвычайно шаткого равновесия страха, но страх не лучший советник разума. Хотя человечество как вид самочинно присвоило себе звание homo sapiens, оно до сих пор, если оглянуться на его историю, ничем не оправдало этого утверждения. Особенно ясным это становится в наш XX-й век, когда оно почти достигло вершины надругательства над природой, загрязняя и отравляя уже не только свою планету, но и околоземное пространство. И если человечество не станет действительно разумным, к чему взывает "Гроб-Арт" и о чем вопят его "Железные пророки", людям грозит самоуничтожение от собственной ненависти и глупости, поскольку самым разумным, что они могли изобрести для обеспечения своей безопасности, является равновесие страха...

13. Из того, что я только что сказал, можно сделать вывод о недостаточной, мягко говоря, оптимистичности моего мировоззрения. Пожалуй, это будет правильным умозаключением, особенно, если позна-

комиться с моей скульптурой "После экспериментов". Когда я работал над ней, я думал не только над научными опытами последних десятилетий, каждый из которых мог стать последним в истории человечества, я также отражал опыт многочисленных социальных экспериментов, свидетелями которых были люди, живущие в нашем веке, а результатом сотни миллионов бывших людей, чьи тени молча зывают к еще живым среди реактивного воя атомно-космической эры.

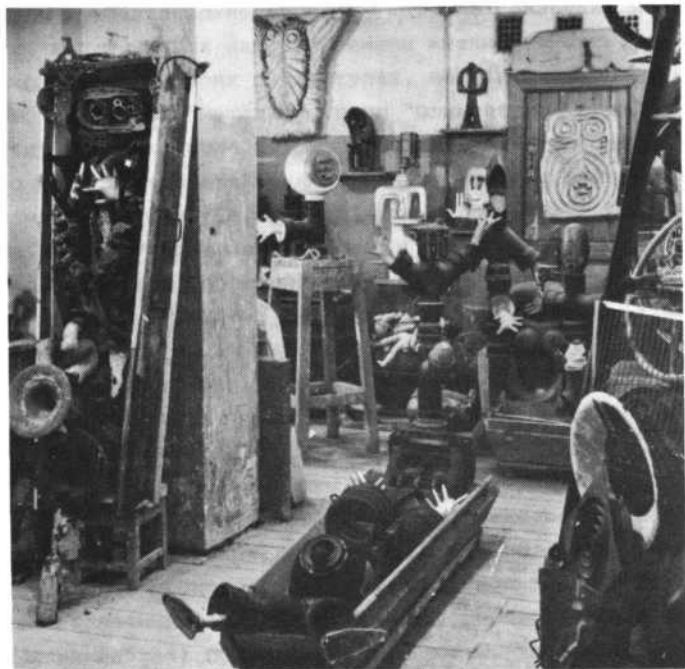
14. Апокалиптические видения, которые неизбежно возникают у всех, кто задумывается над проблемами жизни и смерти, запечатлены не только во многих моих скульптурах, но также в графике и в живописи. Это три цикла "Мутации", цикл "Олимпийские игры" и "Идеологические битвы", некоторые другие циклы и множество отдельных рисунков.

Что же является для меня принципом надежды в нашем мире? Мой пессимизм связан, скорее, с глобальными проблемами будущего человечества, движущегося, как я думаю, в тупик, из которого невозможно выбраться, даже дав обратный ход, но в то же время я знаю, что так казалось многим до меня и, очевидно, многим будет казаться после меня. Человечество же каждый раз выкарабкивалось и не только не погибло, а разрастается и увеличивается в геометрической прогрессии, хотя и это может быть одной из причин самого пессимистического отношения к будущему.

15. Очень часто я чувствую, что не могу выразить себя только через изобразительное искусство, не укладываюсь даже в большие и многочисленные циклы. Хочется использовать литературу, кино, театр. Возможно, отсюда происходит стремление использовать в своей работе множество различных материалов: камень, дерево, металл в самых неожиданных вариантах: литые, железные листы, канализационные трубы.. Перефразируя одного немецкого художника, хочу сказать: "Нужно полюбить канализационную трубу как самого себя, чтобы создать из нее произведение, могущее превратиться в религиозный символ.."

16. Еще одно видение преследует и почти не покидает меня, прошедшего войну и мир - ПРЕДСМЕРТНАЯ МУКА ЧЕЛОВЕКА. Почему человек почти всегда расстаётся с жизнью в унижительных нечеловеческих страданиях? Не подошло ли человечество к рубежу, на котором оно должно потребовать ПРАВА НА ДОСТОЙНУЮ СМЕРТЬ!? Должно ли человечество нести крест свой во веки веков именно в такой форме? Я не могу назвать произведения, в котором наиболее сильно воплощена у меня эта тема. Мне кажется, что все названные мною скульптуры и рисунки говорят об этом...

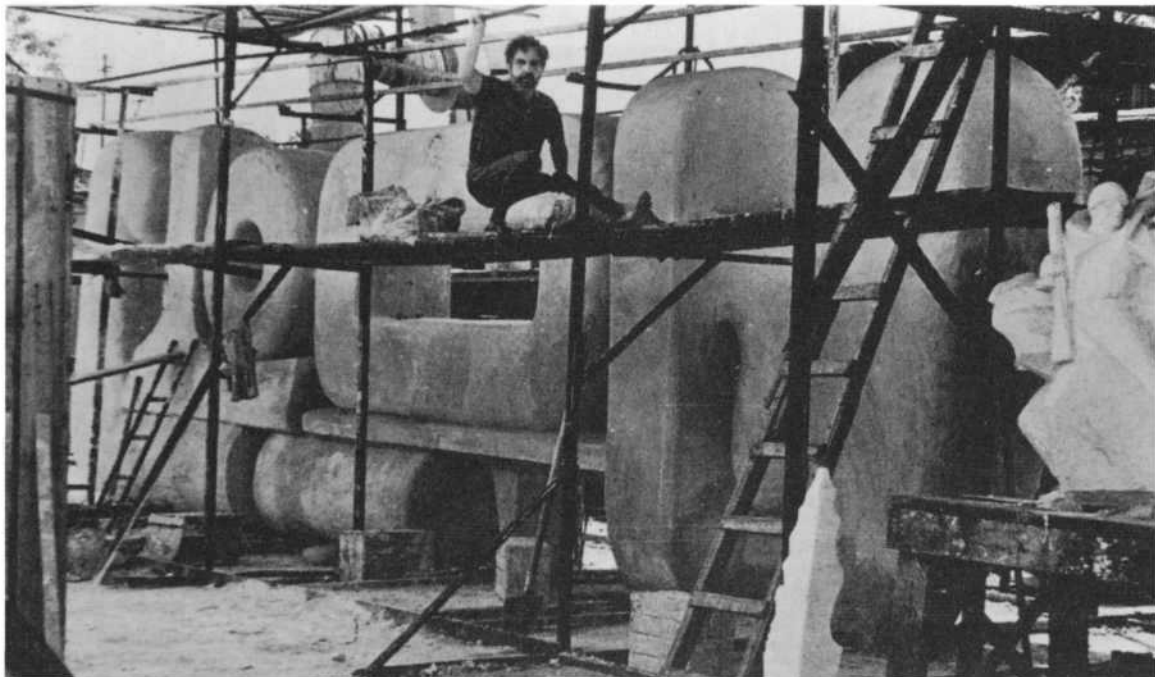
17. Видимо, необходимо, наконец, самому себе ответить на вопрос о значении религиозного начала в том, что составляет внутреннее содержание в моей работе. Под религиозным, в данном случае, я понимаю ХРИСТИАНСКИЕ ЗАПОВЕДИ, ибо до сих пор люди не смогли сформулировать ничего более человеческого. Я не верю, что не все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут ВСЕ и НЕ ВОСКРЕСНЕТ НИКТО, и в этом вижу ВЫСШУЮ ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ ИСТИННО БОЖЕСТВЕННОГО НАЧАЛА.



VADIM SIDUR

Sein Atelier mit "Sarg-Art"
(im Vordergrund) und "Propheten in Eisen"
(im Hintergrund). Ca. 1977

(Foto: E. Gladkova)



VADIM SIDUR

"Симфония" для Института геохимии,
ул. Вернадского в Москве, 1978 г.,
300 x 1000 x 80 см.; цемент с мраморной крошкой (Foto: M. Sidur)



INVALIDE, 1962, 32 x 16,5 x 16
(Foto: K. Einermacher)



TREBLINKA, 1966, 28,5 x 23,5 x 23,5
(Foto: K. Eimermacher)

GERHARD BIRKPELLNER

GLAGOLITISCHE UND KYRILLISCHE HANDSCHRIFTEN IN ÖSTERREICH

Wien:Österreichische Akademie der Wissenschaften 1975, 540 S.,
16 Abb. (=Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung, Band XXIII)

Die Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek besitzt eine der umfangreichsten Sammlungen glagolitischer und kyrillischer Handschriften außerhalb des slavischen Sprachraums. Seit dem 17. Jh. wurde der Bestand stufenweise zu der ansehnlichen Sammlung, als die sie sich heute präsentiert (209 Signaturen). Im 19. Jh., als Wien zu einer der hervorragendsten Pflanzstätten der Slavistik wurde, sammelten allen voran B. Kopitar, F. von Miklosich und in gewissem Sinne V. St. Karadžić Denkmäler vor allem der südslavischen Schrift- und Geisteskultur für die Hofbibliothek (ältere russische Handschriften sind spärlicher vertreten). Darüber hinaus sind in die vorliegende Handschriftenbearbeitung auch jene Handschriften und -fragmente aufgenommen, die sich außerhalb Wiens in verschiedenen Kloster- und Privatbibliotheken befinden. Bei der Beschreibung der Handschriften selbst orientierte sich der Verfasser an den modernen Empfehlungen der Textologisch-editorischen Kommission des Internationalen Slavistenkomitees, die in der Absicht formuliert wurden, nach Möglichkeit einen einheitlichen Beschreibungsmodus für alle slavischen Handschriften zu erzielen.

GERHARD BIRKPELLNER

DAS RÖMISCHE PATERIKON

STUDIEN ZUR KIRCHENSLAVISCHEN (MITTELBULGARISCHEN) ÜBERLIEFERUNG
DER *DIALOGE* GREGORS DES GROSSEN MIT EINER TEXTEDITION

Wien:Österreichische Akademie der Wissenschaften 1979 (im Druck,
2 Bände = Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung,
Band XXVII)

Die *Dialoge* Papst Gregors des Großen - eines der verbreitetsten Bücher des mittelalterlichen Abendlands - waren auch bei Byzantinern und Slaven außergewöhnlich populär. Der Verfasser verfolgt die Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte der *Dialoge* im slavischen Südosten und Osten, wohin sie durch die Vermittlung griechischer Vorlagen gelangten. Das Handschriftenmaterial für seine Untersuchungen stammt vorwiegend aus mittelbulgarischen Codices (Cod. Serd. slav. 1036 und 72 - Nationalbibliothek und Bibliothek der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in Sofia, Cod. Mosq. Chlud. 237 und Cod. Vind. slav. 22 aus dem Bulgarenkloster auf dem Athos), aus einer russischen Handschrift (Cod. Mosq. Synod. slav. 265 aus dem Historischen Museum in Moskau) und aus einer serbischen Handschrift (Cod. Vind. slav. 42 aus dem Zographou-Kloster). Das Hauptaugenmerk gilt einer vom Verfasser als Neuübersetzung des 14. Jhs. identifizierten rudimentären Textversion nach Paulos Euergetinos (11. Jh.), die in einem monumentalen Hesychnastabornik überliefert wird. Dieser Text wird zunächst analysiert und sodann als erster kirchenslavischer Text der *Dialoge* kritisch ediert (Band II).

F. W. M A R E Š

AN ANTHOLOGY OF CHURCH SLAVONIC TEXTS OF WESTERN (CZECH) ORIGIN

München: Wilhelm Fink Verlag 1979, 229 S.

Diese Anthologie vereinigt erstmals vollständig alle kirchenslavischen Texte tschechischer Herkunft einschließlich derjenigen, bei denen der tschechische Ursprung nicht sicher ist. Es werden insgesamt 26 Texte veröffentlicht, davon 19 vollständig. Neun ganze Denkmäler und fünf Textproben werden neu ediert, direkt nach den Handschriften oder Aufnahmen (im Text der Kiewer Blätter werden alle Supralineaer genau wiedergegeben). Sämtliche Texte sind kommentiert, bei jedem werden Angaben über die Handschriften (samt Signaturen), über das Alter des Textes und der Überlieferung, über die bisherigen Ausgaben usw. übersichtlich angeführt. In der Einleitung wird der Begriff "tschechisch-kirchenslavische Sprache" erläutert und es wird eine kurzgefaßte Charakteristik der tschechisch-kirchenslavischen Literatur gegeben. Dem Textteil ist eine reiche Bibliographie angeschlossen (acht Seiten, zusammengestellt von Univ.-Doz. Dr. Josef V i n t r). Das Buch ist sowohl für den Forscher als auch für Slavistikstudenten bestimmt.

G E O R G T E C T A N D E R

EINE ABENTEUERLICHE REISE DURCH RUSSLAND NACH PERSIEN 1602-1604

Herausgegeben von Dorothea Müller-Ott, Tulln 1978

Dieses Buch ist eine unveränderte Wiedergabe der Erstausgabe aus dem Jahre 1608, die auch heute noch interessant, spannend und amüßant zu lesen ist.

(Bestellungen an: Dr. Dorothea Müller-Ott, A-2103 Langenzersdorf, Dornelwiese 17)

E R R A T A
(Band 2/1978)

Seite	Zeile		zu korrigieren auf:
6	10 v.u.	значения	занятия
6	21 v.u.	зашифро-	зарифмо-
15	15 v.o.	после строкораздела, что	после строкораздела вы- ясняется, что..
16	4 v.o.	впоследствии	в соответствии
17	14 v.o.	контрастирует	констатирует
26	5 v.u.	es	er
31	8 v.u.	dicem	dicam
32	15 v.u.	нрави	нравы
37	16 v.u.	символь	символ
46	3 v.u.	Vliess	Vlies
52	9 v.u.	E tase	Ekstase
57	Anm.79		S.A.Esenin, Sobranie sočinenij v 5 tt, Bd.3, S. 24.
99	13 v.o.	..vermocht, <u>sie</u> ...	nicht vermocht, <u>sich</u> ..
99	26 v.o.	in seiner <u>Ethik</u> ..	in seiner <u>Einheit</u> ..
100	21 v.o.	widersprüchlich	widersprüchlich ¹⁹
101	3 v.o.	auf vielfache Weise ...worden ist	auf vielfache Weise konzipiert worden ist
101	4 v.o.	...dessen	auf Grund dessen
109	8 v.u.	vermittelnden	vermittelten
209	7	auch	doch
212	16 v.o.	signifikante..und	signifikante syntak- tische und
214	7 v.u.	Abschüsse	Abschlüsse
218	14 v.u.		Jakobson (am Ende des Zitats)
224	5 v.o.	/-sg/ (unter dom-a)	/+sg/
229	5 v.o.	+	+sg
230	17 v.o.	Plural	Singularreflex